1 р. 90 к. Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1991. № 3. 1—208.

ОКТЯБРЬ 3 1991

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

3

1991



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

3

1991

МАРТ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 05.02.91. Подписано к печати 21.02.91. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24. Тираж 242 000 экз. Заказ № 142. Цена 1 р. 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05, заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Марк АЛДАНОВ

Самоубийство

РОМАН

В романе «Самоубийство», который в Советском Союзе печатается впервые, приведен девиз португальского поэта XVI в. Камоэнса: «Плыть по морям, по которым никто никогда не плавал». Думается, Алданов примерял это требование к себе, к своей книге. Роман построен традиционно для Алданова — очерки-портреты знаменитых исторических деятелей, рассказы о судьбах вымышленных персонажей, наконец, описание крупного исторического события, к которому, как понимает читатель, закончив книгу, вели все нити повествования. Но «морем, которым никто никогда не плавал», была тема: Ленин и Октябрьская революция, за эту тему в художественной прозе русского зарубежья Алданов в середине 1950-х годов взялся первым. К этой теме множество раз обращались советские писатели, но их книги, в особенности написанные в годы сталинщины, были деформированы жесточайшей регламентацией. Их, за редчайшими исключениями, можно рассматривать как литературные иллюстрации к «Краткому курсу». Алданов взял на себя задачу разрушить устойчивые стереотипы.

До последнего времени в СССР практически не знали Марка Александровича Алданова: весь его творческий путь прошел на чужбине. У читателей русского зарубежья 1920—1950-х годов он был необыкновенно популярен. Для Михаила Осоргина, например, являлось аксиомой: «Безоговорочно признать М. Алданова одним из первоклассных художников новой русской литературы». И. А. Бунин был ближайшим другом автора «Самоубийства» и много раз выдвигал его на Нобелевскую премию.

Переведенные на двадцать четыре языка книги Алданова в нашей стране десятилетиями пылились на полках спецхранов. Ныне положение изменилось, выходит шеститомное собрание сочинений писателя, но и оно неполное: Алданов был чрезвычайно плодовит, помимо многотомной серии романов и повестей, рисующих события русской и европейской истории последних двух столетий, писал остросюжетные короткие рассказы, пьесы, киносценарии, статьи, очерки. Один из образованнейших людей в русской литературе, он даже автор книги философских диалогов.

«Самоубийство» — последнее произведение Алданова. Роман печатался в нью-йоркской газете «Новое русское слово» с 11 декабря 1956-го по 2 мая 1957 г. Алданов не дождался конца этой публикации, 25 февраля 1957 г. он скоропостижно скончался. Ему было семьдесят лет.

Последнее десятилетие своей жизни Алданов провел во Франции, в Ницце. Он вернулся из США, куда его занесли превратности военного времени. В 1950 г. в парижском издательстве «YMCA-Press» вышел его роман «Истоки», один из лучших русских исторических романов. Бунин говорил, что под изображением Александра II в этом романе не отказался бы поставить свою подпись «сам Лев Николаевич». Но последующие романы Алданова «Живи как хочешь», «Повесть о смерти», «Бред» критика встретила прохладно. Великолепный слог, изысканное мастерство композиции оставались у писателя прежними, но яркость красок поблекла. В «Самоубийстве» к Алданову вернулась былая творческая сила, он писал о самом главном для себя, о трагедии своей страны и своего поколения, писал, как выражались в XIX в., кровью сердца. Он близко принимал к сердцу будущую судьбу книги. Один из его друзей рассказывает, что, когда встретился с Алдановым в самый последний раз, разговор шел о том, примут ли читатели «Самоубийство».

Роман был начат до XX съезда КПСС, вступительный фрагмент появился в газете «Новое русское слово» 1 января 1956 г. Но в широком смысле, несомненно, «Самоубийство» связано с эпохой разоблачений «культа личности». Хрущевские разоблачения при всей их бесспорной смелости и огромной важности для судеб страны страдали тем пороком, что трактовали сталинщину как явление случайное, не характерное для гуманной в целом социалистической системы. Алданов же брал тему революции в широком историческом контексте, писал о всесилии тоталитарного мышления, о том, как в самом замысле перехода к утопическому справедливому обществу через насилие был нравственный изъян, зародыш будущей исторической трагедии. Из «прекрасного далека» яснее виделась связь времен, недаром Алданов повторял слова Гоголя: «Писатель современный, писатель нравов должен быть подальше от своей родины»,— и находил в них утешение.

Скептик, ироничный, как Анатоль Франс, он в первые же месяцы после Октября

невесело шутил: «Любителям исторической телеологии предлагается ответ на вопрос: для чего нужен Ленин? — Для торжества идеи частной собственности». То есть военный коммунизм исторически несостоятелен, и нет ему иной альтернативы, был убежден Алданов, чем частная собственность.

Этот взгляд Алданов развивал в публицистической книге «Армагеддон», изданной в Петрограде в 1918 г. и сразу же изъятой властями. Ему пришлось эмигрировать. В Париже в 1919 г. он, химик и юрист по образованию, увлекся историческими изысканиями, стал посещать Национальную библиотеку — и через два года дебютировал в художественной прозе повестью о последних днях Наполеона, «Святая Елена, маленький остров».

Литературная его деятельность, продолжавшаяся без малого четыре десятилетия, отличалась особенностью: в мире происходили грандиозные перемены, почти все писатели и критики приспосабливались к ним, меняли свои взгляды — об этом почтительно говорили: «эволюционируют»,— взгляды же Алданова сколько-нибудь заметных изменений не претерпевали. От первой своей повести до последнего романа Алданов, восторженный апологет «Войны и мира», последовательно проводил взгляд на историю, противоположный толстовскому: в ней нет никаких предопределенностей, нет поступательного движения. «Прогресс? Человечество идет назад, и мы в первых рядах»,— повторял он. Люди, по его убеждению, ничуть не меняются с веками, они так же борются, любят, страдают, умирают. Жизнь на Земле — случайность. результат грандиозных и бессмысленных космических катаклизмов, и ни естественные законы, ни божественный промысел не определяют развития событий. Он писал с заглавных букв «Его Величество Случай».

В «Самоубийстве» воспроизведен известный по мемуарной литературе эпизод, когда Ленин осенью 1917 г. скрывался на квартире Фофановой Ее не было дома, и Ленин неосторожно откликнулся на стук в дверь. Этот эпизод Алданов закончил таким диалогом:

«— Да как же вы смеетесь, Ильич! Ведь из-за этой случайности могла сорваться вся революция!

— Не могла, никак не могла, Маргарита Васильевна,— говорил он, продолжая смеяться заразительным смехом.— Нет случайностей, есть только законы истории...».

С точки же зрения Алданова, любая подобная случайность могла привести к тому, что весь ход мировой истории XX столетия оказался бы иным. Не существует законов общественного развития, диктующих неизбежность исторической миссии пролетариата и победы «научного социализма». Будущее непредсказуемо, писателю остается лишь, рассматривая прошлое и настоящее, наблюдать, как события какими-то чертами повторяются, напоминают то, что уже давно было.

Главной его темой были революции. Он принадлежал к тому поколению российских интеллигентов, чья жизнь оказалась расколотой надвое грозным 1917 годом. Избрав для себя жанр исторического романа, Алданов в революциях разных стран и разных столетий искал прообраз Октябрьской революции Изображая Робеспьера в раннем романе «Девятое термидора», раскрывал психологию революционного вождя, который, рассуждая только о добродетели, во имя «бесконечно высокой, бесконечно прекрасной цели» без малейших нравственных колебаний тысячами отправляет своих сограждан под топор палача. В романе «Ключ» учечый Браун создает своеобразную философию истории: в мире А все кажется разумным, логически объяснимым, все дает основания для оптимизма и катится до поры до времени по накатанной колее. Но рано или поздно без видимых оснований в этот мир врывается иной мир, В, скрытая сущность вещей, полная ненависти и злобы. В 1930-е годы, в начале кровавого террора, развязанного Сталиным, со страниц романа Алданова «Пещера» звучало: «Та правда, которая при первом своем появлении выражает намерение осчастливить мир, внушает мне смертельный, непреодолимый ужас Палачей всегда приводили за собой пророки. Ибо все они были и лжепророками — для значительной части людей».

Не то чтобы Алданов в принципе отрицал революционный путь. Порою, рассуждал он, решительно ничего другого не остается, слепая или преступная власть толкает людей на страшный риск, на потоки крови. Но гораздо чаще революцию вызывают к жизни искусственно, когда без нее можно было бы и обойтись. Революции, как и войны, обыкновенно не оправдывают возлагающихся на них надежд, приводят к порядку вещей худшему, чем был до них. Слишком тяжелы государственные тела, слишком многое они уносят в своем падении, лучше и легче чинить здание, чем воздвигать новое после того, как старое взорвано.

Он писал в «Повести о смерти»: «В так называемом конечном счете, все революции более или менее неудачны, но совершенно неудачных революций не бывает: кое-что остается даже от тех, которые топятся в крови, как восстание декабристов или Парижская коммуна. Если не остается ровно ничего, то сохраняется хоть легенда. К ней и ее героям незачем присматриваться слишком близко. Суда же истории быть не может...» Есть, был убежден писатель, только суд историков, но и он меняется чуть ли не каждое десятилетие.

Подобные пассажи, казалось бы, из философских или публицистических трактатов, не из художественных произведений. Но таков Алданов. Когда-то Белинский писал об Искандере-Герцене: «Главная сила его не в творчестве, не в художественности,

а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой». То же можно было бы повторить об авторе «Самоубийства». Он во-первых публицист и лишь во-вторых художник, пафос его составляет аналитическая мысль историка.

Портреты знаменитых людей в «Самоубийстве», как и в прежних произведениях писателя, нарисованы с высокой, редкой в нашей исторической прозе, мерой достоверности. Один из крупнейших русских историков, А. А. Кизеветтер, отметил такую особенность романов Алданова: «Здесь под каждой исторической картиной и под каждым историческим силуэтом вы смело можете пометить: «С подлинным верно». Перед читателем пройдут портреты кайзера Германии Вильгельма II и императора Австрии Франца-Иосифа, одного из самых примечательных политиков предоктябрьской России Витте, миллионера Саввы Морозова При всем разнообразии человеческих типов для Алданова в них есть нечто общее. Он не случайно цитирует одного из придворных Вильгельма: «Я живу в доме умалишенных». Все «сильные мира», по глубокому его убеждению, как умалишенные, сами того не понимая, толкали Европу к катастрофе первой мировой войны, к *самоубийству*.

Алданов любил такие названия книг, которые допускают возможность различных истолкований. Например, его роман «Начало конца», написанный перед второй мировой войной, рассказывает о *начале конца* стареющих героев, многого достигших в жизни, но разочаровавшихся и усталых. Вместе с тем в более широком смысле речь идет о *начале конца* мирной передышки между двумя мировыми войнами в Европе. То же и «Самоубийство». Здесь речь идет о *самоубийстве* трех персонажей, исторического лица Саввы Морозова и двух вымышленных, супругов Ласточкиных, но главная тема — *самоубийство* России в революции. В знаменитом стихотворении Ахматовой, напечатанном в 1918 г.. говорилось о тоске самоубийства русского народа перед революцией. Не оно ли подсказало Алданову название?

Хронологически рамки повествования охватывают два десятилетия — от II съезда РСДРП до смерти Ленина. Эти два десятилетия наполнены событиями: три революции и гражданская война в России, кровавая первая мировая война. Но Алданов меньше всего стремился проиллюстрировать общеизвестные исторические факты. Его темы—перелом эпох, роль Ленина в этом переломе На заднем плане повествования возникают зловещие фигуры Сталина, Муссолини. Их исторический час еще не пробил, но автор призывает читателя задуматься над связью времен.

В трилогии «Ключ» — «Бегство» — «Пещера», созданной в конце 1920-х — начале 1930-х годов, изображая Февральскую и Октябрьскую революции, Алданов отказался от изображения исторических лиц. События недавнего прошлого еще не остыли, не отошли далеко в историю, и писатель меньше всего хотел, чтобы споры вокруг его книг шли о том, достоверно ли он нарисовал, скажем, Короленко или Горького. Каждый из читателей имел собственное к ним отношение и, без сомнения, не изменил бы его под воздействием романа. Поэтому на страницах романа «Ключ» бегло изображен только Шаляпин (он споров не мог вызвать), а о других знаменитых современниках лишь вложены суждения в уста вымышленных персонажей.

Ко времени работы писателя над «Самоубийством» ситуация изменилась: действие начальных эпизодов романа оказалось отнесенным в прошлое более чем на полвека, Алданов счел себя вправе рассматривать Ленина как лицо историческое Он изображал его в ситуациях судьбоносной значимости и сугубо частных, в кругу сподвижников и в борьбе с политическими противниками, доказывал, что характер революционного вождя с 1903 г. и вплоть до последних его дней оставался тем же: Ленин Алданова безоговорочно, до фанатизма предан одной идее, бескомпромиссен, обладает несокрушимой волей и своеобразным обаянием. Один из персонажей, увидев его на митинге 1917 г., называет его «снарядом бешенства и энергии». Автор предисловия к первому отдельному изданию «Самоубийства» (1958), поэт и критик Георгий Адамович считал, что в созданном Алдановым образе «редчайшее сочетание ума и воли в какой-то идеальной дозировке». (Статья Г. Адамовича будет напечатана по завершении публикации.)

Алданов, бесспорно, полемизировал с Л. Н. Толстым, утверждая, что история может подчиняться намерениям отдельного человека. Без Ленина, повторял он, Октябрьской революции не было бы: Каменев, Зиновьев были решительно против революции, Сталин и другие просто о ней не думали, приехавший позднее Троцкий влияния среди большевиков не имел. И только Ленин выступил за революцию и сумел подчинить партию своей воле. В книге «Ульмская ночь. Философия случая», написанной за несколько лет до «Самоубийства», Алданов разрабатывал такую концепцию: вместо единой цепи причин и следствий в историческом процессе следует искать множество независимых одна от другой цепей. В каждой отдельной последующее звено зависит от предыдущего, но в скрещении цепей необходимость отсутствует, вот почему история — царство случая. В случае Октября «личная цепь причинности очень сильного, волевого человека столкнулась с гигантской совокупностью цепей причинности русской революции».

Писатель имел основания для враждебности к революции: из-за нее он лишился состояния, вынужден был бежать за границу, жизнь его раскололась надвое. Вместе с тем Алданову была свойственна беспристрастность ученого, не личная обида двигала его пером. Его «философия случая» не допускала ни малейшего оправдания формуле «цель оправдывает средства», ибо если принять, что в историческом процессе цели

нет, то, рассматривая исторические катаклизмы, войны, революции, остается лишь задаваться вопросом: нравственны ли были средства?

Уже на первых страницах романа звучит: «Вы большой человек, Владимир Ильич, но разрешите сказать вам, вы человек нетерпимый». Нетерпимость, по Алданову, роднит революционеров разных эпох, в ней источник их силы, люди одной страсти, мономаны, способны, как никто другой, подчинять себе ход событий. Но нетерпимость — разрушительная, а не созидательная сила, и ее пагубность рано или поздно обнаруживается. По-новому в контексте наших дней воспринимаются слова Алданова о Ленине: «Одно ему было совершенно ясно: веками накопленный запас ненависти, злобы, жажды мщенья — огромная страшная сила. Если развязать ее, эта сила унесет все. «Но можно ли будет на ней и строить? — спрашивал он себя и отвечал,— что там будет видно». Нетерпимость, по Алданову, приводит к герметизации революционного сознания: уметь не помнить о жертвах, о крови, не жалеть ни ближних, ни дальних, насильственный ввод людей в царство предполагаемого социализма должен быть осуществлен любой ценой. Эпизод тифлисской экспроприации призван подтвердить авторскую мысль о безнравственности революционного насилия. В другом эпизоде вымышленный герой, революционер-кавказец, отошедший от революционной деятельности, вспоминает, как в молодости убил провокатора: «Это не «романтизм»! От меня, революционера, был только один шаг до гангстера».

Писатель не верил в нравственность ни одного политика, готов был ставить на одну доску Бисмарков и Марксов, в романе «Истоки» уподоблял политиков циркачам, мастерам тройного сальто-мортале. Его симпатии принадлежали не «историческим деятелям», а простым смертным, живущим своей жизнью и не пытающимся определять судьбы мира. Перед читателем «Самоубийства» пройдет вереница вымышленных персонажей, людей с человеческими слабостями, но скорее хороших, чем плохих. Особенно удался автору Ласточкин — обаятельный удачник жизни, ему сами собой текли в руки деньги, он был незлобив, счастлив и щедр. Алданов, который на протяжении десятилетий знал крайнюю нужду и при этом ухитрялся заниматься филантропией, оказывал материальную помощь деятелям русской культуры, находившимся в еще худшем, чем он сам, положении, наделил Ласточкина чертами, которые считал в людях главными. Революция выступает как злой гений Ласточкина, становится причиной его гибели, и эта гибель в романе — прообраз гибели русской интеллигенции. Безрелигиозный писатель утверждал нравственность самоубийства, когда жизнь становится невыносимой. Но за трагической этой темой звучала непривычная для скептика-Алданова тема мажорная и возвышенная· оправдание человеческого бытия в одухотворенной, связывающей людей на долгие годы любви, любовь сильнее смерти.

Заканчивает роман сильно написанная сцена смерти Ленина. Она разительно контрастирует со сценой добровольного ухода из жизни супругов Ласточкиных. В первой повести Алданова «Святая Елена, маленький остров» Наполеон, подводя итоги прожитого, задается вопросом: «Если Господь Бог специально занимался моей жизнью, то что же Ему угодно было сказать?». Заканчивая свой путь в литературе, Алданов возвращается к извечному вопросу и отвечает на него так: преступно ради интересного социального опыта жертвовать миллионами жизней, человек живет на земле во имя красоты и добра.

Алданов, должно быть, думал о собственной смерти, когда писал «Самоубийство». Когда в ноябре 1956 г. в печати русского зарубежья появились многочисленные статьи о нем в связи с его юбилеем, язвительный Алданов называл их репетицией панихиды, любопытствовал, что о нем напишут в некрологах. Через три месяца, в разгар публикации романа в газете, он скоропостижно скончался. Мемуарист А. Бахрах рассказывает: «Под утро его нашли мертвым у окна, которое он безуспешно пытался раскрыть. Очевидно, ему не хватало воздуха, но до оконной ручки он уже не в силах был дотянуться. Он рухнул на пол, не успев позвать на помощь жену. Вспоминал ли он в свою последнюю минуту фразу Паскаля, которую он часто цитировал, о том, что «наши ближние нам не помогут и умрем мы в одиночестве»?

Но, по Алданову, история не знает трагедий. Гибель империи или смерть выдающегося человека — это только конец отдельного ее эпизода. Жизнь продолжается.

Писатель мечтал всю жизнь об огромной аудитории и советовал тем, кто не ждет миллиона читателей, не браться за перо. Все зарубежные издания его книг выходили очень небольшими тиражами, обыкновенно около тысячи экземпляров. В наши дни произведения Алданова возвращаются на родину, сбывается его мечта.

«Самоубийство» приходит к советскому читателю спустя треть века после появления отдельного издания на Западе. Что удивительно, книга не устарела, более того, она окажется сейчас в центре актуальных споров, связанных с переоценкой отечественной истории. Можно не принять алдановской концепции Ленина, как, скажем, можно не принимать толстовской концепции Наполеона, но не увидеть в «Самоубийстве» выдающегося произведения русской прозы, думается, нельзя. Необыкновенная рельефность характеров, сцены, нарисованные с такой яркостью, что читатель чувствует себя свидетелем исторических событий, государственные мысли историка, великолепный, в классической традиции, русский язык.

Убежден, что роман Алданова ждет большой и заслуженный успех.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
доктор филологических наук

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Чете Рихтеров был указан в Брюсселе сборный пункт: квартира Кольцова. Этот же адрес был дан и другим участникам съезда. Но консьержка, находившаяся со вчерашнего вечера в состоянии полного бешенства, объявила, что больше ни одного «саль рюсс» в дом не пустит: пустила четырех, входят как к себе, шумят, кричат, довольно!

Хозяин квартиры был очень смущен и даже взволнован: боялся, что гость рассердится. Кольцов кричал, что этого так не оставит, что будет жаловаться властям (не сказал: полиции), что обратится к бельгийской социалистической партии. Однако Рихтер не рассердился и высказался против жалоб: он всю жизнь боялся консьержек; говорил, что быть с ними в добрых отношениях обязательно для каждого революционера.

— Да ничегошеньки ваша бельгийская партия сделать не может, если б даже и согласилась. Нельзя ли нам приютиться в помещении съезда?

Кольцов развел руками еще более смущенно.

— Никак нельзя, Владимир Ильич. Это помещение просто амбар для муки! Им было очень, очень совестно, они страшно извинялись, но ничего другого не оказалось!

— Не оказалось? — с усмешкой спросил Рихтер.

Это был невысокий, коренастый лысеющий человек с высоким лбом, с рыжеватыми усами и бородкой, в дешевом, чистом, без единого пятнышка синем костюме с темным галстухом, концы которого уходили под углы двойного воротничка. Глаза у него были чуть косые и странные. Он был всю жизнь окружен ненаблюдательными, ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не оставили; впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим Горький. И только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но обладавший необыкновенно зорким взглядом и безошибочной зрительной памятью, весело рассказывал о нем: «Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза поразительные, я просто засмотрелся: узкие, красно-золотые, зрачки, точно проколотые иголочкой синие искорки. Такие глаза я видел в зоологическом саду у лемура, сходство необычайное. Говорил же он, по-моему, ерунду: спросил меня — это меня-то! — какой я «фХакции». Ленин сильно картавил, но не на придворный, не на французский, не на еврейский лад; почему-то его картавость удивляла всех, впервые с ним встречавшихся.

— Что ж делать? Не оказалось. Утешимся же тем, что им очень, очень совестно. Ищите для нас, товарищ Кольцов, помещеньице в каком-либо отельчике подешевле, но в чистеньком. А консьержку оставьте в покое, не то она и вас выживет.

То, что гость не рассердился, успокоило Кольцова: он боялся Ленина еще больше, чем Ленин боялся консьержек. Кого-то отрядили караулить других участников съезда. Объявил, что все-таки позвонит по телефону, — назвал имя видного бельгийского социалиста:

— Он, во всяком случае, пригодится, очень любезный человек, — сказал Кольцов.

— Валяйте, звоните. Пусть устроил бы скидку. Но с первых слов успокойте его, а то сей субъект подумает, что мы у него просим денег.

Вид Надежды Константиновны показывал, что она недовольна: не для нее, конечно (о себе она редко думала), но для вождя партии могли обо всем позаботиться заранее и не заставлять его ждать с вещами на улице. Она вдобавок видела, что Володя устал и нездоров: еще не так давно в Лондоне его мучила «зона». «Неужто начнется опять?» — думала она с ужасом. Была и сама утомлена, однако это не имело никакого значения. Желчные шутники в партии, подражавшие Плеханову, говорили, что Ленин женился на ней из принципа «чем хуже, тем лучше», и называли ее «миногой». Впрочем, ее скорее любили: при несколько суровом и гордом виде она была не зла, не тщеславна, ни к каким званиям

и должностям не стремилась, хотя по своим заслугам на некоторые, не очень важные, звания имела бы права. «Коротки ноги у Миноги, чтобы на небо лезть». Надежда Константиновна никуда не лезла и никому не завидовала. Она была женой Ленина, и этого было достаточно. Во всем мире, кроме ближайших родных, одна она его называла Володей. Даже люди, бывшие с ним на «ты» (их всего было два или три человека), называли его Владимиром.

— Этот съезд очень важен... Он, собственно, представляет собой Учредительное собрание партии, Первый съезд не идет в счет,— сказала она второстепенному (только с «совещательным») делегату, занимавшему ее разговором.

Кольцов побежал в соседнюю лавку: «Не звонить же от этой злой бабы!»

— Подумайте, сам товарищ Ленин остался без пристанища! — сказал он по телефону. Бельгийский социалист не знал, кто такой Ленин, но отнесся вполне сочувственно. В первую минуту в самом деле опасался, что русские эмигранты, почти все бедняки, чего доброго попросят у него денег!

— Вот что, я сейчас же позвоню в «Кок д'Ор»,— сказал он.— Хозяин этой гостиницы — член партии и мой приятель, он, верно, сделает и скидку для русских товарищей. Вы можете туда прямо проехать с товарищем Лениным, которому, пожалуйста, передайте привет.

Кольцов вернулся и сообщил всем новый адрес. Ленин, как ему показалось, предпочел бы, чтобы другие участники съезда остановились не в той же гостинице, что он.

— Я вас провожу, Владимир Ильич.

Наняли извозчика. Ленин сказал было, что можно было бы поехать на трамвае. Кольцов объявил, что в трамвай такого чемодана не возьмут. Чемодан, видавший виды на долгом веку, был в самом деле объемистый. Ленин сам его дотащил до дрожек, хотя старался отобрать у него Кольцов.

— Почему же будете нести вы? Я покрепче вас,— сказал Ленин нетерпеливо и, несмотря на все протесты Кольцова, сел на неудобную переднюю скамейку, предоставив ему место рядом с женой. Она была этим не очень довольна: «Володя уступает место Кольцову!» Кольцов же не мог не оценить: «Вот чего не сделал бы Плеханов!»

По дороге разговор не клеился. Надежда Константиновна еще гневалась, хотя и меньше.

— Судьбы нашей партии зависят от того, кто будет ее главным руководителем. И потому очень важен каждый голос на съезде,— сказала она.

Муж оглянулся на нее с неудовольствием. Предполагалось, что вопрос о руководителе не имеет никакого значения. Она тотчас это поняла и немного смутилась.

— Я еще точно не знаю соотношения сил,— уклончиво ответил Кольцов.

«Будет, конечно, голосовать с Мартовым!» — сердито подумал Ленин.

— Соотношение сил уже известно,— сказал он как бы равнодушно.— «Совещательные» не в счет, будет тридцать три делегата с одним голосом и девять двуруких. Из всей компании пять бундовцев, три рабочедельца, четыре южнорабоченца, шесть — болота, остальные искряки.

— Искряки-то искряки, но вполне ли надежно их искрянство? — вставила Надежда Константиновна.— Ведь Мартов тоже искряк.

Ленин опять оглянулся на нее с досадой и что-то пробормотал.

— А какую позицию вы окончательно решили занять в отношении бундовцев? — поспешил перевести разговор Кольцов.

— Прямо в зубы их бить не буду, но отношение будет архихолоднейшее. Пусть Бунд, наконец, выявит свою личину! Во всяком случае в «Феклу» ни одного из этой компаньицы не возьмем, пусть идут к черту! Ту се ке вуле, мэ па де са*,— сказал Ленин. Он часто вставлял в разговор и в письма слова на неправильном французском, немецком или на латинском языке. «Феклой» называлась редакция «Искры».

* все, что вы хотите, но не это (искаж. франц.)

— Они и не претендуют на это,— сказал Кольцов обиженно. Он смутно — и совершенно неосновательно — подозревал Ленина, как и Плеханова, в некотором скрытом антисемитизме.— Просто они маленькие люди с ограниченным кругозором. Я говорю только о тех, которые будут на съезде.

— Что маленькие, это не беда. («Ты сам гигант»,— насмешливо подумал Ленин). Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Но они хотят федерацийки, чтобы быть единственными представителями еврейского пролетариата. Фигу им под нос вместо федерации!

— А если они уйдут со съезда?

— Скатертью дорога,— сказал Ленин и подумал, что если бундовцы уйдут, то у Мартова будет пятью голосами меньше при выборе редакции «Искры». «Непременно раньше поставить вопрос о Бунде»,— решил он.

Извозчик подъехал к гостинице. Кольцов хотел заплатить.

— У вас, Владимир Ильич, верно, еще и нет бельгийских денег?

— Есть деньги, разменяли на вокзале,— сказал Ленин. Он жил скудно, берег каждую копейку, но не любил, чтобы за него платили другие, особенно бедные люди, как Кольцов.

Комнатка в гостинице оказалась недорогая (хозяин в самом деле сделал скидку) и довольно уютная. В ней были и письменный стол, и даже полка для книг — очень полезные вещи: съезд должен был длиться не меньше месяца. На полке лежали разрозненные номера иллюстрированных журналов.

— Я разберу вещи. Да и работа есть,— сказала Надежда Константиновна, взглянув на Кольцова. Она знала, что мужу отравляют жизнь разговоры: он и в Мюнхене, и в Лондоне, и в Женеве просил товарищей приходить к нему пореже, если не было дела.

— А мне надо бежать,— поспешно сказал Кольцов, тоже не очень хотевший с ними разговаривать; разговор мог стать неприятным.

— Бегите,— с готовностью согласился Ленин.— Здесь как? Надо хозяину показать паспорта?

— Не надо, никакой прописки не требуется,— объявил Кольцов. Он хотел было добавить, что Бельгия почти такая же свободная страна, как Швейцария, но не добавил: это замечание не понравилось бы вождю партии. Многие находили, что Рихтер — он же Н. Ленин, Тулин, Петров, Ильин, Старик, Ульянов — уже важнейший из вождей. Еще недавно он был главой того, что называлось шутливо Тройственным союзом: Ленин — Мартов — Потресов. Такой же Тройственный союз был и в старшем поколении: Плеханов — Аксельрод — Засулич. Но, как ни у кого в Европе не было сомнений в том, что в настоящем Тройственном союзе всем руководит Германия, так и у социал-демократов признавалось, что главные среди шести — это Ленин и Плеханов. Остальные четверо при всех их качествах были как бы тайными советниками революции при двух действительных тайных. Впрочем, теперь положение изменилось: разделение шло по другой линии, борьба намечалась преимущественно между Лениным и Мартовым.

— Я значусь Рихтером, и письма к вам будут приходить на имя Рихтера. Все передавайте ей или мне, только, пожалуйста, без всякого замедления,— сказал Ленин. Несмотря на отсутствие в нем чванства, в его голосе послышался приказ.— А что, этот амбар отсюда далеко?

— Нет, недалеко, Владимир Ильич. Хотите взглянуть? Они мне дали ключ.

— Какие любезные! Если недалеко, пойдем. Ты ведь, Надя, тем временем разберешь вещи?

— У меня работы на час, если не больше. Можешь, Володя, не торопиться. И купи чего-нибудь к чаю, хлеба, ветчины. Сыр и сахар я привезла.

В амбаре было темновато и сыро. Когда они вошли, во все стороны рассыпались крысы. У стен лежали груды кулей с мукой. Впереди, против входа, стояли стол и за ним два стула, а перед ними несколько рядов некрашеных скамеек. Ленин вдруг расхохотался веселым, заразительным смехом. Кольцов смотрел на него со сконфуженной улыбкой.

— Да, неказистый зал. Мы завтра все проветрим и постараемся достать хоть стулья. Что ж делать, ничего другого не оказалось.

— Для себя они, небось, нашли бы помещеньице получше, а? — говорил Ленин, продолжая хохотать. — А уж если б, скажем, международный конгресс, то сняли бы какой-нибудь отельчик вроде «Бристоля», или «Империала», или там «Континенталя». Это для дрекгеноссов-то, а? — Так он часто называл тех иностранных, особенно германских, социал-демократов, которых не любил. — За амбар гехеймраты с Каутским им набили бы морду, а, Кольцов? И то сказать, оговорочка: гехеймраты всех стран платят чистыми деньжатами. Только с нами, с «саль рюсс», можно не считаться. — Он, наконец, перестал смеяться и вытер лоб чистым белым платком. — Ничего, товарищ Кольцов, со временем будут считаться и с нами, уж это я вам обещаю!.. А чей же это милый амбарчик? Мука с крысами, а? Мы крыс вывели бы да заодно и таких хозяйчиков. Но вы не конфузьтесь, вы не виноваты, что нет деньжат. А вот товарища Плеханова предупредите, насчет крыс-то. А то он очень разгневается... Давайте посидим, передохнем, — сказал он. Достал из кармана прочтенную в поезде аккуратно сложенную газету, накрыл ею скамейку и сел.

— Почему же именно Георгий Валентинович рассердится? Вы ведь не рассердились, Владимир Ильич, — сказал Кольцов, тоже садясь.

— Как же вы сравниваете, а? Во-первых, он председатель. Будет говорить торжественное слово, верно, что-нибудь воскликнет, а тут вдруг пробежит крыса и испортит «восклицание», разве хорошо, а? Притом он смертельно боится крыс. Вообще слишком многого боится. А в-третьих, он генерал, из помещичьих сынков. Не весьма, впрочем, из важных. Вот Потресов — тот действительно генеральский сын и давно забыл об этом, а у Георгия Валентиновича родной брат где-то исправником, не велика фря!.. Увидите, он явится на открытие съезда в визитке, или как у них там эта длиннополая штучка называется, — сказал Ленин и на всякий случай повторил ходивший в партии рассказ о том, как в свое время Плеханов, отправляясь в Лондоне на свидание с Энгельсом, купил и надел цилиндр.

Говорил он якобы благодушно. Когда-то был почти влюблен в ум, таланты и ученость Плеханова, затем разочаровался и разошелся с ним. Писали они друг другу то «дорогой», то «многоуважаемый», то без всякого обращения, очень сухо и враждебно. Недавно порвали было личные отношения, потом их возобновили. Теперь же должны были действовать заодно, в полном союзе. Все же при случае не мешало ввернуть словечко и о Плеханове. Перед этим съездом лучше было бы ввернуть что-либо о Мартове, но он не нашел ничего подходящего, хотя бы вроде визитки или цилиндра.

Кольцов слушал без улыбки. Он был очень корректен, не любил сплетен да и не раз уже слышал рассказ о цилиндре Плеханова. В партии его уважали как полезного человека и старого революционера, — он был когда-то народовольцем, близко знал брата Ленина, затем в эмиграции стал социал-демократом, но выполнял преимущественно черную работу. Партию любил всей душой, почти как семью: в них, в семье и партии, был смысл его жизни. В вожди он не метил и нигде не назывался даже «видным» (а это было гораздо меньше, чем «известный»). Нежно любил Аксельрода, Веру Засулич, Мартова, Потресова и тщательно скрывал, даже от самого себя, нелюбовь к Плеханову и особенно к Ленину, которого он с ужасом считал человеком аморальным и способным решительно на все. Кольцов знал, что Ленин хочет стать партийным диктатором. Это было недопустимо, и он своего мнения не скрывал; но политических споров с Лениным в меру возможного избегал и при них съеживался: так на него действовали безграничная самоуверенность этого человека, его грубые отзывы о товарищах, его презрительный смешок и больше всего шедший от его глазок волевой поток. «Ох, дубина!» — подумал Ленин, внимательно на него глядя.

Он вдруг стал необычайно любезен. Одна из его особенностей заключалась в сочетании презрительного равнодушия к людям с умением их очаровывать в тех случаях, когда они были нужны ему или партии. Очень многие товарищи его обожали, искренно считали добрым, милым, благожелательным человеком. Он был Ильич; Плеханов никогда не был Валентинычем.

Изменив тон, он стал называть Кольцова по имени-отчеству, спросил о семье, о делах, о планах. Затем перешел к съезду. Как ни незначителен был Кольцов, не мешало повлиять и на него. Иногда Ленин часами вдалбливал свои мысли в голову двадцатилетним малограмотным людям, особенно если они были рабочие, и делал это с большим успехом.

— ...Да, будет у нас здесь драчка, Борис Абрамович, — сказал он якобы с грустью. — Вначале дела пойдут менее важные: Бунд, равноправие языков, потом программа. Тут споры, конечно, будут, но сговоримся. Главное же, как вы понимаете, — это устав и выборы, в частности, выборы редакции «Искры».

— Я стою за прежнюю редакцию в ее полном составе из шести человек, — поспешно сказал Кольцов.

Лицо у Ленина дернулось, но он тотчас сдержался и даже взял Кольцова за пуговицу. («То же никогда не сделал бы Плеханов».)

— Послушайте, Борис Абрамович, ведь вы разумный человек, — сказал он. Хотел было сказать: «Вы умный человек», но язык не выговорил. — Разве можно работать при такой редакции? Ведь это не редакция, а какая-то семеечка! Вдобавок почтеннейший Аксельрод за три года ни на одном ровнехонько заседании не был. Сей муж занят своим кефиром или кумысом или черт его знает, чем он занят. Из него, а паки из Засулич давно песок сыплется...

— Помилуйте, Владимир Ильич! Вере Ивановне всего пятьдесят два года!

— Неужели? Я думал, им по сто пятьдесят два. В «Искре» все делали Мартов и я, всю работу, и идейную, и черную. Вы знаете, что мы теперь с Мартовым на ножах, но я предлагаю ему конкубинат: он, Плеханов и я. Прелесть что за журнальчик создадим!

Кольцов печально покачал головой.

— Товарищ Мартов в трехчленную редакцию не войдет. Он считает, что это было бы неэтично в отношении трех остальных редакторов. И я с ним согласен... Вы большой человек, Владимир Ильич, но разрешите сказать вам, вы человек нетерпимый, — сказал он мягко.

Лицо Ленина исказилось бешенством. У него покраснели скулы.

— Ну, еще бы! Это все у вас говорят: «Ленин-де нетерпимый». Ерунду говорите, товарищ Кольцов! И партия — не дом терпимости!

— У нас может образоваться нечто вроде бюрократического централизма, а это очень нежелательно. Не скрою от вас, в партии уже говорят о вашем «кулаке», я, конечно, этого не думаю, но я...

«Но я болван», — мысленно закончил за него Ленин. Он действительно находил необходимым «кулак» и именно свой. Понимал, что Мартов в самом деле откажется, а Плеханов в работу вмешиваться не будет: будет только давать теоретические советы.

— Ваши «этические» соображения мне совершенно не нужны и неинтересны! Вы можете оставить их при себе! — сказал он с яростью. Встал и быстро направился к выходу. Кольцов грустно поплелся за ним.

Надежда Константиновна сидела за единственным столиком комнаты на ее единственном стуле и что-то писала, морща лоб. Перед ней лежали листки бумаги. Она зашифровывала письмо. Всегда делала это добросовестно, усердно и даже, несмотря на привычку, восторженно-благоговейно. Теперь у нее были угрызения совести: в Женеве не успела зашифровать и отправить письмо, написанное Лениным позавчера одному кружку на Волге. Не было ни одной свободной минуты: надо было и накормить мужа, и купить билеты, и уложить вещи, книги, бумаги, и к кому-то с его поручениями забежать (она не просто ходила к людям, а всегда забегала). В поезде зашифровывать было очень неудобно да и опасно: могли обратить внимание. Теперь оглянулась на мужа с виноватым видом.

— Я думала, Володя, что ты придешь позже. Я через пятнадцать минут кончу. Но могу и отложить, если тебе очень хочется чаю. Ты что купил?

— Пиши, я подожду, — сказал он, хмуро на нее взглянув. Письма нужно было зашифровать в Женеве, но если уж не успела, то можно

было здесь и отложить на день, ничего в мире от этого не произошло бы. Впрочем, почти никогда на жену долго не сердился. Любил ее или по крайней мере очень к ней привык; быть может, только ей одной во всем свете верил вполне, во всем, без тени сомнения. Она была предана ему именно беззаветно. Теперь ее усталое, рано поблекшее лицо, с бесцветными влажными глазами, с гладко зачесанными жидкими волосами, было особенно некрасиво. Он чуть вздохнул.

— Хороший амбар? Такое невнимание к тебе... К нашей партии! Хорош и Кольцов!

— Очень хорош. Лучше субъектов не бывает, на выставку послать! — сказал он сердито и осмотрелся в комнате. Она была чистая, рукомойник сносный, на подвижном шесте висели два полотенца. «У нас в Симбирске все было бы в таком отельчике загажено и проплевано». Умыться было невозможно: мыло было в чемодане. «Потом... Ох, устал, ничегошеньки не могу». Он и думал на странном языке, частью волжском, частью калужском, очень особом и чуть шутовском, с разными уменьшительными, уничижительными, грубо-насмешливыми словами. Взял с полки иллюстрированные журналы и прилег на кровать, неудобно свесив с нее ноги в залатанных, но чистых башмаках.

На обложке была изображена королева Виктория. Журнал весь был заполнен изображениями скончавшейся королевы, от ее детских лет до смертного одра. Королева на коленях молилась у гроба Наполеона I во Дворце инвалидов; рядом с взволнованными исторической сценой лицами стояли ее муж, императрица Евгения и Наполеон III. В Лондоне герольды в пышных костюмах объявляли на площади о вступлении на престол нового короля. Плакали какие-то индусы в тюрбанах. Плакали английские социалисты. Плакал Сток-Эксчендж. Эдуард VII встречал на вокзале Вильгельма II. В фельдмаршальских мундирах, сплошь покрытых орденами, они ехали верхом за гробом. Были изображены разные покои Осборнского дворца, в котором королева скончалась. Дворец был не из великолепных, но роскошь покоев раздражала его еще больше, чем вид плачущих социалистов. «Ничего, дождутся! Все они дождутся!»

«Долгое царствование этой старейшей из коронованных особ Европы займет великое место в истории, — читал он. — Старик Дизраэли украсил ее корону новым драгоценным алмазом: британская королева стала императрицей Индии. Она очень дорожила этим своим титулом и даже среди своих служителей дала видное место индусам... Царствованием Виктории заканчивается в истории, по крайней мере в европейской, период бурь. Хотя из-за глубокого траура в Лондоне теперь не было политических бесед, все сошлись на том, что настал, наконец, для человечества период мира, общего благоденствия и прогресса на началах свободы. («Экое, однако, дурачье! Пора бы им в желтые домики», — думал он, читая с искренним наслаждением). Лучше всего свидетельствует об этом общая скорбь Европы. Отметим, в частности, то, что германский император своим неподдельным горем на похоронах завоевал все английские сердца. Газеты сообщали, что при его отъезде к нему на вокзале подошел простой британский рабочий, поклонился и сказал «Thank you, Kaiser!» (Ленин непристойно выругался). Ничто не могло красноречивее передать чувства английского народа, чем эти простые слова простого человека. Стоявший рядом с императором король Эдуард VII так пояснил их своему коронованному гостю: «Так же, как он, думают они все, каждый англичанин. Они никогда не забудут твоего приезда на похороны моей матери». Оба монарха были глубоко растроганы. Скажем и от себя, что если в нашей маленькой стране сердца людей и не вибрировали совершенно в унисон с сердцами британскими, то все же осборнская трагедия нашла и у...»

— Бундовцы уйдут, и черт с ними! — неожиданно сказал Ленин.

Надежда Константиновна на него оглянулась, впрочем, без особого удивления: знала его манеру думать вслух, вдобавок читая о совершенно другом.

— Разумеется, пусть уходят, хотя в принципе это и нежелательно. Ты не можешь... Партия не может согласиться на федеративное начало, в этом все искряки согласны, даже мартовцы согласны, — ответила она.

«Sans vibrer à l'unisson» *, — пробормотал он и опять уткнулся в журнал. Больше текста не было, а из иллюстраций только фотография композитора Верди, скончавшегося одновременно с Викторией, да еще две свадьбы: вышла замуж голландская королева Вильгельмина, и женился Поль Дешанель. «Какой еще, к черту, Дешанель, будь он трижды проклят?» — подумал он. Впрочем, теперь бундовцев и мартовцев ненавидел, пожалуй, больше, чем Дешанеля и обеих королев.

У него был нехороший день, один из тех дней депрессии, изредка повторявшихся всю его жизнь. Он и в эти дни твердо верил в свои силы, которые считал огромными (в чем, к несчастью для мира, не ошибался), но думал, что до революции не доживет. «Зона» давала себя чувствовать, нервы были расстроены, почти как в прошлом году в Лондоне; сам чувствовал на лице измученное выражение; на людях его снимал, товарищи не должны были считать его усталым человеком, но жена в счет не шла. Его всегда утомляла дорога, неприятная близость каких-то никому не нужных, неизвестно зачем живущих людей. Раздражали его и разные чудеса капиталистической техники, гигантские сооружения, вокзалы, подъемные краны, водокачки. Это была их техника, свидетельствовавшая о могуществе врагов. Все больше думал, что если они сами себе не перережут горла, то справиться с ними будет трудно, почти невозможно. Между тем шансов на войну было немного. «Не доживу! От какой-нибудь «зоны» могу околеть за год до революции». Из всех его мыслей эта была самой ужасной.

Ему надо было еще поработать перед съездом, выправить приготовленные им проекты резолюций, но бумаги были в чемодане, жена продолжала занимать столик. Он с досадой взял другой номер журнала, с более свежей обложкой. На ней ему опять бросилось в глаза слово «королева». «Третья!.. Нет, это совсем не то!» — радостно подумал он. Толстая дама в светлом платье, с широкой, совершенно плоской шляпой стояла под руку с опиравшимся на саблю коренастым усатым военным. Это были королева Драга и король Александр, совсем недавно убитые в Белграде. Позади них почтительно держалась свита. Фотография была снята за несколько дней до убийства. «Весь мир содрогнулся от ужаса, узнав о трагической кончине короля Александра и королевы Драги. Только сербы обрадовались этому убийству»... В свите были и люди, погибшие 11-го июня с королем, и люди, принимавшие участие в убийстве. Это так, это как водится... Все как на подбор, морды тупые и гордые, все опираются на саблю, как он. В краткой статье сообщалось, что темной ночью десятки офицеров ворвались в конак, вышибли топором двери, зачем-то бросили в первой комнате бомбу. От взрыва во дворце погасло электричество. При свете захваченных предусмотрительно огарков убийцы пробежали через ряд комнат, ворвались в спальню и там никого не нашли. «Полтора часа они по всему дворцу искали короля и королеву, заглядывали под диваны, все рубили топором и саблями. Александра и Драги не было! Наконец, первый адъютант короля, генерал Лазарь Пётрович, указал им дверь в гардеробную комнату, где несчастные жертвы провели полтора часа в мучительной моральной агонии»...

Он разыскал на обложке Лазаря Пётровича. Ну, еще бы! На вид самый почтенный из всех, просто воплощение респектабельности! Такие и нужны. Затем внимательно просмотрел фотографии, дело было интересное. Были комнаты с опрокинутыми, изрубленными стульями, длинный тяжелый топор, гардеробный шкап с отворенными дверцами, с торчавшими платьями, окно, из которого было выброшено на цветник тело Драги. «Тяжело раненная королева вскочила с пола, рванулась к этому окну и закричала. Люди слышали только один крик, страшный, пронзительный крик! Убийцы бросились на нее». «Так, так, тон гуманно-сочувственный, а дальше, верно, будут гадости об этой самой Драге», — подумал он и радостно засмеялся, убедившись, что угадал.

На другой фотографии был изображен конак (журнал, видимо, щеголял этим словом). Дворец был небольшой. На Зимний не похож, да там и охрана не такая. Он не сочувствовал этим заговорщикам, которые убили одного короля, чтобы тотчас посадить на его место другого. Но многое

* не вибрировать в унисон (франц.)

в них ему нравилось, хотя социал-демократия не признавала террора. Да, эти дали тон начавшемуся веку, а никак не то лондонское дурачье с кретином-рабочим. Не очень, видно, «заканчивается в истории период бурь». Он бросил журнал и вернулся к своему плану действий на съезде. Обдумывал, как шахматист, разные комбинации.

Лучше всего было бы, конечно, если б единоличным редактором «Искры» стал он, а в Центральный Комитет вошли, кроме него, еще три-четыре человека из его подручных. У него всегда были «окольничьи» — люди, называвшиеся так потому, что на церемониях находились около московских царей. Но он знал, что это на съезде пройти не может. «Начнется вой: диктатура! Буду, разумеется, отрицать, с тремоло в голосе а ля Троцкий». Перебирал разных товарищей по съезду. Почти все были люди незначительные. Многие были хорошие люди, но это не имело никакого значения. Моральными качествами людей он интересовался мало; вдобавок так называемый хороший человек не очень отличался от так называемого дурного. В своих письмах (раз сам назвал их «бешеными») осыпал грубой бранью и врагов, и единомышленников, и полуединомышленников, и бывших единомышленников, Струве называл Иудой, Чернова скотиной, Радека нахальным, наглым дураком, Троцкого шельмецом, негодяем, сим мерзавцем, подлейшим карьеристом; говорил о «трусливой измене» Плеханова, о «поганеньком, дрянненьком и самодовольном лицемерии» Каутского, о «подлой трусости» своего друга Богданова, говорил даже о «подлостях» Мартова, недавно ближайшего из друзей; его в душе до конца жизни считал благородным человеком и даже по-своему любил. В совокупности большая часть социал-демократов составляла его партийное хозяйство, и к своему хозяйству он относился заботливо, как владелец к предприятию. Из людей вообше когда-либо живших он боготворил Карла Маркса, которого никогда не видел; писал, что в Маркса влюблен и ни одного худого слова о нем спокойно не выносит. Позднее в Петербурге говорили, будто он «обожает» Максима Горького, — бывший Иегудиил Хламида очень этим гордился. Действительно, в своих письмах Ленин не называл его ни негодяем, ни мерзавцем: назвал только теленком. Как политического деятеля ни в грош его не ставил. Книги же его хвалил, хотя и без горячности. Как-то в разговоре с ним, «прищурив глаза» (по-видимому, насмехаясь над творцом литературных босяков), восторгался Львом Толстым: «Вот это, батенька, художник! И знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было».

Разумеется, главную свою задачу на съезде он видел в том, чтобы стать хозяином партии. Соперников, в сущности, не было. «Плеханов быть главой партии не может. Он примадонна, слишком тщеславен, слишком rechthaberisch *, всего боится и во всем колеблется. Пусть открывает съезд, это с полным нашим удовольствием. Будет стоять на трибуне в длиннополом наряде, конечно, со скрещенными ручками, у него всегда скрещенные ручки, не то Наполеон, не то Чаадаев, — ох, надоело. Будет сыпать цитатами: и тебе Дидро, и тебе Ламетри, и тебе Герцен». Никак не мог быть соперником и Мартов. «Слишком щепетилен, слишком нервен, вечно волнуется так, точно сейчас упадет в обморок, разве вожди бывают такие?» Об Аксельроде или Засулич и говорить серьезно не приходилось. В последнее время в партии начал выдвигаться молодой эмигрант Лев Бронштейн, обычно подписывавшийся «Н. Троцкий». В обычае было менять не только фамилии, но и имена. Так было и в литературе. Алексей Пешков уже прогремел в России под псевдонимом «Максим Горький». Троцкий хлестко писал, прекрасно говорил, бросал чеканные восклицания не хуже, чем Плеханов, и явно старался выйти в вожди; однако у него не было армии, хотя бы полагавшегося минимума из трех-четырех человек. Его все терпеть не могли: от него не просто веяло тщеславием, как от Плеханова, он был весь воплощенное тщеславие. «Мартов ему покровительствует и хочет провести его в «Феклу». Никогда не пройдет. Георгий Валентинович наложит вето, уж он-то его совершенно не выносит. И мне надоел со своим мефистофельским видом.

* неуступчив (нем.)

Этот вид очень культивирует, особенно когда при деньжатах. А когда их нет, тотчас впадает в тоску»...

— Кончила! — радостно объявила Надежда Константиновна. — Теперь будем пить чай!

— Вот и хорошо.

Она достала чайник, который всегда возила с собой по разным странам, взглянула на мужа и на цыпочках вышла из комнаты. Он продолжал думать о съезде. Настоящая борьба должна была произойти лишь в конце, при обсуждении устава, при выборах редакции и Центрального Комитета. Знал, что до того депрессия у него совершенно пройдет. Обычно ей на смену приходил период необычайной, кипучей деятельности. В сотый раз подсчитывал соотношение голосов. Ему было известно, что многие социал-демократы в России с неудовольствием и с насмешками относятся к тому, что называли «эмигрантской склокой», «сварой», «грызней». Этих товарищей он считал уже совершенными дураками: они просто ничего не понимали. Действительно вся его жизнь в эмиграции была сплошной «склокой». Ею заполнены и многочисленные томы его по форме скучнейших произведений (у него не было литературного дарования). Но, быть может, он — и только он — уже тогда понимал, что в этой склоке зародыш больших исторических явлений: были две партии, а для революции ему нужна была одна, — разумеется, под его единоличной и неограниченной властью: партия окольничьих.

— Разрешили вскипятить воду и дали чашки, — сказала Крупская, вернувшись с подносом. — Тут, в Бельгии, тоже пьют чай в чашках! Их стаканы от кипятку и полопались бы. Ну, посмотрим твои покупки. Верно, переплатил? И, пожалуйста, не сердись, Володя, что я не успела зашифровать в Женеве. Это моя вина. Ты не сердишься?

— Не сержусь, — рассеянно ответил он.

— Письмо страшно важное! Отлично ты им написал.

II

Аркадий Васильевич Рейхель не слишком охотно принял предложение Ласточкиных приехать к ним из Парижа в Монте-Карло. Ему не хотелось отрываться от работы в Пастеровском институте и от привычных условий жизни. Люда решительно отказалась ехать с ним.

— Нечего мне у них делать, и вовсе я им не нужна, да и мне они не нужны. И зовут они меня, так сказать, за компанию с тобой, — говорила она.

— Мне неприятно вводить их в лишние расходы.

Рейхель жил на средства своего двоюродного брата. Они были дружны. Ласточкин по природе был щедр, а с тех пор, как разбогател, охотно дарил деньги даже чужим людям. Ему казалось совершенно естественным, что его молодой кузен, талантливый биолог, еще нуждается в его помощи. Спор между ними сводился к тому, что Аркадий Васильевич соглашался принимать только двести рублей в месяц, а Дмитрий Анатольевич предлагал ему гораздо больше. «Состязание в благородстве между двумя сверхджентльменами», — иронически, как почти всегда, говорила Людмила Ивановна. Она тоже была бескорыстна. Двухсот рублей было вполне достаточно при их скромной жизни, но Люда находила, что спорить не стоит и даже несколько смешно: уж если брать деньги у Ласточкина (это и ей было не совсем приятно), то совершенно все равно, брать ли двести или, например, четыреста. Как раз две недели тому назад, перед своим отъездом из Москвы за границу, Дмитрий Анатольевич прислал экстренную сумму с очень милым и деликатным письмом: «...Надеюсь, вы на меня не рассердитесь, — писал он, — но ведь ты, Аркаша, не станешь меня уверять, будто ты мог кое-что отложить в запас. И Тане и мне совестно отрывать тебя от лаборатории, да уж очень нам хочется увидеть вас обоих в Монте-Карло, мы больше года не виделись, а в Париж мы на этот раз заехать не можем: и туда, и назад едем прямо через Вену. Умоляем вас, приезжайте, хотя бы на две недели. К тому же ты ведь можешь рассматривать и эти деньги как долг, уж если ты такой гордый чудак и не желаешь понять, что после жены и сестры ты для меня самый близкий человек на свете. Когда ты через год вернешься в Моск-

ву, ты легко найдешь хорошо оплачивающуюся работу. У нас теперь ученые институты растут как грибы. Итак, приезжайте непременно и телеграфируйте, на какой день приготовить для вас комнату».

Люда настояла на том, чтобы Рейхель принял приглашение. Она не прочь была пожить две недели в Париже без него.

— Как же я им объясню, что ты со мной не приехала?

— Объясни, как тебе угодно. Можешь сказать, что у меня очень много работы перед партийным съездом в Брюсселе.

— Это у них восторга не вызовет.

— Я давно примирилась с тяжкой мыслью, что проживу свой век, не вызывая восторга у московских буржуа.

— Если ты не поедешь, то надо вернуть Мите хоть половину его денег.

— Деньги занимают слишком много места в твоей психике. Но, пожалуй, верни. Если же он не примет, то отдай мне для партии.

— Партия занимает слишком много места в твоей психике.

— Хорошо сравнение! Впрочем, делай, как хочешь.

Вышел холодок, вероятно, пятидесятый по счету в их жизни за последний год. Ссоры не было, но у обоих скользнула мысль, что было бы не так страшно и расстаться. У Рейхеля любовь и вообще не занимала большого места в жизни, и он этим немного гордился.

В назначенный для его отъезда день оба встали очень рано. Умывшись, Аркадий Васильевич положил туалетные принадлежности в потертый, с оторванной ручкой, не запиравшийся чемодан. По выработанной Людой конституции вещи всегда укладывал он. Все уложил с вечера. Так как поездка была «для отдыха», он взял с собой лишь немного книг, — в других случаях книги составляли его главный груз. Тем не менее туалетные принадлежности еле вошли, он с трудом стянул ремни. Люда с досадой смотрела на его высокую, нескладную, чуть сутуловатую фигуру, на мыло, зубную щетку, эликсир, завернутые в газетную бумагу, на чемодан, купленный в Москве на толкучем рынке: все-таки хорошо было бы иметь приличные дорожные вещи, за которые не было бы стыдно перед носильщиками.

— Если ты не желаешь казаться оборванцем, то купи, наконец, хороший мэдлеровский чемодан! — нередко говорила она. Так провинциальные журналисты иногда в передовых статьях писали: «Если Англия не желает опуститься до уровня второстепенной державы, то»... Аркадий Васильевич так же мало желал казаться оборванцем, как Англия опуститься до уровня второстепенной державы. Все же он хорошего мэдлеровского чемодана не покупал, — «устроимся в Москве, станем на ноги, тогда и купим».

Люда провожала его на Лионский вокзал. Перед уходом из дому простилась со своей кошкой Пусси, поцеловала ее и поговорила с ней на кошачьем языке. Рейхель только вздыхал. Эта кошка отравляла ему жизнь, рвала и пачкала мебель, вскакивала за обедом на стол, интересовалась его тетрадями. Как всегда, они не рассчитали времени и приехали за полчаса до отхода поезда.

— Я говорила тебе, что слишком рано едем! Что теперь здесь делать?

— Напротив, это я говорил, что слишком рано едем. Но тебе незачем оставаться на вокзале, поезжай домой или куда тебе нужно.

Она осталась, хотя знала, что разговаривать не о чем и незачем. Аркадий Васильевич купил билет третьего класса, обстоятельно расспросил в кассе, подан ли уже поезд и на каком пути он стоит, затем для верности спросил о том же контролера при выходе, еще у кого-то на перроне, прочел надпись «Париж — Вентимилия», осведомился у кондуктора, идет ли этот вагон в Монте-Карло без пересадки, и втащил чемодан в вагон. Люда шла за ним.

— Кульку с провизией в сетку не клади, положи на скамейку, — сказала она. — Посидим на перроне, здесь душно.

— А не стащат чемодана?

— Хоть бы какой-нибудь дурак нашелся, который тоже приехал бы на вокзал за час. Его можно было бы попросить, чтобы он присматривал. Нет, никто на твой драгоценный чемодан не польстится.

На перроне они заняли места на скамейке. Оба поглядывали на вагон, не выскочит ли вор с чемоданом. Рейхель с наслаждением закурил папиросу.

— Первая из пяти, полагающихся по моему правилу в день.

— У тебя на все правила! Разве так нужно жить человеку, да еще в двадцать девять лет?

— По-моему, именно так, и в двадцать девять лет, и в семьдесят девять... Все-таки Митя и Таня огорчатся и обидятся, что ты не приехала.

— А я совершенно уверена, что не огорчатся и не обидятся. Твоя Татьяна Михайловна и не так жаждет меня видеть. Помимо прочего, я не жена — просто, а «гражданская». Это к ее герцогскому стилю и не идет, они ведь в Москве теперь принадлежат к так называемому «лучшему» обществу. А ей надо быть особенно осторожной, потому что она еврейского происхождения, хотя и крещеная...

— Их общество не «так называемое», а в самом деле лучшее: цвет московской интеллигенции. И в нем о происхождении никто не думает, — сказал Рейхель без убеждения в голосе: он недолюбливал евреев.

— Нет, к сожалению, думают везде, кроме нашего революционного круга.

— Вспомнила, однако, именно ты, хотя ты принадлежишь к «революционному кругу».

— Я, конечно, пошутила. Но Татьяну Михайловну я действительно не люблю и не понимаю, почему это надо скрывать? Как тебе должно быть давно известно, я вообще привыкла называть вещи своими именами.

— На вокзальном перроне можно и не говорить о твоей глубочайшей философии жизни.

— А в гостях у Ласточкиных я чувствую себя как свергнутый южноамериканский диктатор, укрывшийся в чужом посольстве: может быть, хозяева мне и рады, а вернее, они желают, чтобы я поскорее уехала. Со всем тем я ничего против них не имею. Дмитрий Анатольевич очень хороший человек, он в буржуазии белая ворона.

— То-то и есть, что ты всю буржуазию не любишь.

— Любить и не за что. Конечно, есть исключения. Дмитрий Анатольевич хоть понимает очень многое, он из лучших представителей своего класса и поэтому...

— Какой там класс! — сказал Рейхель, не дослушав.

— Да, да, знаю, никаких классов нет, и социологию вообще кто-то выдумал, а есть только биология, — сказала Люда пренебрежительно. — Но вот что, если тебе там будет приятно, то посиди в Монте-Карло несколько лишних дней. Я все-таки и сама поехала бы, если б не партийная работа. Так и скажи Дмитрию Анатольевичу, непременно скажи. Он, наверное, много мог бы рассказать о настроениях среди московских рабочих. Как это Татьяна Михайловна не заезжает ни этот раз в Париж, к своему Ворту? — насмешливо спросила Людмила Ивановна. Она, впрочем, и сама, несмотря на скромные средства, одевалась недурно. Умела заказывать и покупать все недорого, сама, без парикмахера завивала волосы щипцами и «притиралась» (не принято было говорить: «красилась»). На ней и теперь, с утра, был элегантный синий жакет с модной длинной, расширявшейся книзу юбкой. Люда говорила некоторым знакомым, что «признает и абсолютную красоту, и условную красивость». Впрочем, такими изречениями не злоупотребляла. — Смотри: Джамбул! — вдруг сказала она и радостно закивала хорошо одетому человеку, вышедшему из туннеля с двумя молодыми дамами (Люда быстро-внимательно их оглядела). Этот человек тоже радостно ей улыбнулся, снял шляпу и, что-то сказав дамам, подошел к Люде. Лицо у него было красивое. «Из тех, что называют породистыми, а глаза и губы из тех, что называют страстными или чувственными. На лбу следы шрама. Что еще за субъект?» — с неудовольствием подумал Аркадий Васильевич. — Какая неожиданная встреча! Вы не знакомы: Рейхель. Джамбул.

— Очень приятно познакомиться. Я о вас слышал... Да, очень приятная неожиданность. — Он говорил с кавказским акцентом. Его дамы окинули Людмилу Ивановну не очень дружелюбным взглядом, прошли дальше и остановились у выхода. — Вы уезжаете?

— Нет, я его провожаю. Да наденьте же шляпу... Откуда вы?

— Из Фонтенбло... Что Ленин?

«Значит, и этот из их компании», — с еще большим неудовольствием подумал Рейхель.

— Ильич? Ничего, все благополучно.

— Это нехорошо, человек не должен жить благополучно, — сказал, смеясь, Джамбул. — Готовится к съезду?

— Готовится. А что вы? Получили мандат?

— Помилуйте, от кого? Но я все-таки приеду.

— Мы вам устроим совещательный голос.

— Не надо мне никакого голоса. Не люблю трюков. Не люблю и голосовать.

— Ось лихо! У меня у самой будет только совещательный.

— Вы другое дело... У вас отличный вид. Еще похорошели. И так элегантны, — сказал он. Был всегда очень вежлив и подчеркнуто любезен с дамами, но любезность точно бралась им в какие-то кавычки. Кое-кто находил ее нахальной. «Глаза у этой Люды красивые, хоть ложно-страстные», — определил Джамбул.

— Мерси. Меня обычно бранят товарищи за то, что я стараюсь не походить на чучело вроде Крупской. А вот вы одобряете. Долго ли пробудете в Париже?

— Еще не знаю. Разрешите к вам зайти?

— Буду искренно рада. Вы всегда так интересно рассказываете.

Рейхель зевнул демонстративно. Джамбул на него взглянул и простился, опять вежливо подняв шляпу над головой.

— Кто такой? — спросил Аркадий Васильевич. — От наружности впечатление: не дай Бог ночью встретиться в безлюдном месте.

— Ну, вот, ты так всегда! Говоришь, что я не люблю буржуазию, а сам все больше ненавидишь революционеров. С годами ты станешь черным реакционером!.. Он очень мне нравится. Красивый, правда? И вдобавок геркулес, хоть только чуть выше среднего роста. Интересный человек. О нем рассказывают легенды! Говорят, он с кем-то побратим! Ты знаешь, что это такое? Один разрезает у себя руку, другой выпивает кровь, и с тех пор они братья до могилы!

— Я не знал, что этот обычай принят у марксистов, — сказал саркастически Рейхель. — С кем же он побратим? С Лениным или с Плехановым?

— Дурак! С кем-то на Кавказе. И еще у него, кажется, была там американская дуэль, если только люди не врут.

— Наверное, врут и с его же слов. Всех перевешать! — сказал рассеянно Аркадий Васильевич. Он часто ни к селу, ни к городу произносил эти бессмысленные слова; впрочем, произносил их довольно мирно.

— Сейчас всех своими руками перевешаю.

— Как ты его назвала? Джамбул?

— Это, конечно, псевдоним. Он не то осетин, не то ингуш или что-то в этом роде, во всяком случае, мусульманин. Обе дамы красивые. Ведь у мусульман разрешается многоженство? — спросила, смеясь, Люда. — И какой учтивый, это у нас редкость... Ну, вот кричат «En voitures!» * Садись поскорее. Я тебе в кулек положила сандвичи, пирожки, яблоки. С голоду не умрешь. А то выброси кулек за окно и пойди в вагон-ресторан, я непременно так сделала бы. Ну, счастливого пути, Аркаша!

Они поцеловались.

— До свиданья, милая. Пожалуйста, помни, что, несмотря на страдания пролетариата, надо каждый день и завтракать и обедать. Не экономь на еде, лучше умори голодом проклятую кошку...

— Типун тебе на язык!

— «Нехай вина сказытся». Говорю в подражание тебе. Ты такая же украинка, как я. Или как римский папа. Умоляю тебя, не работай ни на кошку, ни на партию, нехай и вина сказытся.

— Отстань, нет мелких, — сказала Люда. У нее тоже были бессмысленные присказки. — Как это я еще тебя терплю?

— Грозное «еще».

* посадка (франц.)

— Сердечный привет Дмитрию Анатольевичу. Так и быть, кланяйся и его герцогине. И не забудь исполнить мою просьбу о Морозове.

— Исполню, но с проклятьями.

Как только Рейхель вошел в вагон, Людмила Ивановна направилась к выходу. Заключительной части вокзального ритуала, с воздушными поцелуями после отхода поезда, она не соблюдала. Своей быстрой, энергичной походкой — всегда казалось, что она бежит, — прошла к киоску, купила газету, подумала, что возвращаться домой не стоит, они жили далеко, в меблированных комнатах около Пастеровского института, а часа через полтора у нее было назначено деловое свидание в центре города. «Разве выпить здесь чашку кофе?»

В кофейне она просмотрела газетные заголовки, большие и малые. О предстоявшем в Брюсселе съезде русских социал-демократов нигде не упоминалось. «Разумеется! Если б еще мы были жоресистами, тогда все же писали бы. Но мы настоящие революционеры, а они о революции думают как о прошлогоднем снеге».

К ней подошел котенок. Люда ахнула от восторга и заговорила по-кошачьи: «Бозе мой, Бозе мой, мы такие симпатицные, мы хотели бы выпить молоцка!» Вылила остаток молока на пол, котенок слизнул и ушел. Она обиделась. «Пора и мне уходить. Взять с собой газету? Не стоит. Пусть лучше гарсон прочтет, ему и это будет полезно для развития классового сознания. К какому классу принадлежат гарсоны?.. Аркаша, верно, уже погрузился в свой ученый хлам»...

Она еще называла его Аркашей, в третьем лице, в разговорах со знакомыми говорила «Рейхель». «Неподходящее было дело», — думала Люда, разумея их связь, длившуюся уже более двух лет. Думала, однако, без сожаления: вообще над своими поступками размышляла недолго и почти никогда ни о чем не сожалела. «Сошлись, ну и сошлись. Он, верно, про себя имеет для этого какое-нибудь физиологическое объяснение: тогда очень долго не имел женщин, что ли? Можно и разойтись. Я отлично сделала, что отказалась пойти с ним в мэрию».

Людмила Ивановна с самого начала сказала Рейхелю, что стоит за полную свободу. «Это, кажется, проповедует ваша товарищ Коллонтай... Как, кстати, о ней говорить: «ваша товарищ» или «ваш товарищ»?» — «Мне все равно, кто что проповедует! Я живу своим умом. И ничего нет остроумного в насмешках над словом «товарищ»!» «Да я нисколько и не насмехаюсь. Товарищи есть даже у министров. Я, впрочем, никогда не понимал, как это цари ввели такой фамильярный чин. «Виц» был гораздо естественнее». «Хорошо, но, возвращаясь к делу, я тебя честно предупреждаю: если ты мне надоешь, то»... «А почему тебе не сказать: «Если я тебе надоем, то»?» «Совершенно верно. То в обоих случаях мы миролюбиво расстанемся». Теперь думала, что Рейхель очень порядочный человек, но слишком сухой и скучный. Не умный и не глупый. «Ну, пусть поживет по-буржуазному и немного отдохнет от моих обедов с герцогиней Ласточкиной, née Kremenetzky *». Люда уверяла, что умеет готовить только бифштекс и самую простую из тридцати французских яичниц. «Да еще теоретически знаю, как варят борщ, — говорила она знакомым, — но он требует много времени, а Рейхель не замечает, что ест. Надежда Константиновна стряпает не лучше меня и за обедом изрекает глубокие истины. Недаром Ильич любит пообедать в ресторанчике и тогда становится очарователен». Она обожала Ленина и недолюбливала Крупскую.

Аркадий Васильевич в самом деле тотчас углубился в книгу научного журнала. Мысленно подверг критике каждое положение работы известного ученого и признал ее неубедительной. Радостно подумал о своем собственном исследовании. Оно шло прекрасно. «Верно, вызовет шум. Но получить кафедру будет все же не так легко, как говорит Митя. Он просто этого не знает. Конечно, скажут: «Нет, молод, пусть поработает лаборантом». Идти в лаборанты ему очень не хотелось. «Разве Митя действительно достанет деньги и на институт? Вот было бы хорошо! Но и тогда, верно, скажут, что молод!» В последний год единственным его желанием было стать директором лаборатории, совершенно самостоятель-

* урожденная Кременецкая (франц.)

ным во всех отношениях. Главным препятствием была его молодость. «Дадут тогда, когда силы, творческие способности уменьшатся. Как глупо, как нелепо!»

На соседей по вагону он еле взглянул. У него была особенность: запоминал чужие лица только после довольно продолжительного знакомства, а случайных знакомых никогда при новой встрече не узнавал. Этот физический недостаток его огорчал, и он старался развивать свою зрительную память. Люда часто называла его пренебрежительно «гелертером» *, и это его раздражало. «Ну да, если человек занимается наукой и не интересуется социал-демократическими съездами и бабьими финтифлюшками, то значит «гелертер»! На самом деле даже непохоже. Меня действительно не интересуют средние люди, но только средние. Когда я был в университете, мне хотелось написать монографию о Роджере Бэконе. Даже материалы стал изучать», — сказал он как-то Люде. «А кто такой Роджер Бэкон? Спрошу Ильича, что он думает о Роджере Бэконе». «Да твой Ильич, может быть, о нем сам не слышал. Ты у меня спросила бы, я рассказал бы тебе в свободное время». «Ильич не слышал! Нет вещи, которой Ильич не знал бы. И уж извини, его мнение меня интересует больше, чем твое». «В этом я ни минуты и не сомневался!» Это было их общее выражение, всегда произносившееся обоими с некоторым вызовом.

Соседи мешали ему сосредоточиться на ученой работе. Всего больше раздражал его пассажир, спавший против него со странно заложенными позади головы руками. «Нормальный человек так спать не может, да и незачем утром спать. И ноги он вытянул довольно бесцеремонно, точно я не существую». Кто-то в отделении достал из мешочка еду, другие оживились и сделали то же самое. Рейхель отложил журнал и развернул свой кулек. «Позаботилась Люда!.. Собственно, я ничего не могу поставить ей в вину, кроме ее проклятой революционности. Но я знал, что она революционерка, следовательно, не могу упрекать ее и в этом. До сих пор не могу понять, зачем я ей тогда понадобился. Мало ли у них этаких Джамбулов? Впрочем, нехорошо так думать, это не по-джентльменски». Он выбросил за окно пустой кулек, опять с досадой взглянул на спящего человека и углубился в журнал.

III

На вокзале в Монте-Карло поздно вечером его встретил Ласточкин. Татьяна Михайловна была не совсем здорова.

— Нет, решительно ничего серьезного, просто немного простужена. У нас здесь были и холодные дни, погода все менялась, а Таня легко простуживается. Сейчас ее увидишь, она нас ждет. Ну, как ты? Вид у тебя усталый. Переработал? За год ты еще похудел. Брал бы пример с меня.

— Да, ты немного полнеешь. Ты стал еще больше похож на Герцена, — сказал Аркадий Васильевич. — Люда шлет сердечный привет вам обоим.

— Не говори мне о Люде, я не хочу о ней слышать! Какое безобразие, что она не приехала! Что это за довод, будто она очень занята! Мы ее год не видели.

— Скоро мы вернемся в Москву.

— Да, но это не резон. Так хорошо провели бы с ней время в Монте-Карло... Хорош и ты! Приехал в третьем классе! Просто беда с вами... У тебя нет ничего в багажном вагоне?

— Ничего нет, я приехал налегке. В этом чемодане только белье, перемена платья и смокинг. Я ведь знаю, что в вашей гостинице смокинг необходим.

— Совершенно необходим. А из-за этого третьего класса ты опоздал к обеду. Мы и то удивились, узнав, что ты приезжаешь поздно вечером, есть лучшие поезда. Porteur! — закричал Дмитрий Анатольевич.

— Собственно и носильщик не нужен. Мой чемодан не тяжелый, легкий.

* кабинетный ученый (нем.)

— Быть может, ты хочешь пешком тащить чемодан и в гостиницу? Всегда ты был чудаком и останешься им до седых волос... Не спрашиваю тебя о работе, знаю, что она идет прекрасно. Ты будущий наш Пастер!

— Не произноси всуе имя Пастера, — сказал Рейхель, впрочем, довольный. Как всегда бывает при первой встрече после долгой разлуки, он не находил предмета для разговора. — А как твое здоровье? Что одышка?

— Пока очень легкая. Верно, слишком много ем и пью. Ты не можешь себе представить, что творилось в Москве, особенно в пору праздников! На Новый год мы помимо того, что должны были разослать сотни поздравительных карточек и десятки подарков, еще...

— На редкость нелепый обычай! Я никому карточек не посылаю. Только даром люди тратят время и причиняют знакомым неприятность.

— Совершенно с тобой согласен, но не я этот обычай выдумал... А помимо этого завтраки, обеды, ужины следовали один за другим — и какие! Мой врач уже грозит, что летом сошлет меня в Мариенбад!.. Вот извозчик, садись...

— А отчего вы не взяли с собой Нину? — спросил в коляске Рейхель.

— Ни за что не хотела поехать. Знаешь, она теперь погрузилась в архитектуру.

— Да, ты писал. Странное занятие для женщины! Если б ты хотел выстроить себе дом, поручил ли бы ты это дело даме? Но чем же ей архитектура мешала поехать с вами?

— Вот, поди ж ты, мешала! — ответил весело Ласточкин. — Теперь на Воздвиженке строится великолепное палаццо... Нет, не палаццо, а «палаты». Они у нас все, и купцы, и аристократия, помешались на русском стиле. Архитектор с немецкой фамилией строит... Как по-немецки «палаты»? Скажем, «палатен», «echt Russisch». Я ей выхлопотал разрешение следить за постройкой. Нина очень увлечена и проводит там целые дни. — Он знал, что его сестра не поехала с ними за границу не поэтому: просто не хотела им мешать и вводить их в расходы. «Так же щепетильна, как Аркадий. Оба чудаки», — подумал он, хотя и сам на их месте поступал бы точно так же. — А отчего женщине не быть архитектором? Не бойся, я не произнесу тирады в защиту женского равноправия и не сошлюсь на Софью Ковалевскую. Но я очень рад увлечению Нины. Это гораздо лучше, чем ждать, пока какой-нибудь холостяк удостоит ее внимания. Мне всегда было жаль девушек, у которых нет другого дела, как ждать появления жениха и тщательно это скрывать. Или, еще гораздо хуже, смотреть, как для нее т р а в я т жениха родные.

— Да, ты прав, — сказал Рейхель. — Какое прекрасное место Монте-Карло! И какой воздух!.. Этот сад, кажется, прозван «Садом самоубийц»? Здесь будто бы кончают с собой люди, проигравшиеся в притоне? — спросил он.

Ласточкин поморщился.

— Вероятно, такие случаи очень редки. Никогда не мог понять, почему люди кончают с собой. Жизнь так прекрасна! Да еще расставаться с ней только потому, что не стало денег! Их очень легко наживать.

— Ну, не очень легко.

— Ты просто не пробовал. Если я вдруг потеряю состояние, которого у меня десять лет тому назад и не было, то я вздохну, сообщу Тане, она тоже вздохнет, а вечером пойдем в оперу, особенно если будут «Мейстерзингеры», это наша любимая, от нее веет радостью жизни. А на следующее же утро опять примусь за работу и думаю, что скоро у меня опять появятся деньги. Впрочем, не сочти это за хвастовство или за излишнюю самоуверенность.

— Ты «победитель жизни», как, кажется, пишут романисты. Я уверен, ты со временем станешь одним из богатейших людей России, — сказал Аркадий Васильевич. Он был лишь немногим более завистлив, чем другие люди; завидовал только прославившимся биологам и не завидовал богачам; но в тоне его скользнуло что-то неприятное.

Ласточкин на него взглянул.

— На это пока очень непохоже, — смеясь, сказал он. — Вот мы и приехали.

Татьяна Михайловна ждала их в салоне роскошного номера. Ей было еще далеко до того возраста, когда человек уже не может быть вполне здоровым, когда люди начинают подумывать, от чего умрут, начинают соблюдать режим и следить даже за чужими болезнями. Но вид у нее был очень утомленный. Как всегда, она была хорошо и просто одета. Рейхель постарался запомнить ее пеньюар. «Люда будет спрашивать. И ни под какую герцогиню Таня не подделывается. Ей от природы свойственна редкая благожелательность к людям,— думал Аркадий Васильевич с недоумением: он сам был совершенно лишен этого свойства.— Никогда никому ни одного неприятного слова не говорит». Это было верно. Самой основной чертой в Татьяне Михайловне была, как шутил ее муж, ее редкая «лояльность»: «Никогда, например, не забывает хотя бы небольшой услуги, оказанной ей людьми, и уж этим людям верна до гроба».

Она расспрашивала Рейхеля об его работе, об их жизни в Париже, мягко попеняла, что он не привез с собой жену. «Моя работа ее совершенно не интересует, Люду она не любит, между тем она очень правдива. Странно».

— Привезли с собой талисман, Таня,— сказал он, показывая на фотографию Дмитрия Анатольевича, стоявшую на столике в углу.

Татьяна Михайловна засмеялась. Она обожала мужа. У них детей не было. Рейхель знал, что это было единственное горе их жизни. Это тоже очень его удивляло.

— Привезла, хотя оригинал находится тут же... Должно быть, вы очень проголодались, Аркадий? Хотите, мы закажем ужин сюда, в номер, чтобы вам не переодеваться,— сказала она, скользнув взглядом по его потертому пиджачку с засыпанным перхотью воротничком.

— Какой там ужин! Я в вагоне очень плотно поел, Люда мне отпустила всего точно на полк солдат. Но вы не бойтесь, Таня, у меня есть смокинг, и я завтра же его к обеду надену. Правда, не очень элегантный. Я его купил в «Бон-Марше» готовым за сто франков. Спешно понадобился для парадного обеда.

Ласточкин благодушно улыбался. Аркаша всегда говорит такие вещи точно с вызовом! Рейхель помнил, что еще в ту пору, когда они оба были бедны и он покупал подержанное платье, его старший кузен заказал себе костюм за тридцать пять рублей «из настоящего английского материала»,— об этом почтительно говорили в их городке. Теперь Дмитрий Анатольевич одевался превосходно. В Петербурге заказывал костюмы у Сарра, а в последние годы кое-что заказывал в Лондоне у Пуля, к которому получил необходимую рекомендацию. Он умел хорошо носить даже сюртук, самый безобразный из костюмов.

Улыбалась и Татьяна Михайловна.

— Узнаю вас, Аркадий. Когда вы вернетесь в Москву, мы вами займемся. У нас и ученые хорошо одеваются. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»... Но что же вы будете теперь делать, друзья мои? Не сидеть же вам весь вечер с бедной больной... Нет, нет, я этого не потерплю. Разве пойдете в казино? Не пугайтесь, играть совершенно необязательно. Но и там нужен смокинг.

— Со мной пустят и без смокинга. Меня уже знают, достаточно оставил тут денег!— сказал Ласточкин.— Так ты решительно не пойдешь с нами, Танечка?

— Нет, поздно, я лягу, немного болит голова. Аркадий извинит меня, завтра обо всем как следует поговорим.

— Ну, что, как тебе нравится этот притон?— спросил Дмитрий Анатольевич, когда они, походив по раззолоченным залам, уселись за столик в кофейне. Рейхель предпочел бы вернуться в гостиницу и тотчас лечь спать: был утомлен дорогой и привык ложиться рано. Но ему казалось, что его двоюродному брату очень хочется поговорить. «Вероятно, об умном. В Москве Митя имеет репутацию «прекрасного передового оратора». Ох, недорого стоят все их легко приобретаемые общественные ярлычки».

— Да я здесь раз был два года тому назад. Разумеется, ни одного сантима тут не оставил. Не понимаю этого удовольствия. Эти груды золота на столах, эти искаженные лица игроков, которые старательно делают вид, будто им, при их богатстве, совершенно все равно. Неужели и ты, Митя, здесь много проиграл?

— Нет, не очень много. А если говорить правду, то в Москве теперь идет гораздо более крупная игра, чем в Монте-Карло. Один из Морозовых, Михаил Абрамович, в одну ночь проиграл миллион рублей табачному фабриканту Бостанжоглю.

— Миллион рублей!

— Так точно. Ты не можешь себе представить, что такое нынешняя Россия. Мы все читали о разных Клондайках и Трансваалях, где люди быстро наживали огромные состояния. Так вот, наша милая, старая Москва теперь почище всяких Клондайков. Наши богачи и живут так, как американские миллиардеры: по телеграфу, не глядя, покупают имения, виллы, чуть ли не заказывают экстренные поезда или отдельные вагоны. Это глупо, но наряду с этим они делают и очень хорошие, полезные дела.

Он заказал напитки и стал с увлечением рассказывать о Москве, о росте русской промышленности, о создающихся громадных богатствах, о больших частных пожертвованиях. Говорил он так хорошо, что и Аркадий Васильевич заслушался, хотя мало интересовался ростом русской промышленности. «Очень способный человек Митя, даже талантливый, но тоже кое в чем странный. Грюндер?* Нет, какой он грюндер? Скорее поэт»,— подумал Рейхель, у которого поэт был едва ли лучше грюндера. Он, впрочем, любил своего двоюродного брата; любил бы еще больше, если б не был вынужден жить на его деньги. «И манера речи у него необычная, уж очень всех и все уважает»,— думал Рейхель, почему-то вспомнив одного своего собрата, который никогда не говорил «Гете» или «Леонардо да Винчи», а всегда «великий Гете», «гениальный Леонардо да Винчи» и даже современников называл и за глаза по имени-отчеству: не «Мечников», а непременно «Илья Ильич Мечников».

— В известном анекдоте об Англии,— сказал Дмитрий Анатольевич,— британского помещика иностранцы спрашивают, почему в Англии такие превосходные луга, площадки для игр, для цветов. «Это очень просто,— отвечает помещик.— Надо только ухаживать за ними семьсот лет». Кажется, все восторгаются этим ответом. А я удивляюсь: хорошо было бы человечество, если б ему нужно было семьсот лет для устройства хороших лужаек и площадок! У нас теперь все создается со сказочной быстротой и тем не менее с любовью, со знанием дела, с размахом. Через четверть века Россия будет самой процветающей страной мира!— говорил Ласточкин.— Что было бы с ней уже теперь, если б была конституция, хотя бы куцая! Но она скоро будет. Самодержавие идет к концу. Конечно, теперь промышленники — первенствующее сословие России, а никак не дворянство, не понемногу исчезающий помещичий класс, на который самодержавие опиралось. Ты улыбаешься?

— Признаюсь, я не умею думать в категориях сословий. По-моему, «первенствующее сословие» — это интеллигенция, какова бы она ни была по паспорту.

— В этом, конечно, большая доля правды, но интеллигенция была бы бессильна без мощи торгово-промышленного капитала. Он ее поддерживает и выдвигает. Да он с ней и сливается. Вот ты мечтаешь о биологическом институте в Москве. Я чрезвычайно этому сочувствую и сделаю все для осуществления этого дела. Но кто даст деньги? Не правительство, оно не очень этим занято. Деньги дадут именно московские богачи и без всякой для себя выгоды. Просто из любви к культуре и по сознанию общественного долга. Пора перестать судить о них по пьесам Островского или Сумбатова. Поверь мне, я ведь их знаю лучше, чем писатели: я с ними годами работаю. Между ними есть истинно культурные люди. Я ничего не идеализирую. Есть тут, как везде, и снобизм, и тщеславие, и соперничество купеческих династий, все это так. У бояр было местничество, в маленькой степени оно есть и у нынешних тузов, они твердо помнят, кто когда вышел в большие люди, просто Рюриковичи и Гедиминовичи! Но главное их соревнование теперь, к счастью, в культурных делах. Первые из всех, кажется, Морозовы. Ты о Савве Тимофеевиче слышал?

* предприниматель (нем.)

— Не только слышал, но даже хотел о нем с тобой поговорить.

— Ты думаешь, что именно к нему надо обратиться за деньгами для института? Это так. Я именно его имею в виду, по крайней мере для почина. Видишь ли, на него может подействовать большое общеизвестное имя. Уж он такой человек. На славу падок. Был необыкновенно увлечен Максимом Горьким... Ты как к нему относишься?

— К Горькому? Никак. Да я почти ничего из его шедевров не читал и читать не буду. Не удивляйся. Я не прочел и четверти произведений Гете, не все прочел у Вирхова, у Клод-Бернара, так стану ли я тратить время на сокровища Горького?

— О нем и о Савве Морозове теперь больше всего и говорят у нас в Москве.

— Это делает Москве большую честь. Что ж, Люда находит, что Горький много выше Льва Толстого. Как же, ведь Горький — н а ш! Дальше она несет свою обычную ерунду о пролетариате и о классовой борьбе... Впрочем, я и к Толстому, которого ты боготворишь, отношусь довольно равнодушно. Читал недавно его письма. До того, как он «просветлел», кое-что было интересно, но с тех пор, как он стал ангелом добродетели, адская скука. А что он несет о науке! Уши вянут!

— Тебе, видно, чувство благоговения вообще не свойственно! Толстой — величайшая национальная гордость, а ты его ругаешь! Неужели тебе не совестно?

— Нет, не совестно... А как продается твоя брошюра «Промышленный потенциал Донецкого бассейна»?

— Да это и не брошюра, просто доклад, который я не так давно прочел и даже не собирался печатать. Приятель-экономист без меня предложил издательству, где он сам печатается. Недавно он мне с огорчением сказал, что продается неважно, — ответил Дмитрий Анатольевич. «Едва ли один писатель очень огорчается от того, что неважно продаются книги другого писателя», — подумал Рейхель. Ласточкин немного помолчал. — Аркадий, можно с тобой поговорить о твоих интимных делах?

— Пожалуйста.

— Скажу тебе правду, ни Таня, ни я не понимаем, почему вы с Людой до сих пор не узаконили отношений. Ведь могут быть осложнения, особенно когда будут дети.

— Люда не хочет детей. И не хочет законного брака. Говорит, что она против вечных отношений и отнюдь не уверена, что наши с ней отношения вечны.

— Не может быть!

— Так она говорит, и я с ней готов согласиться.

— Как странно! Но ведь ты ее любишь?

— Конечно, люблю, — сказал Рейхель холодно.

— Еще раз прости, что я об этом заговорил... Так возвращаюсь к Морозову. На него, по-моему, подействовало бы имя Мечникова. Ведь ты с ним хорош?

— С Мечниковым? Да, я его знаю. Мы не одного направления в науке.

— Ого! Не одного направления? Так направления есть и в биологии? И у тебя уже есть в ней направление? Это отлично. Но как ты думаешь, если б в Москве создался институт, Мечников согласился ли бы вернуться в Россию и стать его главой?

— Не думаю. Он слишком связан с Парижем, с Пастеровским институтом. Впрочем, я не знаю, — сказал Аркадий Васильевич, нахмурившись. Старший кузен смотрел на него с благодушным недоумением. «Неужели Аркаша надеется, что он сам в свои годы может стать директором?»

— Ты мог бы быть его помощником или заведующим одним из отделений, — поспешно сказал он.

— Дело не во мне. И я вообще в данном случае имел в виду не институт.

— Что же другое?

— Видишь ли, за границей известно, что Савва Морозов дает большие деньги и на политические дела...

— Действительно дает. Сколько с него перебрал на это Горький, и сказать тебе не могу. Притом на политические дела разного направления. Конечно, в пределах левого лагеря, о правых Морозов и слушать не стал бы. Он дает деньги и либералам, и социалистам всех оттенков. Между нами говоря, я думаю, что он и не очень разбирается в политических вопросах. Однако при чем же тут ты? Ведь ты политикой не интересуешься?

— Я совершенно не интересуюсь, но Люда, как тебе известно, интересуется. Она социал-демократка. У них теперь идет борьба фракций. Скоро состоится какой-то съезд, и Люда надеется, что во главе партии станет ее вождь, некий Ленин.

— Он не некий. Я о нем слышал. Говорят, выдающийся человек.

— Люда просто на него молится и всегда о нем рассказывает разные чудеса, мне и слушать надоело. Ты, впрочем, и сам сочувствуешь социалистам. Так вот, Люда тебя просит: не мог ли бы ты посодействовать тому, чтобы этот Савва дал партии деньги?

— Да он и так дает. Говорят, через какого-то Красина.

— И о нем слышал от Люды. Тоже, кажется, процветающий социалист?

— «Тоже» относится ко мне? Не протестуй, я не обижаюсь. Да, я признаю, что в учении социалистов есть немалая доля правды. Я и сам, случается, даю им деньги. Знаю, что в этом есть доля смешного. «В Европе сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию сделала знать. В сапожники, что ль, захотела?» Ты скажешь, какая же мы знать? И ты будешь прав. Твой отец был аптекарем, а мой бухгалтером. Вот и еще довод, чтобы помогать нуждающимся людям. Я, как могу, и помогаю, — сказал Ласточкин и немного смутился, вспомнив, что помогает и своему собеседнику. — Но я дал себе слово, что Таня и я не умрем бедняками. Мне повезло, теперь, пожалуй, я и сам вхожу в «первенствующее сословие». Правда, именно социалисты хотят все у нас отнять, но...

— Не у «нас»: у меня ничего нет.

— Но шансов у них на это немного. В их партию, конечно, я не пойду, хотя бы потому, что во многом с ними расхожусь, и потому, что это не мое призвание. Я здесь читал их газетки без малейшего восторга. Уж если мы с тобой об этом разговорились, то добавлю, что как люди, просто как люди, они в большинстве мне не симпатичны. Это не только мое наблюдение. Ты знаешь, как умна Таня. Она моя жена, я могу быть к ней пристрастен, но я говорю искренно. Она и умом, и своей добротой по убеждению — не знаю, как определить эту ее черту иначе, — замечает очень, очень многое.

— Она прекрасная женщина.

— «Прекрасная женщина», — повторил Ласточкин, видимо, недовольный таким определением. — Таких женщин мало на свете. Я всем обязан ей («Чем это?» — подумал Рейхель). Не говорю о мелочах. Мы когда-то жили на тысячу рублей в год, теперь проживаем около сорока тысяч, и хоть бы что в ней изменилось! Но во всем, во всем она постоянно меня изумляет, особенно своим простым, разумным подходом к жизни, тонкостью и «незаметностью» своих суждений о людях. Если есть женщина, совершенно не желающая ничем «блестеть», то это именно она. Между тем она умнее множества блестящих женщин.

— Не люблю блестящих людей вообще, а особенно блестящих женщин, с их утомительными разговорами, мнимым умом и сомнительными талантами.

— Ну, уж это слишком, — сказал с некоторым недоумением Дмитрий Анатольевич. — Мы почему заговорили о Тане?.. Да, так, видишь ли, мы теперь часто бываем в самых разных слоях общества. Зовут нас иногда в аристократические салоны, часто бываем и в обществе левых наших интеллигентов, настроенных почти революционно или даже вполне революционно. И Таня как-то мне сказала: «Разумеется, хорошие и плохие люди есть везде, это общее место, но мне кажется, что всего больше симпатичных, привлекательных людей теперь именно в среде либеральной русской буржуазии: она добра именно от своей удачливости».

— Ты, однако, только что говорил об ее снобизме и местничестве,— сказал Рейхель. «Ну, эта мысль Тани еще не так свидетельствует о тонкости ее ума! Митя в нее влюблен и теперь, как в пору их женитьбы»,— подумал он.

— Где этого нет? Есть и у левой интеллигенции. Все познается по сравнению. Буржуазия и жертвует больше, чем все другие. Разумеется, я хочу сказать, больше пропорционально.

— По-моему, ты себе несколько противоречишь.

— Может быть. Ты, кстати, видел ли людей, которые себе никогда не противоречили бы? Я что-то таких не знаю... Кающиеся дворяне у нас были, кающиеся буржуа есть сейчас, но кающихся революционеров как будто нет. Ах, как жаль, что Люда не приехала,— сказал он со вздохом,— я с ней поспорил бы. Разумеется, я не отказываюсь исполнить ее желание. Однако нельзя же просить Морозова сразу о двух вещах: и о биологическом институте, и о деньгах на социал-демократическую партию.

— Тогда, разумеется, проси об институте.

— Ясное дело. Но я не могу отказать Люде. Знаешь что, у Саввы Тимофеевича есть молодой племянник, некий Шмидт, уж не знаю, как в их ультрарусскую семью попал человек с немецкой фамилией. Этот Шмидт самый настоящий революционер. Я его знаю. Хороший человек. Он далеко не так богат, как Морозовы, но все-таки деньги у него большие и он их раздает щедро. Я с ним поговорю о просьбе Люды и думаю, что он мне не откажет... Странная семья эти Морозовы, особенно Савва Тимофеевич. У меня к нему, не знаю, почему, очень большая симпатия, мне даже самому совестно: ведь в конце концов независимо от его достоинств, главная его сила в огромном богатстве. Если б он был беден, люди им интересовались бы неизмеримо меньше.

— Даже совсем не интересовались бы,— вставил Рейхель.

— Он очень странный человек. Вот ты упомянул о самоубийцах,— опять поморщившись, сказал Ласточкин.— Близкие к нему люди рассказывали мне, что самоубийство — у него любимая тема разговора!

— У Морозова-то? Значит, он с жиру бесится.

— В нем есть потемкинское начало. Я где-то читал, будто князь Потемкин однажды за ужином сказал что-то вроде следующего: «Все у меня есть! Хотел иметь миллионы — имею! Хотел иметь великолепные дворцы — имею! Хотел иметь сильных мира у моих ног — имею! Все имею!» Сказал — и вдруг с яростью и с отчаяньем рванул со стола скатерть с драгоценной посудой, разбились фарфор и хрусталь! Так и Морозов имеет решительно все и в отличие от Потемкина от рождения. Должность князя Таврического была все же не синекура,— сказал с усмешкой Дмитрий Анатольевич,— а Савва Тимофеевич только дал себе труд родиться сыном, внуком, правнуком богачей. Ну, хорошо, бросим это... Скажи, а Люда не влопается в историю? Ты говоришь, съезд. На нем могут быть и секретные агенты полиции. Вдруг ее арестуют на границе, когда вы вернетесь в Россию, а? Стоит ли рисковать?

— Я ей все это говорил сто раз. Но Люда упряма, как осел,— сказал Рейхель.

Дмитрий Анатольевич поморщился.

— Правда, волка бояться — в лес не ходить. Но, с твоей точки зрения, политика вообще ерунда, ведь так? Ты мне когда-то говорил, что единственное важное дело в жизни — это биология и что величайший в мире человек — Пастер.

— И правду говорил. То есть *настоящий* Пастер, а не католик с мистикой и метафизикой. А по-твоему, кто величайший?

— Не знаю. Но не беспокойся, я не отвечу: Савва Морозов,— весело сказал Ласточкин.

— И на том спасибо.

— Разве ответишь на такой вопрос в одной фразе?.. Недалеко отсюда есть площадь, с которой Сантос-Дюмон недавно совершил свой знаменитый полет. Он продержался в воздухе почти две минуты!

— Так он, что ли, великий человек? Это просто акробатия.

— Не говори! Это зародыш чего-то очень большого. Я читал его интервью. Он взял себе девиз из Камоэнса: «Por mares nunsa d'antes navigata». Кажется, так? Я по части литературы швах, хотя стараюсь следить.

— Я и не стараюсь. А что это значит?

— «Плыть по морям, по которым никто еще никогда не плавал». Прекрасный девиз, так надо бы и всем нам, грешным.

Он заговорил о воздухоплавании с еще большим увлечением, чем прежде о хозяйственном росте России. Рейхель слушал теперь несколько недоверчиво.

— Если б я был очень богат, то попытался бы создать в России воздухоплавательную промышленность.

— Очень уж ты увлекаешься, Митя,— сказал Аркадий Васильевич.— А что, кстати, твоя пишущая машинка?

Ласточкин вздохнул. Он был по образованию инженер-механик и составлял в свободное время проект пишущей машины с русским и латинским шрифтами — первой русской пишущей машины, которой в честолюбивые минуты хотел дать свое имя.

— Подвигается, но уж очень медленно, у меня так мало времени,— ответил он и учтиво-холодно поклонился появившемуся на пороге кофейни очень элегантному, красивому человеку. Тот, чуть прищурившись, наклонил голову и, окинув кофейню взглядом, вышел.

— Кто это? — спросил Аркадий Васильевич.— Не сам ли принц монакский? Уж очень королевский вид.

— Не принц, но граф. Это австрийский дипломат, с которым мы познакомились в поезде, когда ехали сюда из Вены. И имя у него шикарное: граф Леопольд Берхтольд фон унд цу Унгарсшитц. Очень высокомерный человек. Вся эта каста еще думает, что призвана править Европой. На самом деле прошло или проходит ее время, и слава Богу,— сказал Дмитрий Анатольевич.— А то она непременно довела бы Европу до войны. И не по злой воле, а просто по наследственному злокачественному легкомыслию.

— Ну, и у нас есть люди такого типа. Даже в интеллигенции. Почти все русские, которых я встречаю в Париже, германофобы. Между тем немецкая наука теперь первая в мире.

— Никакой войны больше не будет. Это было бы слишком чудовищно-глупо.

— Да, может, потому и будет, что чудовищно-глупо.

— Уж ты хватил! Я начисто отрицаю пессимизм и мизантропию. Они только мешают жить и работать.

— Мне нисколько не мешают,— возразил Рейхель.

IV

Этому человеку не везло в молодости. Он довольно долго жил в нищете. Социалисты в ту пору говорили и даже думали, что таков «принцип буржуазии»: не давать пролетариям возможности выходить в люди. Разумеется, никогда у правящих классов такого принципа не было. Во все времена они старались привлекать к себе отдельных способных людей из низов и позднее ими хвастали. И лишь чистой случайностью надо считать то, что очень небогатая, мало смыслившая в политике буржуазия, мирно управлявшая делами в Довии, в Форли, в Предаппио, не обратила внимания на этого молодого человека. Вдобавок семья его была хоть и крестьянская, но старая, жившая в этих местах столетья, а сам он был, при тяжелом и буйном характере, человек чрезвычайно способный, и ум у него был живой, и руки были золотые; он имел какой-то школьный диплом и уже тогда немного владел иностранными языками. Некоторые земляки считали его не совсем нормальным. В школе он был груб с товарищами, особенно с теми, у которых были состоятельные родители, вечно дрался, однажды пустил чернильницей в учителя. Учился же недурно: вышел первым по итальянской литературе и по музыке.

Девятнадцатилетним юношей он переселился в Лозанну. Его там считали политическим эмигрантом, но это было неверно. Получив на родине место школьного учителя, он скоро признал, что учить маленьких детей — для него дело неподходящее; государство щедро оплачивало его

труд 56 лирами в месяц; стоило попытать счастья в других странах; а ему вдобавок очень хотелось путешествовать, видеть новое, иметь приключения.

Однако в Швейцарии в первое время пришлось ему уж совсем туго. Он развозил по лавкам в тележке вино, работал, как полагалось, одиннадцать часов в сутки, получал по тридцать два сантима в час, порою ночевал в сорном ящике. Случалось, просил милостыню, стучал в окна и грубо требовал хлеба — иногда и получал. Впоследствии сам рассказывал, что как-то, увидев в пустом саду двух закусывавших на скамейке английских туристок, насильно отобрал у них хлеб и сыр (может быть, и привирал).

Он находил время для чтения. Читал без разбора, но преимущественно серьезные книги: Ницше, Штирнера, Нордау, Кропоткина. Странным при его характере образом подпадал под влияние чуть ли не каждого знаменитого автора. Прочел «Коммунистический Манифест» и объявил себя марксистом. Где-то раздобыл медаль с изображением Карла Маркса и всегда ее при себе носил. Впрочем, называл себя и анархистом. Скоро он стал встречаться с революционерами и с революционерками. Всегда нравился женщинам, даже до времени своей мировой славы. С одной не повезло.

Жить ему хотелось страстно, необычайно, много более жадно, чем хочет жить громадное большинство людей. И аппетит у него был волчий. Он часто останавливался у окон дорогих ресторанов, смотрел, как едят и пьют туристы, заглядывался на хорошо одетых дам. Говорил товарищам: «Как я ненавижу богачей! О, проклятая нищета! Сколько же времени мне еще придется все это терпеть!» По вечерам делал то, что полагалось делать настоящим эмигрантам, пока с годами им это не надоедало: посещал митинги, слушал заезжих ораторов, Жореса, Бебеля, Вандервельде. Они говорили дело и говорили хорошо, но ничего особенного в их ораторском таланте он не находил: сам бы мог сказать не хуже, да вопрос не в том, как говорить, а важно, кто говорит: одно дело, если знаменитый член парламента, а другое если эмигрант в лохмотьях. У Жореса хоть голос был особенный, медный, громоподобный, а у других и этого не было. Расспрашивал о них. Многие социалисты вышли из настоящей богатой буржуазии: им было нетрудно выбраться в люди. Правда, Бебель будто бы был в молодости рабочим, но выдвинулся тогда, когда еще почти никакой конкуренции не было. «Ученые? Едва ли, разве только опять-таки Жорес, а Бебель и знает не больше, чем я. Сыты, хорошо одеты, живут именно как буржуа. И только я один голодаю и не выхожу в люди!» — с все росшей ненавистью думал он.

Больше всего он ненавидел бы Бога, если б не знал с мальчишеских лет, что никакого Бога нет; ему объяснили старшие товарищи: об этом серьезно и говорить нельзя. Решил раз навсегда все объяснить всем. В Лозанну приехал из Рима для религиозной пропаганды, для диспутов с неверующими пастор Талиателли. Такие диспуты происходили тогда нередко, особенно в Париже. Знаменитый анархист Себастиан Фор ездил по Франции с одной и той же лекцией: «Двенадцать доказательств того, что Бога не существует».

Фор был превосходный оратор, его лекции неизменно собирали огромную толпу, и возражать ему приходили ученые, красноречивые священники. В Лозанне же все было гораздо скромнее, публика состояла из простых людей, они спорить не умели, хотя, быть может, религиозными вопросами интересовались; часть их аплодировала священникам, часть безбожникам. В этот день, 7 сентября 1903 года, никто из оппонентов не пришел, и слушатели после лекции уже вставали с мест, когда кто-то из публики сказал:

— Я прошу слова!

И даже не сказал, а прокричал с такой силой и резкостью, что все насторожились; выходившие люди остановились у дверей. На трибуну поднялся бледный человек в лохмотьях, с худым, изможденным лицом, с густой щетиной на щеках, с блестящими черными глазами, с выдающимся подбородком. Он был похож немного на Паганини, немного на Бонапарта и очень этим гордился. Его голова была бы интересна и Рембрандту, и Лафатеру.

— Меня здесь никто не знает, — громко, отчетливо сказал он, откинув назад голову. — Зовут меня Бенито Муссолини. Я итальянский эмигрант, чернорабочий. Я долго говорить не буду, скажу только несколько слов. Но для этого мне необходимы часы, а у меня часов нет, они мне не по карману. Не даст ли мне кто-либо свои?

Публика смотрела на него с недоумением, его действительно никто не знал. Слушатели не спешили исполнить его желание, — вдруг и не отдаст? Пастор с улыбкой протянул ему свои часы. Он поблагодарил.

— Теперь без пяти минут одиннадцать, — еще громче и отчетливее сказал он. — Я утверждаю, что никакого Бога нет! И приведу только одно доказательство. Даю вашему Богу, уважаемый пастор, пять минут времени. Если он существует, то пусть поразит меня за богохульство...

И, подняв глаза к потолку, обращаясь к Богу, прокричал грубую брань.

Публика молча с изумлением смотрела то на него, то на пастора.

— Как видите, нет Бога! — с торжеством сказал он через минуту. Знал, что пять минут ждать нельзя: пропадет эффект. Положил часы на стол и сошел с трибуны.

Эффект оказался большой. Пастор Талиателли взволнованно вызвал его на большой, серьезный диспут. Он принял вызов. Диспут действительно скоро состоялся. О Муссолини заговорили, публики пришло много, его речь против религии была напечатана каким-то издательством.

С той поры он особенно острой нужды не знал. Начал писать в революционных изданиях, они что-то платили, хотя и очень немного. Писал статьи богохульные и статьи политические об итальянских и русских делах. Когда царь должен был приехать с визитом в Италию, Муссолини напечатал статью о «зловещем палаче с берегов Невы». Много позднее, всего лет за десять до своего прихода к власти, написал восторженную статью об убийстве Столыпина и призывал к цареубийству. Выступал на маленьких собраниях, говорил о «социалистическом фагоцитозе», сходном с «фагоцитозом физиологическим», который открыл «русский ученый Метчников» (т. е. Мечников). Получил от рабочих карточку на бесплатные обеды. Кое-какие гроши присылала из Италии мать. Таким образом мог жить, хотя и скудно.

Разумеется, вскоре после его смерти были с оглаской на весь мир напечатаны сенсационные документы, «неопровержимо доказывавшие», что Муссолини был в то время тайным агентом политической полиции. Так было в силу комического «закона истории» и с другими диктаторами или полудиктаторами после их смерти (о Троцком это еще при его жизни доказывали два очень осведомленных — каждый по-своему — человека); только о Ленине этого не говорили и не писали: уж слишком было бы глупо. На самом деле никогда Муссолини тайным агентом полиции не был. Напротив, очень рано, еще в Швейцарии, попал под надзор двух полиций.

Швейцарские власти скоро его выслали. Он был и польщен, и раздражен. «Выслали как бешеную собаку, чтобы не заразила», — позднее говорил он. Высылка на родину была для него опасна, хотя и не из-за политики: он в свое время не явился к отбыванию воинской повинности, был объявлен дезертиром и заочно приговорен к году тюрьмы. Но, как обычно во всех почти странах, действия полиции не отличались большой осмысленностью. Швейцарские жандармы грозно надели на Муссолини наручники и довезли его до границы, там наручники сняли и строго-настрого приказали ему идти дальше. Он вернулся в Лозанну и «перешел на нелегальное положение». Впрочем, по случаю рождения наследника итальянского престола дезертирство подпало под амнистию и Муссолини вернулся на родину.

В Италии он отбыл воинскую повинность, опять был учителем, женился, писал революционные и кровожадные статьи. Написал и какой-то роман. Писал очень быстро, в четверть часа статью или главу романа. Имя теперь у него было, хотя еще и небольшое, — на митингах его иногда по ошибке называли «товарищ Муссолино». Он восхищался Маратом, но восхищался и Наполеоном. Часто повторял наполеоновские слова: «Революция — это идея, доставшая для себя штыки». Эти слова он позднее выбрал девизом для своей газеты «Пополо д'Италиа». Штыков у него пока не было, идея же была, впрочем, чужая и довольно распространенная. Он был членом социалистической партии.

Партийная аристократия его недолюбливала: «Способный человек, но мегаломан: все о себе!» Муссолини ее совершенно не выносил, как ненавидел и всех демократических правителей: везде под видом народоправства правят два десятка людей. Они делят между собой портфели, постоянно сменяют друг друга, ничем друг от друга не отличаются, все друг друга ненавидят, и все между собой на «ты», как каторжники. Хоть были бы очень умны и способны! И этого нет! «Где им до меня!» Действительно, у него не так давно состоялся публичный диспут с самим Вандервельде. Оба умели и говорить и орать, оба знали цену аудитории. Спор был о религиозном вопросе. Вандервельде — почему-то с шуточками — защищал полную свободу всех религий. Муссолини — с поддельным, вероятно, бешенством — в самых ужасных, непечатных выражениях ругал Христа, апостолов и христианское ученье. Голос у него был громче, чем у Вандервельде; еще больше было и напористости.

Он часто переезжал из одного города в другой. Случались с ним разные скандалы; в ту пору он еще пил вино, но пьяницей никогда не был. Питался капустой и редиской. Теперь обычно был бодр и жизнерадостен. Одевался уже лучше, отпустил себе черную бородку. Играл на скрипке, с ней расставался неохотно. Громко и с чувством декламировал на память стихи Кардуччи, особенно «дьявольские». Занимался атлетикой, развивал в себе физическую силу: очень полезна для политического деятеля.

Как-то он задержался в Милане. Возвращаясь под вечер домой, зашел в библиотеку и взял наудачу книгу Макиавелли. О нем много слышал и гордился тем, что этот знаменитый мыслитель был итальянец; правда, говорили о нем не только хорошее: «проповедовал коварство».

Книга потрясла его. В ней все было так ясно, так понятно,— как только ему самому все это не приходило в голову! «Да, да, люди неблагодарны, переменчивы, скрытны, трусливы и жадны. Все ставят себе одну цель: славу и богатство. И не достаточно ли взглянуть на лица Бебеля или Вандервельде, чтобы понять: все они думают только о своей славе, а никак не о счастье человечества. Какой же вывод делал из всего этого гениальный итальянец, живший несколько веков тому назад и так верно понимавший людей?»

«Правитель должен заботиться о том, чтобы никогда у него не вырывалось хоть единое слово, не проникнутое указанными добродетелями. Глядя на него, слушая его, люди должны думать, что он так и дышит добротой, искренностью, гуманностью, честью, особенно же религией — это важнее всего другого. Ибо все видят, кем ты кажешься, и лишь немногие понимают, кто ты такой на самом деле, да и эти немногие не смеют восстать против мнения большинства. К тому же в действиях людей, особенно правителей,—их к суду не привлечешь—важен только результат. Вульгарную массу всегда обольщают видимость и дело, а вульгарная масса — это и есть мир... Не должен умный правитель исполнять свои обещания, если исполнение ему вредно и если больше не существуют условия, при которых он эти обещания дал. Этот мой совет был бы, без сомнения, дурен, если б люди были хороши, но так как они дурны и так как сами они, конечно, не исполнили бы своих обещаний, то почему ты был бы обязан держать свое? К тому же разве правитель не найдет всегда доводов, чтобы разукрасить неисполнение своих обещаний?.. Александр VI только и делал, что обманывал, ни о чем другом он и не думал и всегда имел для этого случай и возможность. Никогда не существовало другого человека, который с большей уверенностью говорил бы одну вещь, подкреплял бы ее большим числом клятв и был бы меньше им верен, чем он. Обман удавался ему всегда, ибо он в совершенстве знал это дело»...

«E ad mondo non e se non vulgo» *,—повторял он мысленно. Он плохо помнил, что именно делал папа Александр. «Кажется, убивал людей. Это ни к чему. Сам Макиавелли думал, что казней должно быть возможно меньше. Обман—совершенно другое дело». Теперь жалел, что в Лозанне произнес богохульную речь. «Разумеется, Бога нет, но лучше говорить, что Бог существует, или молчать об этом. Правда, Карл Маркс поступал иначе, и он тоже был великий человек, хотя и не итальянец. Но он жил

* обратиться к миру — не значит к толпе (итал.)

в другое время». Ему теперь казалось, что он нашел нечто общее в Марксе и в Макиавелли, не только в их характере,—оба, конечно, не любили людей, но и в их философском отношении к миру. Оба говорили о том, что есть, а не о том, чего бы им хотелось. Маркс говорил о борьбе между классами, а Макиавелли о борьбе между людьми. «И, может быть, хозяином мира будет тот, кто их сумеет объединить»...

Его волнение все усиливалось. «Да как же люди, за исключением очень немногих, так лживо и лицемерно говорят об этой книге! Коварство? Какое глупое, комическое слово! Это самая настоящая правда жизни! В малом все это делают и либо старательно это скрывают, либо сами не замечают, что гораздо хуже! А если это делать в большом, то успех обеспечен. Теперь обеспечена моя карьера! И неправда, будто этот великий человек был пессимистом. Пессимисты—трусы, это ругательное слово, а он был гений. Ему не везло в жизни? Но это объясняется только тем, что он о своих идеях заботился больше, чем о себе. Да и разве ему не везло? Он своими идеями добился бессмертной славы, а я добьюсь ее своими делами. И это еще лучше: человек всегда важнее, чем его мысли. Теперь, пока, самый верный путь: социализм, революция. А там дальше будет видно».

Утром он рано вышел на прогулку, не сиделось дома. Хотел еще раз все обдумать,— при быстрой ходьбе многое и в мыслях становилось гораздо яснее. Погода была прекрасная, солнце и ветерок,— такая погода, при которой все кажется возможным и даже легким. Было воскресенье, искать работы не приходилось. Решил осмотреть Милан; знал его не слишком хорошо, а в своей стране, ему теперь казалось, надо знать все. У него было радостное сознание, что случилось нечто очень важное, меняющее его жизнь.

«Да, это так, как я понял вчера,—думал он.—Я теперь вижу и ошибку Маркса. Он исходил из предположения, будто люди руководятся своими интересами. Отсюда и его классовая борьба. Она, конечно, есть, но очень большого значения не имеет... А еще какой-то француз,— кажется, Декарт?—в основу жизни клал разум. И оба они ошибались: люди руководятся не разумом и не интересами, а страстями и вековыми инстинктами. Надо пойти еще дальше, чем пошел Макиавелли. Да, надо раз навсегда понять, что человек ничего не смыслит, что он не может вести себя согласно требованиям разума, часто не понимает своих собственных интересов, еще чаще им не следует. Он думает сегодня одно, завтра противоположное, и ему тоже можно и нужно говорить сегодня одно, а завтра совершенно другое. Он даже и не заметит. Лишь бы только образованное дурачье ему не напоминало и не разъясняло, и уже по одному этому не следует давать свободу образованному дурачью. Свобода может быть только у больших людей, желающих прожить свою жизнь как следует. А это надо делать умеючи и осторожно, иначе сорвешься в самом начале и отправят в тюрьму или в каторжные работы, как того убийцу в русском романе. Он по глупости убил старушку для каких-то сотен лир. Да и этого он не сумел как следует сделать... Вот этот собор—это тоже сила и даже большая, хотя все-таки не очень большая. Зачем я тогда нес вздор пастору? Людей одинаково можно уверить и в том, что Бог есть, и в том, что Бога нет. А это надо делать в зависимости от многих обстоятельств»,— думал он, проходя по Piazza del Duomo.

Церкви, музеи, все старое ему мало нравилось, картин существует слишком много, не запомнить даже имен художников, кроме самых знаменитых, да и те ни к чему. Все же он заглянул в собор, все начинали с него осмотр города. Гид, показывавший его туристам, сообщил, что три окна— самые большие в мире. Это было приятно, но удовольствие уменьшалось от того, что они были работы какого-то французского мастера.

У Брера он увидел конную статую Наполеона I. Лошадь была уж очень пышная, таких не бывает, особенно в походах. А на лицо императора он смотрел с восхищением: тоже великий человек и, во всяком случае, по крови итальянец. Затем повернул назад, прошел мимо театра Скала: чуть ли не самый знаменитый оперный театр в мире—итальянский. Ему не очень хотелось побывать на спектакле, но его раздражили цены на афише,—нельзя было бы пойти, хотя бы и хотелось. Вошел в галереи

Виктора-Эммануила, и тут его раздражение перешло в бешенство, памятное ему по первым дням Лозанны. Хотелось купить все — начать бы вот с этого костюма в 169 лир! Тогда с ним и в партийном комитете говорили бы иначе. У богатых людей — «cupidi di guadagno» * — есть и фраки, и смокинги, и сюртуки!

Из галерей он направился в неисторические кварталы города. Новым, хозяйским взглядом замечал неустройство, грязь, неподстриженные кусты, потускневшую краску домов, беспорядок в движении трамваев. Вышел на Piazzale Loretto и почувствовал голод и усталость. Справа от Корсо Буэнос-Айрес была кофейня, но, очевидно, дорогая. Столики террасы были накрыты чистенькими скатертями, хорошо одетые люди пили и ели что-то необыкновенно вкусное. На висевшей у входа раскрашенной карте было блюдечко с мороженым разных цветов, с фруктами, с ягодами, с вафлями. Узнал, что это называется «Coppa Ambrosiana» **.

Теперь знал, что будет у него и Coppa Ambrosiana, и все другое. Но раздражение от этого не проходило. В дешевенькой лавочке он купил хлеба и кусок горгонцолы. Где-то присел на скамейке, позавтракал и осмотрелся как следует. Посредине площади — и даже не посредине, а как-то неровно, сбоку, — была жалкая растительность, а можно было бы тут устроить прекрасный садик. И дома тоже были несимметричные, грязно-желтых цветов, только бездарные люди могли выстроить такие здания. Один дом, на углу Корсо Буэнос-Айрес, выходил на площадь стеной без окон, — дурачье! Около этого дома было странное строение все из железа с огромным к р ю к о м. Он долго на него смотрел, — зачем тут крюк? Солнце розовыми лучами освещало на доске афишу с надписью крупными печатными буквами: «Evitate rumori inutili» ***.

V

Люда приехала в Брюссель 30 июня, в самый день открытия съезда. Рейхель дал ей на поездку полтораста рублей. Она всегда очень ценила его щедрость и джентльменство в денежных делах. Знала, что у него у самого осталось мало; сначала говорила, что возьмет только сто, но согласилась: ей писали, что съезд может затянуться.

— Деньги, конечно, даром выброшены, вся твоя поездка совершенная ерунда, но бери полтораста, — говорил Аркадий Васильевич. — А то можешь остаться без гроша, да еще в чужом городе. У всех товарищей, вместе взятых, впредь до социальной революции не найдется и ста рублей, да они тебе все равно и не дали бы.

— Отстань, нет мелких.

Опять был проделан ритуал проводов, и опять оба вздохнули с некоторым облегчением после отхода поезда. Все же на этот раз Люда на прощанье поцеловала Рейхеля почти с нежностью, чего с ней очень давно не было. Ей вдруг стало его жалко. «Бедный сухарь! Он не виноват, что такой. Но и я не виновата. Ох, тяжело с ним»... Ей все больше казалось, что скоро в ее жизни произойдет перемена.

Поезд пришел в Брюссель в первом часу, а съезд открывался в два. Времени для поисков гостиницы было мало. Люда остановилась в первой у вокзала, приличной и не слишком дорогой. Комната стоила всего три франка в день; внизу была общая гостиная, где можно было бы принимать людей. Вдруг кто-нибудь зайдет. Она привела себя в порядок, надела другое платье, хорошее, но не самое лучшее. Не было времени и для завтрака, выпила только чашку кофе, съела сандвич. И так опоздала! «Обедать будем, верно, все вместе с Ильичем, с Мартовым, быть может, и с Плехановым. Наконец-то увижу и Плеханова!» — радостно подумала Люда. В Женеве она его не встречала: хотела было зайти познакомиться или, вернее, представиться, но ей сказали, что он, должно быть, ее не примет, к нему попасть не так легко, жена оберегает его покой.

Она не знала города, пришлось нанять извозчика. — «Только на первый раз, потом буду пользоваться трамваем». Номер дома дала не тот, что значился в ее бумажке, а к нему близкий: «Неловко приезжать как барыня». Подошла к указанному номеру пешком и остановилась в недоумении: «Какой-то амбар! Не ошибка ли? Не может быть, чтоб съезд был в амбаре!» Слышала, что на социалистических конгрессах обычно вывешиваются у дверей красные флаги. Никаких флагов не было, но у открытых ворот висел лист бумаги с надписью чернилами по-русски. Наверху было написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а в середине крупными неровными буквами «Съезд Российской Социал-Демократической Рабочей Партии». Прочла это с радостным волнением. Ворота были отворены, прохожие удивленно заглядывали в амбар. Люда тоже заглянула, увидела стол и стулья и нерешительно вошла. Недалеко от входа стоял знакомый — Кольцов. Лицо у него было торжественное. Он ласково с ней поздоровался.

— Добро пожаловать. Садитесь, где хотите. А то можете еще погулять. Съезд откроется с маленьким опозданием, — сказал он и тотчас обратился к кому-то другому. Ее окликнул знакомый голос.

— Людмила Ивановна! Как поживаете?

Она ахнула: Джамбул.

— Как я рада! Где вы сидите? Можно подсесть к вам?

— Разумеется, можно и должно. Но лучше выйдем пока в кулуары. Здесь очень душно.

— А где кулуары?

— Кулуары — это улица, — невозмутимо ответил он.

— Да, странное помещение! Ах, как я рада, что встретила вас! Конечно, выйдем.

На улице они весело поболтали.

— Получили совещательный голос, Джамбул?

— Нет никакого, даже самого тоненького, голоска. Я «гость». То есть Ильич мне сказал, что я могу приехать, я и приехал. Если выгонят, то я зарыдаю и уеду.

Люда расхохоталась.

— Представьте, я в таком же положении! Ильич давно обещал мне устроить совещательный, но, верно, забыл. А разве могут выгнать?

— Чего на свете не бывает! Едва ли. А то мы потребуем с вашего Ильича возмещения убытков... Вот он, Ильич. Я его уже видел.

Из амбара в «кулуары» выбежал Ленин. Люда радостно ему улыбнулась. Он приветливо с ней поздоровался, но по рассеянности назвал ее Людмилой Степановной. Это чуть ее резануло, особенно потому, что слышал Джамбул. Ленин пробежал дальше, кого-то отвел в сторону и заговорил с ним.

— Кажется, съезд начнется с опозданием?

— Да, уже три четверти третьего, — сказал Джамбул. — Когда начнется, это неважно, а вот когда кончится сегодняшнее заседание? Я тороплюсь.

— Это досадно. Я думала, пообедаем вместе.

— Я взял комнату с пансионом. Там обедают в шесть. Но главное, до того надо осмотреть Sainte Gudule.

— Какую еще Sainte Gudule? Это церковь?

— Знаменитая. Впрочем, лучше пойду в воскресенье утром. На меня всегда сильно действует богослужение.

— Это неожиданно.

— У них орган, говорят, один из лучших в мире. Церковь очень историческая. Кажется, одиннадцатого столетия.

— Нельзя по-русски сказать «очень историческая».

— Я не русский. И, к сожалению, в Турции немного отвык от русского языка.

— Разве вы были в Турции?

— Был довольно долго, у отца.

— Ваш отец живет в Турции?

— Давным-давно. У него там усадьба. Я его очень люблю, и он меня любит. При отъезде дал мне много денег и подарил вот эту штуку. — Джамбул вынул массивные золотые часы, надавил пуговку, крышка отскочила. На его лице выразилась наивная, простодушная, почти детская

* жадных до прибыли (итал.)
** чаша с амброзией (итал.)
*** не шумите (итал.)

радость. Он поднес часы к уху, послушал и положил их назад в жилетный карман, опять с удовольствием щелкнув крышкой. — Идут не минута в минуту, а секунда в секунду. Отец когда-то купил в Константинополе. Это Брегет... Помните у Пушкина? «Пока недремлющий Брегет не прозвонит ему обед».

— Кажется, сейчас начинаем! Люди входят.

— Да, приехал наш именитый председатель.

С извозчичьих дрожек сходил человек в сюртуке. Люда тотчас его узнала: Плеханов! К нему на улицу поспешно вышел Кольцов. Плеханов довольно холодно с ним поздоровался и неторопливо направился к воротам. Люди ему кланялись. Джамбул отвернулся.

— У него интересное лицо! И выправка почти военная. Я сама из военной семьи и замечаю.

— Не люблю его. Теоретиков вообще не люблю. Ленин гораздо лучше, хотя и он тоже теоретик.

Раздался звонок. Они вошли в амбар. Плеханов со скрещенными руками стоял за столом. Рядом с ним сидел стенографист. Около стола Кольцов радостно-торжественно звонил в колокольчик.

Когда все заняли места, Плеханов объявил съезд открытым и сказал краткое приветственное слово — сказал, как всегда, хорошо. Очень повысив голос, произнес: «Каждый из нас может воскликнуть и, может быть, не раз восклицал словами рыцаря-гуманиста: «Весело жить в такое время!» Эти слова были покрыты рукоплесканиями, впрочем, не очень бурными, не «переходившими в овацию». Часть собравшихся в амбаре делегатов вообще не аплодировала, и вид у нее был довольно угрюмый. Аплодировал Ленин и еще сильнее Люда, иногда на него поглядывавшая.

— А вот я ни разу не восклицал словами рыцаря-гуманиста и даже отроду не слышал о них, — сказал шепотом Люде Джамбул. — А вы слышали?

— Во всяком случае, я всегда думала именно это!

— А отчего, собственно, нам должно быть так весело? Как будто ничего особенно радостного для нас в мире не происходит?

— Будьте спокойны, произойдет.

— Что же именно?

— Вы отлично знаете, что именно: революция. И, пожалуйста, бросьте ваш скептицизм. Если вы скептик, то не надо было сюда приезжать и вообще соваться в революцию. Прекрасно говорил Плеханов, с очень большим подъемом.

— Не люблю, когда говорят с подъемом. По-моему, это актерская игра. Вот Ленин говорит без подъема.

— Не всегда.

— А сейчас с подъемом прочтет доклад о проверке мандатов Гинзбург, он же Кольцов. Этот едва ли устроит революцию, а?

— Зато Ильич устроит!

— Уж если кто, то действительно он. Но вы дружески посоветовали бы ему поторопиться. Я не желаю долго ждать. Как вы думаете, нельзя ли теперь опять уйти в кулуары?.. Что вы смотрите на меня с негодованием, точно я вам сделал постыдное предложение?..

— Я не знала, что вы такой весельчак, Джамбул. Пожалуйста, не мешайте слушать.

— Молчу, молчу. Больше не скажу ни слова до пяти часов. В пять я испарюсь. Кажется, так говорят: «испарюсь»?

Плеханов действительно был избран председателем par acclamation *. Но угрюмая часть зала опять восторга не проявила. Люде было обидно, что Ильич избран лишь вице-председателем, притом одним из двух, с каким-то совершенно неизвестным ей делегатом. «Нет, это естественно: Плеханов много старше, он был основателем партии».

После длинного доклада о проверке мандатов Джамбул посмотрел на часы.

— Хотите испариться вместе со мной? — тихо спросил он.

* без голосования (франц.)

— Нет, не хочу!

— Дальше сегодня будет такая же веселая материя. Шашки джигиты выхватят позднее, и пойдет кровавый бой.

— Почему вы знаете?

— Я уже все знаю, расспрашивал кое-кого еще вчера вечером. И, знаете, кто будет общим bête noire? * Вот этот делегат, видите, сидит впереди с краю. Это бундовец, кажется, его зовут Либер или как-то так. По-моему, очень тихенький человечек, совсем его громить не надо. Да еще вон тот, какой-то Акимов, он не бундовец и даже не еврей. Им обоим эти звери Плеханов и Ленин хотят сообща устроить погром при благосклонном участии своих лютых врагов Мартова и Троцкого... А вы будете выступать?

— Я об этом не думала!.. Разве гости имеют право?

— А вы выступите без права. Ну, Гинзбург вас выведет за волосы, что за беда? Осмотрите по крайней мере Брюссель.

— Да перестаньте вы шутить, Джамбул... Я вас так называю, потому что не знаю вашего имени-отчества.

— У меня нет имени-отчества, или оно такое мудреное, что вы и не повторите. Но если вы меня смеете называть Джамбул, то я вас буду называть Люда.

— Неужели вы действительно уйдете до конца?

— Я на все способен! Вы меня еще не знаете. Я способен даже на это!

— Сегодня, верно, будет общий товарищеский обед.

— Такая буйная оргия действительно возможна. От такого отчаянного сорванца, как Гинзбург, все станется! А где вы завтра завтракаете? Хотите, позавтракаем вместе?

— Пожалуй... Да ведь вы в пансионе?

— Готов для вас пожертвовать пятью франками.

Хотя они говорили тихо, на них с неудовольствием оглядывались соседи. Джамбул приложил палец к губе и скользнул к выходу. «Очень он милый. И остроумный», — подумала Люда. Она стала внимательно слушать.

VI

Бельгийская полиция чинила всякие затруднения съезду и даже, как писал не очень ясно один из видных социал-демократов, «приняла свои меры». Скоро было решено перенести съезд в Лондон, несмотря на лишние расходы и на потерю времени. Это еще усилило общую нервность и раздражение. Отправились из Бельгии в Англию не все вместе; да и бывшие на одном пароходе избегали разговоров друг с другом или старались не говорить о партийных делах.

В Лондоне, напротив, полиция делегатам не препятствовала, лишь приставила к помещению городового на случай, если бы был нарушен порядок. Впрочем, он на улице не нарушался. Только мальчишки с радостными криками ходили по пятам за особенно живописными «проклятыми иностранцами».

Съезд длился долго и прошел очень бурно. Социал-демократы разделились на две фракции. Одни назвались «большевистами», другие «меньшевистами» (несколько позднее стали говорить о «большевиках» и «меньшевиках»). Но и революционерам в России эти обозначения были вначале не совсем ясны, тем более что участники съезда, которые, с Лениным во главе, получили большинство голосов по важному вопросу о редакции «Искры», остались в меньшинстве по столь же важному делу об уставе. Вдобавок соотношение сил, то есть голосов, скоро после съезда изменилось. Предпочитали говорить о ленинцах и мартовцах. Очень многие всю ответственность за раскол возлагали на Ленина. «На втором съезде российской социал-демократии этот человек со свойственными ему энергией и талантом сыграл роль партийного дезорганизатора», — писал вскоре после того Троцкий.

* объект нападок (франц.)

Протоколы второго съезда были опубликованы в Женеве. Вероятно, они были очень смягчены. Одну речь Ленина авторы сочли возможным воспроизвести лишь с некоторым сокращением. Во всяком случае, того, что обычно называется «атмосферой», протоколы не передают, да это и не входило в задачу авторов. Правда, в скобках иногда отмечались: «всеобщее движение», «протесты» и даже «угрожающие крики». На одном из заседаний сам Ленин попросил секретаря занести в протокол, сколько раз его речь прерывали. Другой делегат просил отметить, что «товарищ Мартов улыбался». На 27-м заседании съезд покинули бундовцы, на 28-м — акимовцы. Страсти все раскалялись. «Они» (меньшевики) все еще руководятся больше всего тем, как оскорбительно то-то и то-то на съезде вышло, до чего бешено держал себя Ленин. «Было дело, слов нет», — говорил в частном письме Ленин тремя месяцами позднее.

Он выступал с речами, заявлениями, оговорками, поправками сто тридцать раз. По некоторым вопросам терпел поражения, и от этого его бешенство еще усиливалось. Но главная цель была достигнута: для устройства революции создалась его фракция, которая должна была со временем превратиться в его партию.

Никто на Западе на это событие не обратил ни малейшего внимания: оно было газетам совершенно не интересно. Вследствие стечения бесчисленных случайностей событие стало историческим — в гораздо большей степени, чем все то, о чем тогда писали газеты. Могло и не стать. Разумеется, и сам Ленин не предвидел всех неисчислимых последствий своего дела. Как ни странно, был как будто немного смущен партийным расколом. Другие предвидели очень мало; некоторые прямо говорили, что ничего не понимают в причинах раскола, и переживали его как душевную драму: разочаровались в Ленине, скорбели о партии.

Люда не пропустила ни одного заседания. Вначале не все понимала, потом освоилась и волновалась с каждым днем больше. Страстно аплодировала Ленину, восхищалась его ораторским талантом. Действительно, он был **настоящим** оратором: достигал речами своей цели. Троцкий ей не понравился, хотя она «восклицания» вообще любила. При его столкновении с Либером Джамбул, сидевший рядом с ней, шепнул: «Сцепились нервные евреи».

Джамбул, к ее огорчению, бывал в Брюсселе на заседаниях не часто. Говорил о съезде по-прежнему иронически, да и действительно часто недоумевал:

— Главный бой ожидается об уставе. Ради Бога объясните, если понимаете, в чем я, впрочем, сомневаюсь: не все ли равно, будет ли там «личное участие» или «личное содействие», зачем они только по-пустому ссорятся? — спрашивал он Люду.

— Неужели вы не видите? Это имеет огромное значение, — отвечала она, хотя и сама не совсем понимала, почему этот вопрос так важен. — Но еще важнее то, чтобы Ильич ужился с Плехановым.

— Пусть их обоих называют «великими государями», как царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Впрочем, те отчасти именно из-за этого рассорились... Обожаю историю, особенно русскую и восточную.

— История интересна только в освещении экономического материализма. Да вы, верно, ее не знаете, Джамбул.

— Плохо. Но зато больше ничего не знаю, как, впрочем, и вы.

Разговор с Джамбулом, часто по форме грубоватый, развлекал Люду и нравился ей. Без него на съезде было бы скучно, тем более что ни с кем другим из участников съезда она близко не познакомилась.

Люда условилась с Джамбулом ехать в Англию вместе. На пароходе они сидели рядом на палубе. Немного боялась, что заболеет, но море было совершенно спокойно.

— ...Вот видите, и вы решили пробыть на съезде до конца. Я ни минуты в этом и не сомневалась, — сказала Люда.

— Еду больше для того, чтобы увидеть Англию. Давно хотел.

— Неправда, не только для этого. Что вы вообще делали бы в жизни, если б не занимались революционной деятельностью?

— А правда, что я тогда делал бы? — спросил он простодушно, точно впервые задавая себе этот вопрос. — Но какая же на вашем съезде революционная деятельность?

— То есть как «какая»? Самая настоящая.

— Даже не похоже, — сказал он, засмеявшись. — Один Ленин настоящий человек. А все остальные — Деларю.

— Что за Деларю?

— Разве вы не помните? Это запрещенная баллада Алексея Толстого. Ужасно смешно. Вот вчера напали и слева и справа на того бедного бундиста, а он только приятно улыбался на обе стороны. Совсем Деларю:

Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал.
А Деларю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!»
Тогда злодей, к нему зашедши справа,
Его пронзил.
А Деларю с улыбкою лукавой
Лишь погрозил.
Истыкал тут злодей ему, пронзая,
Все телеса.
А Деларю: «Прошу на чашку чая
К нам в три часа»...

Он читал забавно, с выразительной комической мимикой. Люда смеялась.

— Баллада остроумная, но при чем тут съезд? Сами же вы говорили, что мы на съезде слишком много ругаем друг друга.

— Да дело не в ваших отношениях друг с другом. Но вы и правительство приглашаете на чашку чаю в три часа. И вот, поверьте мне, это скоро кончится. На Кавказе уж, наверное, скоро не останется ни одного Деларю. — Лицо у него стало вдруг очень серьезным. — Пойдет совсем другая игра. Надеюсь, и у вас в России тоже.

— Какая же?

— Много будете знать, скоро состаритесь. Вот с Лениным я поговорю, если будет случай.

— А мне не скажете? — обиженно спросила она.

— Не скажу. Это не бабьего ума дело.

— Грубиян! Где вас учили? И какой вы социал-демократ, если вы против «баб»!

— Напротив, я в высшей степени за баб. И даже за их равноправие. Но против их участия в революции. У нас на Кавказе революционерок очень мало.

— Кавказ — отсталая страна. А если же вы хотите поговорить с Ильичем наедине, то он, верно, назначит вам свидание только после окончания съезда. Теперь у него более важные дела.

— Сколько же надо будет ждать до окончания этого несчастного съезда? По-моему, они перестанут здороваться уже через неделю, а недели через две-три произойдет раскол.

— Типун вам на язык! Подождем — увидим. Пока можете осматривать Лондон. Найдете и здесь разные Гюдюли, — сказала Люда.

Он поморщился.

В Лондоне он стал бывать на заседаниях чаще. Страсти разгорались. Это его веселило. Ему нравилось бешенство Ленина в спорах, то, что у него лицо часто искажалось яростью: он точно готов был своими руками задушить противника. Но окружавшие Ленина, всегда голосовавшие с ним люди показались Джамбулу ничтожными. «Только с ним и можно здесь разговаривать о деле».

Накануне закрытия съезда он пригласил Люду во французский ресторан. Она приняла приглашение с радостью. «Жаль, что он не серьезный человек, а то я, чего доброго, в него влюбилась бы. Куда же он дел тех своих двух дам?»

Они много выпили и еще повеселели.

— Я «склонен к чувственному наслаждению пьянства», как говорит кто-то у Пушкина. Мне случалось выпивать за вечер три, а то и четыре бутылки вина. У нас на Кавказе есть вековой обычай. Когда у князя рождается сын... Почему вы улыбаетесь, Люда?.. Ах, да, эти ваши вечные русские шуточки: «На Кавказе все князья»... «Если у кавказца есть сто баранов, то он князь», да?

— Вы тоже князь, Джамбул?

— Нет, хотя мой отец производит наш род чуть не от Полиоркета.

— Кто такой Полиоркет?

— Древний македонский принц. Один его потомок будто бы переселился на Кавказ и там принял ислам, очень хорошо сделал. Впрочем, в Македонии всегда было самое смешанное население, не только христианское: были осетины, сербы, болгары, цинцары, греки, евреи, цыгане.

— Не называть ли вас «Джамбул Полиоркетович»?

— Полиоркет был действительно герой. По-гречески его прозвище, кажется, значило: «Покоритель городов».

— Это хорошо: «покоритель городов». Вы тоже покоритель городов. И, верно, сердец?.. Я все стараюсь понять, что вы за человек, и пришла к выводу, что вы романтик революции!

— Я очень простой человек,— сказал Джамбул, довольный.— Вы и представить себе не можете, какой я простой! Первобытный... Вы английский язык знаете?

— Нет.

— Я тоже не знаю. Но знаю, как и вы, слово «хобби». У серьезных людей есть главное дело, и есть хобби, то есть дело второстепенное, развлечение. А вот я не серьезный человек. В моей жизни политика и женщины, но что из них у меня хобби, а что главное, ей-Богу, сам не знаю.

— Примем к сведению. Кстати, фиолетовый шрам у вас на лбу — это от главного или от хобби?

— Это не ваше дело,— ответил он, улыбаясь. Был вообще учтив, с дамами особенно, и употреблял грубоватые выражения как бы в кавычках: произносил их так ласково, что рассердиться было невозможно.

— Я заметила, что этот шрам у вас бледнеет и обесцвечивается, когда вы волнуетесь.

— Вы необыкновенно наблюдательны. Только я никогда не волнуюсь.

— Вот как?.. Ну, хорошо, вы над всем насмехаетесь. Какие же ваши собственные идеи? Едва ли вы испытали сильное влияние Маркса?

— Действительно, едва ли, хотя бы уже потому, что я почти ничего его не читал.

— Так кто же оказал влияние на ваше мышленье?

— На мое «мышленье»? — переспросил он с комически-испуганной интонацией.— Я и не знал, что занимаюсь «мышленьем». Кто оказал влияние? Дайте подумать... Руставели, «Тысяча и одна ночь», летописи царя Вахтанга VI, Майн-Рид, Купер, Лермонтов, балет, передвижники, гедонисты... Да, я гедонист.

— Какой еще гедонист? И что за каша!.. Но вы не кончили. Какой же на Кавказе вековой обычай?

— Когда у кавказца рождается сын, то отец закапывает в землю бочку лучшего вина. Ее выкапывают к совершеннолетию сына. Ах, какое вино! Какой аромат!.. Вот мы с вами здесь пьем бордо...

— И какое!

— Но где ему до кахетинского!

— На Кавказе ведь все «самое лучшее в мире», правда?

— Не говорю «все», но очень многое. Начиная с природы. Мне на прославленные швейцарские виды просто смешно смотреть, так им далеко до наших. И люди у нас по общему правилу хорошие.

— Это правда. Я очень люблю кавказцев. Ильич тоже их любит.

— Будто? По-моему, никого не любит ваш Ильич.

— «Мой» Ильич? Значит, он не ваш?

— Я отдаю ему должное. Конечно, выдающийся человек и со временем станет совершенным типом революционера.

— Со временем?

— Возьмите, Робеспьер, Дантон, Марат были революционерами тричетыре года, а до того были черт знает кто. Ленин же будет им всю жизнь. По-моему, он уже теперь второй революционер в мире.

— Вот как? А кто первый?

— Первый? Драгутин.

— Какой Драгутин? Отроду о нем не слышала.

— Обычно он остается в тени, но о нем еще много будут говорить в мире. Больше, чем об Ильиче.

— Да кто он? Что он сделал?

— Между прочим, организовал недавно в Белграде убийство короля Александра. К несчастью, они заодно убили Драгу. Этого я им простить не могу. Женщин не убивают, хотя бы они были королевами. Но мы говорили не о Драгутине, а о Ленине. Все же он на этом нелепом съезде слишком ушел в мелочи.

— Да он шел от победы к победе!

— Разумеется, он может подарить Мартову халат. Когда турецкий султан в прежние времена брал крепость, он дарил побежденному противнику халат, вероятно, в насмешку. Только к чему эта победа? Что он теперь будет делать? Ленин, а не султан. Издавать журнальчики? Да и на это, верно, не хватит денег. Ваше правительство будет очень довольно:

Он окунул со злобою безбожной
Кинжал свой в яд
И, к Деларю подкравшись осторожно,
Хвать друга в зад!
Тот на пол лег, не в силах в страшных болях
На кресло сесть.
Меж тем злодей отнял на антресолях
У Дунн честь...

— Очень похож Ленин на Деларю!

— Я отдаю ему должное. Конечно, он выдающийся человек. Но он еще не созрел.

Люда расхохоталась.

— Однако вы нахал порядочный! Ильич не созрел?

— Или скорее не созрело все движение в России. Я еще и не знаю, останусь ли социал-демократом.

— Вот тебе раз! Неужто пойдете к эсерам с их народнической жвачкой?

— Не сваришь каши с русскими вообще. Кажется, так говорят: «Не сваришь каши»? Что я вам говорил? Ведь у вас произошел полный формальный раскол.

— Во-первых, это неправда, а во-вторых, не «у вас», а «у нас».

— Я не русский да и социал-демократ, повторяю, сомнительный.

Полного формального раскола не произошло. Но многие из участников съезда уже в самом деле не раскланивались, и общее настроение было подавленное. Плеханов произнес заключительное слово и поздравил всех с результатами работы.

— Он, должно быть, насмехается? — спросил Люду Джамбул.

— И не думает насмехаться! Работа все-таки дала большие результаты. Как-никак, теперь у нас есть и программа, и устав.

— Именно «как-никак». Вы примкнете к большевистам или к меньшевистам?

— Я иду за Ильичем. Но, вопреки вашему карканью, раскола нет и не будет. Сегодня все вместе едем на могилу Карла Маркса. На Хайгетское кладбище.

— Едем,— уныло согласился Джамбул.— Вы его читали?

— Многое.

— Знаю, что он был кладезем мудрости. А иногда думаю, что у нас люди были интереснее.

— Может быть, тот Кота Цинтсадзе, о котором вы рассказывали? — насмешливо спросила Люда.— Нельзя человеку серьезно называться Котой.

— Ладно, ладно,— ответил Джамбул. Теперь несколько обиделся он, к большому удовольствию Люды.— А что мы будем делать на могиле? Петь «Интернационал»? Или служить панихиду? Тогда пусть Троцкий наденет ермолку и плащ, евреи в синагогах всегда носят плащи.

— Вы бывали и в синагогах?

— Бывал. Я вам говорил, что на меня действует всякое богослужение, особенно если оно древнее. Разумеется, наше мусульманское самое лучшее.

— В этом я ни минуты не сомневалась... Будете делать на могиле Маркса то же, что другие.

— Буду смотреть на Троцкого и повторять его благородные жесты. Я уверен, что и он, и Плеханов в Париже ходили в театр смотреть Мунэ-Сюлли. Только у того жесты выходят лучше.

VII

Иоганнес Росмер, владелец Росмерсгольма, был несчастен в своей семейной жизни и не очень счастлив в жизни общественной. По рождению он принадлежал к баловням судьбы, но он потерял веру в общественные устои. Как говорил консервативный ректор Кролль, «Росмерсгольм с незапамятных времен был своего рода священным очагом, поддерживавшим порядок, закон, уважение ко всему, что установлено и признано лучшими членами общества». Росмер порвал с традицией предков, это и было одной из главных причин его несчастной жизни.

«Росмерсгольм», с его символом белых коней, был любимым произведением Морозова, но кое-что он читал не без досады. Многое в жизни Росмера совпадало с его собственной жизнью, однако не все. «Верил ли я в традиции моих предков? Когда же я с ними порвал? Каковы мои «белые кони»? Даже внешняя обстановка не очень похожа». Драма Ибсена разыгрывалсь в родовой усадьбе Иоганнеса, в гостиной, обставленной в старом норвежском стиле, с портретами предков на стенах. Пять поколений предков, создателей огромного богатства Морозовых, были и у Саввы Тимофеевича, но он их портретов у себя на стены не вешал.

Дом на Спиридоновке был построен талантливым архитектором на месте родового дома Аксаковых. Обстановка была не только более роскошной, но и более «стильной», чем могла быть у прежних владельцев усадьбы или у Росмеров: Морозов купил ее у какого-то лорда и перевез из Англии в Москву. Люди, этого не знавшие, насмехались над ее «аляповатостью». «Конечно, не насмехались бы, если б я был князь или граф». Громадное большинство людей, и парвеню, и аристократы, ничего в искусстве не понимают. «Да, дураки верно говорят «купчик». Сам Чехов насмехался над моим «безвкусием», над фрачными лакеями. Добрые люди так мне рассказывали. Может, и врали. Точно дело во фраках! Все мы живем угнетением других людей, и Чехов тоже, и сам это отлично понимает, он умнее и Немировича, и Максима. Да и он о моем безвкусии не говорил бы, если б я был князь. Впрочем, и в самом деле, незачем было покупать мебель английского аристократа»,— думал Савва Тимофеевич, с досадой оглядывая свой кабинет. «Это, тот говорил, подлинный Ризнер. А что он сам смыслил в Ризнерах? Верно, и он в этой мебели чувствовал себя почти таким же чужим, как я? А я сюда точно попал по ошибке. Спальная, сказал, «Victorian» *. Слово значит немного: за царствование Виктории должно было смениться несколько стилей». Об архитектуре и мебели он немало прочел или просмотрел, когда строил свой дом. «Скоро девять часов, пора на завод. А то поехать раньше к грабителю?» — подумал он, разумея знаменитого врача.

В плохие минуты он находил, что все в мире продается, что, со своим огромным богатством он может купить что и кого угодно — вопрос только в цене. При нем действительно наживались и перед ним лебезили очень многие. В другое же время Морозов признавал, что даже этих многих нельзя называть продажными в точном смысле слова: «Настоящей продажности в России, особенно в интеллигенции, мало: есть общественное мнение, есть моральная граница, через которую переходить почти невозможно и даже невыгодно... Просто не первого сорта людишки». По своей работе он постоянно встречал и людей первого сорта. Эти перед ним не лебезили и на нем не наживались; разве только когда отдавали ему свой труд, то получали несколько больше, чем их труд стоил. Впрочем, при всей своей щедрости он бывал требователен и слишком уж переплачивать не любил. Если у него просили чересчур много, в нем пробуждались наследственные инстинкты дельца; его быстрые, бегающие и при этом

* в викторианском стиле (англ.)

многое замечающие глаза останавливались, он становился очень нелюбезен, даже иногда грубоват.

Как Ленин, Морозов вообще очень плохо верил людям, но в полное отличие от Ленина всего меньше верил в себя и себе. Всю жизнь будто бы стремился к освобождению России, но иногда думал, что, в сущности, освобождение России ему не так нужно: сам он был почти во всем совершенно свободен. Всю жизнь он говорил, что страстно любит искусство, но про себя сомневался — если не в своей любви к искусству, то в своем его понимании; природный ум заменял ему культуру. Сомневался и в том, что искусство хорошо понимают другие, в их числе и многие присяжные знатоки. «Ибсен хотел сказать»... А почем ты знаешь, что он хотел сказать? Может, и вообще ничего не хотел, а просто писал, как все писатели и писателишки, как Максим, который длинно и скучно мне говорил о глубоком смысле своего «Фомы Гордеева», между тем это чепуха с выдуманными и плохо выдуманными, неправдоподобными купцами»... Савве Тимофеевичу все больше казалось, что в нем сидит какой-то другой человек, за него говорящий и во многом ему совершенно чужой. «Все не так, все не так!» — неясно думал он в последние годы, знал только, что нервы у него совершенно издергались, что он, как будто без причины, боится воображаемых, даже неправдоподобных, несчастий, что, в сущности, он ничего особенного не хочет, что жить ему все тяжелее с каждым днем. «Жизнь не удалась... Впрочем, кому же она по-настоящему удалась, когда есть умиранье, смерть?» Да еще он знал, что душой всегда, хоть не так уж напряженно, искал добра и смысла жизни; но добра нашел немного, а смысла жизни не нашел никакого.

К тому, что он обозначал словами «не так», он относил и Художественный общедоступный театр. Теперь этот театр существовал почти исключительно на его средства, он выстроил и новое здание в Камергерском переулке. Деньги дал по своей собственной инициативе, сам их первый предложил; давно стал в театре своим человеком, давал советы о пьесах, о подробностях постановки, о распределении ролей; все выслушивалось внимательно и с интересом; режиссеры и артисты успели оценить его чутье. Но про себя он иногда думал, что, например, Станиславский, состоятельный человек, мог бы и не получать жалованья, мог бы даже сам давать на дело свои деньги. Никогда этого не говорил, но думал, что артисты в большинстве гораздо менее образованные люди, чем он сам (он много читал и знал наизусть «Евгения Онегина»). «Пьесам Немировича грош цена, да и пьесы самого Максима немногим лучше».

Савва Тимофеевич в последний год болел, хотя как будто и неопасно. Был еще далеко не в том возрасте, когда чуть ли не главные мысли человека сосредоточиваются на починке разрушающегося понемногу тела. Врачей вообще не любил. Почти машинально называл их грабителями. Отлично знал, что они бедных часто лечат бесплатно и что было бы очень странно, если б они брали мало денег с богачей. Свое нездоровье он приписывал в значительной степени расстройству нервов: неврастения усиливала болезнь, болезнь усиливала неврастению. Теперь ему нужно было повидать трех докторов по разным специальностям, и ни один из них к нему на дом приехать не мог: у всех в кабинетах были сложные приспособления, особенно у терапевта, который умел по новому способу просвечивать людей при помощи не так давно открытых Рентгеном лучей. «Видит тело насквозь. Хорошо, что хоть души не просвечивает».

Раз в неделю он ездил в Орехово-Зуевскую мануфактуру (в Москве ее называли несколько иначе, похоже и совершенно непристойно, но это относилось преимущественно к заводам Морозовых-«Викулычей»). Проводил там два дня, а то и три. В этот день ему уезжать не хотелось, был в особенно плохом настроении духа. Хоть бы дождь пошел... Савва Тимофеевич чувствовал себя бодрее в дурную погоду В поезде он просмотрел газету — скука. Подумал, что все редакторы газет, верно, либо циники, либо очень незлобивые, благодушные люди: слишком много ерунды и пошлости каждый из них принимает и печатает, зная, что это ерунда и пошлость.

Постройки на его заводах в отличие от других в городке, были новые, каменные, очень хорошие. Таковы были и дома, выстроенные им для ра-

бочих, с лекционными залами, с театром, — другие фабриканты только пожимали плечами, а иногда в разговорах о нем многозначительно постукивали пальцем по лбу. На улицах все ему кланялись. Это было и приятно, и нет: «Все-таки кланяются больше моему богатству, чем мне. Если б у меня не было капиталов, кто бы я был? И люди перестали бы ко мне шляться, что было бы, впрочем, очень хорошо».

В сортировочной он взглянул на новую партию хлопка, она была не «fine», а только «good». Что ж, для Азии и это необходимо. Ему очень хотелось, чтобы русская хлопчатобумажная промышленность вышла с четвертого места на первое; азиатский рынок имел огромное значение. Затем он побывал в других колоссальных зданиях. Общее благоустройство заводов, порядок, чистота доставляли ему удовлетворение. Рабочие кланялись почтительно-ласково; одни служащие спрашивали: «Как поживаете, Савва Тимофеевич?», другие: «Как изволите поживать?»

В одной из мастерских он остановился у машин, которые главный инженер предлагал заменить новейшими, хотя и эти были выписаны из Англии не очень давно. Он знал свое дело для владельца хорошо. Говорил, что знает у себя каждый винт. Это было очень преувеличено: инженеры порою чуть улыбались, когда он спорил с ними о технических делах. Но названия машин и их назначение действительно были ему известны. Спросил о машинах и старших рабочих. Их мнение очень ценил. С ними он говорил ласково, почти как с равными, и на их языке. Думал, что владеет им в совершенстве, как либеральные, да и не только либеральные, помещики думали, что в совершенстве владеют крестьянским языком. Рабочие любили и ценили его простоту в обращении, заботу об их интересах, то, что он к свадьбам дарит деньги, принимает на свой счет похороны, помогает вдовам; знали, что он женат на красавице «присусальщице», еще не так давно стоявшей за фабричным станком. Он первый ввел одиннадцатичасовой рабочий день; ввел бы, пожалуй, и десятичасовой, но знал, что тогда Никольская мануфактура едва ли выдержит конкуренцию с такими же огромными предприятиями, в частности с теми, что принадлежали Викулычам и Абрамычам.

В Москве издавна ходили шутливые преувеличенные рассказы о распрях между разными ветвями Морозовской династии, впрочем, довольно обычных в больших семьях. К другим династиям, даже наиболее старым, тоже имевшим по несколько поколений богатства, к Бахрушиным, Рябушинским, Щукиным, Третьяковым, Найденовым Морозовы относились чуть свысока, хотя и роднились с ними; к новым же, вроде Второвых, относились и просто иронически.

После недолгого совещания с управляющим расчет инженера был признан правильным и новые машины заказаны, хотя это означало большой расход: на машины Морозов денег не жалел; русская техника должна была сравняться с западной.

Затем он позавтракал в одной из столовых с главными служащими. Обед был не такой, как у него дома, — вместо его любимого рейнского вина пили калинкинское пиво, — но и не такой, как в других столовых фирмы. Везде все было чисто, свежо, сытно, однако администрация не могла не считаться с рангом обедавших. Так и он сам при всем желании не мог держать себя одинаково со всеми. В столовой тон разговора был демократический. Тем не менее все тотчас замолкали, когда владелец раскрывал рот. Он все время чувствовал неловкость — точно и г р а е т, почти так же похоже, как Станиславский играл доктора Штокмана или Москвин царя Федора Иоанновича. Этих с в о и х артистов он прежде особенно любил, нередко угощал их ужинами, радовался их обществу, восхищался ими и думал, что уж очень, просто до удивления, они не похожи в частной жизни один на царя, другой на норвежца. Тем больше, конечно, их заслуга.

В столовой поговорили о политике, поругали правительство, коснулись и промышленных дел. Один из видных служащих говорил «смело, всю правду в глаза», — вроде как Яков Долгорукий Петру Великому. Савва Тимофеевич слушал со слабой улыбкой; думал, что и этот служащий играет, только у него свое амплуа.

Погода стала хуже. Морозов почувствовал прилив энергии и решил

тотчас вернуться в Москву: на заводах было еще скучнее, чем дома, да, в сущности, и нечего было делать. Он понимал, что от его присутствия большой пользы нет, что мастерские работали бы точно так же, если б он их и не обходил. Сказал главному управляющему, что должен побывать у врача, но про себя решил, что сегодня ни к одному из врачей не пойдет: «Только наводят тоску и все, конечно, запретят, и никакой пользы не будет».

Со стены очень просто обставленного кабинета на правнука хмуро смотрел основатель династии, Савва Васильевич. Администрация давно заказала его портрет обладавшему воображением художнику. «Верно, обо мне думает нехорошо: в кого ты, голубчик, пошел? От нас отстал, к другим не пристал. Черт тебя знает, что ты за человек!»... Морозову захотелось поскорее уехать. Он вспомнил, что по делу надо побывать у очень высокопоставленного лица. К нему следовало бы надеть сюртук? Ничего, обойдется. Сунул в ящик письменного стола револьвер: к этому лицу являться с револьвером в кармане было неудобно.

Во дворце все было ему неприятно: пышность, мундиры, охрана; но все это производило и на него некоторое впечатление. Хотя он имел репутацию революционера, высшие власти (до 1905 года) были с ним любезны; не хотели ввязываться в истории с владельцем заводов, на которых были заняты десятки тысяч рабочих. По выражению лица у чиновника, взявшего его карточку, можно было увидеть: сила приехала к силе. Высокопоставленное лицо приняло его тотчас, не в очередь. С ним, как, впрочем, и со многими высокопоставленными людьми, Морозов говорил опять по-другому: старым, деланно-купеческим языком, с обилием «слов-ериков», — ни один богатый купец в Москве давно так не говорил. В Риме старая знать, разные Гаэтани, Колонна, Орсини, да и сам король говорили между собой всегда на народном римском диалекте, но у них это выходило естественно; у Саввы Тимофеевича якобы купеческая речь звучала странно, и он сам не знал, означает ли его «слово-ерик» повышенное или пониженное уважение к собеседнику.

Высокопоставленное лицо тотчас исполнило его желание и лишь про себя подумало, что левому социальному реформатору не полагалось бы иметь дворец и ездить на кровных рысаках. Впрочем, Савва Тимофеевич и сам часто думал о себе то же самое. «Умный все-таки монгол!» — сказало адъютанту высокое лицо. Морозов был и по крови чисто русский, но вид у него в самом деле был скорее монгольский. Сердцеведы недоброжелательно говорили, что он в делах готов раздавить человека, называли его глаза «хищническими» и «безжалостными», приписывали ему разные изречения, подходившие Сесилю Родсу или коммодору Вандербильту. В действительности, он никого не «давил», был в делах честен и никак не безжалостен. Напротив, был скорее добр, хотя и не любил людей, даже тех, кому щедро помогал.

Вернувшись домой, он переоделся: при осмотре машин чуть запачкал концы манжет. «Переоделся не до визита к нему, а после», — с некоторым удовольствием подумал Савва Тимофеевич. На Спиридоновке его в этот день еще не ждали. Жены и детей не было дома. В гардеробной костюм, белье, обувь не были приготовлены. Камердинер все принес с виноватым видом. Виноват в том, что «барин» передумал и вернулся раньше, чем сказал.

Ему было совестно и перед прислугой, как перед рабочими и служащими на заводах. Но он сам себе отвечал, что с такими упреками совести можно спокойно прожить долгую жизнь. Раздражали его и сами слова «гардеробная», «камердинер». Костюм у него был даже не от Мейстера, недорогой, и белье не голландского полотна, а простое, ему было не совсем ясно, почему одевается он дешево, тогда как дом, мебель, лошади стоят огромных денег. Но он не понимал в своей жизни и более важных вещей. Отпустил камердинера, одевался всегда без чужой помощи. Перекладывая вещи из одних брюк в другие, вспомнил, что револьвер остался на заводе. «Не забыть в следующий приезд». Не имел ни малейших оснований опасаться какого бы то ни было нападения, но револьвер под рукой всегда его успокаивал: что бы в жизни ни случилось, выход есть.

Савва Тимофеевич перешел в кабинет, сел в неудобное стильное кресло перед стильным письменным столом и открыл лежавшую на столе книгу Ибсена. Впрочем, знал, что долго читать нельзя будет. С пятого часа начинали появляться посетители, приезжавшие к нему на дом не по коммерческим делам.

Обычно люди «хотели посоветоваться об одном общественном деле». Он давно к этой формуле привык; отлично знал, что посетителям, чаще всего очень известным людям, нужны никак не его советы, а его деньги. Отказывал редко, хотя и уменьшал суммы по сравнению с теми, которые назывались искавшими его совета людьми: понимал, что если всем будет давать, сколько просят, то от его огромного богатства с годами ничего не останется. Для себя эти люди почти никогда денег не просили и о себе даже не упоминали. Тем не менее это часто выходило и «для себя»; говорили, например, о деньгах на совершенно необходимый обществу журнал, но не говорили, что будут получать в журнале жалованье или гонорар. Этим он обычно давал не слишком крупные суммы и пояснял иронически, что если они у других соберут «много больше-с», то и он от себя добавит сколько надо. Знал, что у других много больше никак не соберут.

Одним из посетителей был в этот день инженер Красин, с которым его познакомил Максим Горький, горячо его рекомендовавший. Этот инженер с первого же знакомства очень понравился Савве Тимофеевичу. Он и говорил прекрасно. Морозов вообще находил, что самые лучшие ораторы в России не адвокаты — их он называл «краснобаями»,— а умные и образованные деловые люди да еще офицеры генерального штаба. Красин просил денег в пользу левой группы социал-демократической партии. Он изложил ее взгляды, немного применяясь к психологии богатого промышленника, который, слава Богу, дает деньги на революцию. При первой встрече Красин в него всматривался с немалым интересом. Был искренний революционер, но так же искренне любил деньги. Хотел бы быть главой революционного правительства, но недурно было бы также стать королем промышленности. Он изучал богачей и для борьбы с ними — как молодой Веллингтон ездил во Францию учиться у французов военному делу.

Морозов слушал его внимательно, с легкой улыбкой.

— Так-с. Это я все знаю-с,— сказал он.— Уже слышал о партийном расколе.— Это взгляды Ленина-с. Вполне с оными согласен. Зоркий человек-с. Извольте, дам, но много не дам-с.

— Сколько можете, хотя на вас мы очень надеемся,— ответил Красин, тоже несколько озадаченный сочетанием «слова-ерика» с осведомленностью в партийных делах, почти никому еще в Москве неизвестных.

— Дело обстоит так-с: дохода у меня в год шестьдесят тысяч целковых. Треть уходит на мелочи-с, на благотворительные дела-с. Треть трачу на себя, а двадцать тысяч готов ежегодно давать вам. Больше не могу-с.

Красин смотрел на него изумленно. Он не ожидал такой большой суммы, но не ожидал и того, что Морозов серьезно, глядя ему в глаза, будет говорить о шестидесяти тысячах своего дохода (причем из них сразу предложит третью часть). Москвичи говорили, быть может, преувеличивая, что одна Никольская мануфактура приносит в год несколько миллионов чистой прибыли. Впрочем, Савва Тимофеевич и не надеялся, что Красин ему поверит. Назвал эту цифру, сам не зная почему.

Еще меньше он знал, зачем вообще дает деньги крайним революционерам. Назвал Ленина «зорким человеком», но никак не мог сочувствовать революционеру, которому, по слухам, не сочувствовало громадное большинство социалистов. Его собственное настроение было неопределенно левое и романтическое, как в «Росмерсгольме». Но в отличие от Иоганнеса Росмера он не слишком верил в близость счастья на земле.

Гость поблагодарил и с улыбкой немного поторговался. Сошлись на двух тысячах в месяц. Любезно поговорили и о другом. Разговор не совсем случайно коснулся электрического освещения. В Москве рассказывали, что это освещение составляет у Морозова пункт легкого умопомешательства. Он ведал им и в Художественном театре, и в доме на Спиридоновке, и в своих имениях: сам лазил по лесенкам, работал над проводами, переодевшись в рабочее платье (что ему шло, как Горькому косоворотка). Красин знал толк и в электричестве, говорил об его великом будущем так же увлекательно, как до того об идеях Ленина, вставлял разные «дифференциальные лампы Сименса», «вольты», «уатты» и даже «фарады». О вольтах и уаттах Савва Тимофеевич знал, но, что такое фарады, совершенно не понимал. Несмотря на полученное им образование, ученые слова на него производили впечатление, как и на Максима Горького. Гость его очаровал. С тех пор Красин к нему ездил нередко и, перед тем как просить денег для партии, говорил об электрическом освещении и о новейших заграничных усовершенствованиях. Деньги получал неизменно.

Последним просителем был Дмитрий Ласточкин, в последнее время очень выдвинувшийся в деловом мире Москвы.

К нему Савва Тимофеевич относился тоже очень благожелательно и высоко его ставил: был на двух его докладах, прочел его брошюру о хозяйственном росте России. Понравилось ему и то, что Ласточкин не воспользовался принятой формулой и прямо с самого начала сказал: приехал просить денег.

— Это так-с, за иным ко мне, купчине, и не приезжают-с,— сказал, улыбаясь, Савва Тимофеевич. Ответная улыбка Ласточкина показала, что он оценил слово «купчина» и не считает нужным и возражать на такую шутку. Он изложил план создания биологического института в Москве. Морозов слушал внимательно и с интересом.

— Да ведь, кажется, что-то похожее у нас уже существует,— сказал он.

— Не совсем похожее,— ответил Дмитрий Анатольевич и с несколько меньшей ясностью изложил, в чем заключалось новое в его проекте. Рейхель писал ему из Парижа письма, однако подробной объяснительной записки не представил, хотя Ласточкин сам ставил ему сделанный Морозовым вопрос.

— Так-с. В какую сумму обошлось бы дело-с?

— Я знаю, что одному человеку, даже такому, как вы, Савва Тимофеевич, поднять это дело было бы трудно, но мы рассчитываем на ваш почин, зная...

«Зная вашу отзывчивость»,— закончил про себя Морозов и перебил его:

— Смету привезли-с?

— Я ее представлю вам очень скоро,— ответил Ласточкин, с досадой подумав, что вследствие халатности своего двоюродного брата начал разговор не деловым образом.— Мы хотели сначала выяснить ваше общее, принципиальное отношение к вопросу.

— Кто это — мы-с?

— Этим делом очень интересуется т а к ж е Мечников,— сказал нерешительно Дмитрий Анатольевич.— Знаете, Илья Ильич Мечников, наш знаменитый биолог, создатель теории фагоцитоза.— Морозов, к его облегчению, не попросил пояснений к слову «также», и одобрительно кивнул головой.

— Знаю-с. Что-то и о фагоцитозе читал... Кажется, обещает нам продлить жизнь? Может, и врет-с, да и незачем человеку очень долго жить,— пошутил он.— Что ж, идея института интересная. Но без записки и сметы, вы сами понимаете, и говорить невозможно. Дело не в сумме, поднять я и один мог бы-с. Клинический городок Морозовы подняли. А знать все надо в совершенной точности-с.— Ласточкину он не сказал о шестидесяти тысячах своего дохода: в разговоре с московским деловым человеком это было бы слишком глупо.— Представьте записку, прочту-с. И, разумеется, передам ученым людям на рассмотрение. Скорого ответа не ждите-с: эксперты спешить не любят.

Он подумал, что этот проситель, инженер по образованию, не может быть лично заинтересован в создании биологического института. Бывали все-таки и просители совершенно бескорыстные. Стал еще любезнее и, прекратив деловой разговор,— лишних слов не любил,— спросил о музыкальных вечерах, иногда устраивавшихся в доме Ласточкиных.

— Слышно, интересные вечера-с.

— Мы с женой оба очень любим музыку. Не приедете ли как-нибудь

и вы, Савва Тимофеевич? — предложил Дмитрий Анатольевич. Посещение Морозова считалось в Москве большой честью, и поэтому Ласточкин пригласил его сдержанно: «Еще подумал бы, что зазываю».

— При случае охотно-с. Люблю и я, хотя и не большой знаток.

Ласточкин вспомнил о просьбе Люды, но решил ее пока не передавать: «Не сразу же лезть с двумя просьбами». Вдобавок ему теперь показалось особенно глупым просить богача о деньгах на социальную революцию. Он взглянул на часы и простился. Был доволен первыми результатами своего ходатайства, не очень ему приятного. «Больше ничего Аркаша для начала и ожидать не мог бы, тем более что записки не составил, сметы не прислал, а с Мечниковым, верно, еще и не поговорил!»

«Твое понимание мира облагораживает, Росмер. Но... но... Оно убивает счастье»,— говорила Ребекка Вест. «Счастья у него было действительно немного. Как у меня»,— думал Савва Тимофеевич. Ни его жена, ни его любовницы нисколько на Ребекку не походили, и никакой затравленной Беаты в его жизни не было. «Да и сам я все-таки какой же Росмер! Все-таки пьеса замечательная. По дрянному переводу и судить нельзя. Так и Гете, и Шекспиром лживо восхищаются люди, не читавшие их в подлиннике. Если б я был немцем и прочел «Евгения Онегина» по-немецки, то сказал бы: «Очень средняя поэма». А о Лермонтове тем более сказал бы. Какие это биографы врали, будто Лермонтов «искал смерти». И о других поэтах говорят то же самое. Коли б в самом деле искали, то очень скоро нашли бы, дело нехитрое». В последний год он читал главным образом те литературные произведения, в которых были самоубийства. И ему по-прежнему было не вполне ясно, почему Росмер покончил с собой. «Может, просто по литературным соображениям автора-с,— подумал он, по инерции пользуясь «словом-ериком» и в мыслях.— Вот и Лев Николаевич по литературным соображениям в «Записках маркера» придумал самоубийство для Нехлюдова, а через много лет, когда понадобилось, его воскресил»... Толстого Савва Тимофеевич и мысленно называл по имени-отчеству. Горького в последнее время в разговорах со знакомыми сухо называл Максимом или Алексеем, а то даже и «господином Горьким».

(Продолжение следует.)

Алексей ЦВЕТКОВ

Дивно молвить

* * *

Серый коршун планировал к лесу.
Моросило хлебам не во зло.
Не везло в этот раз Ахиллесу,
Совершенно ему не везло,
И копье, как свихнувшийся дятел,
Избегало искомых пустот.
То ли силу былую утратил,
То ли Гектор попался не тот.

Не везло Ахиллесу — и точка.
Черной радуги мокли столпы.
И Терсит, эта винная бочка,
Ухмылялся ему из толпы.
Тишина над судами летела,
Размывала печаль берега.
Все вернее усталого тела
Достигали удары врага.

Как по липкому прелому тесту,
Расползались удары меча.
Эта битва текла не по тексту,
Вдохновенный гекзаметр топча.
И печаль переполнила меру,
И по грудь клокотала тоска.
Агамемнон молился Гомеру.
Илиаде молились войска.

Я растягивать притчу не стану,
Исходя вдохновенной слюной.
В это утро к ахейскому стану
Вдохновенье стояло стеной.
Все едино — ни Спарты, ни Трои,
Раскололи кифару и плуг.
Мы одни среди пролитой крови,
Мы одни — посмотрите вокруг.

* * *

На лавочке у парковой опушки,
Где мокнет мох в тенистых уголках,
С утра сидят стеклянные старушки
С вязанием в морщинистых руках.
Мне по душе их спорая работа,
Крылатых спиц стремительная вязь.
Я в этом сне разыскивал кого-то
И вот на них гляжу, остановясь.
Одна клубки распутывает лихо,
Другая вяжет, всматриваясь вдаль,
А третья, как заправская портниха,
Аршинных ножниц стискивает сталь.

Мгновение неслышно пролетело,
Дымок подернул времени жерло.
Но вдруг они на миг прервали дело
И на меня взглянули тяжело.
В пустых зрачках сквозила скорбь немая,
Квадраты лиц — белее полотна.
И вспомнил я, еще не понимая,
Их греческие злые имена.
Они глядели, сумеречно силясь
Повременить, помедлить, изменить,
Но эта, третья, странно покосилась
И разрубила спутанную нить.

* * *

На пригород падает ласковый сон,
Желаний прозрачная завязь.
Латунные листья звенят в унисон,
Луны напряженно касаясь.
По горло окутал дощатый барак
Стекающий с крыши муаровый мрак.

Задвинута память на прочный засов,
Спокойные мысли короче.
Все реже и реже огни голосов
Мигают в безмолвии ночи.
И кажется, ветер неслышно зовет:
Останься на месте, усни без забот.

Запутались звезды в седом волокне,
И некуда дню торопиться.
Чего же ты ищешь в погасшем окне,
Ночная ворчливая птица?
Зачем ты с разлета ныряешь в стекло
И крыльями бьешь тяжело, тяжело?

Покой у порога, невидимый гость
Заезжим зовет одноверцем.
Но дух несогласия, яростный гвоздь,
Таишь ты под зябнущим сердцем.
И светится в лужах ночная вода.
А сердце стучит: никогда, никогда.

* * *

Что касается любви — малярия мне знакома.
Относительно весны, эскалаторов метро —
Убедительно прошу: объявите вне закона.
Что-то важное в бегах, что-то лучшее мертво.
Относительно весны — если есть над нами боги,
Я просил бы страшных зим, остроты минувшей боли,
Светопреставленья, что ли,— как ваш май неотразим!

Относительно стихов — эти будут не из лучших,
Не светиться, а зиять, как изнаночные швы.
Всю бы искренность сменял на любви мельчайший лучик.
Поражение за мной, победитель — это вы.
Кто приостановит бред, кто растопит ветер снежный?
Видно, кто-нибудь из вас, доверительный и нежный,
Там, на площади Манежной, здесь — открывши на ночь газ.

Что касается души, относительно болота,
Обращающего в торф сотворенное расти,—
С приземленьем, шер ами, с окончанием полета,
С наступлением весны, с карамелькою в горсти!
Потолкайся меж людей, на вокзале, у парома:
Выбирают перемет в легкую ладью Харона,
Чей-то поезд у перрона, птиц осенний перелет...

* * *

Как небо над заводью, сердце, замри,
Теченье стрекоз не нарушь.
У Господа Бога на пядь земли
Колонна проектных душ.
Он снимет заступом пласт земной,
Столетия обнажив.
Но как же, Господи, быть со мной,
Который покуда жив?

Богаче о́тчего дом не строй —
Обиднее погоришь.
Вот так муравьи не меняют строй
И птицы в просветах крыш.

Уже огонь по всей стене,
Из мертвых глаз дымок.
Но что вы скажете обо мне,
Что сам я сказать не мог?

Без веры клянчит усталый дух,
У врат шелестя сумой,
Такую жизнь, чтоб дороже двух,
Богаче себя самой.
Я помню землю моих поэм,
Я пел у ее огня.
Но что изменить, если сплю и ем,
А кажется — нет меня?

Невский триптих

I

Дальше к западу гулкие стены,
Переплеты асфальтовых жил.
Так простимся по-доброму с теми,
Кто в отчизне меча не сложил.
Злобный ветер провыл над Сенатской,
Над сугробами воска-сырца.
Стали ментики — рванью солдатской,
Темным торфом — живые сердца.

Этот бич просвистел не случайно,
Никому не уйти от судьбы.
Вдоль дорог от Невы до Сучана
Черепа украшают столбы.
Провода запевают тугие,
Темный ливень с гранитной скулы.
Над лесами звенят литургии,
До небес полыхают стволы.

Дальше к западу зимнее небо,
Терема из костей возвели.
Я прошел этим городом гнева
От вокзала до края земли.
Я возник из декабрьской метели
С поцелуем судьбы на виске.
И столетние гвозди кряхтели
Подо мной в эшафотной доске.

II

Лунный ливень по выгнутым шеям,
Горький камень под крупом коня.
В этой бронзе и в камне замшелом
Не сыскать нас до судного дня.
Острова неподвижны и хмуры
В пароксизме корыстной тоски.
Мы — глазастое племя, лемуры,
Совестливого студня мазки.

Вьется облако раненой птицей,
На стволах — золотая пыльца.
Я устал от ночных репетиций
Леденящего душу конца.
Самолетик с серебряной ниткой
Пауком над фабричной трубой.
На рассвете у стрелки гранитной
Флегетона свинцовый прибой.

Ночь без шороха, дым без движенья,
Крик без голоса, выстрел ничей,
Как Помпеи в канун изверженья
С пересветом стеклянных очей.
Так смотри же до гибели зренья —
Нежный пепел ложится вокруг,
И мостов разведенные звенья,
Словно взмах остывающих рук.

III

Будь ты Иов собой или Каин —
Это имя сгорит между строк.

Человек обращается в камень,
Продлевается городу срок.
Пирамиды в удел знаменитым.
Некрологи в осьмушку листа.
Мы останемся невским гранитом
И чугунным скелетом моста.

Сентября колдовские парады,
С молотка пожелтевший товар.
Ты стоишь у садовой ограды,
По колени уйдя в тротуар.
Жухлый мрамор, сезонная раса,
Литосферы трагический гнет.
Нас оденут в листы плексигласа —
Только осень сильнее дохнет.

Фосфористые иглы бизаней,
Тишины нежилой водоем.
Раствори меня, рай обезьяний,
В неподатливом камне своем.
Над заливом — туман осторожный,
Над Васильевским — свод листовой.
Уложи меня, мастер дорожный,
В основанье твоей мостовой.

* * *

присуждают иксу кандидатскую степень
запускают в науку неловкой совой
в триумфальном желудке немотствует цепень
ежечасные свадьбы справляя с собой
не расслышать банкетных гостей голоса
паразиту в желудке икса

одолев снеговые ленгоры
не чета заводской вшивоте
кандидату дорога в членкоры
с неизвестным зверьком в животе
он пожизненный химик союза
победитель идейных химер
и такому иксу не обуза
тихой фауны частный пример
можно в водку ему доливать сулему
но легко околеть самому

даже лучшие силы науки
в похоронные свозят места
чтобы род продлевали навеки
безымянные дети глиста
все одно не про них новодевичий рай
хоть и тоже они умирай

* * *

К чертям контрапункты — трагедия ищет азов.
Срастаются губы, как будто язык арестован,
Но плоть на трибуне, и плоти отчетливый зов
Толпе абонентов на равных паях адресован.

Но плоть у шлагбаума, вечен проклятый вопрос.
В таких постулатах душе уготована гибель.
Из корня Евклида изысканный Риман возрос,
Но в почву Эллады вернулся пресыщенный Гильберт.

Душа суверенна в свиданиях жил и костей,
Но стиснута плотью и нами забыта постольку.
И надо воздвигнуть по калькам античных страстей
Из пепла теорий — любви роковую постройку.

* * *

Пой, соломинка, в челюсти грабель!
Уцелевшие — наперечет.
Вот судьбы цилиндрический кабель
Из заплечной катушки течет.

Пой, травинка, в зубастом железе,
Тереби уплывающий грунт.
В электрическом тонком надрезе —
Тишины кристаллический труд.

Телеграфная Божья гитара,
Одуванчика сорванный крик.
В цилиндрической песне металла
Круговые сеченья впритык.

В наслоениях млечного сока
Сквозь степной журавлиный помет
Возникает течение тока,
Электрический голос поет.

И недаром в обрыве теченья,
Где озоном мой воздух запах,
Я судьбы круговые сеченья
В искалеченных стиснул зубах.

* * *

До хрипоты, по самый сумрак,
Пока словам работа есть,
Не просыхай, венозный сурик,
Работай, флюгерная жесть.

Трудись, душа, в утробе красной,
Как упряжной чукотский пес,
Чтоб молот памяти напрасной
Полвека в щепки не разнес.

Хребет под розги без наркоза,
Как Русь на борозду Петра,
Пока любовь — еще не поза
Для искушенного пера.

Незарубцованною кожей
Верней запомнишь, не шутя,
Что человек — найденыш Божий,
А не любимое дитя.

Пока под кожей оловянной
Слова рождаются, шурша,
Работай, флюгер окаянный,
Скрипи, железная душа.

* * *

Стеклянный воздух, месяц медный,
Осина горькая узлом —
Мой край коричневый и бедный,
Парящей осени излом.
Мне нет забвения давно в ней,
На тихой радости сыновней —
Авессалом, Авессалом!

Пока домашние в изъяне
Искали веры наповал,
Я в тихом дворике с друзьями
Вино разлуки допивал.
Их разговор был скуп и горек
От наболевшего ума.
И сторожили тихий дворик
Замоскворецкие дома.
Они дышали нам в затылки,
И воздух в каменной бутылке
Дрожал,
как злая сулема.

Деревья темные редели,
Мешался камень со стеклом.
Как одиноко мы сидели
За нашим нищенским столом.
Но лайнер в воздухе красивом
Гудел над каменным массивом:
Авессалом, Авессалом!

* * *

Я хотел бы писать на латыни,
Чтоб словам умирать молодыми
С немотой в тускуланских глазах
Девятнадцать столетий назад.

На три пяди рассудок распахан,
И березы по краю стеной,
Чтобы ветер в секунду распада
Заворачивал ток временной.
Мы аидово племя и только,
Сотворенному жить не судьба.
Я за тех, кто растет без итога,
Параллельно и против себя.

От юнца до замшелого деда
В бонапарты глядят простаки.
У фортуны известное дело —
Колесо летописной строки.

Марина УРУСОВА

Спатаданца

РАССКАЗ

Испанец, баск, и молодой генерал, почти ровесники, прибыли на побережье Черного моря одновременно. Баск Луис Урбета был цирковой наездник. По дороге на гастроли он заглянул к друзьям. Генерал — пображничать с офицерами и фаворитами-спортсменами.

Луис, воспитанник советского детского дома, сохранил черты и манеры пиренейского горца. Походка его была нетороплива и горделива, как у матадора.

В Испании четыре баскские провинции: Бискайя, Гипускоа, Алава и Наварра. Во Франции три. Итого семь. Д'Артаньян был тоже баск. Гордый народ. Как дагестанцы на Кавказе.

В ночь, когда приехал Луис, поднялся многобалльный шторм. Волна через парапет заливала первые этажи магазинов и парикмахерских. К утру слегка поутихло.

— Интересно искупаться при таком шторме,— сказал Луис Альфонсо и Анхелю.

— Пойдем,— сказали ови.— Есть пляж спокойный, нет таких камней.

Словом, он их заводит, они его заводят.

Пошли.

Пляж был санаторный, высшего класса. В ту пору, а было это в пятидесятых годах, внешней стороне демократии придавалось бо́льшее значение, чем в последующие времена, поэтому войти на пляж им не составило никакого труда.

Было часов одиннадцать-двенадцать дня. Воскресенье. В этом санатории находилась сборная Союза, которая готовилась к поездке в Хельсинки ва олимпийские отборочные матчи по футболу во главе с прославленным капитаном, футбольно-хоккейным универсалом Всеволодом Бобровым.

Военные в спорте тогда подразделились на команду ЦСКА и ВВС — детище генерала. А в сборной вновь объединились.

Еще не настала пора организованных сборов с жестким режимом, регламентом и профессиональной градацией. И потому, кроме футболистов, здесь была и знаменитая хоккейная тройка: тот же Бобров, Бабич и Шувалов, которую со временем сменили Локтев, Альметов и Александров, потом Петров, Михайлов и Харламов, а в недавнем времени Макаров, Ларионов, Крутов. Были и другие спортсмены из футбольных и хоккейных команд ЦСКА и ВВС. Словом, весь цвет.

В одинаковых тренировочных костюмах кто сидел, кто лежал на пляже.

Впереди был матч, когда они будут проигрывать югославам со счетом 0:5 и Бобров сравняет его. И будет назначен дополнительный матч, который они все же проиграют и выбудут из соревнований вовсе. А по возвращении их тот, кто безраздельно властвовал тогда над страной, спросит спортивных руководителей:

— Когда часть теряет знамя, что с ней делают?

— Ее расформировывают,— ответят руководители.

И сборную расформируют.

А пока... Пока Бобров уже забил в хоккее гол, который получил название «гол Боброва». Он проезжал по краю площадки за ворота противника, объезжал их сзади и забивал шайбу в ближний от себя угол. Это стало называться «бобровский прием».

Пока ласкало их не только южное солнце, но, казалось, и сама фортуна. Здесь, в санатории, заключались немыслимые пари, ставились незарегистрированные рекорды. Только что, в это утро, после изрядной порции вина были подняты одной рукой две гири, был совершен прыжок через двухтумбовый письменный стол администратора в холле. Без разбега, оттолкнувшись двумя ногами. Предстояло отжимание от пола тысячу раз.

Как и Луис, генерал приехал накануне. Он был азартен, он был игрок. Спорт для него был нечто вроде наркотика. На трибуне он чувствовал себя как на ипподроме. Генерал и в жены себе взял профессиональную пловчиху, большую, сильную женщину.

Луис и генерал, у которого в крови тоже была горская кровь, были одинаково небольшого роста и веса — удобно седлать коня и самолет. На этом их сходство заканчивалось. Луис был черен и смугл, генерал — рыж, розовокож и веснушчат, брови и ресницы его были белесы, как у мыши, нос тонок, рот нервен. Он охотно смеялся, обнажая десны и мелкие, прокуренные зубы.

Генерал видел прыжок в холле через стол, сам участвовал в пари, был тоже уже разогрет коньяком.

Луис сделал на пляже цирковую разминку: рундат — простое колесо с прикосновением левой и правой рукой. И флик-фляк — мостик на руки и потом на ноги.

— Покажи, циркач, что ты можешь.— Генерал заметил Луиса и кивнул на вышку с маяком.

Просьба напомнила приказ, сдобренный порцией заливистого смеха. Пиренейский горец и воспитанник детского дома вступили в Луисе в конфликт.

Но генерал ничем не отличался от остальных, был одет, как и все, в спортивный костюм. Бодрило к тому же присутствие Боброва и многих знаменитостей.

Луис прикинул высоту, с которой ему предлагали прыгать. Она превышала все спортивные нормы. «Санта Мария!» Но отказаться — значит опозорить всю испанскую эмиграцию.

Баски, выросшие на берегу Бискайского залива, в море чувствуют себя нормально. Луис покосился на Альфонсо и Анхеля. У них на лицах была тревога. Луис улыбнулся, и дружелюбные огоньки зажглись в его черных глазах.

Фавориты генерала верно приняли улыбку за согласие. Те, кто был в плавках, побежали по пирсу и вскарабкались, как обезьяны, на площадку с маяком.

Баски — мирный народ. Они не были побеждены ни римлянами, ни маврами, и потому армии в Басконии не было. Но каждый баск, каждый житель той или иной провинции участвовал в народных торжествах, где с малых лет мальчика ставили в определенное место в боевом танце спатаданца. Вместо оружия они держали в руках палки. С этими палками они танцевали, имитируя сражение. И в случае опасности каждый знал, кто где стоит, кто командир в группе. Потом стоит дать оружие в руки — и крестьянин займет свое место как воин. Луис в детстве успел выучить спатаданцу.

Совсем недавно Луис обнаружил в себе природную боязнь высоты. Он не знал об этом раньше. Но в прошлом году в Оренбурге в летнем цирке канатоходцы попросили его закрепить под куполом лонжу. Пока Луис шел по крестовине к центру, акробаты кувыркались, прыгали через него, хулиганили, им было хоть бы что. А он кое-как дошел. Ему кричат снизу: «Слушай, ты что там так долго?» А он как посмотрел вниз... Он никогда не знал! Когда был студентом циркового училища и они подрабатывали на колокольне, ничего похожего не было. Но там были леса. Это совсем другое, когда рядом стена и ты ее чувствуешь. А тут висишь, вокруг пространство... Акробаты успели мостики переходные сделать, а он все закреплял. И они поняли, что он боится.

Ничего не поделаешь. Природа.

«Санта Мария, помоги мне, и я помогу тебе!» Так во времена реконкисты молились в походе против мавров испанцы-воины, заходя по дороге в часовню.

«Санта Мария! Помоги мне, и я помогу тебе!» — прошептал Луис традиционное сочетание слов.

Страх — естественное чувство, присущее каждому в той или иной ситуации. Разница лишь в том — умеешь ты его преодолеть или нет. У каждого, и у Луиса в том числе, вся жизнь была цепью преодолений. Не страха, но много чего другого. Например: лето сорокового года, Херсон. В столовой детского дома на всех столах, накрытых на четыре человека, возле прибора обязательный рыбий жир и кусочек черного хлеба. Не выпьешь — не получишь обед. Чего только не делали воспитанники! Выливали рыбий жир в окно, в кадку с цветами... Остановить этот всеобщий дисциплинарный протест воспитатели не имели сил. Они делали вид, что не замечают. Директор ничего не знал, и ежедневная порция вновь ставилась на стол.

В это лето завхозом в детский дом пришел с финской войны офицер с орденом Красного Знамени на груди — получил направление по партийной линии. На него смотрели с восхищением. И как-то, проходя хозяйственным двором, Луис увидел, как орденоносный завхоз пьет, запрокинув голову, из горлышка четвертинки. Тот перехватил удивленный взгляд Луиса.

— Подойди,— сказал,— понюхай.

— А-а-а.— Луиса чуть не вырвало, он схватился за живот: рыбий жир!

— Что ты так смотрел?

— Вы такой здоровый, сильный...

— Хочешь быть таким же, пей рыбий жир.

Тот пример повлиял не только на сознание Луиса, но и на его жизнь: уберег от туберкулеза, помог выжить в кровавой дизентерии.

— Что вы мне дадите, если я выпью за всех? — Луис в столовой детского дома напрягает волю.

— Десерт.

Хоп, хоп, хоп, хоп. Хлеб по карманам, и Луис забирает персики или арбуз...

Луис не спеша идет по пирсу. Волны, разбиваясь, обрызгивают его. Эмоции — банановая корка, думает, на которой можно поскользнуться и даже сломать шею. Он решил не думать о высоте. Шаг — плечо. Шаг — плечо. Он танцует спатаданцу.

Генерал, спортсмены и фавориты наблюдают лениво издалека. Впереди у них позорный проигрыш в Хельсинки. Впереди гибель всей хоккейной ВВС — они разобьются, когда полетят на чемпионат страны. Впереди уход Боброва из спорта. Впереди смерть генерала в постели провинциальной гостиницы...

Во время войны Луис часто болел бронхитом. И он стал делать зарядку и обливаться холодной водой. По этой же причине пошел в цирковое училище. И потому, что любил лошадей. Это тоже была его спатаданца.

Шаг — плечо. Шаг — плечо. Там-та. Там-та...

В сорок пятом в Москве, ему было шестнадцать, он уже получил паспорт. Дорита, она работала тогда на кожевенном заводе имени Тельмана у Павелецкого вокзала, говорит:

— Знаешь, Луис, я получила премию. Не деньги дали, а туфли. Помоги мне продать.

На Павелецком вокзале была барахолка.

— Здесь столько жулья,— говорит Дорита.

Луиса тогда только-только девочки стали признавать за парня. На нем были синие байковые брюки, а в заднем кармане кошелек с документами: паспорт, профсоюзный билет и комсомольский.

— Знаешь, понимаешь...— говорит ему Дорита.

Она доверилась мне, подумал Луис.

Деньги, вырученные на барахолке за туфли, он положил в тот же кошелек, в тот же задний карман байковых синих брюк. Уже около метро Дорита говорит ему:

— Расстаемся здесь, давай...

А у него в кармане ничего нет. Пусто. И тут он вспомнил, что кто-то сзади... Надо не терять времени! Кругом толпа. Народ. Где-то он поднялся на какие-то ступени какой-то булочной, посмотрел: двое идут — та-та-та. Интуиция или чувство — тут думать некогда. Если не они, то уже и вообще никто. Он за ними. Р-раз — та-та-та... Среди людей. Они за угол. А там стоит в офицерской форме здоровый мужик. «Ну как?» — говорит мужик. Они достают. Р-раз! — Луис хватает кошелек. Получилось, что он у них свой же кошелек украл, со своими документами...

Волна разбилась о пирс, окатила ноги Луиса теплой водой.

Рассуждать тогда на барахолке у Павелецкого вокзала было некогда — он нырнул в толпу. Приходит к метро, говорит Дорите:

— На тебе деньги...

Пирс кончился. Луис подошел к вышке. Вертикальная металлическая лестница была почти утоплена в бетон. Он взялся рукой за лестничную стойку.

В цирковом училище у Луиса долго не получалось сальто-мортале. А надо было уметь. Элементарная вещь первого курса. Никто не видел, как он тренировался. И вдруг на улице, зимой, в пальто, они шли большой компанией по Москве, на мостовой, скользко было, он сделал сальто-мортале. И все обалдели. Сказали: ты на манеже еле-еле делал, а тут в полном обмундировании, в пальто...

Я сделаю сейчас сальто в воздухе, думает Луис. Надо настроить себя на максимум.

— Ты испанец? — спросил его генерал.

— Испанец.

— Артист?

— Артист.

Босую ногу на узкую железную нагретую на солнце перекладину вертикальной лестницы ставить неудобно. Прочь эмоции. Эмоция — это та банановая корка... Из-за эмоций Луис едва избежал предварительного заключения. Это было на втором курсе. Их было пять испанцев. Они жили в бараке строительного общежития, и один из них, по кличке Паломеро, попросил у Луиса пиджак, он шел на свидание к девушке. Вдруг приходит Хосе, говорит, что в пивной — были тогда в Москве деревянные пивные с надписью: «Водка-пиво» — кто-то сказал про него: «африканская морда». Те, кто сказал, были не хулиганы, простые рабочие, но среди них был один хулиган, заводной. И что самое главное, они отняли у Хосе сына и отвели в барак.

«Почему мы туда и побежали,— вспоминает Луис,— сын был маленький, два-три года».

Луис приспосабливает ногу на железной перекладине, перехватывает руками стойки.

Это было страшно: пьяная орда, бухие. Мы выбросили одного со второго этажа и так далее. Пришла милиция с овчарками. На следующий день сделали очную ставку. Те говорят на Луиса: «Его не было». Потому что пиджак-то надел Паломеро. «А был вон тот». А Паломеро как раз не было.

— Я все скажу,— сказал тогда Луис.— Во-первых, они начали...

Потом они пошли к тем ребятам в барак и сказали: давайте мы вам дадим три тысячи. Хотя виноваты были они, но они же и пострадали.

А те вдруг:

— Тридцать тысяч...

— Ну, за тридцать тысяч...— сказал Хосе.

Лестница кончилась. Луис поднялся на площадку. Маяк, он мигал каждые шесть секунд на шесть миль, в это время как раз мигнул.

Море показалось Луису далеким, а пространство вокруг — воздушным океаном. Эмоция — банановая корка... Маяк опять мигнул.

Луис разбежался, чтобы не медлить. Успел подумать, что сделает не сальто, а бланж. Но в последний момент он потерял опору, нога его перестала чувствовать край. А-а! Проклятый страх! Он полетел вниз нелепо, неловко, долго — и на живот: пла-а-вих!

Что фавориты положили по подсказке генерала на самом деле банановую корку у края площадки, Луису в голову прийти не могло.

Он вынырнул не сразу. Его долго не было. Потом показалась голова. На третьей от берега волне. Волна измолотила его камнями, дровами — древесными обломками. Он оказался на гребне, потом полетел вниз. Между валами-горами видно было только небо. С овчинку. Он держался некоторое время на этой третьей волне. С детства Луис знал, что если поднимается волна с одноэтажный дом, нужно под нее нырнуть и переплыть. Он собрал все силы, чтобы нырнуть под вторую волну. Вью-у-уб! Ему показалось, что он ударился, как о стену, на самом деле он вошел в волну. И вновь камнями, дровами, галькой и водорослями молотило его и швыряло.

Пришел в себя Луис на берегу.

В санатории были кадровые моряки. Они взяли сборную, сделали цепочку. Вошли в море. И когда Луиса стало прибивать, поймали его за ногу.

Ему дали коньяк. «Я боюсь высоты. Природа»,— сказал он, как только смог говорить. Честно признаться — был его принцип.

— А где второй? — услышал он.

Оказывается, Анхель, когда Луис прыгнул и долго не появлялся, бросился в море спасать его. И его спасали те же моряки. Анхель схватился за стойку загородки, отделяющей санаторный пляж. Он был очень здоровый, его не могли никак оторвать, а пока отрывали, камнями било по голове всех, кто находился в воде. Наконец вытащили и его.

«Банановая корка»,— прошелестел, нет, прокаркал кто-то.

Луис не обратил внимания, не поверил.

«Корка, корка»,— то ли картавили, то ли каркали вокруг.

Весть о том, что на площадку, откуда начиналась конструкция маяка, была положена банановая корка, облетела весь пляж. Было известно также, что выходка эта исходила от генерала и потому повсеместно воспринималась как шутка. А тот, кто был с ней не согласен, тот молчал.

Генерал, незаметный, в спортивном костюме, рыжий, худощавый, маленького роста, запрокидывал голову, заливисто хохотал, и кадык его ходил вверх и вниз.

И только Луис, которого вместе с Анхелем и Альфовсо щедро поили коньяком, в это не верил. Он считал, что подвела его природная боязнь высоты, и ему неловко было принимать угощение.

А маяк мигал и мигал. Каждые шесть секунд посылал свет на шесть миль.

Шел одна тысяча девятьсот пятьдесят второй год. Имя генерала было Василий Сталин.

●

Татьяна БЕК

Сны накануне

* * *

Человек привыкает к увечью...
И душа, гробанувшись с высот,
Расстоянье меж высью и вещью,
Одомашниваясь, обживет.

Я — земная. Куда мне в колдуньи?
Но как явственно слышится зов,
Как отчетливы сны — накануне
Грандиозных моих катастроф!

Надо выжить во мгле костоломной.
Надо выпарить соль из беды.
...Я иду по окраине темной,
Над которой не видно звезды.

Так и будет — меж вещью и высью...
Но насколько сильней небеса!
То галопом, то шагом, то рысью
Удираю на четверть часа.

Там надежды мои прояснятся,
Не веля унывать во грехе.—
Хороши, как пасхальные яйца,
Отогревшиеся в шелухе.

* * *

Вы о главном хотели бы? Нате ж.
Как шальное окно на ветру,
Я раскрыта земле этой настежь —
Вместе с нею надеюсь и мру.

И впотьмах ужасаюсь разбою,
И дрожа изумляюсь лучу,
И уже не владею собою,
Но от боли еще не кричу:

Неуместно. Грядущие дали
Истребляют меня на корню.
Но какие бы дни ни настали,—
Я приму их. Как злую родню.

Эту землю, где пусто, и стыло,
И мучительно, как ни мужай,—
Не добьетесь, чтоб я разлюбила,
Хоть гоните меня за Можай,

Хоть за Серпухов, хоть за Воронеж...
Я не вами ведома, «вожди»!
...О предчувствие —
лисий звереныш
Под рубахой, у самой груди.

* * *

И ты, и ты хотела жить, как все,
Но небеса отказывали в иске...
Покуда газик мчался по шоссе,
Орали птицы и летели брызги!
А ты глядела в утреннюю даль:
То темный пар, то солнце
на поляне,—
И открывалось,
что твоя печаль
Нечестно претендует на вниманье.

(А разве он не заслужил «как все» —
Замшелый и заброшенный орешник,
Такой красивый — в инее, в росе, —
Отшельник,
и молчальник,
и кромешник?)
Пекло сильнее. Стало веселей.
И душу исцелял от нездоровья

Не то чтобы божественный елей,
А свежий ветер бедного низовья.

О, всякое открытие старо!
Пора принять, не требуя разгадки,
Горчайший мир, где все-таки добро
Кладет,
кладет гордыню на лопатки...

* * *

Не заметил (поскольку привык),
Что — лишенная стати и сути —
Я мертвею, как мертвый язык,
На котором не думают люди.

Мы заварим немыслимый чай.
Мы добавим туда зверобою.
...Не заметил — и не замечай!
Я жива лишь твоей слепотою.

А заметишь — какая тоска, —
Я уйду, как ушли печенеги...

— Не меня ты, любимый, ласкал,
Не со мною прощался навеки,

Не со мною мирился, крича,
Что не ту я фуфайку надела...
Ухожу (а была горяча
И любила тебя без предела) —

Неизвестно зачем и куда
(Я и мертвая буду твоею)...
Как народ, как язык, как вода,
Ухожу, вымираю, мертвею.

* * *

По дороге летней, длинной
Ехали на близкий север —
Некий кахетинец дивный,
Я, и Леша, и Наташа...
Нет. Не плакали, но пели.
Свет купейный был невесел,
Но была у нас собака,
И кураж, и хлеб, и чаша!

В одеяниях нелепых
На рассвете прибывали.
Продолжали — вертолетом,
И попутками,
И пехом...
(Главная была собака!)
...Главное: светились дали,
Все поросшие брусникой,
И забвением, и мохом,

И смиреньем... Вечерами
Пели! Озеро темнело.
Кахетинец, я, и Леша,
И Наташа — молодели.
Свет хлестал со дна оврага,
Шел с небес, из буерака
Пер на нас осатанело...
Лучше ничего не помню!
Да. Еще была собака.

...Боже. Зазубрить навеки:
Свет истошный, лес родимый,
Кахетинский голос певчий,
Лица Лешино с Наташей...
Я и впредь (а с той дороги
Минул год необратимый)
Вспомню — и, преображаясь,
Чувствую себя наставшей!

* * *

На исходе времен, на исходе
Века, где и под солнцем темно, —
Мы катаемся на пароходе
И веселое тянем вино
Или ищем картошку и мыло,

И подолгу стоим на углу...
И — не видим,
что гаснет светило
Над эпохой,
идущей во мглу.

Александр ЗИНОВЬЕВ

Зияющие высоты

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ

ПОЭМА О СКУКЕ

Поцелуй ибанца

Ибанцы много всего внесли в мировую культуру. Радио, самовар, матрешки, — всего не перечесть. Ибанский землепроходец Хмырь раньше Колумба ходил в Америку. И не раз. Возьмет, бывало, краюху хлеба и пару запасных лаптей — и пошел. Далече ли собрался, спрашивают соседи по квартире. В Америку, говорит Хмырь. Ишь, Колумб какой нашелся, шипят соседи от зависти. Может, подарочки принесешь? Бутылочку ихней какой-колы? Пиджак замшевый? Или шубку нейлоновую? Ха-ха; я бы принес, говорит Хмырь. Да валюты, сами понимаете, в обрез. И пошел. На работу пошел. Прямо в братийное бюро. Характеристику, говорит, дайте. А далече ли ты собрался, спрашивает Браторг. В Америку, говорит Хмырь. Ишь, Колумб какой нашелся, говорит Браторг. Чего ты там не видал, в этой Америке? Думаешь, без нас, сопливых, не обойдутся? Они и без нас Америку-то откроют! Они — не то что мы. Европа! У меня родственник там, говорит Хмырь. Чингачгук. Может, слыхали? Приглашение вот прислал. А кто он такой, твой Чинначхать, спрашивает Браторг. Может, миллионер какой? Реакционер? Расист небось? Из ЦРУ? Нет, говорит Хмырь. Он — вождь. Красный. И голый весь. Как ибанец. Не отличишь. Раз так, говорит Браторг, иди открывай Америку! И Хмырь пошел. Прямо в специальную комиссию маразматиков-пенсионеров. А скажи-ка, спрашивает Маразматик, какой политический строй в этой твоей... как ее... Америке? Дикость и варварство, говорит Хмырь. И никакой семьи, частной собственности и государства. Угадал, говорит Маразматик. А как относится король одной иностранной державы к событиям на Ближнем Востоке? Отрицательно, говорит Хмырь. Верно, говорит Маразматик. А сколько картошки в этом году собрали хлеборобы Заибанья? Вдвое, говорит Хмырь. Молодец, говорит Маразматик. Политически ты подкован. Можно доверить. Иди! И Хмырь пошел. Прямо в Органы Охраны Народа (ООН). В Америку собрался, спрашивает Сотрудник. Прекрасно. Давно пора. Только вот ответь: что ты говорил своему собутыльнику Балде в Забегаловке? А анекдотики кто рассказывал во время пьянки у Лаптя? А известно ли тебе, что твой Чинначкак пренебрежительно отзывался о наших мероприятиях по воспитанию интеллектуалов с испорченной анкетой? И Сотрудник нажал кнопку. Из окошечка прямо в рожу Хмырю со свистом выскочила автоматическая фига и поставила на лбу у Хмыря штампик: ОТКАЗАТЬ. Иди, сказал Сотрудник. Раньше, чем через год, не появляйся. И помни... И Хмырь пошел. Прямо домой. Далече ли ходил, спрашивают довольные соседи. В Америку, говорит Хмырь. Скажите, пожалуйста, Колумб какой объявился, перемигиваются соседи. Может, подарочки какие принес? Сувенирчики? Бутылочку коки-колы? Дал бы попробовать, давненько не едали. А как там поживает твой родственничек Хемингуей? Может, лите-

Окончание. Начало см. «Октябрь», №№ 1, 2, с. г.

ратурку какую разоблачительную дашь почитать? Мы ведь необразованные! А пошли вы все куда подальше, говорит Хмырь. Пока вы мне тут палки в колеса суете, Колумб на всех парусах в Америку шпарит за приоритетом. И он был прав. Колумб перед отплытием в Америку приезжал в Ибанск под видом иностранного туриста и встречался с Хмырем. И тот дал ему кое-какие адресочки. Сотрудники ООН своевременно разоблачили Хмыря. Но было уже поздно. Колумб уплыл.

Однако самый грандиозный вклад ибанцев в мировую культуру — это обычай троекратного целования. Историки считают, что повсеместное его распространение сыграло в судьбах человечества не менее важную роль, чем изобретение огня и открытие книгопечатания. Не случайно же год принятия Декларации Целования на чрезвычайной международной ассамблее всех стран и народов стал началом нового летоисчисления. Все исторические события стали отсчитывать годами до или после Поцелуя Ибанца (ПИ).

Согласно упомянутой Декларации процедура целования производится так. Лица, предназначенные для целования, движутся навстречу друг другу, изображая на лице нечто такое, что в великой ибанской литературе передается возгласом: ба, кого я вижу! сколько лет, сколько зим!! Вот не чаял встретиться!!! Сблизившись на такое расстояние, чтобы нижние части животов плотно прижались друг к другу, целовальщики останавливаются и разводят руки в стороны под углом шестьдесят градусов ладонями вперед. Одновременно они приоткрывают пасти ровно настолько, чтобы не вывалились искусственные челюсти, но чтобы началось обильное слюноотделение, и выпячивают губы как можно дальше вперед. Затем резким движением они хватают друг друга крест-накрест, причем встречающий слегка сгибается влево, поскольку правая его рука идет вверх, на левое плечо встречаемого, а левая — вниз, на правый тазобедренный сустав встречаемого, тогда как встречаемый слегка сгибается вправо, кладя левую руку на правое плечо встречающего, а правую — на его левый тазобедренный сустав. Раньше целующиеся часто путали правое и левое у стоящего напротив партнера и сцеплялись таким фантастическим образом, что их с большим трудом разнимали. Иногда их даже разрезали автогеном. Потом разработали специальную инструкцию в дополнение к Декларации и под расписку разослали королям, президентам, председателям, шахам и прочим лицам, допускаемым к обряду целования на высшем уровне. Инструкцию разработали в Научно-Исследовательском Институте Житухо-Обыденных Проблем (НИИЖОП, или короче — ЖОП). И недоразумения стали происходить реже и без грубых патологических последствий. Да и то лишь в случаях, когда не соблюдались другие пункты Декларации. Например, если пупы встречающихся не совпадали по вертикали, то ближайшим к правой руке оказывалось не левое, а правое плечо партнера, а ближайшим к левой руке — не правое, а левое бедро. В таком случае целующиеся некоторое время ловили друг друга как будто бы с завязанными глазами, дружелюбно похихикивая. Мол, где же ты потерялся, твое королевское величество... твою мать! Ха-ха-ха! А вы-то где, Ваше Высокопревосходительство Товарищ Председатель! Ха-ха-ха! Наконец объятие устанавливалось в строгом соответствии с инструкцией. И тут же каждый из обнимающихся впивался губами в губы партнера, издавая звуки, похожие на звуки лопающегося детского воздушного шара или вытаскиваемой из бутылки пробки, и брызгая на окружающих слюной. Делают они это трижды. Сперва справа налево. Потом слева направо. Потом прямо, отведя носы в стороны. Окружающие в это время хлопают в ладошки, блаженно улыбаются и скандируют: друж-ба! друж-ба!

Утвердился этот обычай, конечно, не сразу. Ибанским руководителям пришлось приложить немало усилий и изобретательности. Так, однажды Заведующему Ибанска (Заибану) доложили, что король одной вшивой западной державы, с которым Заибан решил побеседовать по душам, целоваться не будет. Ему, видите ли, воспитание не позволяет. Он даже условием встречи поставил, чтобы никаких целований. Не беда, сказал Заибан. Не таких перевоспитывали. И перевоспитали. Когда король вылез из самолета, Заибан пошел ему навстречу, заложив руки за спину. Король вздохнул с облегчением и улыбнулся. Этого только и надо было Заибану. Он мигнул министру обороны. Тот навалился мощным пузом, усеянным орденами, на хилого королишку. А начальник почетного караула с таким остервенением взмахнул шашкой перед самым носом королишки, что его величество с перепугу ринулся прямо в объятия Заибана. Тот зажал его и нацеловался всласть. Короля потом две недели отмывали, как будто он провел ночь в клетке старой верблюдицы в ибанском зоопарке и был ею оплеван. На родине подчиненные стали обращаться к королю на Ты и требовать реформ. И король отрекся от престола. Короче говоря, ибанским руководителям пришлось перецеловать не одну тысячу политических деятелей, прежде чем обычай целования завоевал мир. После этого ибанские руководители вместо устаревшего обращения: «Погодите, мы вам покажем!» стали употреблять современное обращение: «Погодите, мы вас поцелуем». В Париже начались студенческие беспорядки, ставшие неразрешимой загадкой для западных социологов, но блестящи объясненные с позиций ибанизма Социологом, Супругой и Тлей. Для Сотрудника они загадкой не были еще до того, как они начались. И он лишь снисходительно усмехался, читая статью Тли в Установочном Журнале. Под давлением левых сил в Париже открыли кафе и выпустили духи «Поцелуй ибанца». Теперь немного терпения, сказал Заибан своим соратникам, и мы их всех передавим, как клопов.

Разрядка

Началась ожесточенная борьба за разрядку напряженности и сразу же достигла апогея. Враждовавшие стороны трижды поцеловались по ибанскому обычаю. В обмен на оппозиционно настроенных интеллигентов с дефективной анкетой ибанцы вывезли из Америки сто миллионов пудов щей. Демократизация ибанского общества достигла зенита. Ибанские власти разрешили поставить на могиле Хряка надгробие из черно-белого мрамора. Переплетение и взаимное проникновение черного и белого цветов символизировало борьбу сил добра и зла в сложной натуре Хряка, который, даже по мнению Хозяина, был примитивным хитрецом районного масштаба. Власти разрешили также нескольким никому не ведомым художникам выставить свои паршивые картинки на мусорной свалке, предварительно разогнав их с помощью энтузиазма народных масс. Поглядите, кричали прогрессивные силы на Западе. Что мы вам говорили! Ибанцы исправились! Преодолели! Погодите, говорили консервативные силы. История еще может повториться. Ерунда, кричали прогрессивные силы. История повторяется. Но один раз — как трагедия, а другой раз — как фарс. А фарс нам не страшен. Историю вспять не повернешь. Не те времена. Это глубочайшее заблуждение, сказал Двурушник. История повторяется. Но один раз — как трагедия, а другой — как катастрофа. Но Двурушника не послушали. Его вообще не слушали, ибо про него вообще забыли. Судьба западной цивилизации решается в Ибанске, говорил Правдец. Ибанские проблемы — это не экзотика и не материал для развлечений. Это ваши, западные проблемы. Поймите это в конце концов! Но даже Правдеца не слушали. Даже о нем позабыли. И понимать ничего не хотели. Вспомните уроки прошлого, говорил Правдец. Кто пал первой жертвой режима Хозяина? Хватит, кричали прогрессивные силы. Надоело! Не забывайте об исторической оправданности! Не нужно преувеличений! Глядите, как здорово живут теперь ибанцы! Надо же считаться с фактами!.. Но ведь режим Хозяина — тоже факт, говорил Двурушник. Факт сегодняшней жизни, а не прошлого. Это не сон, а реальность. Слова бессильны, сказал Двурушник. Тут дело не в заблуждениях. Если люди будут точно знать, к чему приведут их действия, они все равно от них не откажутся. Они их совершают независимо от сознания, по законам поведения масс, лишь придавая им ту или иную словесную форму. Бессмысленно говорить падающему о том, что падение причинит ему неприятности. Но молчать невозможно, если знаешь об этом.

Великая победа

В первый же день после ПИ без объявления войны началось Великое Глобальное Целование (ВЦ). Никто не знал, почему оно началось и зачем. Лишь после того, как оно закончилось и без объявления мира на-

чался мир, выяснилось, что враждебные силы хотели повернуть историю вспять. Но ибанцы перецеловали всех и покрылись неувядаемой славой. Поэтому ВЦ с их стороны было справедливым. Еще лишний раз подтвердилась правота ибанизма — самой научной науки, по которой все и происходило в мире в последние столетия. Заведующий Ибанска (Заибан) был награжден десятью тысячами высших орденов и удостоен высшего воинского звания ефрейториссимуса. Заместители получили по пять тысяч высших орденов и по чину фельдфебелиссимуса. И так далее, вплоть до забулдыги Хмыря, который закончил ВЦ безнадежно рядовым и не получил никаких наград. Он был и этому безумно рад, так как могло быть еще хуже. Единственное, о чем он просил высшие власти в лице Участкового, это чтобы его оставили в покое. Участковый за сравнительно скромное вознаграждение (два пол-литра в неделю) шел навстречу и позволял Хмырю ничего не делать.

ВЦ было самое большое. Зато самое последнее. Теперь мы перекуем мочу на рыла, сказал Заибан, вылезая из погреба, откуда он руководил сражениями. И приказал Академии Наук приготовить ему круглосуточный доклад, который он намеревался зачитать по поводу Великой Победы. Для зачтения доклада в помощь Заибану рационализаторы изготовили Робота, как две капли похожего на Заибана. Во избежание недоразумений Робота-Заибана заперли в чулан. Вскоре из чулана стало распространяться чудовищное зловоние. Когда чулан вскрыли, выяснилось, что Робот наложил в штаны самым натуральным образом. Это было единственное доказательство того, что он настоящий Заибан, а тот Заибан, который в это время шлялся по Ибанску и отдавал дурацкие распоряжения, был Робот. Заибан все мероприятия двойника присвоил себе и очень гордился ими.

ВЦ теперь больше не будет, сказал Заибан. Целоваться теперь не с кем. И некому. Так что армию теперь увеличим не вдвое, как планировали, а втрое. Будем призывать всех без исключения. Пятерки теперь будем ставить тем, кто сумеет промазать в мишень, пользуясь новейшими храпо-сонными прицелами. Пусть стреляют. У нас теперь есть опыт и закалка... За высокие научные показатели доклада Заибану присвоили высший научный титул эйнштейниссимуса. Заместителям присвоили титулы ньютониссимуса. И так далее вплоть до безграмотного забулдыги Хмыря, который остался без степени и звания и был безумно рад тому, что его оставили в покое.

Во время ВЦ Ибанск был стерт с лица земли вместе со всем населением. Но ибанцы не растерялись и обосновали новый на месте старого, только чуть выше, над землей, так как на земле стало жить опасно из-за отходов промышленности, насовсем засоривших среду, и бытового мусора. Земля превратилась в мусорную свалку, на которую ибанцы по особым пропускам снаряжали экспедиции за сырьем и продуктами питания. Поскольку ибанцам теперь никто не мешал, они быстро восстановили все то, что было, и даже кое-что такое, чего не было. В частности, они впопыхах напечатали вредную книжонку Клеветника. Но вовремя опомнились, за что Заибану было присвоено высшее художественное звание пикассиссимуса. Заместителям присвоили звания леонардыдависсимуса. И так далее вплоть до равнодушного к судьбам искусства забулдыги Хмыря, который был безумно рад тому, что его оставили в покое. Клеветника посадили, а Заибану присвоили высшее охранное звание агатакристиссимуса. Короче говоря, ибанцы начали стремительно развиваться. И доразвивались до того, что с большим опережением графика построили высшую ступень социзма или полный социзм — псизм. И не столько этому обрадовались, сколько удивились, что это почему-то получилось. Кто бы мог подумать, что построим, говорил по пьянке Заибан своему старому врагу Главному Теоретику. Между нами, врагами, говоря, ведь никто в эту ерунду не верил. И на тебе! Построили! Честно говоря, сказал Главный Теоретик, я тоже никогда в это не верил. Не такие же мы идиоты, как о нас думают эти вшивые интеллигентишки, чтобы верить в такой бред. Я и сам до сих пор не пойму, как он построился. Неужели ибанизм действительно прав?! Вот это хохма! Ладно, черт с ней, с теорией. Пошли. Пора открывать этот псизм. Нас уже там заждались.

Хмырь

Хмырь ошивался в районе Продуктового Ларька, правдами и неправдами заколачивая ровно столько, сколько нужно на выпивку и расплату с Участковым. Напившись в ближайшей Забегаловке, он плелся в Берлогу — в комнатушку к своей Сожительнице, распевая на весь Ибанск непристойные песенки.

Сногсшибательный успех!
Гип-ура! Но вот потеха.
Раздолбали мы их всех,
И теперь нам не до смеха.

Поэт-лауреат, опустившийся в народ с целью стать его вожаком, презрительно кривил истонченные завистью губы потасканного импотента-гомосексуалиста. Он считал, что это не искусство. Но Хмырю было наплевать на мнение любимца Органов и молодежи, так как он сам категорически отрицал свою причастность к искусству. И он продолжал орать благим матом:

На кого теперь валить
Со жратвою недостачи?
Кто поможет нам покрыть
В освоеньи неудачи?

Этого поэт стерпеть не мог и побежал жаловаться. Хмыря забрали. В каталажке он выцарапал ржавым гвоздем прямо под портретом Заибана апологетический стих:

Демократий наших рай
Ширится и прочится.
Куда хочешь, удирай,
Говори, что хочется.

Но удирать было уже некуда, так как везде был Ибанск. И на месте Парижа Ибанск. И на месте Нью-Йорка Ибанск. И даже на месте Лондона Ибанск.

Я б удрал. Да вот беда.
Удирать-то некуда.

И говорить было нечего, так как все было уже сказано. И без всяких последствий.

Я бы что-нибудь сказал,
Да от слов эффект пропал.

Не знаю, как с точки зрения поэзии, сказал Коридорный, но по содержанию правильно. Потом выяснилось, что Хмырь — единственный и последний ибанец с нулевым уровнем сознательности. Как так, удивились сотрудники Органов. Ибанец — и без наград, степеней и званий? Не может быть такого! И Хмыря отпустили домой как резерв, за счет которого в дальнейшем будет происходить прогресс общественного сознания.

Под-Ибанск

Задолго до ВЦ под Ибанском была создана грандиозная сеть подземных сооружений. Одних только станций метро было несколько десятков тысяч. А сколько канализационных отстойников и мусорных отлежников! Поцелуеубежища со всем, что нужно для жизни огромного числа людей на длительное время. Население, занятое в подземном хозяйстве, само по себе могло образовать целое государство. В речи по поводу награждения канализационной сети орденом Заибан сказал, что из одних только золотариков мы можем укомплектовать аппарат управления и научные учреждения любого западного государства. Были созданы первоклассные научно-исследовательские институты по исследованию подземного хозяйства. Для подземников построили благоустроенные жилые кварталы под землей, санатории и спортивные сооружения. Большая часть подземников настолько привыкла к подземному образу жизни, что даже испытывала неудовольствие, когда их выгоняли наверх для участия в демонстрациях, встречах и проводах. Так что, когда началась война, Ибанск был стерт с земли, и выходы на поверхность оказались все замурованными, подземники долгое время жили как ни в чем не

бывало. Они даже были сначала довольны, что их оставили в покое, не дергали никакими комиссиями, проверками, соревнованиями, манифестациями и прочими общественными мероприятиями. Об этом времени впоследствии сложились легенды как о мифическом золотом веке. Молодежь, слушая эти легенды, только посмеивалась. Никаких собраний? Никаких визитов? Никаких соревнований? И даже арестов никаких? Старушечьи сказки! Нашли дураков!!.

Когда кончилась война, ликвидировали ее вредные последствия и восстановили Ибанск над землей (Над-Ибанск), то вспомнили о подземном Ибанске. Общее мнение было таково, что там все погибли. Попытки ученых установить связь с подземной цивилизацией не увенчались успехом, и Под-Ибанск сочли несуществующим. Но подземники выстояли. На то они и ибанцы! Они сохранили все завоевания социзма и упрочили их. Поскольку они жили в полной темноте, им не нужно было читать и сочинять книги, рисовать картины, кривляться в театрах, в кино и по телевидению. Благодаря этому они построили псизм значительно раньше, чем в Над-Ибанске. Ликования по этому поводу были такими мощными, что тряслась земля и в Над-Ибанске кое-где разрушились здания. Но ученые сочли это верным признаком того, что в центре планеты происходят внутриатомные процессы.

Псизм

Псизм есть высшая ступень социзма, или полнейший социзм, сказал Заибан накануне объявления псизма в речи по поводу своего награждения Высшим Орденом за заслуги в развитии. От низшей ступени социзма он отличается следующим. На низшей ступени каждый индивид вкалывает по способностям, а получает в соответствии с тем, что он сделал. Как говорили в то время, по труду. Сознание при этом достигает такого уровня, что каждый индивид четко представляет, какие способности у него есть и каких нет, и за пределы своих способностей не вылезает. Общество располагает достаточно мощными средствами, чтобы не дать индивиду трудиться сверх своих способностей или по чужим способностям и убедить его в том, что он получил по заслугам. Поскольку всего очень много, индивиды довольны и ждут наступления высшей ступени. На высшей ступени индивиды продолжают вкалывать по способностям, но получают уже не по заслугам, а по потребностям. Сознание при этом достигает такого чудовищно высокого уровня, что каждый индивид даже во сне помнит, какие потребности ему положено иметь и какие нет. А общество развивает еще более мощные средства поддерживать сознательность индивидов на этом высочайшем уровне. Иначе нельзя. Иначе все мигом растащут. Народ! За ним в оба смотреть надо! Поскольку, здесь всего в избытке, то все потребности удовлетворяются, и... Вот в этом-то и состоит суть дела. Многие скептики полагают, что людям тогда будет так хорошо, так хорошо, что лучше и не нужно. И никакой прогресс тогда не нужен будет. Прогресс прекратится. А без прогресса никак нельзя. Теория не разрешает. Именно в этом видят главную опасность псизма — всего будет вволю, и дальше прогрессировать будет незачем. Наши враги особенно злобствуют именно по поводу этого центрального пункта нашего научного псизма. Ага, вопят они. Все будет в изобилии. Всем будет хорошо. Все будут довольны. А дальше что? Застой?! Нет, говорим мы спокойно и уверенно. Прогресс будет продолжаться. Без этого нельзя. Теория нас учит. Классики. Что тогда будет? И на это у нас есть четкий научно обоснованный ответ. Тогда будет иметь место борьба хорошего и еще лучшего. Еще лучшее будет побеждать хорошее. И общество стремительно двинется еще дальше вперед.

Прогнозы Заибана блестяще подтвердились. Как только псизм наступил, так прогресс пошел еще более ускоренными темпами. Стоило появиться чему-нибудь хорошему и даже очень хорошему, как немедленно в борьбу с ним вступало еще лучшее и побеждало его. Появлялась, например, мало-мальски терпимая картошка. И тут же с ней начинала борьбу еще лучшая. Прежняя исчезала совсем. А пока новая внедрялась, ее вытесняла еще лучшая. И так без конца. И за сравнительно короткий срок псизм не прошел, а проскакал галопом первую ступень и поднялся на вторую. Теперь общепризнано, что первая ступень продолжалась от объявления псизма до разоблачения группы врагов псизма в очереди за ширли-мырли у Продуктового Ларька на углу проспектов Хозяина и Победителей. Вторая ступень началась сразу же после этого и продолжается до сих пор. Она скоро кончится, так как наш любимый и гениальный Заибан поставил задачу разработать конкретный план перехода к третьей ступени и установить подходящие сроки, а именно — предстоящие именины Заибана. Первая ступень псизма характеризуется, как известно, тем, что на ней возникла качественно новая высшая форма социальной общности людей — очередь. На этой ступени в основе очереди еще лежали материальные интересы. На второй ступени в связи с тем, что ожидавшиеся на первой ступени ширли-мырли исчезли совсем, очередь приобрела черты наивысшей общности индивидов, базирующейся на более высокой форме сознательности, при которой сама мысль об удовлетворении потребности становится равной процессу удовлетворения этой потребности.

Объявление псизма

Хотя ибанцы с самого начала знали, что псизм — брехня, они ни на минуту не сомневались в том, что он рано или поздно наступит. Основоположник литературы ибанистского реализма Крысан выразил эти чаяния народа такими замечательными стихами:

Верили мы, очень скоро случится
То, о чем нам велели мечтать.
По способностям станем трудиться,
По потребностям получать.

Основоположник сдох накануне объявления псизма, признавшись своей последней несовершеннолетней супруге в том, что псизм — бред шизофреника. Дачу основоположника поделили на сотню садово-огородных участков и раздали молодым писателям-лауреатам. Те в припадке благодарности подхватили знамя ибанистского реализма, выпавшее из цепких когтей основоположника, и опубликовали совместное заявление:

Ибанец! Веры! Взойдет она,
Заря пленительного счастья.
Построит псизм страна
Сполна, а не отчасти.

Ибанцы точно знали, когда будет объявлено о наступлении псизма, и многократно под руководством специальных инструкторов репетировали свое поведение в этот торжественнейший за всю прошлую и будущую историю человечества момент. Они знали даже то, где лежат предназначенные для них бутерброды, которые они должны схватить по своим потребностям. И даже пометили бутерброды во избежание путаницы. Но они все равно впали в состояние возвышенного окаменения, когда чуть свет миллионы репродукторов на полную мощность проревели на всю вселенную:

Эй, ибанцы! Просыпайтесь!
Петушок пропел давно!
Попроворней одевайтесь!
Псизм стучится к вам в окно!

Это начал читать свою знаменитую речь Заибан. Речь готовили все трудящиеся Ибанска, за исключением Хмыря, в течение последних ста лет, и каждый внес в нее свою лепту. Хмырь от подготовки речи уклонился, сославшись на перегруженность общественной работой. Его как раз в это время назначили руководителем методологического семинара у химиков, не освободив, как обещали, от работы культорга в группе шаромыжников у мебельного магазина. Матери и дочери, орал Заибан. Бабушки и внучки! Отцы и сыновья! Дедушки и внуки! Братья и сестры! Мужчины и женщины! К вам обращаюсь я, друзья мои! Наступила... А пошел ты... подумал Хмырь и ринулся в ближайшую забегаловку к своему бутерброду и к своей законной порции безалкогольной эрзац-

водки. Но дорогу ему преградили здоровенные дружинники. Куды прешь, сказал один, пхнув пудовым кулачищем в хилую грудную клетку Хмыря. Мне бы опохмелиться, безнадежно проскрипел Хмырь. Где твоя сознательность, сказал другой дружинник и пхнул коленкой в хилый зад Хмыря. Иди умой рыло сперва. Раздача спиртного будет по талончикам после доклада Заибана. Приходи со своей посудой, болван. Мне бы опохмелиться, бормотал Хмырь, бредя мимо помойки. У него не было талончиков на выпивку, так как его сознание не поднялось до уровня полного ибанизма. И он не знал, где эти талончики можно достать. Надо подъехать к Спекулянтке, подумал он. Эй, милок, иди-ка сюды, услышал он шепот уборщицы из гастронома. Тибе чаво? Гони трояк, на чекушку. Трояк за чекушку, возмутился Хмырь. Так за трояк пол-литра можно было... То раньше можна была, зло шептала уборщица. Типерича вышшая ступень. Гони пятерку, а не то... Выхода не было, и Хмырь отдал последнюю пятерку. Выпив чекушку прямо из горла, Хмырь повеселел и пошел слушать доклад, напевая бог весть как сочинившуюся песенку:

Мне бы выпить. Да пожрать
Да с бабенкой переспать.
Что касается идей,
Равнодушен я. ей-ей.

У выхода на проспект Победителей его остановили патрули и потребовали предъявить жетон сознательности. Порывшись в карманах, Хмырь вытянул круглую железку размером с юбилейную монету, на которой были изображены большие полушария головного мозга и стояла цифра ноль, означающая низший уровень сознания. С такими данными — и на свободе, сказал старший патруля. Странно. Явный недосмотр. И Хмыря повели в участок. По дороге он продолжал орать:

От сортира и до стойни,
От квартиры до помойки,
Закусив от счастья рот,
К идеалу прет народ.

Когда Хмыря втолкнули в камеру, он вынул из кармана ржавый гвоздь и выцарапал на стене, испещренной ругательствами, такие слова:

Отвечает новый строй
Идеалу высшему.
Есть способность — пасть прикрой!
Есть потребность — шишь ему!

На другой день его выпустили, повысив уровень сознательности на один балл. Я начинаю делать карьеру, подумал Хмырь. Это может плохо кончиться.

В комнате не горел свет. Дверь была заперта. Интересно, подумал Хмырь, куда моя старуха смылась. Он нащупал в дырявом кармане среди хлебных крошек, обломков спичек и обрывков бумаги ключ, тихо всунул его в замочную скважину и повернул два раза по часовой стрелке, затем два раза против часовой стрелки и наконец еще два раза назад. Это был хитроумный секрет против воров, которые в невероятных количествах расплодились в Ибанске накануне объявления высшей ступени социзма. В комнатушке на кровати рядом с Сожительницей без штанов, но в сапогах и со свистком в зубах лежал Участковый. Хмырь на цыпочках подкрался к кителю Участкового, вытянул из кармана трояк и отправился в Забегаловку. Сожительнице он для хохмы оставил записку следующего содержания: ты тут с этим... .... а в Ларьке ширли-мырли дают! Откуда ему было знать, что эта шутка повернет весь ход ибанской истории совсем не туда, куда ей следовало идти по замыслу классиков.

Прогресс

После того, как везде в мире стал Ибанск, Заибану стало скучно. Поехать с визитом некуда. Ездить вручать ордена надоело. Да теперь это вроде бы уже унизительно. Ефрейториссимус, Верховный Главнокомандующий Всеми Вооруженными и Безоружными Силами Галактики — изволь, видите ли, ехать в какую-то вонючую глушь вручать эти ничего не значащие картонки... Целоваться по-настоящему не с кем. С Заместителями противно. Это хотя и положено по Уставу, а Устав он чтит, но противно. Он этих Заместителей знает как облупленных. Сам таким был. Они только и думают о том, как бы его спихнуть и занять его место. Ничтожества! На что они способны! Только языком молоть да по президиумам сидеть. Ах, как хорошо было раньше, до... Почетные караулы! Приветствия народных масс, стонущих под игом капитала и колониализма!

Речи. Встречи. Рук пожатья.
Поцелуй взасос. Объятья.
Плеск знамен. Толпы оранье
Со слезами провожанье.

Где все это? Нет! Мы не должны нигилистически относиться к прошлому. Кое-что хорошее было и в прошлом. Вот Хозяин, к примеру. Так он... И Заибан вызвал Замов, Помов, Сомов, Шемов, Стумов и т. д. вплоть до младших референтов. И дал указание.

Вскоре Ибанск разбили на геометрически равные и одинаковые районы. Каждый район сделали таким, как будто он есть целый Ибанск. Только во главе каждого района поставили Заибанчиков, так как верховная власть Ибанска и вся прочая прежняя система управления остались без изменения. Новое деление и новая система власти в каждом районе просто присоединилась к прежней, наложилась на нее, но действовала так, как будто никакой другой власти помимо нее не было. Между районами установили такие отношения, какие раньше были между суверенными государствами. Поставили пограничников. Учредили таможенную службу. Ввели визы. И теперь из одного района в другой ибанцы стали ездить так же свободно, как раньше (до) они ездили за границу.

Теперь Заибана при поездках по районам стали встречать так, как будто бы он приезжал в суверенное государство за границу, в котором народ бесконечно любит его, жаждет пойти по его стопам и присоединиться к нему. В столицах районов завели специальные магазины, в которых за валюту стали продавать заграничное барахло. Заибану, замам и сотрудникам ООН это барахло продавали без валюты, как если бы они на самом деле приехали за границу. Приезды Заибана в район стали всенародными праздниками. Ибанцы обязаны были при этом бросать работу и бежать на установленное место приветствовать. За это им продавали там по бутерброду с вареной колбасой.

Особой любовью Заибана стал пользоваться район Сортира. Там был установлен постоянно действующий почетный караул. А жители района круглосуточно дежурили по обочинам дороги, по которой проносились сверхбронированные автомобили с Заибаном. Никто не знал, в какой сидел настоящий Заибан, так как Роботы-Заибаны, сидевшие в прочих машинах, ничем от него не отличались. Единственное, чего они не могли делать, — это то, что делал настоящий Заибан в Сортире. Сидя в Сортире, Заибан, помимо того, что не могли делать Роботы, читал речи. Сортирные речи Заибана пользовались особой любовью народа и издавались такими неслыханными тиражами, что от них не стало прохода по улицам. Тогда их стали продавать в нагрузку ко всем прочим продуктам. И подкрепили это тем, что всех граждан обязали записаться в кружки по изучению речей и сдать зачеты.

И после этого Заибану стало весело. Жизнь приобрела интерес и смысл. Воочию видя ликующий от счастья народ, он лил слезы прямо в рюмку и говорил: а ведь не зря мы кровь свою мешками лили на баррикады.

Очередь

Накануне объявления псизма на углу проспектов Хозяина и Победителей построили Продуктовый Ларек. За неимением продуктов Ларек заколотили нестругаными досками, и он вскоре превратился в неофициальный нужник для местных пьяниц и хулиганов, которые настолько распустились, что не вводить псизм уже стало практически невозможно. Так что глубоко неправы были критиканы, считавшие объявление псизма необосно-

ванным и преждевременным. Впрочем, после того, как главного критикана раздели в районе Ларька и набили ему его критиканскую морду, он в корне изменил свою позицию. Пусть эта мразь получит свой псизм, сказал он, выйдя из милиции, а потом — из больницы. Так им и надо! То-то, сказал на это Участковый. Давно бы так. А то возомнили о себе... Из-за распространяемого Ларьком зловония ибанцы, еще не успевшие избавиться от пережитков низшей ступени изма (низма), обходили его по соседней улице.

Никто не знает, откуда прошел слух, будто в Ларьке будут давать ширли-мырли. И у Ларька с вечера начала выстраиваться

ОЧЕРЕДЬ

К утру очередь достигла пятисот человек. А к полудню, когда слухи почти что подтвердились, она перевалила за тысячу. Составили списки. Через каждый час стали делать перекличку. На лбу очередников стали писать их номера. Но это привело к тому, что появилось множество самозванцев с поддельными номерами. Тогда номера стали писать на левой ягодице. Это сыграло огромную просветительски-культурную роль, так как многие граждане вынуждены были наконец-то поменять нижнее белье. Балда встал в очередь под номером три тысячи девятьсот пятьдесят семь. Тут-то он и увидел Хмыря и Учителя, которые сидели на пустых ящиках и делали на пару малыша — пили из горлышка четвертинку.

Очередь

За чем стоим, спросила Девица у Балды рано утром. Спросила просто так, не преследуя никаких далеко идущих целей. От скуки. И для самоутверждения. Наивный вопрос, сказал Балда. Настолько наивный, что я даже затрудняюсь ответить сейчас. Отложим до вечера. Вот мой телефон. Вот мой адрес. Заходите. Поболтаем об очередях. Это так интересно.

Очередь есть фикция бытия, осуществляемая в полном соответствии с законами реального бытия, но с теми же последствиями, а именно — без каких бы то ни было результатов, сказал забулдыга Хмырь в интервью Спекулянтке из промтоварного магазина. Хмырь в это время полулежал на пустых ящиках около Продуктового Ларька, в районе которого он промышлял пищу как для плоти, так и для духа, и выцарапывал какие-то непристойные слова на двери Ларька, навечно запертой могучим амбарным замком. Спекулянтка вовсю кокетничала с Хмырем, задирая юбку так, чтобы тот увидел не только невероятно толстые ляжки, сводившие с ума ибанскую интеллигенцию, которая открыто придерживалась моды на тощих, костлявых баб, но и новую заграничную комбинацию с колокольчиками и порнографическими картинками. Тем самым она сразу убивала двух зайцев. Во-первых, соблазняла Хмыря. Хотя тот давно ей не нравился, она мечтала отбить его у Сожительницы, чего бы это ни стоило. Цель оправдывает средства, говорила она Участковому, обещавшему за флакон парижских духов скомпрометировать Сожительницу или хотя бы засадить на пятнадцать суток за хулиганство. А за это время... Во-вторых, Спекулянтка была уверена в том, что Хмырь растреплет Сожительнице о комбинашке, и та наверняка попросит достать ей такую же. Женщина всегда остается женщиной. Даже при социзме. Тем более такая старая швабра.

Хмырь пощупал комбинацию с видом знатока, похлопал Спекулянтку по жирным ляжкам, но никакой заинтересованности не проявил. Очередь, сказал он, есть нормальное бытие, пересаженное в черепушку шизофреника и изуродованное в ней. Дурак, сказала Спекулянтка, а еще грамотный. Очередь есть базис, на котором разыгрывают свои социальные спектакли спекулянты, жулики, паразиты, вожди, лауреаты, заслуженные деятели и прочая сволота. Я-то уж это дело знаю досконально. Я же их всех как облупленных знаю. Ты спроси, откуда у этой стервы норковая шубка? А брючки-дрючки? А трусики с окошечком на подходящий случай? А столовый гарнитурчик? То-то!.. А откуда тебе известно, что на ней трусики с окошечком, спросил несколько оживившийся Хмырь. Это что-то новое! По роже вижу, сказала Спекулянтка. Психология!..

Очередь — это полуструктура, сказал Крыс так, чтобы его слышали все, находившиеся на проспектах Хозяина и Победителей ибанцы. Он давно истекал слюной из-за Спекулянтки и хотел произвести на нее впечатление. Я, продолжал он, не обращая внимания на то, что на него никто не обращает внимания, в своем курсе лекций в Высшей Профилактической Школе (ВПШ) исхожу именно из такого понимания...

Интересно, сказал Балда поздно вечером, разглядывая трусики с окошечком. А это зачем? Не знаю, сказала Девица. Сейчас это так модно. Мне достала одна знакомая. Ого, сказал Балда, когда услыхал цену. А знаешь, какая мода будет в Париже в будущем году? Ходить совсем без трусов. Но это будет стоить сумасшедших денег. Нам это не по карману. Но ты мне нравишься, и я тебе обязательно это подарю.

Очередь есть наивысшая форма социальной общности индивидов, в которой не на словах, а на деле реализуется абсолютное социальное равенство индивидов, сказал Заибан в речи, написанной для него дружным коллективом ЖОП к столетнему юбилею Ларька.

Уже к вечеру очередь сама собой разбилась на десятки, сотни и тысячи. Во главе каждой десятки был поставлен десятник. Был выбран руководящий актив — браторг (братийный организатор), профорг, молодорг, культорг, физорг, страхделегат, инспектор по содействию армии и ООН, представитель кассы взаимопомощи и т. д., в общем — более сорока должностных лиц в каждой десятке. Во главе каждой сотни стал сотник с двумя заместителями по политической части и по линии ООН. В каждой сотне было избрано братийное бюро из сорока человек, профсоюзное бюро из семидесяти человек и прочие общественные организации, в которые вошло более пятисот человек в каждой сотне. Были созданы также советы молодых специалистов по опеке пенсионеров, помощи борющимся народам, помощи развивающимся странам и надзора над международной шахматной организацией. Во главе каждой тысячи... Впрочем, прекрасное описание структуры управления тысячами дано в трехтомном труде Ибанова «Развитие очереди на первой стадии очередизма в условиях псизма». Структура власти тысячи была рассчитана в ЖОПе с помощью машин.

На чрезвычайном заседании НВПВГБЦСВКБИ (Наивысшего Президиума Верховного Главного Бюро и т. д.) Заперанг высказал предложение создать Государственный Комитет По Очереди у Ларька (ГКПОУЛ). Его поддержало несколько Завторангов и Поперангов, которые сразу смекнули, куда дует ветер. Заибан выступил было против. Но, вспомнив о том, что на этом можно заработать орден и еще одну речь, он согласился. Однако было уже поздно. Заперанги, которым Заибан давно уже опостылел, дружно скинули его и выбрали нового. Не того, который внес предложение, а другого — самого глупого, тихого и безынициативного. Этот болван ни на что не способен, говорили они между собой. Так что мы... Но они, как и с прошлым Заибаном, жестоко просчитались. Новый тихий и глупый Заибан тут же приказал подготовить ему речь для празднования юбилея Ларька, речь для празднования вновь созданного ГКПОУЛ, речь для... И намекнул, что ежели что, так он посадит. Не остановится! Он, мол, не такой уж и дурак, как думают некоторые. Не глупее вас!

Наконец, к каждой десятке прикрепили штатного сотрудника ООН, а массы по своей инициативе выделили по два стукача на каждого очередника. В ООН создали особое управление, во главе которого поставили старого ooниста Сотрудника.

Под-Ибанск

Готов держать пари, сказал Учитель, что, если под землей люди уцелели, они развили цивилизацию, являющуюся точной копией нашей. Почему ты так думаешь, спросила Девица. Они же там ничего не видят. И кушать им нечего. И носить нечего. Ерунда, сказал Учитель. У них осталось осязание, а оно заменяет зрение с лихвой. Что касается жратвы и барахла, то в этом у них недостатка нет. Во-первых, в их распоряжении полчища крыс. И они наверняка наладили крысоводство. Во-вторых, канализационные и мусорные отстойники... Неужели ты хочешь сказать, что... заикнулась Девица. Вот именно, сказал Учитель. Я даже догадываюсь, как они их называют: продовольственные рудники. Видишь ли, перед войной ибанцы слишком много жрали. И больше половины еды не переваривали.

Это еще тогда установили. Когда Хряк обещал через десять лет построить псизм, он большие надежды возлагал на рационализацию питания (предполагалось урезать вдвое) и на переработку отходов (предполагалось, например, делать до десяти сортов колбас из первичного кала). Так что возможности еды у подземцев практически неограниченные. Жилье им не нужно — они и так все время в помещении. Одежды... Там тепло, как в Африке. Вот где псизм-то строить! И главное — ни черта не видно. Любую дребедень можно представить как псизм. Поверят!

Ты так расписываешь эту подземную жизнь, что можно подумать, будто ты там побывал сам, сказала Девица. Ладно, пусть жрут наше говно. Но у них по крайней мере настоящее равенство. Не то что у нас. Увы, сказал Учитель. Именно этого-то у них еще меньше, чем у нас. Все-таки степень равенства зависит от общего богатства общества. А мы немного богаче. Но в чем же у них может быть неравенство, спросила Девица. Во всем, сказал Учитель. Например, жаркое из крысиных хвостиков может быть привилегией высшего начальства. Это тривиально. Нетривиально тут другое — зависимость их социальной структуры от нашей. Они с этой точки зрения дают цивилизацию, производную от нашей. Они наверняка однажды заметили, что канализационные отстойники различаются по калорийности, содержанию витаминов и т. п. С точки зрения вкусовых ощущений хотя бы. И постепенно общество иерархизировалось применительно к иерархии калоотстойников. Эта иерархия закрепилась в виде традиции. Поскольку там кромешная темнота, они привыкли жить с закрытыми глазами. А это очень удобно с точки зрения управления. А что если предпринять экспедицию под землю, сказала Девица. Зачем, спросил Учитель. А мы откроем им глаза на их собственную жизнь, сказала Девица. Чушь, сказал Учитель. Во-первых, они все равно ничего не увидят. А во-вторых, люди больше всего ненавидят тех, кто им рассказывает правду о них самих. Они нас сожрут вместе с крысами.

Гимн очереди

Кто последний?
Я за вами.
Что дают?
Не знаем сами.
Куда прешься?
Сам дурак!
В чем задержка?
Просто так.
Шнрлей-мырлей
Больше нет.
Закрываем
На обед.
Когда будут?
Вот народ!
Приходите
Через год.
Хочешь поесть. Одежонку купить.
Взнос за квартиру и свет уплатить.
Время в обрез. Так что дуй, торопись.
Спроси, кто последний. За ним становись.
Не встанешь, полезешь — ухватят в момент.
Не видишь, тут очередь! Ин-тел-ли-гент!
Ах, очередь, очередь! Некогда ждать.
Откуда взялася ты, так твою мать!
Жизнь я твоя.
Без меня ни на шаг.
Ни дать и ни взять
Без меня ни шиша.
Стоишь и мечтаешь. Вдруг выпадет честь.
Удастся вне очереди как-то пролезть.
Ах, будь я калека. Хотя бы нацмен.
А то — иностранец. Допустим — бушмен.
Или персональнейший пенсионер.
В случае крайнем — милиционер
Ах, очередь длинная! Мочи нет ждать!
Кто тебя выдумал, так твою мать!
Я — вечность. Я — сущность.
Ты тут — значит мой.
Жди и не рыпайся.
Покуда живой.
Стоишь и стоишь. И конца не видать.
Хочешь — не хочешь, а надо стоять.
Вздохнешь. Чертыхнешься. Застынешь опять.
Не зная, достанется ль, что тебе взять.
Ах, очередь, очередь! Сколько же ждать!
Когда же ты кончишься, так твою мать!
Судьба я твоя.
Я с тобой каждый день.
Поскольку я высшая
Изма ступень.

Внеземная цивилизация

Однажды дворник, обслуживающий подворотню и подзаборье Союза Распространения Академической Книги (СРАК), поздно ночью возвращался из Забегаловки, где он вместе с сторожем из Политического Управления Пустяками (ПУП) пропивал выручку за пятьдесят тонн сочинений старого Заибана, сданных в макулатуру. Дворник был вдребезину пьян и свалился во дворе перед дирекционным корпусом так, что его левое ухо оказалось плотно прижатым к крышке канализационного люка. Прочухавшись под утро, он услыхал подозрительные звуки в канализационном колодце. Как будто там кто-то ходил, разговаривал и скребся в стенки. По всей вероятности там кто-то есть, подумал Дворник. А вдруг опять интеллигенты появились? Нарисуют еще что-нибудь такое! Стишки придумают и распевать начнут! И Дворник доложил обо всем Участковому. Спьяну, небось, почудилось, сказал Участковый. И наложил на Дворника дисциплинарное взыскание. Так бы и кончилось это дело ничем, если бы не Сторож из ПУПа. Расставшись с Дворником, Сторож поплелся в свою каморку и по дороге свалился в яму, которую еще при старом Заибане вырыли перед зданием ПУПа для какой-то важной цели, но потом, забыли, для какой именно, и потому засыпать яму не имели права без особого распоряжения. Да и средств на это уже не осталось. Падая, Сторож сломал шею не в переносном, а в прямом смысле слова. Когда его через неделю вытащили из ямы, он прошептал, что в яме кто-то есть, и умер. Благодаря этому трагическому событию должность сторожа оказалась вакантной, а заявлению Дворника пришлось дать ход. Сотрудники ООН установили повсюду подслушивающие аппараты. Действительно, под Ибанском идет какая-то подозрительная возня, признали в ООН. Но разобрать ничего не могли. К делу подключили Академию. После многих десятков лет скрупулезных исследований с помощью новейших вычислительных машин системы ПИЗ-I (Подлинный Интеллект Заибана-I) Всеибанский Широкозахватный Институт Внеземных Цивилизаций (ВШИВЦ) пришел к заключению, что такую систему звуков не может издавать не только сознательное, но и вообще живое существо. Результаты исследований были опубликованы в пятидесяти томах и имели успех. Как ни крути, говорили промеж собой довольные ибанцы, а мы, ибанцы, единственные разумные существа во всей Вселенной. За выдающиеся научные открытия в области внеземных сношений ученым (кому следует, конечно) выдали премии и присвоили звания. На этом бы все и кончилось. Наука Ибанска очередной раз покрылась бы неувядаемой славой и вписала бы еще одну славную страницу в мировую науку, если бы не мнсбс Балда. Просматривая (перед тем как выбросить на помойку) первый том отчетов ВШИВЦа, Балда на первой же странице в первую же секунду расшифровал знакомые и привычные выражения «...вашу мать», «пошел ты в ж..у», «иди ты на ...» и т. п. Открытие Балды было настолько убедительно и очевидно, что замять его не было никакой возможности. Если немедленно не признать его, к утру каждый школьник Ибанска будет выдавать его за свое собственное. Состоялось экстренное заседание Ученого Совета ЖОПа, на котором сам Директор доложил о своем открытии. Сомнений быть не могло. Через несколько минут ибанское радио и телевидение объявили об экстренном заседании Пленума Исполнительной Власти Академий (ПИВА), на котором с чрезвычайным сообщением выступит сам Заибан. И ибанцы тут же услыхали взволнованный родной голос Заибана: Граждане Ибанска! Братья и сестры! Матери и дочери! Отцы и дети! Свинарки и пастухи! Гангстеры и филантропы! К вам обращаюсь я, друзья мои! Сегодня для нас всех Великий Праздник! Только что под нашим мудрым руководством наши славные ученые при поддержке народных масс открыли внеземную цивилизацию, населенную разумными существами! Призываю вас хранить спокойствие и выдержку! Наш народ привык к трудностям! Я уверен, что вы с честью выдержите и это испытание, выпавшее на вашу долю! Будьте бдительны! Если заметите где-либо появление интеллигентов, принимайте экстренные меры... Речь Заибана была выслушана с полным пониманием. Хмыря оттвели в участок. Балду взяли на работе. Но выпустили. За Балду поручился коллектив. Хмыря выпустили, исходя из каких-то далеко идущих планов. Выйдя на свободу, Хмырь и Балда отправились в Забегаловку.

По дороге они прихватили Учителя, который устроился на освободившуюся должность сторожа в ПУПе.

Встреча

Наконец состоялась долгожданная встреча. Дома вокруг канализационного люка украсили лозунгами и портретами руководителей Братии и Правительства. Всю яму засыпали свежими искусственными цветами, специально для этого выведенными селекционерами артели инвалидов «Союзцветок». Сводный оркестр Армии и Органов заполнил весь проспект Хозяина. Вдоль проспекта Победителей выстроился почетный караул. В бронированных машинах приехали руководители Братии и Правительства, изображенные на портретах. Приехали в том порядке, в каком висели портреты слева направо, и расположились на трибуне, отделенной от народных масс пуленепробиваемым стеклом. Оркестр грянул гимн. Начальник почетного караула замахал шашкой и подскакал к Заибану с докладом. Дворник с помощью нового Сторожа из ПУПа торжественно приподнял крышку канализационного люка, зацепив ее железным крючком. Из люка пошло и скоро заволокло весь Ибанск невероятное зловоние. Ибанцы застыли в оцепенении. Из люка стали вылезать один за другим члены под-ибанской делегации. И вид их поразил ибанцев. Они были готовы ко всему. Их веками приучали к тому, что разумные существа внеземных цивилизаций могут иметь самый невероятный, фантастический вид. Например, могут быть похожи на осьминогов или на медузу. Или даже... Впрочем, что об этом говорить. Ибанцы были готовы ко всему, но только не к этому. Из люка полезли голые... ибанцы, только с залепленными грязью пустыми глазницами, невероятно грязные и вонючие и сплошь усеянные мокрицами, червяками, вшами, клопами и прочей нечистью, которую они не сгоняли, а наоборот, тщательно охраняли от посторонних прикосновений. Последним вылез глава подибанской делегации (Глапоид), трижды чихнул, трижды пернул и встал на четвереньки. Члены подибанской делегации замерли по стойке смирно и запели под-ибанский государственный гимн, чем-то отдаленно напоминавший старинную ибанскую народную песню «Шумел камыш, дере-е-е-е-вья гынулис-с-с-сь!». Встреча двух Великих Цивилизаций состоялась.

Очередь

По поводу предстоящего юбилея Очереди состоялось чрезвычайное заседание НВПВГБЦСВКБИ. Решили создать юбилейную комиссию во главе с Завторангом. Комиссия должна разработать план мероприятий и представить на утверждение. В мероприятия следует включить торжественные заседания, народные гулянья, концерты самодеятельности, награждения. Ход подготовки к юбилею широко освещать в печати. По вопросу о том, кто будет зачитывать речь, возникла дискуссия. Дело в том, что по ибанским законам тот, кто зачитывает речь, становится ее автором, хотя речь и не пишет. И получает гонорар за выступление по телевидению с этой речью, за публикацию ее во всех газетах, за публикацию ее отдельными брошюрами и за собрание сочинений, в которые, естественно, включается речь. Ну и слава, разумеется. Так что вопрос о том, кто должен читать речь, есть самый главный вопрос ибанского руководства. Ибанцы научились по числу зачитываемых речей, по темам речей и месту и времени их зачитывания безошибочно угадывать фактический социальный статус своих руководителей и их перспективы. На сей раз Заибан решил предоставить возможность прочитать речь своим Заместителям. Началась дикая склока. В конце концов победу одержали два претендента — Заперанг-17 и Заперанг-39. Моя очередь, вопил Заперанг-17. А где равенство, скулил Заперанг-39. У тебя уже пятнадцать томов собрания сочинений, а у меня всего семь! А я ведь постарше! Пришлось вызвать сотрудников ООН. Те решили, что читать будет Завторанг-7. Надо порадовать трудящихся, сказал Заибан. И предложил включить в речь сообщение о том, что в этом году ожидается неслыханный урожай ширли-мырли.

Биологические трудности

Сразу же обнаружились непредвиденные биологические барьеры. Поскольку ибанцы по интенсивности издаваемой вони несколько уступали под-ибанцам, последние решили, что ибанцы уступают им по уровню интеллекта, а ибанцы решили, что под-ибанцы уступают им. И каждая из делегаций поэтому захотела взять верх. Под-ибанцы развонялись по сему поводу до такой степени, что главу ибанской делегации Заперанга-17 хватил инсульт и его спешно пришлось заменить Заперангом-39, а всем членам ибанской делегации надеть противогазы. Благодаря этому ибанская делегация даже выиграла, так как ибанцев иностранные журналисты перестали путать с под-ибанцами. Возникла проблема, как быть дальше. Поручили ЖОПу выработать конструктивные предложения. Крыс вызвал Балду. Пустяки, сказал Балда. Пусть наши делают вид, будто мы чуточку глупее их. В Под-Ибанске, в свою очередь, собрался Верховный Дурал и дал указание своей делегации делать вид, что под-ибанцы чуточку глупее ибанцев. И дело пошло на лад. Но обнаружилось новое препятствие: языковый барьер.

Гимн скуке

Согласно последним данным науки
Ибанец не может подохнуть от скуки.
Кто думает так, заблужденье печальное.
Скука есть жизнь. Бытие изначальное.
Ведь мы не стихийные. Мы строго научные.
Мы — скука в работе. Мы — праздники скучные
Мы — скука в семье и внебрачных скитаниях.
В очередях бесконечных торчаниях.
Мы — скука в учении.
И в муке творчества.
И даже в мучении
Противоборчества.
В хвастливом вранье.
И в истерике-критике.
И в текущем рванье.
И в наружной политике.
Мы кто? — Мы — продукт всей прошедшей истории
Мы — скука не как-нибудь, а по теории.
Тоска перманентная.
Зевота исконная.
Серость заветная.
Занудность законная.
Считают наукн,
Доказано строго:
Подохли от скукн —
Туда им дорога.

Очередь

Юбилейная речь Заперанга произвела ошеломляющее впечатление. Хотя все знали, что его обещания — брехня, начали готовить авоськи. По почину снизу трудящиеся ринулись на субботник по очистке и ремонту складов для ширлей-мырлей. Но складов не оказалось на месте. Тогда трудящиеся ринулись на воскресник по очистке пустыря, на котором будут построены склады для ширлей-мырлей. Но на пустыре ничего не оказалось. Тогда трудящиеся ринулись на понедельнешник по захламлению пустыря. А где взять хлам? И тогда трудящиеся начали кромсать все, что подвернется под руку. И устроили для этого вторнишник, средишник, четвержишник, пятнишник. И навели такой порядок, что пришлось призвать всех выйти на субботник по очистке... Заводы временно прекратили работу, а руководящие учреждения закрылись до осени.

Языковые трудности

Задолго до встречи лингвисты, математики, психологи, логики и прочие, и прочие, и прочие разработали совместно Всеобщий Универсальный Язык (ВУЯ), пригодный для общения ибанцев с любыми цивилизациями. При разработке ВУЯ ибанские ученые исходили из самого крайнего допущения, что между ибанским языком и языком представителей внеземной цивилизации нет ничего общего. Языки же для всех прочих случаев, как было точно доказано, можно получить по принципу соответствия путем пре-

дельных переходов из ВУЯ. Фундамент ВУЯ составили таблица умножения, теорема Пифагора и бином Ньютона, которые, как было установлено путем статистических исследований, являются наиболее прочным инвариантом всех человеческих знаний. Идея Балды положить в основу ВУЯ наиболее древние языковые формы ибанского мата была отвергнута как ревизионистская и механистическая. А напрасно, так как именно на этой основе была обнаружена первая внеземная цивилизация и установлены первые контакты с ней.

Но когда приступили к переговорам, выяснилось, что перейти от ВУЯ к языку под-ибанцев невозможно никакими разработанными наукой методами. По грамматическому строю этот язык, как оказалось, полностью совпадал с ибанским. И даже содержал в себе много сходных слов. Но и только. Затем начиналось расхождение. В под-ибанском языке содержались слова, для которых в ибанском языке не было никаких эквивалентов, а в ибанском — слова, не имеющие эквивалентов в под-ибанском. И никакими методами нельзя было установить, что они обозначают. После нескольких лет неудачных попыток делегации не смогли начать переговоры. Под-ибанцы уползли в канализационную трубу. Ибанцы залезли в свои шикарные квартиры в Над-Ибанске. Казалось, что никакого общения не выйдет, и ибанское руководство уже начало обсуждать проект засыпки ямы и зацементирования канализационных колодцев. Но выход из затруднения нашелся сам собой. Как-то Балда, Хмырь, Дворник и Сторож разговорились на эту тему в Забегаловке. Вшивая проблема, сказал Сторож. Надо начать не с идиотской таблицы умножения, суть которой не понимает ни один наш академик по математике, логике и философии (хотя тайна ее банальна!), а с болтовни на социальные темы. Это добро уж наверняка везде одинаковое. Точно, сказал Балда. И быстро вычислил весь словарный состав под-ибанского языка, имеющий какое-то отношение к социальному устройству общества. Подслушивавший эту пьяную болтовню стукач донес о ней Сотруднику. Собеседников-собутыльников забрали. Вот вам бумага, сказал Сотрудник. Если к утру не составите ибанско-под-ибанско-ибанский словарь, пеняйте на себя. На другой день Заперанг-39 уже стучался в крышку канализационного люка, вызывая под-ибанскую делегацию на переговоры.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Мы построили псизм, сказал Заперанг-39, открывая переговоры. Под-ибанцы схватились за животы и захохотали, издавая невыносимое зловоние, от которого не спасал даже противогаз. Они построили псизм, пропищал Глапоид, покатываясь от хохота. Ребята, поглядите на этих идиотов. Ха-ха-ха!! Да у нас псизм давным-давно построен. С незапамятных времен. Испокон веков. Нам и строить его не надо было, так как у нас ничего другого не было вообще. У нас всегда был псизм. С самого начала. Вы суньтесь-ка к нам! Сразу увидите, что нам не до морали, не до демократии, не до культуры. У нас все эти ваши штучки-дрючки вообще негде держать. Они нам просто не нужны. Никому. Правда, в наших преданиях сохранились намеки на смутное время, длившееся всего несколько лет. Появились интеллигенты. Они лепили из глины какие-то странные фигурки, пели неприличные песенки и требовали, чтобы их выпускали за границу. Но их быстро изловили. И что с ними сделали, спросил Заперанг-39. Глапоид безмерно удивился нелепому вопросу. Конечно, съели, прохрипел он, давясь от хохота. А вы что делаете со своими интеллигентами? Мы их не защищаем, сказал Заперанг-39. И они выводятся сами. Еще до того, как появляются.

Вечером состоялся обед в честь под-ибанской делегации. Под-ибанцы чувствовали себя сначала неловко и чем-то были недовольны, хотя стол был уставлен кушаньями, о которых ибанцы знали только из старых книг. Потом под-ибанцы строем побрели в туалет и обожрались там до такой степени, что их пришлось в специальных ассенизационных бочках свезти к люку. Все газеты опубликовали совместное коммюнике, в котором говорилось, что встреча прошла в обстановке сердечности и доброжелательства, была вполне конструктивной, и договаривающиеся стороны достигли взаимопонимания.

Замухрышку застукали в тот самый момент, когда он пытался изнасиловать сопротивлявшегося фокстерьера Муперанга-739. И тому не оставалось ничего другого, как согласиться сотрудничать с ООН.

Обмен опытом

Обсудив проблемы социального устройства общества, договаривающиеся стороны приступили к обсуждению проблем экономических. Как вы обходитесь без денег, спросил Заперанг-39. Очень просто, сказал Глапоид. У нас на деньги нечего покупать. Как говорили ваши классики, люди, прежде чем заниматься философией, должны есть, пить и т. д. Жилища нам не нужны — мы живем в жилище естественным образом. Одежда нам не требуется. Она нам даже мешает. Мы ее надеваем в порядке наказания. Еды у нас вдоволь. Мы живем кругом в еде. От еды податься некуда. Деликатесы разные (крысиные хвостики, например! Ах, какая прелесть!!) — это по особым заслугам. Так что у нас почти все время свободно от работы. И мы занимаемся тем, что полностью разворачиваем свои творческие способности. Кто на что способен, тот то и делает. Вот послушали бы вы нашего Пукалу! Он такие мелодии выпукивает, что дух захватывает! Такие ноты берет! Что ваши шаляпины и карузы по сравнению с ним! Ерунда... Простите, мы, кажется, отвлекаемся в сторону. А как вы обходитесь без денег, если это не секрет? По-разному, сказал Заперанг-39. В некоторых учреждениях дирекция совместно с братийным и профсоюзным бюро утверждает уровень потребностей сотрудников в соответствии с инструкцией, и в продуктовом распределителе каждый сотрудник получает по своим потребностям. В других учреждениях выдаются жетоны, похожие на старые деньги, но играющие принципиально иную роль. Они у нас удостоверяют уровень потребностей индивида. Есть смешанные формы. Правда, спекулянты и жулики иногда пытаются восстановить денежную систему, но мы с этим успешно боремся. Как? Перестаем выпускать продукты, являющиеся предметом спекуляции. Это очень остроумно, сказал Глапоид.

Потом Заперанг намекнул на то, что ибанское руководство крайне заинтересовано в том, чтобы получить от под-ибанцев заем на поднятие сельского хозяйства и реконструкцию промышленности. Замухрышка намекнул, что поставит вопрос о режиме максимального благоприятствования. Он уже начал создавать мощную агентурную сеть в Под-Ибанске, подкупив тамошних бизнесменов и левых. И бизнесмены стали настаивать на налаживании деловых отношений. Им пообещали построить завод каки-маки на взаимноневыгодных условиях.

Очередь

Статистическое Бюро Ибанского Планирования (Стабиплан) опубликовало данные о ходе выполнения плана по ширлям-мырлям за прошедший год. Как всегда, план был выполнен досрочно и с перевыполнением на сто процентов. Особенно отличились хлеборубы Заибанья. Они собирали бы ширли-мырли круглые сутки, если бы знали, где они посеяли то, что не сеяли, и является ли то, что не выросло, действительно ширлями-мырлями. Большую группу тружеников серобурмалиновогоквкрапинку золота наградили орденами. Очередь расширили и укрепили руководящими кадрами. Теперь наша Очередь поднялась на новую ступень, сказал Заибан в речи без повода. Раньше мы стояли из материального интереса. А теперь — из чисто духовного. Раньше у нас преобладала живая очередь. Теперь наши трудящиеся имеют возможность иногда отлучаться из очереди по своим надобностям, предупредив сзадистоящего об этом. Так что у нас обозначился переход к полуживой очереди. Мы обсуждаем проект закона, по которому члены одной и той же семьи могут сменять друг друга в Очереди по предъявлении справки с места работы и жительства и характеристики, заверенной Руководящим Треугольником. Были предложения организовать предварительную запись в Очередь. Но мы считаем это преждевременным. Думаем, что сначала надо разрешить предварительную запись в список на право записи в список на предварительную запись в очередь.

Обмен опытом

Наша система власти, сказал Глапоид, проделала длительную эволюцию. Можно схематично выделить три этапа. Первый этап — давить всех, кто подвернулся под руку, и давить так, чтобы все это видели и чувствовали, что настанет и их черед. Второй этап — давить, но по выбору и так, чтобы все думали, будто мы не давим, а охраняем достижения и воспитываем заблуждающихся. Это гуманистический демократический период. Он не оправдал себя, так как злонамеренные элементы вообразили, будто мы на самом деле гуманисты и демократы, и начали такое вытворять, что пришлось временно вернуться к первому этапу. Третий этап — сделать так, чтобы давить было некого. Это самый разумный период. Он продолжается до сих пор. Он сочетает в себе достоинства первого и второго. Поскольку никто не подавляется, власть проявляет свою глубоко гуманистическую и демократическую сущность. А поскольку все понимают, что мы при поддержке народа не допустим такого состояния, когда надо принимать меры, мы подлинная власть. Мы даже внесли в конституцию пункт, по которому каждый под-ибанец имеет право критиковать действия властей, причем преследование его карается законом. И этот пункт свято соблюдается. Критикуют, спросил Заперанг. Что вы, ответил Глапоид. Никому и в голову не приходит, что это возможно. Просто не было еще ни одного случая, чтобы представители власти карались за зажим критики действий властей и за преследование критикующих.

Конец Мазилы

Линии привычные чертя,
Рукам, ушам, глазам своим не веря,
Я чувствую — вопят: катись ко всем чертям!
Видали мы таких! Невелика потеря!
Невелика, когда лишь горечь за душой.
Никем не сокрушен, но никому не нужен.
Когда всему и всем всегда чужой.
Когда твой путь игольной дырки уже.
В извечной слякоти не сыщешь ясных фраз.
В трясине серости не ощутишь опоры.
В который...Посчитай!.. И не последний раз
Пусты согласия, бесперспективны споры.
Порывы творчества — приманка для юнца.
Работа — боль от пяток до затылка.
Суть вдохновенья — ожидание конца.
Единственно бесспорная посылка.
Чего хочу? Какую нить я рву?
Куда иду? Какую радость рушу?
Свобода — шаг от камеры ко рву.
Бессмертье — червь, в мою ползущий душу.

Гибель гения есть не эпизод, а суть этого общества — последнее, что пришло ему в голову.

Утром в мастерской появились строители. Они собрали пустые бутылки и на вырученные деньги купили поллитровку, которую тут же распили из горла и без закуски. Мастерскую снесли. На месте ее воздвигли величественные корпуса Института По Выявлению Талантов В Зародыше. Ибанцев наградили. Кому дали орден, кому — дачу, кому — бутерброд, кому шиш. Младших научных сотрудников отправили копать гнилую картошку. Проверенные стукачи уехали на международный конгресс. Протянули руку братской взаимопомощи тьмутараканцам. Выразили протест. Нанесли визит. Ввели всеобщее обязательное сверхвысшее образование и утерли всем нос. Отпраздновали юбилей. Приняли постановление о подъеме всего на новую высшую ступень. Устранили недостатки. Начали борьбу с поголовным взяточничеством и пьянством. Встали в очередь и стали ждать, когда и до них доберутся. В речи по поводу успехов Заибан сказал: Ибанск теперь живет по законам красоты. Взгляните хотя бы на внешний облик ибанца, воскликнул он, показывая свое могучее рыло по частям на экранах телевизоров. Мы вывели не только новый высший тип человеческой общности, но и новый высший тип человеческой мордоличности. Любимец пенсионеров поэт Распашонка откликнулся на речь Заибана новой поэмой:

Глянь на последнего ибанского засранца!
И ты узришь в нем правильный ответ.
Ничего прекраснее, чем рыло у ибанца,
Как на том, так и на нашем свете нет.

Самое время сажать, подумал Теоретик. И т. д. И т. п. И т. д. И т. п.

Тьфу . . . . мать!!!

Обмен опытом

У нас исчезла преступность, сказал Заперанг. А у нас ее никогда и не было, сказал Глапоид. Как так, удивился Заперанг. Очень просто, сказал Глапоид. У нас никогда не было понятия преступности. Но встречаются же у вас случаи, когда индивиды ведут себя так, что их требуется наказывать, не унимался Заперанг. Ах, вы об этом, сказал Глапоид. Таких сколько угодно. Но какие же они преступники? Настоящие преступники всегда ловко ускользают от возмездия, а наказываемые, как правило, не виновны ни в чем и подвергаются наказанию только потому, что не могут от него уклониться. Поэтому мы и не стали заводить само понятие преступности. А как вам удается избегать преступности? Очень просто, сказал Заперанг. Мы уничтожаем преступников еще до того, как они успевают совершить преступление. Профилактика! Превосходно, сказал Глапоид. Надо и нам будет перенять ваш замечательный метод.

Потом Глапоид рассказал о применяемой в Под-Ибанске системе наказания преступников. Особый интерес у ибанцев вызывало исправительное кольцо. Это — замкнутый кольцеобразный коридор. Осужденный получает пищу в определенное время и, чтобы получить новую порцию пищи, должен пройти то количество кругов, на которое осужден. И делает он это непрерывно в течение всего срока, на который осужден. Например, осужденный приговаривается к мере наказания 10/5. Это значит, что он должен в течение десяти лет непрерывно преодолевать по пять кругов, чтобы получить свою порцию пищи. Пять кругов — это по ибанским меркам 50 километров. У под-ибанцев нет смертной казни. Ее заменяет очень гуманное наказание 100/100. А кто выносит приговор, спросил Заперанг. Народ, сказал Глапоид. Заперанг рассказал о том, какого высочайшего совершенства достигло правосудие в Ибанске. Все автоматизировано. Все делают машины. Место судей заняли ученые, разрабатывающие программы для машин. Какая мера наказания у вас является высшей, спросил Глапоид. Прочитать вслух под контролем машины полное собрание сочинений всех Заибанов, начиная с первого, сказал Заперанг. Мера в высшей степени гуманная, так как все осужденные подыхают от мучительной скуки, даже не дочитав речей самого первого Заибана. Но Глапоид этой меры не понял. Под-ибанцы не знали, что значит читать. А уж писать тем более. Заперанг, правда, умолчал о том, что пища осужденному выдается только после прочтения очередного тома.

Встреча на высшем уровне

Потом, естественно, состоялись встречи на высшем уровне. Сначала Заведующий Под-Ибанском (Запод) посетил Ибанск, потом Заибан посетил Под-Ибанск. Правда, Заибан при этом настолько пропитался духом подибанщины, что его пришлось заменить другим. И кем бы вы подумали? Заперангом-39! А не 17, как все предполагали заранее. Новый Заибан несколько охладил пыл, но остановить ход истории стало уже невозможно. Новый Заибан фактически продолжал политику старого, хотя и вонял несколько меньше его.

Еще во время визитов Запода и старого Заибана были заключены договоры. Прежде всего — договор о ненападении, согласно которому высокие договаривающиеся стороны обязались до поры до времени не нападать друг на друга. Это послужило толчком к тому, что Военные Штабы обеих великих держав немедленно приступили к перевооружению армий и разра-

ботали генеральные планы мобилизации и ведения предстоящей войны. От под-ибанских шпионов стало тесно на ибанских улицах. А представляете, что начало твориться в Под-Ибанске! Происходившие там недавно многочисленные сенсационные процессы явно свидетельствовали о том, что под-ибанцы не могли уже поручиться даже за своего Запода.

Затем заключили договор о взаимной выручке и взаимопомощи в борьбе против совместного противника. Ибанцы стали поставлять под-ибанцам танки и самолеты, а под-ибанцы — вонючие газы и гнилостные бактерии. Благодаря такой бескорыстной помощи обе армии очень скоро сильно укрепились. Уже в начале лета над Ибанском был сбит разведывательный самолет под-ибанцев неизвестной конструкции. Самолет летал без горючего, без пилота и без фотоаппарата, но успел заснять все секреты. И если бы не бдительность ООН, то дело могло бы плохо кончиться значительно раньше, чем запланировали.

Заключили также договор об экономическом сотрудничестве. Ибанцы стали поставлять в Под-Ибанск сельскохозяйственные машины, ткацкие станки и другое промышленное оборудование. Под-ибанцы стали поставлять в Ибанск продовольствие. Ибанское руководство проявило особую заинтересованность в ширли-мырли. Хотя никто не знал, что это такое, под-ибанцы обязались поставить ибанцам большую партию ширли-мырли по самым низким ценам. Правда, за это они потребовали от ибанцев пыжиковые шапки и автомашины новой популярной марки «Ибаны», а также три миллиона сувенирных матрешек. Ибанцы полностью взяли на себя строительство завода кинофотоаппаратуры в Под-Ибанске. Под-ибанцы начали строительство крупного мочепровода, который должен проткнуть Землю насквозь и выйти в самом центре Ибанска. Ибанцы начали строительство комбината по переработке ширлей-мырлей, а под-ибанцы обязались поставить для него новейшие станки. Всего было принято соглашений по 9371.5371 видов продукции. Ибанцы дали под-ибанцам крупный заем, чтобы помочь им преодолеть инфляцию. Под-ибанцы обещали проводить политику максимальных льгот в торговле с Ибанском.

Была принята наконец программа совместных исследований электрона, который, как известно, тоже неисчерпаем вглубь, и космоса. И уже через год под-ибанцы вышли на орбиту.

Было принято еще одно соглашение, но о нем не сообщили в печати. Оно касалось совместных действий против интеллигенции. Содержание его до сих пор осталось неизвестным.

Установили четкие границы со всеми связанными с ними атрибутами (паспорта, визы, таможня, пошлины).

Стало модно ходить голыми, кишеть насекомыми, жрать экскременты и вонять в соответствии с социальным положением.

Ситуация сложилась обнадеживающая, сказал Запод незадолго до того, как его уличили в жульничестве и сожрали. Наша политика разрядки напряженности во взаимоотношениях с Под-Ибанском дала блестящие результаты, сказал Заибан незадолго до того, как его уличили в либерализме и скинули.

Под-ибанцы испытывали только одно затруднение в общениях с ибанскими руководителями: у последних все рожи были на одно лицо, и под-ибанцы постоянно их путали и делали все невпопад.

Конец болтуна

Рано утром Болтун поехал в Похоронное Бюро и занял очередь. Очередь двигалась поразительно медленно. Хотя в Бюро слонялось по меньшей мере двадцать — тридцать служащих, похоронную документацию выписывал всего один сварливый человечек, ненавидевший все живое. Он придирался к каждому пустяку, заставляя переделывать трижды переделывавшиеся бумажки. Не более одного человека из десяти стоявших получало жетон в крематорий и колумбарий. Какой-то кошмар, сказала Болтуну стоявшая перед ним интеллигентная женщина крайне преклонного возраста. Пятый раз стою. Вот, взгляните. Это — первые бумаги. Исправил. Пошла опять по учреждениям, заполнила и заверила все справки так, как он велел сделать. Принесла. Опять неправильно. Исправил так, как у меня было сделано с самого начала. И так пять раз. Боже мой! Даже умереть и похорониться без этой унизительной процедуры нельзя. Я ему сказала, что однажды умру здесь в очереди. И знаете, что он мне ответил? Оштрафуем, говорит! Или на десять суток посадим. А у меня трудовой стаж пятьдесят лет. Где же выход? Выход очень простой, сказал Болтун. Надо высчитать все возможные варианты заполнения документации и сразу принести все варианты. Это примерно десять миллионов вариантов. Пустяки!

Когда приблизилась очередь Болтуна, приехал Директор Бюро. Бюро закрыли. Все сотрудники ушли на совещание. Обсуждался вопрос об обязательствах к празднику и о вызове Похоронного Бюро соседнего района на соревнование. Сварливый человечек предложил увеличить число смертей втрое, а число кремаций — в десять раз. Собрание встретило предложение бурными аплодисментами. Когда Бюро возобновило работу, сварливый человечек стал еще свирепее браковать документы, собранные посетителями с величайшим трудом. Готов держать пари, подумал Болтун, что он живет с семьей в маленькой комнатушке в коммунальной квартире, получает гроши, не может до сих пор (второй год!) устроить ребенка в детский сад, а жена его, придя с работы, торчит в очередях за продуктами, которые подешевле. И все зло за свое жалкое существование он вымещает на беззащитном собрате. И здесь он царь и бог. Здесь он всесилен.

Болтуну, однако, повезло. Повезло первый раз в жизни. И последний, подумал он. Забраковав документы у двадцати человек, стоявших перед Болтуном, человек решил сделать передышку. Он даже обратился к Болтуну на «вы», что он делал раз в год в крайне исключительном случае. У вас вроде все в порядке, сказал Человечек. Характеристика, правда, не совсем по форме. Ну да ладно. Мы же не бюрократы. К чему разводить бумажную волокиту? Только как вам дали рекомендацию в крематорий, если вы не достигли еще пенсионного возраста? Для этого нужны чрезвычайные обстоятельства. Неизлечимая болезнь? Да, сказал Болтун. Одуряющая скука. А, сказал Человечек. Тогда другое дело. Вот вам жетончик в крематорий. А это — в колумбарий. Всего хорошего. Будьте здоровы. Следующий!

Болтун вышел из Бюро умиротворенным и успокоенным. По закону он имеет право в течение трех дней попрощаться со всеми своими родственниками и друзьями и привести в порядок свои земные дела, т. е. уничтожить или раздать все свои вещи и сдать комнату заведующему домом. Но через три дня в точно указанное время он должен явиться к крематорию и... занять очередь на сожжение. По ибанской классификации очередей эта очередь называется живой. За все время после принятия закона о смерти в Ибанске не было ни одного случая, чтобы человек, проявивший искреннее желание осознать неизбежность своей смерти, не явился в положенное время к своему крематорию. В Ибанске даже смерть есть дело сугубо добровольное.

Из речи Заибана

Отличительная особенность нашей жизни, сказал Заибан в речи по поводу приближающейся второй ступени псизма, — это неудержимая динамика. Мы идем вперед, намного опережая свой зад.

Банальный итог

Один мой хороший знакомый всю жизнь мучился в поисках ключа к решению всех наших проблем, сказал Учитель. И нашел, спросил Балда. Не успел, сказал Учитель. Хотя держал его в руках. А ты нашел, спросил Хмырь. Нашел, сказал Учитель. Это гласность, ее правовое обеспечение и как следствие этого начало нравственного совершенствования общества. Ты хочешь слишком многого, сказал Хмырь. Кто тебе это даст? Никто, сказал Учитель. Люди сами должны это изобрести. Любой ценой. Иначе — конец всему. Как это все банально, сказал Балда. Да, сказал Учитель. А что небанальное можешь предложить ты? Ничего. Удручающая банальность всех наших проблем порождает психически сложную компенсацию. Скучно!

Конец очереди

Строительство крупнейшего в мире Ширле-Мырлевого Завода (ШИМЫЗа) наметили в самом отдаленном районе Ибанска, как можно дальше от населенных пунктов и путей сообщения. Нашли самое топкое болото и возвели на нем трубу. Завезли заграничное оборудование и тут же утопили в болоте. И это как раз было правильно, так как мы сами умеем делать лучше и без эксплуатации отсталых народов. Потом вырыли вышку и заложили первую скважину. Когда мы построим ШИМЫЗ, сказали первопроходчики корреспонденту теленеведения, никто не поверит, что на этом месте была жуткая трясина. Вот тут, например, у нас уже пятый трактор утонул вместе с экипажем. Здорово! Романтика! И первопроходчики, разгоняя дымом сигарет и запахом водки мошкару, чуть охрипшими голосами запели свою любимую песню:

Пусть грызут нас мошки с комарами.
Пусть столом нам служит старый пень.
Мы совместно с бывшими ворами
Строим изма высшую ступень.

Завод запланировали с таким расчетом, чтобы ядовитыми отходами производства отравить остатки никому не нужной окружающей среды и главным образом — удушить рыбешку в близлежащем озере, которая несколько снизила темпы роста сдачи икры и пушнины государству. Истребление рыбешки объявили ударной стройкой. Все силы — на ШИМЫЗ, сказал Заибан в своей речи по поводу награждения орденом места, на котором должны были вознестись к полярному небу многоэтажные корпуса жилых благоустроенных домов для строителей. Для стройки потребовалось, по предварительным расчетам, десять миллионов добровольцев. Состоялось общее собрание Очереди, на котором все очередники решили переселиться на ШИМЫЗ вместе с Ларьком и Забегаловкой. Хмыря, Балду, Учителя и прочих тоже схватили и добровольно присоединили к добровольцам. Это конец, сказал Хмырь, копая землянку. Да, сказал Учитель, соея беззубым ртом грязный сухарь. Это — начало.

По телевизору показали документальный многосерийный фильм, всесторонне освещающий жизнь шимызовцев. Из фильма было очевидно, что каждый шимызовец имеет отдельную пятикомнатную квартиру, машину, кандидатскую или докторскую степень, пыжиковую шапку, банку красной икры, банку черной икры, целую штуку копченой колбасы, шашлык и красавицу новобрачную с колоратурным сопрано. Зажрались, сволочи, сказал Заибан в кругу Заперангов. Надо часть избыточного продовольствия из ШИМЫЗа перебросить...

Потом решили устроить в Ибанске соревнования по бегу с под-ибанцами. Все средства перебросили на нужды Чрезвычайного Комитета По Организации Соревнования По Бегу На Всевозможные Дистанции Включая Бег С Препятствиями (ЧКПОСПБНВДВБСП). И про ШИМЫЗ забыли, передав его в распоряжение ООН. Не лагерь, а санаторий, сказал Сотрудник, подписывая смету на строительство охранных сооружений и домов для Вохры. Надо будет путевки распределять по учреждениям организованно. Пора!

Конец всему

Болтун получил в домоуправлении бегунок — бумажку, на которой должны поставить подписи многочисленные учреждения в знак того, что у Болтуна нет задолженности. Районная библиотека, детский сад, поликлиника, касса взаимопомощи, комиссия пенсионеров... Трех дней едва хватило на это. Сдав бегунок и ключ от комнаты управдому и получив справку о том, что у него нет никакой задолженности на этом свете, Болтун пошел в крематорий. Шел не спеша, так как имел в запасе еще целый час. Он хотел пройтись по проспекту Победителей. Но его не пустили дружинники. Весь проспект был битком забит очередью за ширли-мырли. Счастливые, подумал Болтун. Они еще на что-то надеются.

Давай подведем итог, сказал себе Болтун. Самый краткий. В двух словах. Но самый важный. В чем основа основ человеческого бытия? Увы, ответ банален. Он был ясен с самого начала. И зачем нужно было прожить целую жизнь, чтобы убедиться в этом? Не знаю, знаю одно: основу подлинно человеческого бытия составляет правда. Правда о себе. Правда о других. Беспощадная правда. Борьба за нее и против нее — самая глубинная и ожесточенная борьба в обществе. И уровень развития общества с точки зрения человечности будет отныне определяться степенью правдивости, допускаемой обществом. Это самый начальный и примитивный отсчет. Когда люди преодолеют некоторый минимум правдивости, они выдвинут другие критерии. А начинается все с этого.

Над входом в кремационную камеру Болтун прочел слова из речи Заибана, сказанной по поводу принятия Закона о Смерти: ПОМНИ! К ЭТОМУ ТЕБЯ НИКТО И НИЧТО НЕ ПРИНУЖДАЕТ! Он не знал, что над выходом из камеры были начертаны слова из последнего пункта Инструкции о Смерти: УХОДЯ, ЗАБЕРИ УРНУ СО СВОИМ ПРАХОМ С СОБОЙ! Но это уже не играло никакой роли. И в сознании вспыхнула последняя мысль:

Уже с юности было вполне очевидно:
Промелькнут, не заметишь, года.
Было только немного-немного обидно,
Что вовеки не будет Страшного Суда.
Никогда не подымутся люди из праха.
И истлевшее тело не сыщет душа.
И не будет ни радости им и ни страха
Не будет, короче сказать, ни шиша.
Все же жаль. Любопытно бы было когда-нибудь
На минутку-другую из мертвых восстать.
В страхе божьем воззрить, как положено, на небо.
Перед Высшим Судьей персонально предстать.
И услышать во гневе: Ответы! Только честно!
А соврешь, сукин сын, будешь вмиг уличен!
Что ты там натворил, нам все это известно!
Честно? Этому, Господи, я не учен.
Лучше сам загляни в свои книжки-гроссбухи.
Сам увидишь, что я заурядный злодей.
Не протягивал слабому помощи руки.
Признаюсь, обижал безнаказно людей.
И душою кривил, признаюсь, многократно.
Доносил добровольно и в силу причин.
Клятву верности брал, приходилось, обратно.
Зад лизал с целью выйти в желаемый чин.
Лицемерил один. Клеветал коллективно.
Подпевал демагогии высших властей.
Руку жал проходимцам, хоть было противно.
Пил с мерзавцами всяких статей и мастей.
Так что видишь, Всевышний, прожил я безгрешно
Если хочешь добром или злом наградить,
Если просьбы уместны при этом, конечно,
Прикажи меня впредь никогда не будить.
Мне известно, что мертвым не больно, не стыдно.
И не мучает совесть их, как говорят,
Ну а главное — мертвым не слышно, не видно,
Что на свете живые с живыми творят.

И его не стало. И наступил конец всему.

●

А. И. ДЕНИКИН

Путь русского офицера

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Первая революция — в Сибири и на театре войны

Приехав в Харбин, где начиналось прямое железнодорожное сообщение с Европейской Россией, я окунулся в самую гущу подымавшихся революционных настроений. Харбин был центром управления Китайских железных дорог, средоточием всех управлений тыла армии и массы запасных солдат, подлежавших эвакуации.

Изданный под влиянием народных волнений манифест 30 октября *, давший России конституцию, ударил, словно хмель, в головы людям и вместо успокоения вызвал волнения на почве непонимания сущности реформы или стремления сейчас же явочным порядком осуществить все свободы и «народовластие». Эти сумбурные настроения в значительной мере подогревались широкой пропагандой социалистических партий, причем на Дальнем Востоке более заметна была работа социал-демократов. Не становясь во главе революционных организаций и не проводя определенной конструктивной программы, местные отделы социалистических партий во всех своих воззваниях и постановлениях исходили из одной негативной предпосылки:

— Долой!

Долой «лишенное доверия самодержавное правительство», долой поставленные им местные власти, долой военных начальников, «вся власть — народу!»

Эта демагогическая пропаганда имела успех в массах, и во многих местах, в особенности вдоль великого Сибирского пути, образовались самозванные «комитеты», «советы рабочих и солдатских (тыловых) депутатов» и «забастовочные комитеты», которые захватывали власть. Сама Сибирская магистраль перешла в управление «смешанных забастовочных комитетов», фактически устранивших и военное, и гражданское начальство дорог. Самозваные власти ни в какой степени не представляли избранников народа, комплектуясь из элемента случайного, по преимуществу «более революционного» или имевшего ценз «политической неблагонадежности» в прошлом. В долгие дни путешествия по Сибирской магистрали я читал расклеенные на станциях и в попутных городах воззвания, слушал речи встречавших поезда делегатов и по совести скажу, что производили они впечатление политической малограмотности, иногда бытового курьеза. Первая революция, кроме лозунга «Долой!», не имела ни определенной программы, ни сильных руководителей, ни, как оказалось, достаточно благоприятной почвы в настроениях народных.

Окончание. Начало см. «Октябрь», №№ 1—2 с. г.

* Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», подписанный императором Николаем II. Манифест провозглашал гражданские свободы и законодательную думу.

Официальные власти растерялись. Во Владивостоке комендант крепости, ген. Казбек, стал пленником разнузданной солдатской и городской толпы. В Харбине начальник тыла, ген. Надаров, не принимал никаких мер против самоуправства комитетов. В Чите военный губернатор Забайкалья, ген. Холщевников, подчинился всецело комитетам, выдал оружие в распоряжение организуемой ими «народной самообороны», утверждал постановления солдатских митингов, передал революционерам всю почтово-телеграфную службу и т. д. Штаб Линевича, отрезанный рядом частных почтово-телеграфных забастовок от России, пребывал в полной прострации, а сам главнокомандующий устраивал в своем вагоне совещание с забастовочным комитетом Восточнокитайской железной дороги, уступая его требованиям...

Неудачный состав военных и гражданских администраторов, не обладавших ни твердостью характера, ни инициативой и с такой легкостью сдававших свои позиции, усугублялся тем обстоятельством, что, воспитанные всей своей жизнью в исконных традициях самодержавного режима, многие начальники были оглушены свалившимся им на головы манифестом, устанавливающим новые формы государственного строя, в которых они поначалу не разобрались. Тем более что привычных «указаний свыше» вследствие перерыва связи со столицей первое время не было. А из России ползли лишь темные слухи о восстании в Москве и Петербурге и даже о падении царской власти...

Революционной пропаганде поддалась очень незначительная часть офицерства, преимущественно тылового. Кроме мелких частей, был только один случай, когда весь офицерский состав полка (Читинский полк, стоявший в гор. Чите) с командиром во главе вынес сумбурное постановление, в котором, между прочим, выражалось сочувствие «передаче власти народу», считалось «позорным подавление какой бы то ни было политической партии силою оружия» и обещалось «в случае беспорядков, угрожающих кровопролитием, впредь, до сформирования милиции, принять участие в предупреждении братоубийственной войны — по требованию гражданских властей». Очевидно — революционных, так как другие в Чите бездействовали.

В революционное движение вклинился привходящим элементом бунт демобилизуемых запасных солдат.

Политические и социальные вопросы их мало интересовали. Они скептически относились к агитационным листовкам и к речам делегаций, высылаемых на вокзалы «народными правительствами». Единственным лозунгом их был клич:

— Домой!

Они восприняли свободу как безначалие и безнаказанность. Они буйствовали и бесчинствовали по всему армейскому тылу, в особенности возвратившиеся из японского плена и там распропагандированные матросы и солдаты. Они не слушались ни своего начальства, ни комитетского, требуя возвращения домой сейчас, вне всякой очереди, и не считаясь с состоянием подвижного состава и всех трудностей, возникших на огромном протяжении — в 10 тыс. километров — Сибирского пути.

Под давлением этой буйной массы и требований «железнодорожного комитета» Линевич, имевший в своем распоряжении законопослушные войска Маньчжурских армий для наведения порядка в тылу, отменил нормальную эвакуацию по корпусам, целыми частями и приказал начать перевозку всех запасных. При этом, вместо того чтобы организовать продовольственные пункты вдоль Сибирской магистрали и посылать запасных в сопровождении штатных вооруженных команд, их отпускали одних, выдавая в Харбине кормовые деньги на весь путь. Деньги пропивались тут же на Харбинском вокзале и на ближайших станциях, по дороге понемногу распродавался солдатский скарб, а потом, когда ничего «рентабельного» больше не оставалось, голодные толпы громили и грабили вокзалы, буфеты и пристанционные поселки.

Достойно удивления, как в таких условиях корпуса бывших Маньчжурских армий сохранили организацию и дисциплину. Выброшенные за тысячи километров от родных очагов, придавленные бесцельностью принесенных жертв в

неудачной и незаконченной кампании, томившиеся в ожидании возвращения домой в холодных, тесных землянках, не имевшие никаких сведений из-за забастовок о том, что делается на родине и дома, забрасываемые харбинскими революционными листовками, они все же у с т о я л и.

Устояли благодаря офицерскому корпусу, сжившемуся с солдатами за время маньчжурской страды и сохранившему авторитет и влияние, благодаря привитой дисциплине и здравому смыслу, не пошатнувшемуся в солдатской среде строевых частей.

Самое бурное время (ноябрь 1905 — январь 1906) я провел в поезде на Сибирской магистрали, пробираясь из Маньчжурии в Петербург. Ехал бесконечно долго по целому ряду новоявленных «республик» — Иркутской, Красноярской, Читинской и др. Жил несколько недель среди эшелонов запасных, катившихся, как саранча, через Урал домой, наблюдал близко выплеснутое из берегов солдатское море. Несогласованность в распоряжениях «республик» и ряд частных забастовок иногда вовсе приостанавливали движение: в Иркутске, где нам пришлось поневоле прождать несколько дней, скопилось до 30 воинских эшелонов и несколько пассажирских поездов. К этому времени по всей дороге чрезвычайно трудно было доставать продовольствие, и мы жили в дальнейшем только запасами, приобретенными в Иркутске.

Пока наш почтовый поезд, набитый офицерами, солдатами и откомандированными железнодорожниками, пытался идти легально, по расписанию, мы делали не более 100—150 килом. в сутки. Над нами издевались встречные эшелоны запасных; поезд не выпускали со станций; однажды мы проснулись на маленьком полуразрушенном полустанке без буфета и воды — на том же, где накануне заснули... Оказалось, что запасные проезжавшего эшелона, у которых испортился паровоз, отцепили и захватили наш.

Стало очевидным, что с «легальностью» никуда не доедешь. Собрались мы четверо оказавшихся в поезде полковников и старшего, командира одного из Сибирских полков, объявили комендантом поезда. Назначен был караул на паровоз, дежурная часть из офицеров и солдат, вооруженных собранными у офицеров револьверами, и в каждом вагоне — старший. Из доброхотных взносов пассажиров определили солдатам, находившимся в наряде, по 60 коп. суточных, и охотников нашлось больше, чем нужно было. Только со стороны двух «революционных» вагонов, в которых ехали эвакуированные железнодорожники, эти мероприятия встретили протест, однако не очень энергичный.

От первого же эшелона, шедшего не по расписанию, отцепили паровоз, и с тех пор поезд наш пошел полным ходом. Сзади за нами гнались эшелоны, жаждавшие расправиться с нами; впереди нас поджидали другие с целью преградить нам путь. Но при виде наших организованных и вооруженных команд напасть на нас не решились. Только вслед нам в окна летели камни и поленья. Начальники попутных станций, терроризованные угрожающими телеграммами от эшелонов, требовавших нашей остановки, не раз при приближении нашего поезда вместе со всем служебным персоналом скрывались в леса. Тогда мы ехали без путевки. Бог хранил.

Так мы ехали более месяца. Перевалили через Урал. Близилось Рождество, всем хотелось попасть домой к празднику. Но под Самарой нас остановили у семафора: частная забастовка машинистов, пути забиты, движение невозможно, и, когда восстановится, неизвестно. К довершению беды сбежал из-под караула наш машинист. Собрались офицеры, чтобы обсудить положение. Что делать? Каково же было общее изумление, когда из «революционных» вагонов нашего поезда пришла к коменданту делегация, предложившая использовать имевшихся среди них машинистов, но только, «чтобы не быть в ответе перед товарищами, взять их силою»... Снарядили конвой и вытащили за шиворот сопротивлявшихся для виду двух машинистов. Дежурному по Самарской станции мы передали по телефону категорическое приказание: «через полчаса поезд пройдет полным ходом, не задерживаясь через станцию. Чтоб путь был свободен!»

Проехали благополучно. В дальнейшем поезд шел нормально, и я добрался до Петербурга в самый сочельник.

Этот «майн-ридовский» рейд в модернизованном стиле свидетельствует, как в дни революции небольшая горсть смелых людей могла пробиваться тысячи километров среди хаоса, безвластия и враждебной им стихии попутных «республик» и озверелых толп.

Между тем Петербург пришел в себя и стал принимать решительные меры. По инициативе главы правительства гр. Витте для восстановления порядка на Сибирской магистрали были командированы воинские отряды: ген. Меллер-Закомельского, который шел от Москвы на восток, и ген. Ренненкампфа, двигавшегося от Харбина на запад. Позже подошел к Владивостоку ген. Мищенко, когда схлынула уже наиболее буйная масса запасных, и успокоил город мирным путем.

Ген. Ренненкампф выступил из Харбина 22 января 1906 г. с дивизией, шел, не встречая сопротивления, восстанавливая железнодорожную администрацию и усмиряя буйные эшелоны запасных. Усмирение производилось обыкновенно таким способом: высадит из поезда мятежный эшелон и заставит идти пешком километров 25 по сибирскому морозу (30—40 град. по Реомюру) до следующей станции, где к определенному сроку их ждал порожний состав поезда...

Подойдя к Чите, считавшейся наиболее серьезным оплотом революционного движения, Ренненкампф остановился и потребовал сдачи города. После нескольких дней переговоров Чита сдалась без боя. Ренненкампф сменил высших администраторов Забайкальской области *, отобрал у населения оружие и арестовал главных руководителей мятежа, предав их военному суду. Так поступал и в дальнейшем. Впоследствии левая печать обрушилась на Ренненкампфа, обвиняя его суды в нарушении процессуальных правил, в несправедливости и суровости приговоров... Вероятно, судебные ошибки были, в особенности принимая во внимание царствовавший тогда хаос. Но это был суд, предваряемый следствием, дававший возможность подсудимым и защите выступать против обвинения.

Совершенно иначе действовал ген. Меллер-Закомельский. Я знал его по службе в Варшавском округе, где он командовал 10-й пехотной дивизией, в штабе которой я отбывал лагерный сбор в 1899 г. Нрав у него и тогда был крутой, но в мирной обстановке ничем особенным он себя не проявлял.

В донесении Меллер-Закомельского государю о результатах экспедиции были такие строки: «Ренненкампфовские генералы сделали крупную ошибку, вступив в переговоры с революционерами и уговорив их сдаться... Бескровное покорение взбунтовавшихся городов не производит никакого впечатления»...

Исходя из этого взгляда, с отрядом (всего только 2 роты, 2 пулемета и 2 орудия), посаженным в поезд, Меллер-Закомельский в три недели проехал от Москвы до Читы более 6 тыс. километров, произведя повсюду жестокую расправу...

К середине февраля революционное движение на Сибирской магистрали схлынуло, в Харбине стачечный комитет был арестован, началась нормальная эвакуация маньчжурских корпусов.

Государь, крайне недовольный бездействием ген. Линевича в отношении революционного движения, приказал ему немедленно выехать в Россию, не дожидаясь приезда его заместителя, ген. Гродекова. Такой же приказ получил и ген. Куропаткин, который в отношении революции держал себя твердо и разумно. Причем Куропаткину повелено было ехать морем через Владивосток, высадиться в одном из портов Черного моря, где ждать дальнейших распоряжений. Словом — ссылка. Обиженный Куропаткин ответил телеграммой, донося, что по состоянию здоровья он не может выдержать такого длительного морского путе-

* Военный губернатор, ген. Холщевников, был впоследствии судим и подвергнут заключению в крепости.

шествия, чуть не кругом света, и просил дать ему возможность, не откладывая, вместе со своими сотрудниками закончить «Отчет» о своем командовании. По-видимому, этот «Отчет», о составлении которого знали в Петербурге и боялись разного рода неожиданностей, и послужил причиной таких необычных мер в отношении Куропаткина. В конце концов он получил приказ — выехать по железной дороге «с первым отходящим эшелоном», не останавливаться в Петербурге и его окрестностях, проживать в своем имении, в Шешурине (Псковской губ.), воздержаться от всяких интервью, от оправданий и высказываний в печати.

Впоследствии эти ограничения были сняты.

В Шешурине Куропаткин оканчивал свой «Отчет», составивший четыре солидных тома. Нося характер самооправдания и часто не беспристрастно освещая события, труд этот все же давал обильный фактический материал, а 4-й том его, в котором подводились «итоги» и разбирались армейские язвы и причины наших неудач, представлял особенный интерес. О существовании этого труда стало широко известно, но в свет он не появлялся. Военное министерство, оберегая репутации некоторых начальников, которых обвинял Куропаткин — одних поделом, других несправедливо,— категорически воспротивилось опубликованию «Отчета». Тем временем в иностранной печати стали появляться выдержки из книг Куропаткина, а газета «Голос Москвы» приступила к печатанию 4-го тома под видом перевода из американского издания его. Так более двух лет шла борьба между министерством и Куропаткиным, пока с книг его не был снят запрет.

В Шешурине помогал Куропаткину редактировать 4-й том мой приятель подполковник генерального штаба Крымов. Он рассказывал мне, что его поразило огромное количество дневников Куропаткина, в которых он день за днем описывал с величайшей подробностью обстоятельства своей жизни, военной и государственной деятельности. Обращали на себя внимание пометки, сделанные на полях дневников рядом лиц, игравших историческую роль в судьбах страны: «Верно, такой-то»... Оказалось, что Куропаткин, записав бывший с кем-либо важный разговор, при следующем свидании просил это лицо подтвердить правильность записи...

Куропаткин рассказывал Крымову, как однажды, еще до войны, государь обратился к нему:

— Я слышал, Алексей Николаевич, что вы ведете дневник. Интересно было бы прочесть что-нибудь.

— Слушаю, Ваше Величество!

Куропаткин отобрал две-три тетрадки с более или менее нейтральным содержанием и при очередном докладе вручил их государю. Возвращая потом тетрадки, государь сухо сказал:

— Да, интересно.

Велико было смущение Куропаткина, когда он обнаружил, что одна тетрадка попала ошибочно и в ней содержался крайне резкий отзыв по поводу предполагавшегося награждения свитским званием одного из лиц, причастных к концессии на Ялу...

Куропаткин считал, что с этого именно времени (начало 1903 года) началось охлаждение к нему государя.

Первая революция — в стране

В народных массах России не оказалось достаточно благоприятной почвы для революции политического характера. Деревня с 1902-го и до конца 1907 года, в особенности в Поволжье и в Прибалтике, поджогами и разграблением помещичьих имений и захватами их угодий пыталась разрешить исключительно аграрную проблему — крестьянского малоземелья,— значительно осложненную низким уровнем земледельческой культуры. В Прибалтике, кроме того, играл большую роль элемент национальный — на почве острой вековой вражды между эстонским и латышским крестьянством и помещиками-немцами и крайней бытовой отчужденности этих двух элементов. Под флагом национального освобождения, при безучастии народных масс в Польше применялся широко террор одной только боевой организацией ППС под руководством Пилсудского. Произведено было покушение на варшавского генерал-губернатора Скалона и других лиц высшей администрации, убийства чинов полиции и налеты на казначейства. Сам будущий диктатор Польши принял личное участие и руководил ограблением на 200 тыс. руб. почтового вагона на станции Безданы, около Вильны... Вспомним, что и будущий диктатор СССР, Сталин, начал свою карьеру, совершив ограбление, сопровождавшееся многочисленными жертвами, Тифлисского казначейства. В Финляндии было совершено за все время два террористических акта, в том числе убийство генерал-губернатора Бобрикова. Народ бурлил, но, получив конституционные гарантии, успокоился.

В городах незначительный численно городской и рабочий пролетариат интересовался только улучшением своего жизненного стандарта и лишь очень немногие относились сознательно к программным требованиям социалистических революционных партий. Беспорядки в городах, кроме восстания в Москве, сравнительно быстро и легко ликвидировались.

Наконец, еще меньше было политического элемента в солдатских бунтах, возникавших на почве революционной пропаганды, излишних стеснений казарменной жизни и не везде здоровых отношений между солдатами и офицерами, особенно во флоте. В «требованиях» восставших частей было оригинальное смешение привнесенной извне чужеродной партийной фразеологии с чисто солдатским фольклором. «Четыреххвостка» * стояла рядом с требованием «стричься бобриком, а не под машинку»...

Ввиду таких народных настроений революционеры, как я уже говорил, подымали народ упрощенным бунтарским лозунгом — «Долой!». А так как при наличии законопослушной армии поднятие восстания было делом безнадежным, то все усилия их были направлены на разложение армии. Собственно, только солдат, ибо по признанию издававшегося тогда в Париже революционного журнала «Красное Знамя» — «переманить удавалось только самых плохих офицеров, из которых выйдут два-три ловких мошенника революции, которые будут тянуть ее на скверные дороги военного авантюризма и рядиться в крохотные Кромвели». Если суждение «Красного Знамени» неверно, так как были, без сомнения, офицеры, шедшие в революцию по убеждению, то, во всяком случае, их было очень мало. Мы убедились в этом в 1917 году, когда все тайное стало явным и подпольный стаж открывал людям дорогу к почестям и возвышению. Из позднейшей полемики двух крупных революционеров Савинкова и Дейча выяснились комические подробности поисков ими в Петербурге («для установления связи») революционного «Союза офицеров», или никогда не существовавшего, или совершенно бездеятельного.

В конце 1905-го и в начале 1906 г. возник ряд военных бунтов, местами кровавых, особенно во флоте: Свеаборг, Кронштадт, Севастополь, бунт на броненосце «Князь Потемкин Таврический», спасшемся бегством в румынский порт, и т. д. Бунты — эпизодические, неорганизованные, продолжавшиеся по нескольку дней и подавленные законопослушными частями. Так в Севастополе во время бунта, подготовленного социалистами-революционерами и начатого лейтенантом Шмидтом, поднявшим красный флаг на корабле «Очаков», мятежные корабли были потоплены огнем с береговых батарей и с оставшихся верными судов флота. Брестский полк, под влиянием трех офицеров примкнувший к восставшим матросам, «раскаялся» и сам принял участие в подавлении мятежа. Характерно, что эти три офицера-революционера спаслись бегством, оставив на произвол судьбы своих ближайших помощников-солдат, которые были пойманы и казнены.

Наиболее серьезное восстание произошло в Москве. Началось с выступления 2-го гренадерского Ростовского полка, которое, впрочем, после двух дней мирно закончилось. Остальные войска гарнизона, тронутые пропагандой, сохраняли неопределенное настроение. Понадеясь на соучастие московского гарнизона,

* Всеобщее, равное, прямое, тайное голосование.

образовавшийся в Москве Совет рабочих депутатов 20 декабря объявил всеобщую забастовку и призвал население к восстанию. На улицах возводились баррикады, целый ряд заводских зданий обращен был в крепкие опорные пункты, рабочим роздано было хранившееся тайно оружие.

Между тем генерал-губернатор Москвы, адмирал Дубасов, не надеясь на лояльность московского гарнизона, просил Петербург о присылке подкреплений; ему были посланы Семеновский гвардейский полк из Петербурга и Ладожский полк из Варшавского округа. Эти части при помощи местной артиллерии начали бой с восставшими. В течение нескольких дней, подвигаясь шаг за шагом, уничтожая баррикады, беря приступом дома, разрушая артиллерией и сжигая опорные пункты, они на 9-й день подавили восстание. <...>

В большинстве мятежных частей, несмотря на старание партийных агитаторов, движение имело сумбурный характер, и так же сумбурны были предъявленные ими требования. Так, например, Самурский полк (Кавказ) потребовал от офицеров сдать оружие и... выдать знамя; ввиду отказа командир полка, полковой священник и 3 офицера были убиты. Севский полк (Полтава) требовал выпуска уголовных арестованных из губернской тюрьмы и провозглашения «Полтавской республики». Соседний Елецкий полк (Полтава) взбунтовался также, но требовал только устранения в полку хозяйственных непорядков и при этом громил евреев и оказавшихся в полку агитаторов. Кронштадтские матросы начали с требования Учредительного собрания, а окончили разгромом 75 магазинов и 68 лавок. Тем не менее во многих требованиях можно было уловить однообразные черты, привнесенные извне и нашедшие отражение впоследствии в знаменитом приказе № 1 Совета солдатских и рабочих депутатов (1917), положившем начало разложению армии. <...>

Первые раскаты революционного грома, как я уже говорил, вызвали прострацию власти; отсутствие решительных мер и прямых указаний местам, бездеятельность в отношении длящейся анархии на Сибирском пути и во всей стране, выступление, хотя и кратковременное, революционного «правительства» Хрусталева в самой столице, наконец, вырванные у власти, не сумевшей вовремя и добровольно пойти навстречу чаяниям благоразумной части общества, новые основные законы. Командный состав растерялся, главным образом, на почве неумения сочетать новые начала государственного строя с войсковым обиходом. Местами это явление принимало трагикомический характер, как, например, на Кавказе, когда растерявшееся начальство по совету одного из видных революционеров, социал-демократа Рамишвили, для «подавления народных беспорядков» выдало его организации несколько сот казенных ружей...

На почве растерянности властей на местах выросло такое явление, не сродное военной среде, как организация тайных офицерских обществ; не для каких-либо политических целей, а для самозащиты. Мне известны три таких общества. В Вильне и Ковне офицерство ввиду угроз террористическими актами по адресу высших военных начальников взяло на учет известных в городе революционных деятелей, предупредив их негласно о готовящемся возмездии... В Баку дело обстояло более просто и откровенно: открытое собрание офицеров гарнизона постановило и опубликовало во всеобщее сведение: «В случае совершения убийства хоть одного офицера или солдата гарнизона прежде всего являются ответственными, кроме преступников, руководители и агитаторы революционных организаций. Преступники пусть знают, что отныне их будут ловить и убивать. Мы не остановимся ни перед чем для восстановления и поддержания порядка».

В этих случаях террор вызывал ответный террор, самосуд — ответный самосуд.

Власть, придя в себя, первым делом озаботилась для удовлетворения армии улучшением ее материального положения. Увеличены были солдатское жалованье и приварочный оклад, введено снабжение одеялами, постельным бельем и т. д. И, учитывая человеческую слабость, военное ведомство определило для войск, командируемых с целью предотвращения беспорядков, суточные деньги в размерах по тогдашним масштабам довольно больших — для солдата 30

коп. в сутки. Я был свидетелем, с какой охотой ходили в уезды роты Саратовского гарнизона и как ревниво относились они к соблюдению очереди.

Наряду с этим продолжалось подавление солдатских бунтов силою. В январе 1906 г. Совет министров представил государю доклад о необходимости суровых репрессий «против попыток пропаганды к нарушению военной службы». Государь, однако, не согласился, положив резолюцию: «Строгий внутренний порядок и попечительное отношение начальства к быту солдат лучше всего оградят войска от проникновения пропаганды в казарменное расположение». Эта резолюция, *единственная*, ставшая в свое время достоянием гласности, получила широкое распространение и создала среди нас не совсем правильное впечатление о той позиции, которую занимал государь в происходившей борьбе. Впоследствии оказалось, что в целом ряде других резолюций были требования «применения к мятежникам самой решительной репрессии», исходя из того положения, что «каждый час промедления может стоить в будущем потоков крови». Но все эти резолюции глава правительства Витте держал под замком в своем письменном столе, чтобы отвести от государя одиум карательных мероприятий, вызванных роковой неизбежностью, но иногда бесцельно жестоких, волновавших общественное мнение страны. Впрочем, жестокости проявлялись с обеих сторон, в особенности в Прибалтике. Такие эпизоды, как сожжение заживо в Курляндии, в Газенпоте, революционерами солдат драгунского разъезда, не могли смягчить взаимоотношений...

По большевистским источникам (подсчет историка Покровского), которых нельзя заподозрить в преуменьшении, раз дело идет о «виновности» царского режима, число жертв за год первой революции во всей России исчисляется в 13 381 человек. По большевистским масштабам и большевистской практике — цифра эта должна казаться им совершенно ничтожной.

Офицерство, придавленное маньчжурскими неудачами, больно чувствуя свою долю вины в случившемся, тяжело переживало поход против себя и армии, открывшийся после октябрьского манифеста. Печать, в первый год после манифеста пользовавшаяся абсолютной свободой, будила страсти и рознь. Органы крайне правого направления («Земщина» и др.), отождествляя себя облыжно с армейскими кругами, видели спасение страны и армии не в реформах, а в «разгоне арестантской Думы» и в «возвращении розги»... Просто правая печать высказывалась неопределенно о «возврате к исконным началам»... Революционеры, справедливо полагая, что революция провалилась благодаря армии, продолжали работу по ее разложению. В сотрудничестве с радикальной демократией они высмеивали армию на сходках, в печати, с подмостков театров, в заседаниях земств и городов; выраставшие первое время, как грибы после дождя, юмористические журналы — и текстом и карикатурами — подвергали хуле военных людей и те понятия о долге, которые им внушали на службе. Для поношения армии и подрыва в ней дисциплины была использована не раз трибуна первых двух Государственных дум и даже речи защитников в военных судах...

В либеральных кругах, в лагере русской интеллигенции, шли разброд и взаимное непонимание. В качестве яркого отражения их я приведу полемику между двумя типичнейшими интеллигентами, возгоревшуюся в 1906 году на страницах газеты «Русские ведомости». Между молодым подполковником Генерального штаба кн. А. М. Волконским, представителем либеральной военной молодежи, и одним из видных кадетских лидеров кн. П. Долгоруким:

Долгорукий: «...Пока правительство и народ в лице его представителей представляют из себя как бы два враждебных лагеря, пока правительство упорствует и предпочитает, вопреки ясно выраженной воле народа, следовать советам кучки людей, пока не установилось полное соответствие между властью законодательной и исполнительной, до тех пор нельзя ожидать умиротворения России, до тех пор нельзя ожидать и от войска — сынов того же русского народа,— чтобы оно было вполне безучастно в этой убийственной распре и сле-

пым орудием в руках правительства. Неосуществимы и бесплодны поэтому пожелания, чтобы армия стояла вне политики и была беспартийной... Нельзя безнаказанно противопоставлять солдата — сына народа — тому же народу».

(Трагична позднейшая судьба двух братьев, князей Петра и Павла Долгоруких — передовых либеральных деятелей, которых невозможно было обвинить в «реакционных помыслах». Оба стали впоследствии эмигрантами. Павел из-за тоски по родине пробрался тайно в СССР, где был схвачен и убит. Петра — восьмидесятилетнего больного старца — большевики арестовали в Праге в 1945 году и вывезли в СССР, где он исчез бесследно.)

Волконский: «Из обоих лагерей зовут армию к себе... К несчастью, и внутренние процессы при разгаре страстей не могут пройти безболезненно. Одни уже кричат о разгоне Думы, другие призывают армию к присяге... И вот из оскорбляемых, оклеветанных рядов ее раздаются спокойные голоса: оставьте нас, нам нет дела до ваших партий; меняйте законы — это ваше дело. Мы же — люди присяги и «сегодняшнего закона». Оставьте нас! Ибо, если мы раз изменим присяге, то, конечно, никому из вас тоже верны не останемся... И тогда будет хаос, междоусобие и кровь».

Армия устояла благодаря корпусу офицеров, который после 1905 года, относясь с бо̀льшим вниманием, анализом, не раз осуждением к некоторым явлениям военной и общегосударственной жизни, сохранил тем не менее характер государственно-охранительной силы.

В этом его историческая заслуга, в этом же предопределение его позднейшей трагической судьбы.

В начале 1906 года революционное движение пошло сильно на убыль. К апрелю боевые организации социалистов-революционеров были разгромлены в Москве и Петербурге. Происходили еще террористические акты в Польше, а в деревне спорадически возникали аграрные беспорядки до конца 1907 года.

Нет сомнения, что самодержавно-бюрократический режим России являлся анахронизмом. Нет также сомнения, что эволюция его наступила бы раньше, если бы не помешало преступление, совершенное в 1881 году революционерами — «народовольцами», убившими императора Александра II, после великих реформ, им произведенных*, и накануне привлечения представителей народа (земств) к государственному управлению. Это преступление на четверть века задержало эволюцию режима.

Манифест 30 октября, хотя и запоздалый, был событием огромной исторической важности, открывавшим новую эру в государственной жизни страны. Пусть избирательное право, основанное на цензовом начале и многостепенных выборах, было несовершенным... Пусть в русской конституции не было парламентаризма западноевропейского типа — обстоятельство ныне, когда этот парламентаризм повсеместно переживает кризис, в достаточной мере спорное... Пусть права Государственной думы были ограничены, в особенности бюджетные... Но со всем тем этим актом заложено было прочное начало правового порядка, политической и гражданской свободы и открыты пути для легальной борьбы за дальнейшее утверждение подлинного народоправства.

Но радикально-либеральная интеллигенция на коалицию с правящей бюрократией и на сотрудничество с ней не пошла, требуя замены всего правительственного аппарата людьми своего лагеря. Государь не пожелал передавать всю власть в руки оппозиции, тем более что «правотворчество» первых двух дум внушало ему опасения. Создалось положение, при котором исключалась возможность легального обновления Совета министров лицами, пользовавшимися «общественным доверием». В результате радикально-либеральная демократия, не желавшая революции, своей обостренной оппозицией способствовала созданию в стране революционных настроений, а социалистическая демократия всеми силами стремилась ко второй революции.

* Упразднение крепостного права. Введение земских и городских самоуправлений. Судебная реформа. Всеобщая воинская повинность — взамен рекрутских наборов из низших, беднейших классов общества.

Военный ренессанс

Ген. Куропаткин в своих «Итогах» несчастной японской кампании писал о командном составе:

«Люди с сильным характером, люди самостоятельные, к сожалению, не выдвигались вперед, а преследовались; в мирное время они для многих начальников казались беспокойными. В результате такие люди часто оставляли службу. Наоборот, люди бесхарактерные, без убеждений, но покладистые, всегда готовые во всем соглашаться с мнением своих начальников, выдвигались вперед».

Японская война привела нас и к другому «открытию», что командному составу необходимо учиться. До войны начальник, начиная с должности командира полка, мог жить спокойно с тем «научным» багажом, который был вынесен из военного или юнкерского училища; мог не следить вовсе за прогрессом военной науки, и никому в голову не приходило поинтересоваться его познаниями. Какая-либо поверка почиталась бы оскорбительной. Общее состояние части и отчасти только управление ею на маневрах давали критерий для оценки начальника. Последнее, впрочем, весьма относительно: при нашем всеобщем благодушии грубые ошибки сходили безнаказанно.

В 1906 году вышло впервые высочайшее повеление «установить соответствующие занятия высшего командного состава, начиная с командиров частей (полков), до командиров корпусов включительно, направленные к развитию военных познаний». Это новшество вызвало на верхах большое раздражение: ворчали старики, видя в нем «поругание седин» и «подрыв авторитета».

Но дело пошло понемногу, хотя первое время не без трений и даже курьезов. Занятия со старшими начальниками заключались нормально в двухсторонних военных играх на планах или в поле. Многократно участвуя в этих занятиях, я вынес убеждение в большой их пользе. Не говоря уже о поучительности их, они давали возможность участникам присмотреться друг к другу и способствовали добровольному или принудительному отсеиванию невежд.

Как туго входила в сознание военных верхов идея необходимости учиться, свидетельствует эпизод, случившийся в 1911 году. По инициативе военного министра Сухомлинова была организована в Зимнем дворце военная игра с участием вызванных для этой цели командующих войсками округов — будущих командующих армиями. Игра должна была вестись в присутствии государя, который лично принимал участие в составлении первоначальных директив в качестве будущего Верховного главнокомандующего*. В залах дворца все было приготовлено для ведения игры. Но за час до назначенного срока главнокомандующий войсками Петербургского военного округа, великий князь Николай Николаевич, добился у государя ее отмены... Сухомлинов, поставленный в неловкое положение, подал в отставку, которая не была принята.

Только в 1914 году, перед самой войной, в Киеве Главному управлению Генерального штаба удалось провести военную игру, старшими участниками которой были будущий главнокомандующий и командующие армиями на Австрийском фронте. В основание этой весьма поучительной игры, в которой и я принимал участие в скромной роли начальника какого-то авангарда, были приняты во внимание фактические планы как наши, так и австрийский, который незадолго перед тем удалось добыть нашей агентуре из Генерального штаба в Вене. Впрочем, ввиду того, что дело получило огласку, начальник австрийского Генерального штаба Конрад фон Гетцендорф в последние недели перед войной успел изменить свой план.

В результате введения нового пенсионного устава, новых аттестационных правил и проверки знаний старших начальников начался и добровольный уход многих, и принудительное отсеивание, которое армейский юмор окрестил на-

* Будущим Верховным главнокомандующим государь считался до самого объявления первой мировой войны. Только 14 августа 1914 года он распорядился назначить на этот пост вел. кн. Николая Николаевича.

званием «избиение младенцев». В течение 1906—1907 годов было уволено и заменено от 50 до 80% начальников, от командира полка до командующего войсками округа. Приостановленный было в 1906 году закон о предельном возрасте в 1910 г. был восстановлен, способствуя омоложению офицерского корпуса. Поднялся также и образовательный ценз: в списке генералов в 1912 г. было 55,2% окончивших одну из военных академий.

Все эти мероприятия, если и не могли за 10 лет пересоздать командный состав, то, во всяком случае, значительно подняли его уровень по сравнению с эпохой японской войны.

Полоса безвременья вызвала в армейской среде государственно-опасное явление. Неудачи минувшей войны и отношение общества и печати к офицерству поколебали во многих офицерах веру в свое призвание. И начался «исход», продолжавшийся примерно до 1910 года и приведший в 1907 году к некомплекту в офицерском составе армии до 20%.

Но далеко не все поколебались. Наряду с «бегством» одних маньчжурская неудача послужила для большинства моральным толчком к пробуждению, в особенности среди молодежи. Никогда еще, вероятно, военная мысль не работала так интенсивно, как в годы после японской войны. О необходимости реорганизации армии говорили, писали, кричали. Усилилась потребность в самообразовании, значительно возрос интерес к военной печати. <...>

В 1909 году военный министр секретным циркуляром сообщил старшим начальникам о возникновении тайных офицерских организаций, якобы поставивших себе целью ускорить насильственными мерами, по их мнению, «медленный и бессистемный ход реорганизации армии». Министр требовал принятия мер против этого явления... Об организациях подобного типа я никогда не слышал и уверен, что они и не существовали. Были явления другого порядка.

Еще осенью 1905 года, после заключения мира с Японией, в отряде ген. Мищенко, по инициативе старшего адъютанта штаба, капитана Хагандокова, состоялось собрание десятка офицеров для обсуждения предложенного им проекта офицерского союза, основанного на выборном начале и имевшего целью оздоровление армии. Я присутствовал на двух таких собраниях до отъезда своего в Европейскую Россию. Цель была благая, но та форма, в которую должно было вылиться сообщество — что-то вроде офицерского совдепа,— казалась несродною военному строю, и потому я не принял участия в осуществлении проекта. Позднее я узнал из газет, что в мае 1906 г. в Петербурге с разрешения военного министра Редигера состоялось заседание вновь возникшего общества, принявшего наименование «Обновление». Открытое собрание это привлекло большую офицерскую аудиторию, главным образом благодаря слуху, что членом общества состоит популярный ген. Мищенко. Временный председатель «Обновления», капитан Хагандоков, изложил программу общества — самую благонамеренную: самообновление и самоусовершенствование; подготовка кадров, соответствующих современным требованиям войны; борьба с рутиной и косностью, «принесшими так много горя Государю и Отечеству». Устав общества представлен был военному министру, который его не утвердил. Тем дело и кончилось.

Эпизод этот имел впоследствии неожиданное для меня продолжение. Тем, кто черпает «исторический материал» из советских источников, известно, как преломляется он в советском кривом зеркале. Некто Мстиславский, вся деятельность которого заставляет предполагать, что был он в то время провокатором, в 1928 году напечатал в советском «историческом» журнале * свои воспоминания о мифическом офицерском союзе, в котором он якобы играл руководящую роль. В них он, между прочим, писал: «В рядах тайного офицерского революционного союза 1905 года числился, правда, очень конспиративно, ничем себя не проявляя, будущий «герой контрреволюции» Деникин. Он был в то время на Дальнем Востоке, и его вступление в союз в высоких уже чинах произвело на дальневосточных товарищей наших чрезвычайное впечатление».

* «Каторга и ссылка», № 2.

Парижская эмигрантская газета «Последние новости» поместила рецензию на этот журнал и приведенную мною выдержку из статьи Мстиславского. Я послал в газету опровержение: «Всю жизнь работал открыто, ни в какой ни тайной, ни явной политической или иной организации никогда не состоял, ни с одним революционером до 1917 года знаком не был; а если кого-нибудь из них видел, то только присутствуя случайно на заседаниях военных судов»...

Прошло 14 лет. 1942 год. Я жил в захолустном городке на юге Франции под бдительным присмотром гестапо. В газете немецкой пропаганды на русском языке «Парижский Вестник» появилась статья другого провокатора, только уже справа, полковника Феличкина, который, обличая роль «жидомасонов» в истории русской революции, привел без всякой связи с текстом упомянутые фразы Мстиславского, сопроводив их доносом: «Ярый противник сближения России с Германией Деникин, парализуя дальновидную политику ген. П. Н. Краснова * на наших глазах уже перешел в жидомасонский лагерь».

Феличкин не успел выслужиться перед немцами, так как вскоре умер.

С 1908 года интересы армии нашли весьма внимательное отношение со стороны Государственных дум 3-го и 4-го созывов, вернее, их национального сектора. По русским основным законам вся жизнедеятельность армии и флота направлялась верховной властью, а думе предоставлено было рассмотрение таких законопроектов, которые требовали новых ассигнований. Военное и морское министерства ревниво оберегали от любознательности думы сущность вносимых законодательных предположений. На этой почве началась борьба, в результате которой дума, образовав Комиссию по государственной обороне, добилась права обсуждать по существу, «осведомившись через специалистов», такие, например, важные дела, как многомиллионные ассигнования на постройку флота и реорганизацию армии. <...>

В Варшавском и в Казанском военных округах

Приехав с Дальнего Востока в Петербург, я узнал неутешительные для себя лично новости. Главное управление Генерального штаба, не дожидаясь прибытия эвакуируемых вследствие расформирования Маньчжурских армий офицеров, поторопилось заместить все вакантные должности офицерами, младшими по службе и не бывшими на войне или же прибывшими давно с театра войны и не вернувшимися туда,— «воскресшими покойниками», как их называли армейские острословы. На мое заявление, что Ставка главнокомандующего уже два месяца тому назад телеграфировала о предоставлении мне должности начальника штаба дивизии, полковник, ведавший назначениями, возразил, что телеграмма не была получена. По справке оказалось, однако, что телеграмма имеется, и смущенный полковник предложил мне временно принять низшую должность штаб-офицера при корпусе, по моему выбору. Я выбрал штаб 2-го кавалерийского корпуса, в котором служил до войны и который квартировал в Варшаве.

«Временное назначение» длилось, однако, целый год. <...>

Во 2-м кавалерийском корпусе прямого дела у меня было мало. Я печатал в военных журналах статьи военно-исторического и военно-бытового характера и читал доклады об японской войне в собрании Варшавского генерального штаба и в провинциальных гарнизонах. Не обошлось и без сенсации, когда появилась в «Разведчике» моя статья в щедринском духе о быте и нравах в Варшавском главном интендантстве. А, в общем, отсутствие живого дела меня изрядно тяготило, в особенности когда получено было распоряжение о расформировании корпуса и вся наша деятельность свелась к скучной и длительной кан-

* Во время гражданской войны 1918—1919 гг. в противоположность моей Добровольческой армии донской атаман, ген. Краснов, вел германофильскую политику, а во время второй мировой войны находился на службе Германии.

целярской ликвидации. Поэтому я воспользовался заграничным отпуском, побывал в Австрии, Германии, Франции, Италии и Швейцарии — как турист.

Уже год подходил к концу, а назначение мое все задерживалось. Я напомнил о себе по команде Главному управлению Генерального штаба, но в форме недостаточно корректной. Через некоторое время пришел ответ: «Предложить полковнику Деникину штаб 8-й Сибирской дивизии. В случае отказа он будет вычеркнут из кандидатского списка»... Никогда у нас по Генеральному штабу не было принудительных назначений, тем более в Сибирь. Поэтому я «в запальчивости и раздражении» ответил еще менее корректным рапортом, заключавшим только три слова: «Я не желаю». Ожидал новых неприятностей, но вместо них получил нормальный запрос с предложением принять штаб 57-й резервной бригады *, с прекрасной стоянкой в городе Саратове, на Волге.

В конце января 1907 года я приехал в Саратов, находившийся на территории К а з а н с к о г о военного округа, равного площадью всей средней Европе. Округ — отдаленный, находившийся вне внимания высоких сфер и всегда несколько отстававший от столичного и пограничных округов. В то время жизнь округа была на переломе: уходило старое, покойное и патриархальное, и врывалось уже новое, ищущее иных форм и содержания. Три бригады округа вернулось с войны, где дрались доблестно. Вернулось немало офицеров с боевым опытом, появились новые командиры, новые веяния, и закипела работа. Округ проснулся.

В это самое время прибыл в Казань человек, топнул в запальчивости ногой и громко на весь округ крикнул:

— Согну в бараний рог!

Все, что я буду сейчас говорить о Казанском округе, где прошла 4-летняя полоса моей жизни, не может быть отнюдь отнесено ко всей русской армии. Ничего подобного ни раньше, ни позже в других округах не бывало. Случайное совпадение обстоятельств, выбитая революцией из колеи армейская жизнь, наконец бóльшее, чем где-либо, значение в армии отдельной личности — и положительное, и отрицательное — привели к тому, что командование войсками Казанского округа ген. Сандецким наложило на них печать моральной подавленности на несколько лет.

Никогда не воевавший, в 1905 году он командовал 34-й пехотной дивизией, стоявшей в Екатеринославе, выдвинулся усмирением там восстания и в следующем году занимал уже пост командира Гренадерского корпуса в Москве.

В это время все Поволжье пылало. Край находился на военном положении, и не только все войска округа, но и мобилизованные второочередные казачьи части, и регулярная конница, привлеченная с западной границы, несли военно-полицейскую службу для усмирения повсеместно вспыхивавших аграрных беспорядков. Командовавший округом в 1906 году ген. Карас — человек мягкий и добрый — избегал крутых мер и явно не справлялся с делом усмирения. Не раз он посылал в Петербург телеграммы о смягчении приговоров военных судов, определявших смертную казнь и подлежавших е г о утверждению. Так как к тому же эти телеграммы не зашифровывались, то председатель Совета министров Столыпин усмотрел в действиях Караса малодушие и желание перенести одиум казней на него или государя. Караса уволили и на его место назначили неожиданно для всех Сандецкого.

Сандецкий наложил свои тяжелые руки — одну на революционеров Поволжья, другую на законопослушное воинство.

В первом же всеподданнейшем годовом отчете нового командующего проведена была параллель: в то время, как ген. Карас за весь год утвердил столько-то смертных приговоров (единицы), он, Сандецкий, за несколько месяцев утвердил столько-то (больше сотни). Штрих характерный: принятие мер суровых бывает не только правом, но и долгом; похваляться же этим не всякий станет.

* Резервная бригада состояла из 4 полков двухбатальонного состава, и служебное положение в ней было такое же, как в дивизии.

Еще задолго до приезда к нам в Саратов нового командующего распространились слухи об его необыкновенной суровости и резкости. Из Казани, Пензы, Уфы писали о грубых разносах, смещениях, взысканиях, накладываемых командующим во время смотров.

Вскоре выяснилось, что ген. Сандецкий читает приказы, отдаваемые не только по бригадам, но и по полкам. И требует в них подробных отчетов, разборов, наставлений по самым мелочным вопросам.

И пошел писать округ! «Бумага» заменила живое дело.

Поток бумаги сверху хлынул на головы оглушенных чинов округа, поучая, распекая, наставляя, не оставляя ни одной области службы — даже жизни, — не «разъясненной» начальством, допускающей самодеятельность и инициативу. Другой поток — снизу — отчетов, сводок, статистических таблиц, вплоть до кривой нарастания припека в хлебопекарнях, до среднего числа верст, пройденных полковым разведчиком в поле, — направлялся в штаб округа.

Нашелся в округе начальник бригады (54-й) ген. Гилейко, участник японской войны, пользовавшийся отличной боевой репутацией, который, будучи выведен из себя напоминанием о каком-то никому не нужном, нелепом отчете, написал в штаб округа: составление подобных отчетов для полков невыполнимо; до настоящего времени, чтобы не подводить подчиненных, штаб бригады сам с о ч и н я л их по выдуманным данным; ему известно, что такая же система практикуется и в прочих бригадах. Как поступать впредь?

Штаб округа не ответил.

Оказалось также, что командующий недоволен «слабостью» начальников. Много приказов о дисциплинарных взысканиях возвращалось с его собственноручными, всегда одинаковыми пометками: «В наложении взыскания проявлена слабость. Усилить. Учту при аттестации»*.

И началось утеснение.

Большинство начальников сохранили свое достоинство и справедливость. Но немало оказалось и таких, что на спинах своих подчиненных строили свою карьеру. Посыпались взыскания, как из рога изобилия, походя, за дело и без дела, вне зависимости от степени вины, с одной лишь оглядкой — что скажут в Казани.

Назначен был, наконец, день смотра Саратовскому гарнизону. Приехал командующий, посмотрел, разнес и уехал, наведя панику. Особенно досталось двум штаб-офицерам, бывшим членами военного суда в только что закончившейся выездной сессии **. Сандецкий собрал всех офицеров гарнизона и в их присутствии разносил штаб-офицеров: кричал, топал ногами и, наконец, заявил, что никогда не удостоит их назначения полковыми командирами «за проявленную слабость».

А дело заключалось в следующем. В одном из полков при обыске в сундуке какого-то ефрейтора найдена была прокламация. Суд, приняв во внимание, что листок только хранился, а не распространялся и другие смягчающие обстоятельства, зачел ефрейтору 10 месяцев предварительного заключения в тюрьме и, лишив его ефрейторского звания, выпустил на свободу... Это и вызвало гнев Сандецкого.

К чести нашего рядового офицерства надо сказать, что такое давление на судейскую совесть не имело результатов. И в дальнейшем приговоры по многим политическим делам в Саратове обличали твердость и справедливость членов военных судов. Наряду с приговорами суровыми я помню, например, нашумевшее и явно раздутое дело о «Камышинской республике», по которому все обвиняемые после блестящей защиты известного адвоката Зарудного были оправданы... в явный ущерб карьере членов суда. Или еще другое громкое дело видного социал-революционера Минора. Только совести судей (двух наших подполковников) последний обязан был сравнительно легким наказанием, которое ему было

* На всех военнослужащих составлялись аттестации прямыми начальниками и «аттестационными совещаниями». Мнение старшего начальника было решающим. От аттестации зависело все служебное положение и продвижение офицера.

** Казанский округ был на военном положении. За политические преступления военных и гражданских лиц судил военный суд в составе председателя — военного судьи и двух членов от войск местного гарнизона.

вынесено. Смутило судей то обстоятельство, что налицо были одни лишь косвенные улики. Конечно, в обоих случаях не могло быть никакого послабления, одно лишь чувство судейского долга. В первом процессе судьи верно отгадали сущность дела, во втором — ошиблись: Минор, как оказалось впоследствии, стоял во главе крупной боевой революционной организации юго-востока России...

Наибольший произвол царствовал в деле аттестаций, от которых зависело все служебное движение офицеров. Я остановлюсь на трех примерах начальственного произвола, которые можно бы назвать анекдотическими, если бы этот анекдот не ломал жизни людей.

Полковник Лесного полка Леонтьев аттестован был отлично на выдвижение. Перевелся в другой полк бригады, принял батальон, и на другой же день ему пришлось представить этот батальон на смотр начальнику бригады. Батальон был обучен скверно, о чем и отдано было в приказе по бригаде. Сандецкий, прочитав приказ и не разобрав, в чем дело, отменил аттестацию и объявил Леонтьеву «предостережение о неполном служебном соответствии». Эта формула влекла за собой поражение права выдвижения в течение двух лет.

Характерно, что трепетавший перед Сандецким начальник бригады не осмелился написать командующему об его ошибке. И только по приезде последнего в Саратов по моему настоянию рискнул доложить. Сандецкий ответил:

— Теперь уже аттестация в Главном штабе, отменять неловко. Приму во внимание в будущем году.

Леонтьев так и уехал в том же году в другой округ с «волчьим билетом».

Полковник Бобруйского полка Пляшкевич, отличнейший боевой офицер, был аттестован «вне очереди» на полк. В перечне его моральных качеств командир полка, между прочим, пометил: «Пьет мало». Каково же было наше удивление, когда через некоторое время пришло грозное предписание командующего, в котором объявлено было Пляшкевичу «предостережение» — за то, что «пьет», а начальнику бригады и командиру полка — выговор за неправильное удостоение. Тщетно было объяснение командира полка, что он хотел подчеркнуть именно большую воздержанность Пляшкевича... Сандецкий ответил, что его не проведут: уж если упомянуто о «питии», то значит Пляшкевич «пьет здорово».

Так и пропали у человека два года службы.

Так как «бумага» играла судьбою людей, в официальной переписке приходилось мучительно взвешивать каждое слово. Из полковых канцелярий постоянно приходили ко мне адъютанты за советом. Но ничто не спасало от печальных неожиданностей.

Капитану Балашовского полка Хвощинскому в отличной аттестации написано было «досуг свой посвящает самообразованию». Аттестация вернулась с резолюцией командующего: «Объявить предостережение за то, что свой досуг не посвящает роте». Я не поверил своим глазам. Сходил даже в библиотеку справиться в академическом словаре: «Д о с у г — свободное от нужных дел время».

Хвощинский «бежал» в Варшавский округ.

И т. д., и т. д.

Начальник нашей бригады, ген. П., был человек добрый, скромный и очень боялся начальства. Побудить его оспорить невыполнимое требование штаба округа или заступиться за пострадавшего стоило больших усилий. Был такой случай. Ген. Сандецкий, прочитав приказ Хвалынскому полку и, спутав фамилии, посадил под арест одного штабс-капитана вместо другого. Начальник бригады вызвал к себе пострадавшего и стал его уговаривать:

— Потерпите, голубчик. Вы еще молоды, роту нескоро получать. А если подымать вопрос — так не вышло бы худа. Вы сами знаете, если рассердится командующий...

Штабс-капитан претерпел.

Армейские будни заволокло грубостью, произволом и самодурством. И борьба с ними была почти безнадежна: повыше Казани был только Петербург, но в представлении армейского офицерства Петербург был далеким и недоступным, а в понимании солдат — чем-то астральным.

Знал ли Петербург — что делается в Казанском округе? Конечно. Из судных дел, жалоб, печати. Знал и государь. Сухомлинов писал впоследствии: «Несмотря на всю доброту, у государя в конце концов лопнуло терпение, и Его Величество приказал мне изложить письменно, что он недоволен тем режимом, который установил в своем округе Сандецкий». Потом, когда военный министр собрался ехать в Поволжье, государь приказал: «Скажите командующему от моего имени, что я его ревностную службу ценю, но ненужную грубость по отношении к подчиненным не одобряю».

Поволжье еще бродило, и наличие там во главе войск сурового начальника считалось, как видно, необходимым.

По какому-то поводу собрались однажды в Пензе старшие начальники округа на совещание. Председательствовал вместо Сандецкого, который лечился на курорте, его начальник штаба, ген. Светлов. В конце совещания начальник 54-й резервной бригады, ген. Шилейко, завел речь о том, что во главе округа стоит человек заведомо ненормальный и что на них на всех лежит моральная ответственность, а на Светлове и служебная за то, что они молчат, не доводя об этом до сведения Петербурга. Генералы, и в том числе Светлов, смутились, но не протестовали. Спустя некоторое время Шилейко послал военному министру подробный доклад о деятельности Сандецкого, повторив то определение, которое он сделал на пензенском совещании, и сославшись на согласие с ним всех его участников... Доклад этот был препровожден военным министром на заключение... Сандецкого.

Так как вся корреспонденция, по правилам, вскрывалась начальником штаба, трепещущий Светлов понес пакет во дворец командующего вместе со своим прошением об отставке. Что происходило во дворце — неизвестно. Но в конечном результате Шилейко был уволен в отставку «с мундиром и пенсией», а Светлов против ожидания остался на своем посту.

При такой нездоровой обстановке боевое обучение все же двигалось вперед — в силу общего подъема, охватившего военную среду, и невзирая на эксцессы Сандецкого.

Ген. П., не имевший боевой практики, писал огромные приказы — смотровые и хозяйственные — и предоставлял мне вопросы боевой подготовки войск. Я пользовался широко этим правом. Организовал систематические занятия по тактике с офицерами гарнизона, привлекая к сотрудничеству участников минувшей войны; устраивал доклады и беседы по разным отраслям военного дела; по приглашению полковых командиров помогал им в составлении тактических заданий и в проведении полевых учений. На бригадных маневрах применял новые веяния военной науки и результаты боевого опыта, стараясь приблизить учение к действительной обстановке современного боя.

Эта совместная дружная работа приносила пользу и мне, и полкам.

Сандецкий благоволил к П. и отличил его чином генерал-лейтенанта и орденом. Но вот однажды во время большого маневра командующий приехал неожиданно в наш штаб и из беседы с П. убедился, что тот не в курсе отданных по бригаде распоряжений. Был весьма разочарован и сильно гневался. С тех пор благоволение кончилось.

В свободное от службы время в эти годы я много писал, помещая статьи в военных журналах, преимущественно в «Разведчике», под общей рубрикой «Армейские заметки». Судьба этого журнала — п е р в о г о ч а с т н о г о военного издания в России — отражает эволюцию военной мысли и... опеки над нею. В 1885 году у отставного капитана Березовского, владельца военно-книжного дела, возникла мысль об издании военного журнала. Его горячо поддержал ген. Драгомиров, в то время начальник Академии Генерального штаба. Несмотря на сочувствие делу и других видных представителей военной профессуры начинание это в военном министерстве встретило категорическое противодействие. Сама мысль о распространении в армии частного военного органа объявлена была опасной ересью. В 1886 году Березовскому без прямого разрешения удалось выпустить нечто вроде журнала, но без права «ставить название и номер». Еще через два года министерство разрешило поставить заголовок («Разведчик»).

И только после шести лет борьбы, когда император Александр III, которому случайно попался на глаза «Разведчик», приказал доставлять ему журнал, последний получил легальное право на существование.

Тем не менее несмотря на монаршее внимание и сотрудничество с самого основания «Разведчика» таких видных лиц, как генералы Драгомиров, Леер, Газенкампф и др., журнал еле влачил существование, преодолевая с трудом не только препятствия сверху, но и инертность военной среды, с трудом усваивавшей совместимость свободы слова и критики с требованиями военной дисциплины. Только в 1896 году журнал стал окончательно на ноги, приобретая все большее распространение и популярность.

Возникавшие впоследствии другие частные военные органы пользовались меньшим успехом и были недолговечны.

«Разведчик» был органом прогрессивным, пользовался, как и вообще частная военная печать, с конца девяностых годов и в особенности после 1905 года широкой свободой критики не только в изображении темных сторон военного быта, но и в деликатной области порядка управления, командования, правительственных распоряжений и военных реформ. И, во всяком случае, несравненно большей свободой, чем было во Франции, в Австрии и в Германии. Во Франции ни один офицер не имел права напечатать что-либо без предварительного рассмотрения в одном из отделов военного министерства. Немецкая военная печать, говоря глухо о своем утеснении, так отзывалась о русской: «Особенно поражает, что русские военные писатели имеют возможность высказываться с большою свободой... И к таким заявлениям прислушиваются, принимают их во внимание».. Или еще (статья ген. Цепелина): «Очевидное поощрение, оказываемое в России военной литературе со стороны высшей руководящей власти, дает армии большое преимущество, особенно в деле поднятия духовного уровня корпуса русских офицеров»...

Я лично, касаясь самых разнообразных вопросов военного дела, службы и быта, не испытывал никогда ни цензурного, ни начальственного гнета со стороны Петербурга, хотя мои писания и затрагивали не раз авторитет высоких лиц и учреждений. Со стороны же местного начальства — в Варшавском округе было мало стеснений, в Киевском — никаких, но в Казанском, где жизнь давала острые и больные темы, ведя борьбу против установленного в округе режима, я подвергался со стороны командующего систематическому преследованию. При этом официально мне ставилась в вину не журнальная работа, а какие-либо несущественные или не существовавшие служебные недочеты.

Сандецкий был весьма чувствителен к тому, что писалось о жизни округа, опасаясь огласки и зная, что в Петербурге уже накоплялось неудовольствие против него.

Однажды на каком-то совещании ген. Сандецкий разразился громовой речью против офицерства:

— Наши офицеры — дрянь! Ничего не знают, ничего не хотят делать. Я буду гнать их без всякого милосердия, хотя бы пришлось остаться с одними унтерами.

Командир Инсарского полка, стоявшего в Пензе, полковник Рейнбот, вернувшись с совещания, собрал своих офицеров и нашел уместным передать им в осуждение и назидание слова командующего. Мне рассказывали потом, что в собрании после его речи наступило жуткое, подавленное молчание. Забитое офицерство мучительно переживало незаслуженное оскорбление. Только один подполковник взволнованно обратился к Рейнботу:

— Господин полковник, неужели это правда? Неужели командующий мог это сказать?

— Да, я передал буквально слова командующего.

На другой день один из офицеров полка, штабс-капитан Вернер отправил военному министру жалобу* по поводу нанесенного ему лично отзывом командующего оскорбления. Вскоре приехал в Пензу генерал от военного министра, произвел дознание и уехал. Штаб округа в свою очередь обрушился на полк угрозами и дознаниями. Вокруг инцидента росло возбуждение. Толки шли по всему округу.

* Закон не допускал жалоб коллективных или «за других».

Я горячо заинтересовался этим делом и собирался откликнуться в печати очередной «армейской заметкой», как вдруг получаю из Казани тяжеловесный пакет «секретно, в собственные руки». В нем весь материал по пензенскому делу и приказание Сандецкого отправиться в Пензу и произвести дознание по частному поводу: о подполковнике, реплика которого, приведенная выше, по мнению командующего, подрывала авторитет командира полка... недоверием к его словам. Назначение именно меня для этого дела не вытекало совершенно из моего служебного положения, а само «преступление» было до нелепости придуманным. Но придумано не без остроумия: я был обезоружен, так как говорить в печати о пензенском деле, доверенном мне в секретном служебном порядке, я уже не имел права.

Я сделал единственное, что мог: доказал правоту штаб офицера и дал о нем самый лучший отзыв, которого он вполне заслуживал.

В результате подполковник и капитан были переведены военным министром в другие части, а ген. Сандецкий получил «в собственные руки» синий пакет с высочайшим выговором.

Однажды, уже незадолго до моего ухода из округа, одна из «армейских заметок» вызвала особенно серьезное осложнение. В ней я описывал полковую жизнь вообще и горькую долю армейского капитана. Как в его жизни появился маленький просвет в виде удачно сошедшего смотра и как потом в смотровом приказе он прочел: «В роте полный порядок и чистота, но в кухне пел сверчок» *. За такой «недосмотр» последовало взыскание, а за взысканием капитан сам запел сверчком и был свезен в больницу для душевнобольных.

Конечно, это был шарж, но правдиво рисовавший жизнь в округе и изобиловавший фактическими деталями.

Ген. Сандецкий был в отъезде, и начальник штаба округа, ген. Светлов, после совещания со своим помощником и прокурором военно-окружного суда, решил привлечь меня к судебной ответственности. Доклад по этому поводу Светлов сделал тотчас же по возвращении Сандецкого и, к удивлению своему, услышал в ответ:

— Читал и не нахожу ничего особенного.

«Дело о сверчке» положено было под сукно. Но тотчас же вслед за сим на меня посыпались подряд три дисциплинарных взыскания — «выговоры», наложенные командующим за какие-то якобы мои упущения по службе.

Приехав через некоторое время в Саратов, ген. Сандецкий после смотра отозвал меня в сторону и сказал:

— Вы совсем перестали стесняться последнее время — так и сыплете моими фразами... Ведь это вы пишете «Армейские заметки» — я знаю!

— Так точно, ваше превосходительство, я.

— Что же, у меня — одна система управлять, у другого — другая. Я ничего не имею против критики. Но Главный штаб очень недоволен вами, полагая, что вы подрываете мой авторитет. Охота вам меня трогать...

Я ничего не ответил.

В последние месяцы моего пребывания в Казанском округе случилось из ряда вон выходящее происшествие.

В один из полков Саратовского гарнизона переведен был из Казани полковник Вейс, который оказался «осведомителем» ген. Сандецкого. Эту свою роль он играл почти открыто; его боялись и презирали, но внешне не проявляли этих чувств. Осенью состоялось бригадное аттестационное совещание **, на котором полковник Вейс единогласно признан был недостойным выдвижения на

* Фраза подлинная из одного приказа.
** Начальник бригады, начальник штаба, 4 командира полков и командир отдельного батальона.

должность командира полка. Начальник бригады скрепя сердце утвердил аттестацию, но с тех пор потерял покой. А Вейс, открыто потрясая портфелем, в котором лежал донос, говорил:

— Я им покажу! Они меня попомнят!

В конце года состоялось в Казани окружное совещание. Вернулся оттуда начальник бригады совершенно убитый.

— Ну и разносил же меня командующий! Верите ли, бил по столу кулаком и кричал, как на мальчишку. По бумажке, написанной рукой Вейса, перечислял мои «вины» по сорока пунктам, вроде таких: «Начальник бригады, переезжая в лагерь, поставил свой рояль на хранение в цейхгауз Хвалынского полка»... Или еще: «Когда в штабе бригады командиры полков доложили, что они не в состоянии выполнить распоряжение командующего, начальник бригады, обращаясь к начальнику штаба, сказал: «Мы попросим Антона Ивановича *, он сумеет отписаться»... Словом, мне теперь крышка.

Я был настолько подавлен всей этой пошлостью, что не нашел слов утешения.

Через несколько дней пришло предписание командующего: как смело совещание не удостоить выдвижения «вне очереди» Вейса, которого он считает выдающимся и еще недавно произвел в полковники «за отличие». Командующий потребовал созвать совещание вновь и пересмотреть резолюцию.

Такого насилия над совестью мы еще никогда не испытывали.

Вызвал я на это совещание телеграммами командиров полков из Астрахани и Царицына; собралось нас семь человек. У некоторых вид был довольно растерянный, но тем не менее все единогласно постановили — остаться при нашем прежнем решении. Я составил мотивированную резолюцию и по одобрении ее совещанием стал вписывать в прежний аттестационный лист Вейса. Ген. П. выглядел очень скверно. Не дождавшись конца заседания, он ушел домой, приказав прислать ему на подпись всю переписку.

А через час прибежал вестовой генерала и доложил, что с начальником бригады случился удар.

Положение осложнялось еще тем, что замещать начальника бригады предстояло лицу совершенно анекдотическому, ген. Февралеву. Ему предоставили «дослуживать» в роли командира полка недостающий срок для получения полной пенсии. Февралев страдал запоем, грозный Сандецкий знал об этом и, к удивлению нашему, никак не реагировал. Ко мне Февралев чувствовал расположение и даже почему-то побаивался меня. Это давало мне возможность умерять иногда его выходки. Перед приемом бригады Февралевым я высказал сомнение, что его командование окончится благополучно. Но он успокоил меня:

— Ноги моей в штабе не будет. И докладами не беспокойте. Присылайте бумаги на подпись, и больше никаких.

Такая «конституция» соблюдалась в течение многих недель.

На другой день после памятного совещания я послал аттестацию Вейса в Казань. Получил строжайший выговор за представление бумаги, «не имеющей никакого значения без подписи начальника бригады». Штаб округа выразил даже сомнение — действительно ли содержание ее было известно и одобрено ген. П. Я описал обстановку совещания и послал черновики с пометками и исправлениями П.

В Казани, видимо, всполошились. После двух пензенских историй новая могла пошатнуть непрочное положение командующего. Вскоре приехал в Саратов помощник начальника штаба округа — для виду с каким-то служебным поручением, фактически же — позондировать, как отразилась на жизни гарнизона новая история. Разузнавал стороной об обстоятельствах болезни П. и о моих служебных отношениях с Февралевым. Зашел и ко мне:

— Не знаете ли, как это случилось, какая причина болезни ген. П.?

— Знаю, ваше превосходительство. В результате нравственного потрясения, пережитого начальником бригады на приеме у командующего войсками, его постиг удар.

* т. е. меня.

— Как вы можете говорить подобные вещи!

— Это безусловная правда.

После этого эпизода Казань совершенно замолкла, предоставив нас всех собственной участи. Между тем положение все более осложнялось. Началось переформирование нашей резервной бригады в дивизию с выключением одних частей и включением других, со сложным перераспределением имущества, вызывавшим столкновение интересов и требовавшим властного и авторитетного разрешения на месте.

Между тем ген. П. понемногу поправлялся, стал выходить на прогулку, но память не возвращалась, он постоянно заговаривался. Генерал заявил о своем намерении посетить полки, я отговаривал его и на всякий случай принял свои меры. Однажды прибегает ко мне дежурный писарь, незаметно сопровождавший П. на прогулке, и докладывает, что генерал сел на извозчика и поехал в сторону казарм... Я бросился за ним в казармы и увидел в Балашовском полку такую сцену.

В помещении одной из рот выстроены молодые солдаты, собралось все начальство. Ген. П. уставился мутным, стеклянным взглядом на молодого солдата и молчит. Долго, мучительно. Гробовая тишина... Солдат перепуган, весь красный, со лба его падают крупные капли пота... Я обратился к генералу:

— Ваше превосходительство, не стоит вам так утруждать себя. Прикажите ротному командиру задавать вопросы, а вы послушаете.

Кивнул головой. Стало легче. Отвел меня в сторону командир полка и говорит:

— Спасибо, что выручили. Я уж не знал, что мне делать. Представьте себе — объясняет молодым солдатам, что наследник престола у нас — Петр Великий...

Кое-как закончили, и я увез генерала домой.

Положение создавалось невозможное, и я телеграфировал в штаб округа, что начальник бригады просит разрешения приехать в Казань для освидетельствования «на предмет отправления на Кавказские минеральные воды». В душе надеялся, что примут какие-либо меры. П. поехал. Произвел на комиссию тяжелое впечатление — не мог даже вспомнить своего отчества... Тем не менее назначили на ближайший курс лечения и тем ограничились.

Вернувшись из Казани, вероятно, под впечатлением благополучного исхода поездки, ген. П. отдал приказ о вступлении своем в командование бригадой... Я протелеграфировал об этом в Казань, но Сандецкий хранил упорное молчание. Очевидно, он был настолько смущен саратовской историей и боялся огласки ее, что не хотел принимать в отношении П. принудительных мер.

По-прежнему я отдавал распоряжения и приказы, заведомо для штаба округа и полков — от себя, хотя и скрепленные подписью П., как раньше Февралева. Опять П. стремился навещать полки, и больших усилий стоило удержать его от этого. Наконец, срок подошел, он уехал на воды. Около месяца после этого продолжалось еще фиктивное командование Февралева, пока не приехал новый начальник переформированной из нашей бригады дивизии.

Мне остается упомянуть вкратце о дальнейшей судьбе некоторых из описанных лиц.

Генералы П. и Февралев были уволены в отставку и скоро умерли.

Ген. Сандецкий оставался на своем посту до 1912 года (5 лет), после чего был назначен в Военный совет. Но во время первой мировой войны его назначили командующим Московским военным округом *. Все пошло по-старому. Военный министр Сухомлинов написал в Ставку Верховного главнокомандующего: «Сандецкий восстановил против себя почти всю Москву. Я съездил в Москву

* Во время войны во внутренних округах полевых войск не было, только запасные батальоны и тыловые военные учреждения.

по повелению Его Величества уговаривать его, чтобы он свирепствовал с большим разбором»... Очевидно, не помогло. Сандецкого убрали из Москвы, но дали прежний Казанский округ. В мартовские дни (революция 1917) ген. Сандецкий был арестован Казанским гарнизоном. Временное правительство назначило над ним следствие по обвинению в многократном превышении власти. Большевики впоследствии убили его.

Переживая памятью казанскую фантасмагорию, я до сих пор не могу понять, как можно было так долго мириться с самоуправством Сандецкого. Во всяком случае, подобный эпизод так же, как и назначения в преддверии второй революции на министерские посты лиц, вызывавших всеобщее осуждение, послужили одной из важных причин падения авторитета верховной власти.

В Архангелогородском полку

Высочайшим приказом от 12 июня 1910 г. я был назначен командиром 17-го пехотного Архангелогородского полка, квартировавшего в городе Житомире, Киевского военного округа.

Полк этот, один из старейших в Российской армии, созданный Петром Великим, незадолго перед тем отпраздновал 200-летие своего существования. Строитель Петербурга, участник войн Петра Великого и его преемников, с Суворовым совершивший славный Сент-Готардский переход, имевший боевые отличия за русско-турецкую войну 1877—78 гг. Только в японскую кампанию, подвезенный уже к самому концу на Сипингайские позиции, он в военных действиях участия не принял.

Чтобы оживить в памяти полка его боевую историю, я возбудил ходатайство о передаче полку хранившихся в Петербурге, в складах, старых полковых знамен, которых нашлось 13. Эти знамена — свидетели боевой славы полка на протяжении двух столетий — одни с уцелевшими полотнищами, другие, изодранные в сражениях или совсем обветшалые, сохранялись потом в созданном мною полковом музее, в котором удалось собрать немало реликвий полка. В числе памятников старины был первый «требник» художественно-рукописной работы, по которому совершались богослужения в походной полковой церкви в петровские времена (начало XVIII столетия).

Прибывшие к нам знамена были встречены с большой торжественностью — строем всего полка, в присутствии высших начальников и командующего войсками Киевского округа генерала Иванова.

Установление этой красивой символической связи с прошлым вызвало большой подъем в офицерском составе. Меньший — в малокультурной солдатской среде; но и там предварительное ознакомление с историей полка и торжества встречи реликвий произвели хорошее впечатление.

Архангелогородский полк имел усиленный состав, т. к. по плану мобилизации он развертывался в два полка и запасной батальон. Офицеров, врачей и чиновников было в полку 100, солдат около 3-х тысяч.

Офицерский состав полка военным делом интересовался, работал и вел себя исправно. Следуя системе генерала Завацкого *, я за четыре года командования полком дисциплинарных взысканий на офицеров не накладывал. Провинившиеся приглашались в мой кабинет для соответственного внушения или, в более интимных случаях, к председателю офицерского суда чести, полковнику Дженееву — человеку высоких моральных и воинских качеств. Этого было достаточно, и только раза два дело доходило до суда чести, причем в одном случае офицер был удален из полка, в другом — суд ограничился внушением. Ни одного серьезного скандала за все время моего командования не было.

Внушением не исчерпывалось командирское участие в офицерской жизни. Во многих затруднительных и «конфиденциальных» случаях офицеры обращались за решением ко мне, до определения «алиментов» включительно. Такой

* См. главу «Снова в бригаде».

«третейский суд» был гораздо удобнее, чем официальный, так как, во-первых, дело не выносилось за стены моего кабинета и, во-вторых, не вызывало никаких расходов.

В политическом отношении офицерство, как и везде в России, было лояльно к режиму и активной политикой не занималось. Два-три офицера были близки к местной черносотенной газете — направления «Союза русского народа» *, но каким-либо влиянием в полку они не пользовались. Офицеров левого направления не было.

После японской войны и первой революции, невзирая на выяснившуюся лояльность офицерского корпуса, он был тем не менее взят под особый надзор сыскных органов и командирам полков периодически присылались весьма секретные «черные списки» «неблагонадежных» офицеров, для которых закрывалась дорога к повышению. Трагизм этих списков заключался в том, что оспаривать обвинение было почти безнадежно, а производить свое негласное расследование не разрешалось. Мне лично пришлось вести длительную борьбу со штабом Киевского округа по поводу назначения двух отличных офицеров — командирами роты и начальником пулеметной команды. Явная несправедливость их обхода подорвала бы их военную карьеру и веру в себя да и легла бы тяжелым бременем на мою совесть, а объяснить неудостоением, в чем дело, — нельзя было. С большим трудом удалось отстоять этих офицеров.

Через два года оба они пали смертью храбрых в боях первой мировой войны.

«Черные списки» составлялись по трем линиям: департамента полиции, жандармской и особой — военной, созданной Сухомлиновым в бытность его министром. В каждом штабе военного округа учреждена была должность начальника контрразведки, во главе которой стоял переодетый в штабную форму жандармский офицер. Круг деятельности его официально определялся борьбой с иностранным шпионажем... На самом деле главная роль его была другая. Полковник Духонин **, будучи тогда начальником разведывательного отделения штаба округа, горько жаловался мне на непривычную и тяжелую атмосферу, внесенную новым органом, который, официально подчиняясь генерал-квартирмейстеру, фактически держал под подозрением и следил не только за всем штабом, но и за своими начальниками.

«Линия» эта была совершенно самостоятельна и возглавлялась жандармским полковником Мясоедовым, непосредственно подчиненным Сухомлинову и пользовавшимся его полным доверием. В распоряжение Мясоедова предоставлены были министром крупные суммы.

Окончилось это нововведение трагично.

Еще в 1912 г. во время рассмотрения бюджета военного министерства в комиссии Государственной думы Гучков *** обрушился на военного министра Сухомлинова по поводу крупного ассигнования на мясоедовскую работу, забронированного формулой, которой министр заведомо злоупотреблял: «На расходы, известные Его Императорскому Величеству». Гучков поведал собранию, что Мясоедов, служивший в жандармском корпусе, был выгнан со службы за ряд уголовных дел, в том числе за скупку в Германии оружия и тайную перепродажу его в России. Сухомлинов, невзирая на это, не только определил его вновь на службу и приблизил к себе, но и поставил во главе столь ответственного учреждения.

В комиссии разыгралась бурная сцена. Сухомлинов покинул заседание. Слухи о происшедшем проникли в печать. Мясоедов вызвал Гучкова на дуэль, которая окончилась бескровно. Инцидент этот вызвал беспокойство и при дворе, но Сухомлинов сумел убедить Государя, что все это лишь интрига против

* Крайне правая организация.
** Впоследствии генерал Духонин, который в 1917 г. был последним главнокомандующим Русской армией.
*** Умеренный политический деятель, одно время бывший председателем Государственной думы.

него лично со стороны его врагов — Гучкова и помощника военного министра. В результате последний был устранен от должности. Но и Мясоедов спустя некоторое время был освобожден от службы.

В начале первой мировой войны благодаря лестной рекомендации Сухомлинова Мясоедов вновь вышел на поверхность, получив назначение на Западный фронт по разведочной части. Но в 1915 г. он был уличен в шпионаже в пользу Германии, судим военным судом и казнен...

Ввиду каких-то процессуальных неправильностей и спешного проведения этого дела возникла легенда, будто казнен невинный... Недоброжелатели верховного командования (великий князь Николай Николаевич) пустили слух, что все дело было создано и проведено искусственно для того, чтобы оправдать тогдашние крупные неудачи на нашем фронте. Во время второй революции и после на эту тему в печати часто появлялись полемические статьи и «дело Мясоедова» в глазах некоторых стало одним из тех загадочных криминальных случаев, которые остаются в истории таинственными и неразгаданными.

У меня лично сомнений в виновности Мясоедова нет, ибо мне стали известны обстоятельства, проливающие свет на это темное дело. Мне их сообщил генерал Крымов, человек очень близкий Гучкову и ведший с ним работу.

В начале войны к Гучкову явился японский военный агент и, взяв с него слово, что разговор их не будет предан гласности, сообщил: на ответственный пост назначен полковник Мясоедов, который состоял на шпионской службе против России у японцев... Военный агент добавил, что считает своим долгом предупредить Гучкова, но т. к. по традиции имена секретных сотрудников никогда не выдаются, он просит хранить факт его посещения и сообщения секретным.

Гучков начал очень энергичную кампанию против Мясоедова, окончившуюся его разоблачением, но связанный словом не называл источника своего осведомления.

Подтверждением всего вышесказанного служит письмо Сухомлинова от 2 апреля 1915 г. к начальнику штаба Верховного главнокомандующего генералу Янушкевичу:

«Только что мне подали Ваше письмо и я узнал, что заслуженная кара состоялась (казнь А. Д. Мясоедова). Что это за негодяй, можно судить по его письмам, которые он мне писал (шантажные), когда я его уволил. Но хороши же и Гучков с Поливановым*, которые не пожелали дать никаких данных при следствии, чтобы выяснить этого гуся своевременно».

Офицерский состав полка был, конечно, преимущественно русский, но было несколько поляков и совершенно обрусելых немцев, были армянин, грузин. Как и везде в русской армии, национальные перегородки в офицерской да и в солдатской среде стирались совершенно, не отражаясь вовсе на дружном течении полковой жизни. В частности, в военном быту отсутствовало понятие «украинец», как нечто обособленное от рядового понятия «русский».

Когда однажды (1908 г.) правая пресса выступила с нападками на засилие «иноплеменников» в командном составе **, официоз военного министерства «Русский инвалид» дал отповедь: «Русский — не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством». Правительственная политика, действительно, придерживалась такого направления в офицерском вопросе в отношении всех иноплеменников, кроме поляков. Секретными циркулярами в изъятие из закона был установлен в отношении их ряд ограничений — несправедливых и обидных. Но тут надо добавить, что в военном и товарищеском быту тяготились этими стеснениями, осуждали их и, когда только можно было, обходили их.

* Генерал Поливанов, находившийся в оппозиции к Сухомлинову и сотрудничавший с Гучковым.

** Статистика офицерского корпуса по признакам национальным или родного языка никогда не велась. Отмечалось лишь вероисповедание, что дает только приблизительное представление о национальности. В списке генералитета в 1912 г. числилось 86% православных.

Совершенно закрыт был доступ к офицерскому званию лицам иудейского вероисповедания. Но в офицерском корпусе состояли офицеры и генералы, принявшие христианство до службы и прошедшие затем военные школы. Из моего и двух смежных выпусков Академии Генерального штаба я знал лично семь офицеров еврейского происхождения, из которых шесть ко времени мировой войны достигли генеральского чина. Проходили они службу нормально, не подвергаясь никаким стеснениям служебным или неприятностям общественного характера.

Не существовало национального вопроса и в казарме. Если солдаты — представители нерусских народностей — испытывали бо́льшую тягость службы, то, главным образом, из-за незнания русского языка. Действительно, не говорившие по-русски латыши, татары, грузины, евреи составляли страшную обузу для роты и ротного командира, и это обстоятельство вызывало обостренное отношение к ним. Большинство такого элемента были евреи. В моем полку и других, которые я знал, к солдатам-евреям относились вполне терпимо. Но нельзя отрицать, что в некоторых частях была тенденция к угнетению евреев, но отнюдь не вытекавшая из военной системы, а приносимая в казарму извне, из народного быта, и только усугубляемая на почве служебной исполнительности. Главная масса евреев — горожане, жившие в большинстве бедно, — и потому давала новобранцев хилых, менее развитых физически, чем крестьянская молодежь, и это уже сразу ставило их в некоторое второразрядное положение в казарменном общежитии. Ограничение начального образования евреев «хедером», незнание часто русского языка и общая темнота еще более осложняли их положение. Все это создавало, с одной стороны, крайнюю трудность в обучении этого элемента военному строю, с другой — усугубляло для него в значительной мере тяжесть службы. Надо добавить, что некоторые распространенные черты еврейского характера, как истеричность и любовь к спекуляциям, тоже играли известную роль.

На этой почве и принимая во внимание малую культурность еврейской массы выросло следующее дикое явление.

По должности командира полка в течение четырех лет мне приходилось много раз бывать членом Волынского губернского присутствия по переосвидетельствованию призываемых на военную службу. Перед моими глазами проходили сотни изуродованных человеческих тел, главным образом евреев. Это были люди темные, наивные, слишком примитивно симулировавшие свою немочь, спасавшую от воинской повинности. Было их и жалко, и досадно. Так калечили себя люди по всей черте еврейской оседлости *. Ряд судебных дел в разных городах нарисовал мрачную картину самоувечья и обнаружил существование широко распространенного института подпольных «докторов», которые практиковали на своих пациентах: отрезывание пальцев на ногах, прокалывание барабанной перепонки, острое воспаление века, грыжи, вырывание всех зубов, даже вывихи бедренных костей...

Таков был удел бедных и убогих, ибо еврейская интеллигенция и плутократия отбывали повинность на нормальных льготных условиях в качестве вольноопределяющихся.

Казарменный режим сам по себе никак не мог вызывать столь тягостного явления; ведь люди не только уродовали, но и калечили себя, губили часто здоровье на всю жизнь... И если виновна власть в том, что создала ряд ограничений для евреев, то немалая вина лежит и на интеллигентной и богатой еврейской верхушке, которая, горячо и страстно ратуя за равноправие, не принимала, однако, мер для поднятия в пределах возможного (а это было возможно) культуры и зажиточности своих местечковых соплеменников.

Во всяком случае, в российской армии солдаты-евреи, сметливые и добро-

* В черту еврейской оседлости входили польские, юго-западные и северо-западные губернии, т. е. территория в два раза больше Франции. В областях внутренней России разрешалось жить купцам I гильдии, лицам с высшим образованием, студентам высших учебных заведений, квалифицированным артистам и т. д.

совестные, создавали себе всюду нормальное положение и в мирное время. А в военное — все перегородки стирались сами собой и индивидуальная храбрость и сообразительность получали одинаковое признание.

Нашей 5-й дивизией командовал генерал Перекрестов, человек не узкий и не формалист, благожелательно относившийся к нам. Ни он, ни высшее начальство — корпусной командир (ген. Щербачев) и командующий войсками округа (ген. Н. И. Иванов),— давая общие указания, не вмешивались в компетенцию полковых командиров, и мы могли спокойно заниматься своим делом.

По части парадов и церемониальному маршу мой полк отставал от других— на это я не обращал особенного внимания. Стрелял полк хорошо, а маневрировал даже лучше других.

Опыт японской войны и новые веяния в тактике помогали мне вне учебных программ натаскивать людей на ускоренных маршах (накоротке), благодаря чему на маневрах мой полк сваливался, как снег на голову, на не ожидавшего его «противника». Устраивал переправы через реки, не проходимые вброд, всем полком, без мостов и понтонов, пользуясь только такими имевшимися под руками средствами, как доски, веревки, снопы соломы, и помощью своих хороших пловцов. Надо было видеть, с каким увлечением и радостью все чины полка участвовали в таких внепрограммных упражнениях и сколько природной смекалки, находчивости и доброй воли они при этом проявляли. Музыкантская команда, плывущая вокруг турецкого барабана... Пулеметная команда, снявшая колеса у повозок, примостившая под них брезент и в таком импровизированном понтоне перевозившая пулеметы и патроны... Отдельные солдаты, привязавшие себе под мышки по снопу...

Было и поучительно, и весело.

Я сдал полк перед самой мировой войной и считаю, что в боевом отношении он был подготовлен хорошо. Архангелогородский полк, как я говорил уже, по мобилизации разворачивался в два полка. Первого полка во время войны в боях мне не пришлось встретить. 2-й полк (он получил название) весной 1915 г. вошел временно в состав большой группы, которой я командовал, и занимал весьма тяжелый участок позиции на моем фронте. Об этом эпизоде я расскажу дальше.

В 1911 г. полк участвовал в царских маневрах под Киевом. Для меня это был второй подобный случай: первый раз мне довелось в качестве командира роты принять участие в царских маневрах Варшавского округа в 1903 г.

1 сентября маневры закончились, Государь объезжал войска, оставшиеся в том положении, где их застал «отбой». Я был свидетелем того энтузиазма, почти мистического, который повсюду вызывало появление царя. Он проявлялся и в громких безостановочных криках «ура», и в лихорадочном блеске глаз, и в дрожании ружей, взятых на «караул», и в каких-то необъяснимых флюидах, пронизывавших офицеров, генералов и солдат — «народ в шинелях»...

Тот самый народ, который через несколько всего лет с непостижимой жестокостью обрушился на все, имеющее отношение к царской семье и допустивший ее страшное убийство...

Утром 2 сентября войска двинулись к сборному пункту для царского смотра. Мой полк, как старший по номеру в округе (17-й), должен был первым проходить перед Государем церемониальным маршем; от него же назначена была почетная стража — офицер, унтер-офицер и солдат,— лично представлявшаяся царю. Это было целое событие в жизни полка, вызвавшее задолго много волнений при выборе, экипировке и подготовке почетной стражи.

Как только мы прибыли на сборный пункт, нас ошеломила весть, распространившаяся, как молния: вчера вечером в Киевском театре на торжественном представлении в присутствии Государя революционер Багров выстрелом из револьвера тяжело ранил главу правительства П. А. Столыпина... В городе — волнение. Ночью три казачьих полка из состава маневрировавших войск спешно

посланы были в Киев для предотвращения ожидавшегося еврейского погрома, так как Багров был еврей.

Настроение офицерства, относившегося в огромном большинстве с сочувствием и к личности и к политике Столыпина, сильно понизилось. Солдатская же масса, не разбиравшаяся в таких вопросах, отнеслась к событию довольно равнодушно, ее больше волновал вопрос — состоится ли смотр. Он состоялся.

В течение нескольких часов войска проходили перед Государем и величественная картина этого парада захватывала всех. Опять, как всегда, войска были объяты высоким подъемом и присутствие царя вызывало восторженное волнение.

Это было через 6 лет после первой революции и за 6 лет до второй... Тогда еще настроение армии было вполне лояльным и благоприятным монархии, его легко было бы поддержать и дальше, если б не ряд последовавших роковых обстоятельств и роковых ошибок, перевернувших вверх дном всю народную психологию и уронивших престиж власти и династии.

Об этом я расскажу подробно дальше.

Накануне еще военные начальники, до командиров полков включительно, получили приглашения на 2 сентября к «высочайшему обеду» в Киевском дворце. Было известно, что Столыпин умирает в Киевском госпитале, и мы предполагали, что парадный обед будет отменен. Но против ожидания вся программа пребывания царской семьи в Киеве — приемы, смотры, обеды — осталась без изменения.

Обеденные столы были накрыты в нескольких залах. Обед проходил в чинном и несколько пониженном настроении. Музыки не было, все говорили негромко. За нашим столом (вероятно, и за всеми другими) разговор шел исключительно о преступлении Багрова. Высказывалось вполголоса опасение, что заговорщики, быть может, метили выше...

В зале, где находились Государь, его гость — румынский королевич — и высший генералитет, обычный ритуал: командующий войсками округа, ген. Иванов, сказал краткое приветствие от имени армии; Государь ответил несколькими словами и провозгласил тост за королевича, встреченный молча, одним вставанием.

Обед окончился. Нас пригласили в сад, где на маленьких столиках сервирован был черный кофе. Царь обходил столики, вступая в разговор с приглашенными. Подошел ко мне. Третий раз в жизни мне довелось беседовать с ним *. Государь, без всякого сомнения человек застенчивый, вне привычной среды, видимо, затруднялся в выборе тем для разговоров. Со мной он говорил о последнем дне маневров, об укреплениях, которые возвел мой полк на своей позиции и на которые он обратил внимание. Ясно было, что он хотел сказать приятное и полку и командиру.

Пошел дальше. Около него образовывались небольшие группы офицеров, к которым подходил и я. Все чего-то ждали, всем хотелось что-то запомнить. Но я слышал все такие же шаблонные, незначащие разговоры... Мертвящий этикет, окружающие его натянутые придворные и собственная застенчивость мешали Царю подойти ближе к военной среде, узнать, чем она дышит, сказать такое слово, которое запало бы в душу... К той среде, которая, по традиции, по атавизму и пиетету к его личности особенно чутко относилась к тому, что он говорит, и к тому, что про него говорят...

Это была моя последняя встреча с Государем. Никогда больше мне его видеть не пришлось.

Трагична судьба Столыпина. Глубокий патриот, сильный, умный и властный человек, он с малой кровью и без потрясения государственных основ ликвидировал первую революцию и водворил в стране спокойствие. Связавший свою судьбу с Государственной думой, он вынужден был распустить первые ее

* Первый раз при академическом выпуске. Второй — представляясь после получения полка на приеме в Зимнем дворце.

два состава, ведшие страну прямым путем к революции. Сторонник представительного строя, он нарушил основные законы, введя новый выборный закон 3 июня 1907 г., установивший цензовый характер представительства, в сущности, для спасения самой идеи парламента, которой тогда грозило упразднение.

Добившись проведения в жизнь аграрной реформы путем выхода крестьян из общин и закрепления за ними в собственность участков земли, реформы, которая в случае ее завершения, при условии упразднения затем сословной обособленности крестьян * разрешила бы самый больной и острый социальный вопрос старой России **, Столыпин имел против себя и радикальные круги, требовавшие немедленного отчуждения всех помещичьих земель в пользу крестьян, и славянофильские и дворянские круги, стоявшие за общину.

Столыпин искренно искал сотрудничества с его правительством общественных элементов, но встретил непонимание и отказ: со стороны радикальной демократии, требовавшей перехода всей власти к ней; со стороны умеренно правой, заявлявшей, что правительство бессильно, будучи связано «закулисными темными силами»...

Слева Столыпина считали реакционером, справа (придворные круги, правый сектор Государственного Совета, объединенное дворянство) — опасным революционером. Есть просто что-то провиденциальное в том факте, что Столыпина убил член революционной боевой организации, состоявший одновременно на службе в охранном отделении (русская секретная полиция). В те дни не только среди киевлян, но и по всей России ходили слухи, что Столыпин «убит охранкой». Доказательств этому и поныне нет, по крайней мере я никогда не встречал в печати. Но нельзя не признаться, что со стороны охранной полиции проявлена была в этом деле преступная небрежность, граничившая с попустительством...

Столыпин, стремившийся всемерно поддержать уже колеблющийся трон, в конце своей карьеры навлек на себя нерасположение Государя и, если бы не был убит, то был бы в ближайшее время устранен им от власти.

Умер Столыпин в ночь с 5-го на 6 сентября. Я был в этот день в Житомире и пошел на панихиду, которую служил Волынский архиепископ Антоний. Это человек незаурядный, высокообразованный, но принадлежавший к крайне правому флангу русской общественности и, будучи членом Святейшего Синода, ведший в Петербурге активную политику. Впоследствии, в эмиграции, Антоний в сане митрополита возглавил часть эмигрантской православной церкви, так называемой «Карловацкой юрисдикции», которая оказала наибольшее сопротивление подчинению американского православия советской патриархии, но вместе с тем сохранила реакционные политические тенденции.

Архиепископ Антоний перед панихидой сказал слово. Упрекнул покойного, что тот проводил «слишком левую политику и не оправдал доверия Государя». Единственно, мол, что примиряет с ним, это тот факт, что, будучи смертельно раненным, Столыпин, «сознав свою ошибку», повернулся к царской ложе и осенил ее крестным знамением. Закончил свое слово архиепископ фразой: «Помолимся же, чтобы Господь простил ему его прегрешения».

Будучи высокого мнения об уме владыки, я был потрясен, что это все, что он нашел нужным сказать о большом государственном деятеле, пытавшемся спасти от крушения российский государственный корабль, затопляемый волнами, бившими и слева, и справа...

Годы 1912-й и 1913-й проходили в тревожной обстановке. Балканские славяне в победоносной борьбе разрубали тогда последние оковы, наложенные на них Турцией, а Австро-Венгрия явно готовила свою армию, чтобы вновь умалить результаты их побед. Летом 1912 г. Австрия пододвинула 6 корпусов к границам Сербии и 3 корпуса мобилизовала в пограничной с Россией Галиции.

* Все крестьянские самоуправления выделены были из общей системы администрации и подчинены земским начальникам из дворян. Гражданские взаимоотношения крестьян разбирались выборными крестьянскими судами на основе обычного права.

** До революции успели создать собственные хутора лишь 20% крестьян.

Напряжение росло, и был момент, когда мой полк получил секретное распоряжение согласно программе первого дня мобилизации выслать отряды для занятия и охраны важнейших пунктов Юго-Западной железной дороги в направлении на Львов. Там они простояли в полной боевой готовности несколько недель.

Еще с 1908 г., после аннексии Боснии и Герцеговины, шли в Австро-Венгрии полным ходом приготовления к войне против Сербии и естественной ее покровительницы России. Военная партия из немецких и мадьярских кругов нашей соседки словом, пером и делом работала над созданием в стране враждебного России настроения, в особенности подогревая и провоцируя вожделения поляков и украинцев. Воззвания, призывающие «в предстоящем столкновении» стать на сторону Австро-Венгрии, наводняли, правда без видимого успеха, наши приграничные губернии, особенно Волынскую и Подольскую.

Словом, соседняя «дружественная» страна явно бряцала оружием, а мы, повторяя свою ошибку периода перед японской войной, молчали.

Снова, как в семидесятых годах, волна сочувствия балканским славянам пронеслась по России, далеко выходя из пределов славянофильских кругов, захватывая широко русских людей. Опасаясь, что резкие проявления общественного негодования против Австрии увеличат дипломатические затруднения, правительство приняло ряд сдерживающих мер, запрещая лекции, собрания, манифестации, посвященные балканским событиям, влияя на прессу внушениями и карами. Иногда эти меры принимали возмутительную форму. Так, в Петербурге конные жандармы разгоняли сочувственную манифестацию, направлявшуюся к сербскому и болгарскому посольствам. В нашей далекой провинции полиция запрещала исполнения гимнов балканских славян и срывала их национальные флажки, украшавшие эстраду благотворительного концерта в пользу Красного Креста славянских стран, и т. д.

Незадолго до войны из побуждений, конечно, миролюбия был отдан высочайший приказ, строго воспрещающий воинским чинам вести разговоры на современные политические темы (балканский вопрос, австро-сербская распря, пангерманизм и т. д.). Накануне уже неизбежной отечественной войны наши власти старательно избегали возбуждения в народе здорового патриотизма, разъяснения целей, причин и задач возможного конфликта, ознакомления войск со славянским вопросом и вековой борьбой нашей с германизмом.

Признаться, я, как и многие другие, не исполнил приказа и подготовлял соответственно настроение Архангелогородского полка. А в военной печати выступил против приказа с горячей статьей на тему: «Не угашайте духа» *. Я писал:

«Русская дипломатия в секретных лабораториях, с наглухо закрытыми от взоров русского общества ставнями, варит политическое месиво, которое будет расхлебывать армия... Армия имеет основание с некоторым недоверием относиться к тому ведомству, которое систематически, на протяжении веков, ставило стратегию в невыносимые условия и обесценивало затем результаты побед»...

Указав на ряд административных мер, принимаемых правительством и цензурой, «чтобы понизить подъем настроения страны и затушить тот драгоценный порыв, который является первейшим импульсом и залогом победы», — закончил:

«Не надо шовинизма, не надо бряцания оружием. Но необходимо твердое и ясное понимание обществом направления русской государственной политики и подъема духа в народе и армии. Духа не угашайте!»

23 марта 1914 г. я был назначен и. д. генерала для поручений при Командующем войсками Киевского округа. Простился с полком сердечно и с грустью, ибо успел привязаться к нему, и уехал в Киев. А 21 июня произведен был «за отличия по службе» в генерал-майоры с утверждением в должности.

* «Армейские заметки». «Разведчик» № 72.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

В преддверии первой мировой войны

Благодаря падению Австро-Венгрии и русской, и немецкой революциям стали достоянием гласности такие факты и дипломатические документы, которые при других условиях остались бы под спудом на долгие годы, если не навсегда. Поэтому теперь уже можно сказать, что бесспорная вина за первую мировую войну лежит на центральноевропейских державах.

И тем не менее до сих пор этот вопрос толкуют разно. Кто — по недобросовестности и предвзятости, кто — под давлением своих патриотических эмоций, кто — по недостаточному знанию. Более свободные в смысле беспристрастия Соединенные Штаты, принявшие участие лишь в конце войны и не связанные в прямом смысле Версальским договором, могли бы уже правильно осветить этот вопрос. Но в обширной американской исторической литературе царит чрезвычайное разномыслие о виновниках войны. Один из здешних журналов произвел анкету, опросив 215 профессоров. Сводя мнения всех оттенков в две категории, пришел к удивительному результату: 107 опрошенных лиц высказались за виновность центральных держав и 108 — за виновность Антанты...

В своем очерке «Роль России в возникновении первой мировой войны» (1937 г.) я подробно исследовал этот вопрос. Не буду останавливаться на доказательствах таких общеизвестных явлений, как бурный подъем германского «промышленного империализма», находившегося в прямой связи с особым духовным складом немцев, признававших за собою «историческую миссию обновления дряхлой Европы» способами, основанными на «превосходстве высшей расы» над всеми остальными. Признание, которое с величайшей настойчивостью и систематичностью проводилось в массы властью, литературой, школой и даже церковью. Причем немцы без стеснения высказывали свой давний взгляд на славянские народы как на «этнический материал» или, еще проще, как на «Düngervölker» — т. е. навоз для произрастания германской культуры. Таким же, впрочем, было презрение и к «вымирающей Франции», которая должна дать дорогу «полнокровному немцу». «Мы организуем великое насильственное выселение низших народов» — это старый лейтмотив пангерманизма.

Достойно удивления, с какой откровенностью, смелостью и... безнаказанностью немецкая пресса намечала пути этой экспансии. Вероятно, наиболее определенно писал об этом известный Бернгарди * — идеолог военного и воинствующего клана в своих «Военных заповедях»: он требовал от Англии «раздела мирового владычества» и невмешательства в вопросы территориального расширения Германии. «С Францией необходима война не на жизнь, а на смерть,— говорит он,— война, которая уничтожила бы навсегда ее роль как великой державы и повела бы к ее окончательному падению. Но главное наше внимание должно быть обращено на борьбу со славянством, этим нашим историческим врагом».

Что нового, в сущности, говорил и делал впоследствии Гитлер? Он стремился выполнить план, намеченный его предшественниками, только... с большей эластичностью. Усыпляя и обманывая попеременно то Запад, то Восток, шантажируя тех и других, облекая неприкрытый захват и насилие «идеологическими» мотивами.

Что касается Австро-Венгрии, то ее «дранг» был несколько умереннее: «австрийская гегемония на Балканах» — основной лозунг ее политики, проводимый особенно ярко с 1906 г., когда министром иностранных дел стал Эренталь, а начальником генерального штаба — генерал Конрад фон Гетцендорф. В год наибольшей военной неготовности России (1905), официозный австрийский орган «Danger's Armeezeitung», ссылаясь на «высокоавторитетный источник», позволял себе писать: «Если мирным путем осуществить австрийскую гегемонию на Балканах будет невозможно, тогда надо искать разрешения вопроса не на Балканах, а на другом театре войны»...

* Задолго до войны, если не ошибаюсь, в 1906 г.

Австро-Венгрия, страдавшая внутренними недугами — «лоскутностью» состава населения, немецко-венгерским соперничеством и славянским отталкиванием, не обладала достаточными средствами для выполнения намеченных задач. Но за спиной ее стояла могущественная Германия, поддерживающая ее в агрессивных начинаниях. Союзник, но и руководитель. И потому, когда еще в июне 1913 г. Австрия решила зажечь мировой пожар нападением на Сербию и поставила в известность об этом берлинский кабинет, то из Берлина, считавшего данный момент неподходящим, раздался суровый окрик.

«Попытка лишения Сербии ее завоеваний,— сообщало германское министерство иностранных дел австрийскому послу графу Сечени,— означала бы европейскую войну. И потому Австро-Венгрия из-за волнующего ее неосновательно кошмара великой Сербии не должна играть судьбами Германии».

И Австрия отступила... временно.

Поперек австро-германских путей стояла Россия, с ее вековой традицией покровительства балканским славянам, с ясным сознанием опасности, грозящей ей самой от воинствующего пангерманизма, от приближения враждебных сил к морям Эгейскому и Мраморному, к полуоткрытым воротам Босфора. Поперек этих путей стояли идея национального возрождения южных славян и весьма серьезные политические и экономические интересы Англии и Франции.

Было над чем призадуматься.

Но при всех этих условиях и напряжении причин для мирового столкновения было достаточно, и Германия, и Австрия выжидали лишь подходящего времени. А повод... Если бы не было сараевского выстрела, то нетрудно было бы найти другой повод. <...>

Россия не была готова к войне, не желала ее и употребляла все усилия, чтобы ее предотвратить.

Положение русских армий и флота после японской войны, истощившей материальные запасы, обнаружившей недочеты в организации, обучении и управлении, было поистине угрожающим. По признанию военных авторитетов, армия вообще до 1910 года оставалась в полном смысле слова беспомощной. Только в самые последние перед войной годы (1910—1914) работа по восстановлению и реорганизации русских вооруженных сил подняла их значительно, но в техническом и материальном отношении совершенно недостаточно.

Закон о постройке флота прошел только в 1912 году. Так называемая «Большая программа», которая должна была значительно усилить армию, была утверждена лишь... в марте 1914 г. Так что ничего значительного из этой программы осуществить не удалось; корпуса вышли на войну, имея от 108 до 124 орудий против 160 немецких и почти не имея тяжелой артиллерии и запаса ружей. Что же касается снабжения патронами, была восстановлена лишь старая, далеко недостаточная норма в одну тысячу против трех тысяч у немцев.

Такая отсталость в материальном снабжении русских армий не может быть оправдана состоянием ни финансов, ни промышленности. Кредиты на военные нужды отпускались и министерством финансов, и последними двумя Государственными думами достаточно широко.

В чем же дело?

Наши заводы медленно выполняли заказы по снабжению, так как требовалось применение отечественных станков и машин и ограничен был ввоз их из-за границы. Затем — наша инертность, бюрократическая волокита и межведомственные трения. И, наконец, правление военного министра Сухомлинова — человека крайне легкомысленного и совершенно невежественного в военном деле. Достаточно сказать, что перед войной не подымался вовсе вопрос о способах усиленного военного снабжения после истощения запасов мирного времени и о мобилизации военной промышленности!

Невольно ставишь себе недоуменный вопрос: как мог продержаться у власти

в течение 6 лет этот человек, действия и бездействие которого вели неуклонно и методично ко вреду государства?! <...>

В силу создавшихся международных отношений австрийская армия, как и австрийская политика, не имела самодовлеющего значения. Наши планы войны на Западном фронте поэтому предусматривали только одну комбинацию — борьбу с соединенными австро-германскими силами.

Вся совокупность реальной российской обстановки и преобладавшие настроения свидетельствуют непреложно, что Россия не желала и не могла желать войны.

Совершенно другая картина наблюдалась в Германии. По оценке и нашего, и немецкого генеральных штабов, Германия уже в 1909 г. была совершенно готова к войне. В 1911—12 годах прошли через рейхстаг законы о чрезвычайном военном налоге, об увеличении контингента и больших формированиях специальных частей. А в 1913 г. состоялось новое увеличение набора, усилившее мирный состав германской армии на 200 тыс. человек, т. е. на 32%.

Усиливалась значительно и австро-венгерская армия, по мнению ее фактического руководителя ген. Конрада, «готовая» уже в 1908—1909 гг. Конечно, расценивалась она нами неизмеримо ниже германской, а разноплеменный состав ее со значительными контингентами славян представлял явную неустойчивость. Тем не менее для скорого и решительного разгрома этой армии наш план предусматривал развертывание 16 корпусов против предполагавшихся 13 австрийских.

Центр тяжести предстоящего столкновения лежал, конечно, в планах Берлина. Задолго до войны в военной литературе, в переписке военных авторитетов, в секретных докладах и планах германского генерального штаба совершенно ясно и твердо проводилось не только решительное наступление как стратегическая доктрина, но и нападение как историческая и политическая цель.

Германский план войны, окончательно выработанный генералом Мольтке (младшим), предусматривал нанесение первоначального удара главными немецкими силами в $35\frac{1}{2}$ корпусов по Франции и активную оборону 4-мя корпусами Восточной Пруссии. Одновременно должна была ударить на Россию австро-венгерская армия.

В конце мая 1914 г., т. е. за месяц с лишним до сараевского выстрела, на совещании в Карлсбаде генералов Мольтке и Конрада было установлено, что «всякое промедление ослабляет шансы на успех союзников». И на вопрос Конрада, как рисуется ему будущее, Мольтке ответил:

— Мы надеемся покончить с Францией в течение шести недель после открытия военных действий или, во всяком случае, преуспеть за это время настолько, чтобы перебросить большую часть наших сил на Восток.

Российская мобилизация

Тотчас после разрыва между Австрией и Сербией и ввиду мобилизации австрийских корпусов не только на сербской, но и на русской границе на коронном совете в Царском Селе 25 июля постановлено было объявить не фактическую мобилизацию, а «предмобилизационный период», предусматривавший возвращение войск из лагерей на постоянные квартиры, поверку планов и запасов. Вместе с тем, чтобы не быть застигнутыми врасплох, предрешено было в случае надобности (определяемой министерством иностранных дел) произвести частную мобилизацию четырех военных округов — Киевского, Казанского, Московского и Одесского. Варшавского округа, который граничил и с Австрией, и с Германией, подымать не предполагалось, чтобы не дать повода последней увидеть в этом враждебный акт против нее.

Произошло большое недоразумение.

Такое решение могло быть принято лишь благодаря удивительной неосведомленности Сухомлинова, присутствовавшего на совете без своих опытных и знающих сотрудников. Как я уже говорил, ввиду известных нам договорных отношений между Австрией и Германией, русский план мобилизации и войны предусматривал только одну комбинацию — борьбу против соединенных австро-германских сил. Плана частной (противоавстрийской) мобилизации не существовало вовсе. Частная мобилизация являлась поэтому чистейшей импровизацией, притом в самые последние предвоенные дни, и грозила нам форменным бедствием. <...>

При таких грозных условиях Русский генеральный штаб счел своим долгом настаивать перед верховной властью на производстве общей мобилизации, считая, что даже промедление в объявлении ее будет менее опасно, нежели импровизированная частная.

Наши бывшие противники лицемерно ставили этот вопрос в причинную связь с объявлением нам войны Германией. Тогда еще не было известно то, что мы знаем теперь, а именно, что еще 30 июля, т. е. накануне начала общей мобилизации в России, война уже была ими окончательно предрешена.

Но до сих пор иностранные историки, отводя этому вопросу много внимания, по большей части принимают немецкое трактование его. К сожалению, им давали пищу некоторые видные российские деятели (Набоков, Милюков, Ган и др.), приписывая, по непростительному заблуждению, объявление русской мобилизации «авантюризму и милитаризму генералов»... «обманувших государя»...

Что же происходило на самом деле в Петербурге в эти трагические дни?

28 июля приходит, во-первых, известие об объявлении Австрией войны Сербии и, во-вторых, отказ Берхтольда от прямых переговоров с Петербургом. Министр иностранных дел Сазонов дает указание Генеральному штабу о производстве мобилизации. После совещания начальника Генерального штаба ген. Янушкевича с начальниками отделов и по настоянию последних изготовляются к подписи два проекта Высочайшего указа — для общей и для частичной мобилизации, которые вместе с объяснительной запиской отправляются в Царское Село.

29-го утром возвращается подписанный Государем указ об общей мобилизации.

В этот день, когда Россия не приступала еще ни к какой мобилизации, германский посол граф Пурталес вручил Сазонову ультимативное заявление о принятом его правительством решении: «Продолжение военных приготовлений России заставит нас мобилизоваться, и тогда едва ли удастся избежать европейской войны». Ультиматум, следовательно, в отношении всякой мобилизации.

В 9 ч. вечера, когда центральный телеграф готовился передавать во все концы России Высочайший указ, пришла отмена: Государь повелел взамен общей мобилизации объявить частичную... Которая и началась в полночь на 30-е.

Что же произошло?

Император Николай II решил сделать еще одну попытку и предложил по телеграфу императору Вильгельму перенести конфликт на рассмотрение Гаагской конференции. Относительно Гааги Вильгельм вовсе не ответил, он указал в своей телеграмме на «тяжкие последствия» русской мобилизации и закончил: «Теперь вся тяжесть решения легла на твои плечи и ты несешь ответственность за войну или мир»...

Вспомнив все факты, которые я привел выше, поневоле возвращаешься к сакраментальной фразе:

«Невыносимое лицемерие»...

30-го министр Сазонов делает еще отчаянную попытку предотвратить конфликт: он вручает послу Пурталесу следующее заявление: «Если Австрия, признав, что австро-сербский вопрос принял характер вопроса европейского, заявит готовность удалить из своего ультиматума пункты, посягающие на суверенные права Сербии, Россия обяжется прекратить свои военные приготовления». Эту формулу и Сазонов, и Пурталес, по их заявлениям, понимали так, что за полный свой отказ от мобилизации Россия не потребует даже от Австрии немедленного прекращения ею военных действий в Сербии и демобилизации на русской границе.

Это предложение, переходящее всякие грани уступчивости, сделано было, по словам Сазонова, по его собственной инициативе, без полномочий от Государя.

Пурталесу он прямо заявил, что никакое русское правительство не могло бы пойти дальше, «не подвергая серьезной опасности династии».

Через несколько часов пришел из Берлина ответ — категорический отказ. Жребий был брошен...

В русском Генеральном штабе отдавали себе ясно отчет, что через несколько дней придется все равно объявить общую мобилизацию, вызвав тем величайший хаос. А между тем 30 июля, в исходе первого дня частной мобилизации, кончалась возможность безболезненного перехода на общую, ибо первый день давался запасным на устройство своих дел и перевозки еще не начинались.

По настоянию Генерального штаба после совещания Сухомлинова, Янушкевича, Сазонова последний доложил Государю о необходимости немедленного объявления общей мобилизации. В воспоминаниях Сазонова подробно описаны эти исторические минуты. После доклада министра и кратких реплик императора наступило тяжелое молчание...

— Это значит обречь на смерть сотни тысяч русских людей! Как не остановиться перед таким решением!..

Потом, с трудом выговаривая слова, Государь добавил:

— Вы правы. Нам ничего другого не остается, как ожидать нападения. Передайте начальнику Генерального штаба мое приказание об общей мобилизации.

Все эти колебания, отмены, проволочки, «ордры и контрордры» Петербурга, продиктованные иллюзорной надеждой до последнего момента избежать войны, вызывали в стране чувство недоумения, беспокойства и большую сумятицу. Особенно в Киеве, который был центром организации противоавстрийского фронта.

Начальник штаба Киевского военного округа генерал В. Драгомиров был в отпуску на Кавказе, дежурный генерал также. Я заменял последнего, и на мои еще неопытные плечи легла мобилизация и формирование трех штабов и всех учреждений — Юго-западного фронта, 3-й и 8-й армий. <...>

Вообще об этой первой неделе мобилизации у меня и у моих сотрудников осталось впечатление какого-то сплошного кошмара.

Если весь этот сумбур свидетельствует о чрезмерной беспечности главных петербургских управлений, то он одновременно доказывает, что война явилась для них неожиданностью, невзирая даже на то, что со времени сараевского выстрела прошло 33 дня.

И все-таки, и все-таки мобилизация прошла по всей огромной России вполне удовлетворительно и сосредоточение войск закончено было в установленные сроки.

Главнокомандующим Юго-западным фронтом стал генерал Н. И. Иванов. Обязанный своей карьерой ряду случайных обстоятельств, в том числе подавлению Кронштадтского восстания, он — человек мирный и скромный — не обладал большими стратегическими познаниями и интересовался больше хозяйственной жизнью округа. Но начальником штаба дан был ему ген. М. В. Алексеев — большой авторитет в стратегии и главный участник предварительной разработки плана войны на австрийском фронте. Впоследствии, после галицийских побед имя ген. Иванова пользовалось большой популярностью и в русском обществе, и у союзников. И тогда — в большой прессе, а потом — на страницах военно-научных трудов приводились соображения и распоряжения ген. Иванова, двигавшие десятки корпусов к победе. В этих распоряжениях он был весьма мало повинен, ибо фактическим водителем армий был ген. Алексеев.

Командующим 8-й армией был назначен ген. Брусилов, его начальником штаба ген. Ломновский. Поначалу ген. Брусилов по недостатку опыта в технике вождения крупных сил находился под влиянием своего начальника штаба. Но потом эмансипировался и проявлял личную инициативу и самостоятельность решений.

Я был назначен генерал-квартирмейстером 8-й армии. С чувством большого облегчения сдал свою временную должность в Киевском штабе вернувшемуся из отпуска дежурному генералу и смог погрузиться в изучение развертывания и задач, предстоящих 8-й армии.

1 августа Германия объявила войну России, 3-го — Франции. 4-го немцы вторглись на бельгийскую территорию и английское правительство сообщило в Берлин, что оно «примет все меры, которые имеются в его власти, для защиты гарантированного им нейтралитета Бельгии».

Австрия медлила. И русский царь, все еще надеясь потушить пожар, повелел не открывать военных действий до объявления ею войны, которое состоялось, наконец, 6 августа. Вследствие этого наша конница, имевшая всего четырехчасовую мобилизационную готовность, смогла бросить за границу свои передовые эскадроны только на 6-й день...

Началась великая война — это наивысшее напряжение духовных и физических сил нации, тягчайшая жертва, во имя Родины приносимая.

Началась великая война — это экономическое разорение, моральное одичание с миллионами загубленных человеческих жизней.

Великая война, которая привела человечество на край пропасти...

В противоположность тем настроениям, которые существовали у нас при начале русско-японской кампании, первая мировая война была принята как отечественная всем народом.

Правда, радикально-либеральные круги пришли к «приятию войны» не сразу и не без колебаний. <...> Вопрос о приятии войны вызвал раскол и в социалистическом лагере. <...> Расколы произошли и среди социал-демократов. <...> И только социал-демократы большевики с самого начала войны и до конца оставались интегральными пораженцами, пойдя на оплачиваемое сотрудничество со штабами воевавших с нами центральных держав и ведя за границей широкую пропаганду на тему, преподанную Лениным: «Наименьшим злом будет поражение царской монархии».

Но все это были лишь единичные пятна на общем фоне патриотического подъема России.

И когда в августовские дни 14 года разразилась гроза... Когда Государственная дума в историческом заседании своем единодушно откликнулась на призыв царя «стать дружно и самоотверженно на защиту Русской земли»... Когда национальные фракции — поляки, литовцы, татары, латыши и др. — выразили в декларации «непоколебимое убеждение в том, что в тяжелый час испытания... все народы России, объединенные единым чувством к родине, твердо веря в правоту своего дела, по призыву своего государя готовы стать на защиту родины, ее чести и достояния» — то это было нечто большее, чем формальная декларация. Это свидетельствовало об историческом процессе формирования РОССИЙСКОЙ НАЦИИ, невзирая на ряд ошибок правительственной политики и невзирая на некоторые проявления национальных шовинизмов, часто приносимых извне.

Во всяком случае, то обстоятельство, что в течение трех с лишним лет страшной войны с переменным успехом на огромнейшем пространстве многоплеменной империи нашей не было ни одного случая волнения на национальной почве,— факт большого и положительного значения.

1914 год на фронтах войны

Началась первая мировая война. Соотношение вооруженных сил сторон было таково: после окончания мобилизации и сосредоточения силы Антанты по сравнению с центральными державами были 10 к 6. Но нужно принять во внимание слабость бельгийской армии, неорганизованность и полное несоответствие современным условиям вооружения и снаряжения армии сербской — армии храброй, но имевшей характер милиции. С другой стороны, превосходство австро-германцев в количестве артиллерии, особенно тяжелой *, а немецкой армии — в технике и организации уравновешивало, если не перевешивало эту разницу.

* Орудий на корпус: Германия — 160, Австрия — 132, Франция — 120, Россия — 108.

Особенно трудным было положение России с ее громаднейшими расстояниями и недостаточной сетью железных дорог, что затрудняло сосредоточение, подвоз и переброску войск; с ее отсталой промышленностью, не справлявшейся с всевозрастающими потребностями военного времени.

Можно сказать, что, если на Западно-европейском фронте противники состязались друг с другом в мужестве и технике, то на Восточном мы, особенно в первые два года, противопоставляли убийственной технике немцев — мужество и... кровь. <...>

Согласно русско-французской конвенции, в случае нанесения немцами главного удара по Франции русский Северо-западный фронт должен был начать наступление на 14-й день мобилизации, а Юго-западный — на 19-й день. Это легкомысленно данное представителями русского Генерального штаба обещание ставило войска наши и особенно Северо-западный фронт в чрезвычайно тяжелое положение. <...>

Так самопожертвование наше в пользу Франции было одной из важных причин последовавшей катастрофы.

Я остановлюсь несколько подробнее на этом печальном эпизоде, ввиду того что он вызывал много разнотолков и подорвал дух участников.

Во главе фронта стоял ген. Жилинский, бывший начальником штаба дальневосточного наместника, адм. Алексеева, во время японской войны. Вслед за сим он занимал высокие посты начальника Российского Генерального штаба и командующего войсками Варшавского военного округа. Карьера Жилинского в широких военных кругах вызывала большое недоумение и объяснялась какими-то «оккультными» влияниями. Потому его провал как главнокомандующего, выпустившего совершенно из рук управление войсками и направлявшего их не туда, куда следовало, не был неожиданным. Но двумя армиями фронта командовали генералы: 1-й — Ренненкампф и 2-й — Самсонов, вынесшие блестящую боевую репутацию из японской кампании, и на них-то мы возлагали надежды.

Армии Северо-западного фронта вторглись в Германию, имея целью отрезать немецкие корпуса от Вислы и овладеть Восточной Пруссией. Армии наступали, имея между собой большие интервалы, по обе стороны Мазурских озер.

Командующий 8-й германской армией ген. Притвиц развернул один корпус заслоном против Самсонова, двумя корпусами ударил на Ренненкампфа. Произошел бой у Гумбинена (20 авг.), у противников оказались почти равные силы, но у немцев, конечно, большое превосходство в артиллерии: 500 германских орудий на 380 русских. В бою у Гумбинена Ренненкампф нанес немцам тяжелое поражение, корпуса их, понеся большие потери, в беспорядке отступили на юг. Ввиду неожиданности столь раннего русского наступления и поражения под Гумбиненом ген. Притвиц отдал приказ своей армии отойти к нижней Висле, бросив Восточную Пруссию. Этот приказ вызвал большой гнев Вильгельма, и Притвиц был сменен Гинденбургом с начальником штаба Людендорфом. Новое командование немедленно отменило приказ об отходе, предприняв контрманевр, который имел большие шансы на успех уже потому, что... все карты наши оказались открыты. По непонятному и преступному недомыслию русских штабов директивы фронта и армии передавались войскам радиотелеграммами в незашифрованном виде.

На усиление 8-й армии немцы спешно двинули с французского фронта 2 корпуса, 1 кавалерийскую дивизию и новые формирования, созданные внутри страны. Между тем вместо согласованных действий наших 1-й и 2-й армий, не управляемых надлежаще свыше, получился разброд и интервал между ними увеличился.

Ренненкампф, у которого было всего $6^1/_2$ дивизий, обнаружив отступление немцев, стал продвигаться вперед, но медленно ввиду утомления войск и расстройства тыла. Благодаря плохой разведке он не оценил важности южного направления и, придерживаясь полученной от Жилинского задачи, шел на запад, чтобы отбросить немцев к морю и блокировать Кенигсберг. Самсонов вместо движения на север для совместных действий с 1-й армией уклонялся все более к западу, растянув свою армию в одну линию на 210 километров, без резервов.

И когда Гинденбург, оставив небольшой заслон против Ренненкампфа, ударил всеми силами на Самсонова, последний был жестоко разбит. Два русских корпуса погибли полностью, остатки армии отступили к Нареву. Самсонов в критический момент боев отправился со своим штабом в боевую линию к наиболее угрожаемому корпусу; там, в дремучем лесу, запутавшись в немецком окружении, он потерял связь и со штабом фронта и с остальными своими корпусами. Не вынеся обрушившегося несчастья и считая для себя позором неминуемый плен, генерал Самсонов выстрелом из револьвера покончил с собой. Это было в ночь на 30 августа.

Ренненкампф получил приказ Жилинского идти своим левым флангом на помощь Самсонову только 27 августа. В это время расстояние между армиями их было 95 километров. Ренненкампф выступил 28-го, но в ночь на 30 получил приказание остановиться, так как 2-я армия находилась уже в полном отступлении.

В своем докладе Верховному главнокомандующему Жилинский, не сумевший координировать действий своих армий, всю вину за происшедшую катастрофу возложил на Ренненкампфа, заявив, что последний «совсем потерял голову». Великий князь Николай Николаевич послал своего начальника штаба ген. Янушкевича «проверить состояние Ренненкампфа». Ответ гласил: «Ренненкампф остался тем, кем был». Жилинского сместили с поста и заменили ген. Рузским.

Между тем Гинденбург, сильно подкрепленный новыми корпусами, частью сил преследовал 2-ю армию, главные же направил против Ренненкампфа. Его армию ввиду создавшегося положения следовало бы отвести к русской границе, но Ставка приказала: «Ни шагу назад»... <...>

Захватить Восточную Пруссию нам не удалось. Но российское командование выполнило свои обязательства перед союзниками, выполнило их дорогой ценой и отвлекло силы, средства и внимание противника от англо-французского фронта в решающие дни сражения на Марне. И не раз за эту кампанию наши действия руководствовались соображениями помощи союзникам. Маршал Фош имел благородство сказать впоследствии: «Если Франция не была стерта с лица Европы, то этим прежде всего мы обязаны России».

Судьба ген. Ренненкампфа еще более трагична, чем Самсонова. Впечатление ген. Янушкевича, что «Ренненкампф остался тем, кем был», не было правильным. После первой понесенной неудачи благодаря отчасти своим ошибкам, а еще более чужим он, несомненно, пал духом. Угнетало его и то обстоятельство, что широко распространился слух, будто «Ренненкампф предал Самсонова». Никакие оправдания или доказательства не были для него возможны, ибо военные операции были облечены строгой тайной.

Во всяком случае, как во времена отступления к Неману, так и в дальнейших операциях Ренненкампфа не видно уже той инициативы и решимости, которые он проявлял во времена китайской и японской кампаний. В начале 1915 г. он был отрешен от командования армией и стал жить в Петрограде. Здесь начались для него поистине тяжелые дни... В связи с его немецкой фамилией и восточнопрусской трагедией по всей стране пошел слух, что «Ренненкампф — изменник!»,

Это было отголоском явления, которого я коснусь сейчас. Весной 1915 г., когда после блестящих побед в Галиции и на Карпатах российские армии вступили в период «великого отступления», русское общество волновалось и искало «виновников», пятой колонны, как теперь выражаются. По стране пронеслась волна злобы против своих немцев, большей частью давным-давно обрусевших, сохранивших только свои немецкие фамилии. Во многих местах это вылилось в демонстрации, оскорбления лиц немецкого происхождения и погромы. <...>

Волновалась и армия. Так что Верховный главнокомандующий счел себя вынужденным отдать приказ, призывавший не верить необоснованным слухам и обвинениям. Но вместе с тем ввиду упорно ходивших в армии разговоров, что «немцы пристраиваются к штабам», Ставка отдала секретное распоряжение — лиц с немецкими фамилиями отчислять в строй. <...>

Крупных столкновений в армии на этой почве, впрочем, не произошло, бывали лишь мелкие эпизоды. И, конечно, перечисленные выше генералы — вне всякого подозрения. Вообще, наш офицерский корпус ассимилировал так прочно в своей среде инородные по происхождению элементы, что русская армия не имела оснований, за очень малыми, может быть, исключениями, упрекнуть в чем-либо своих иноплеменных сочленов, которые точно так же, как и русские, верно служили и храбро дрались.

Возвращаюсь к судьбе Ренненкампфа.

Под влиянием общего настроения, обвинявшего его, Государь поручил одному из видных генералов* произвести расследование. Впоследствии мне пришлось ознакомиться с объемистым томом следственного дела, когда я был начальником штаба Верховного главнокомандующего. Составленное документально, объективно и очень подробно, оно выяснило стратегические ошибки Ренненкампфа — такие, впрочем, какие могут быть и у других командующих, но ни малейшего признака нелояльности.

Ренненкампф был уволен в отставку, дело о нем прекращено и... погребено в архивах Ставки, так как шла война. Общественной реабилитации он не получил, в глазах большинства людей, не разбирающихся в военной обстановке, над ним по-прежнему висело чудовищное обвинение в измене...

Со своей оригинальной наружностью, большими пушистыми усами и нависшими бровями, в забайкальской казачьей форме, которую он носил, он был хорошо знаком публике по сотням портретов в газетах и журналах еще со времен японской войны. Его легко узнавали, и не раз на улицах и в публичных местах он подвергался оскорблениям. Можно себе представить переживания старого солдата, в формуляре которого записаны были три войны и такие славные страницы, как Цицикар, Мукден, Гирин и, наконец, Гумбинен...

Революция застала ген. Ренненкампфа в Таганроге, где разнузданная толпа распропагандированных солдат-дезертиров, бросивших фронт, предавших армию и родину, убила его, подвергнув предварительно жестоким истязаниям.

В то время, когда происходили описанные события в Восточной Пруссии, Россия получила большую моральную компенсацию от разгрома австро-германской армии на полях Галиции. <...>

Вторгшись в пределы Австрии, армия генерала Рузского на восточных подступах ко Львову, армия ген. Брусилова — южнее отбросили австрийцев у Злочева, на Золотой Липе и на Гнилой Липе, нанеся им жестокое поражение (26—28 авг.). Австрийцы поспешно и в беспорядке отступили, но наше командование, имея преувеличенное понятие о силе противника, не преследовало его: в приступило к подготовке планомерной осады Львова, который считался сильной крепостью и имел, кроме того, политическое значение как столица Галиции. Совершенно неожиданно 2 сентября австро-венгерские силы оставили Львов и 3-го наши конные разъезды вступили в него. Точно так же на Днестре почти без сопротивления был захвачен нами сильно укрепленный город Галич.

Армия Рузского после занятия Львова двинулась севернее на выручку нашей западной группы, а армия Брусилова развернута была от Львова до Днестра с задачей пассивной обороны. Но Брусилов энергично запротестовал, и штаб фронта предоставил ему продолжать наступление.

Я принял участие в этих первых операциях 8-й армии в качестве генерал-квартирмейстера, но штабная работа меня не удовлетворяла. Составлению ди-

* Если память мне не изменяет — генерал Пантелеев.

ректив, диспозиций и нудной, хотя и важной штабной технике я предпочитал прямое участие в боевой работе с ее глубокими переживаниями и захватывающими опасностями.

И когда через наш штаб прошла телеграмма фронта о назначении начальником дивизии ген. Боуфала, бывшего начальником 4-й стрелковой бригады, я решил уйти в строй. Получить в командование такую прекрасную бригаду было пределом моих желаний, и я обратился к начальнику штаба и к ген. Брусилову, прося отпустить меня и назначить в бригаду. После некоторых переговоров согласие было дано, и 6 сент. я был назначен командующим 4-й стрелковой бригадой.

В своих воспоминаниях, написанных уже в большевистские времена, ген. Брусилов приводил такую оценку моей деятельности: «Генерал Деникин по собственному желанию служить не в штабе, а в строю получил 4-ю стрелковую бригаду, именуемую Железной, и на строевом поприще выказал отличные дарования боевого генерала».

4-я стрелковая бригада прославилась в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. Начало ее известности относится к знаменитому переходу через Балканы отряда ген. Гурко и славным боям на Шипке, куда бригада пришла форсированным маршем на выручку к истомленному и истекавшему кровью гарнизону и отстояла перевал. С тех пор она носила название Железной, так ее прозвали ее боевые соседи, и имя это вошло в обиход всей российской армии и получило признание в словах Высочайшего рескрипта на имя полководца фельдмаршала Гурко, бывшего впоследствии шефом 14 стрелкового полка.

Прощаясь с бригадой, ген. Гурко говорил: «История оценит ваши подвиги... Дни, проведенные с вами, стрелки, я считаю и всегда буду считать самыми лучшими днями своей жизни».

Через 38 лет я мог повторить те же слова...

В мирное время бригада состояла в Одесском военном округе, считавшемся второстепенным в смысле требовательности службы, и стояла в Одессе — городе с особой психологией, со спекулянтским характером и интернациональным населением. Никого из участников турецкой войны в бригаде, конечно, не оставалось, только начальник ее ген. Боуфал был тот самый поручик Боуфал, который некогда со своей ротой на крупах казачьих коней первым ворвался на Шипку...

И вот, когда началась мировая война, железные стрелки доказали, что ими не растрачено духовное наследие славных отцов. Так живучи военные традиции.

Судьба связала меня с Железной бригадой. В течение двух лет шла она со мной по полям кровавых сражений, вписав немало славных страниц в летопись великой войны. Увы, их нет в официальной истории. Ибо большевистская цензура, получившая доступ ко всем архивным и историческим материалам, препарировала их по-своему и тщательно вытравила все эпизоды боевой деятельности бригады, связанные с моим именем...

Положение бригады (дивизии) в 8-й армии было совершенно особое. «Железным» стрелкам почти не приходилось принимать участия в позиционном стоянии, временами длительном и скучном. Обычно после кровопролитного боя бригада выводилась Брусиловым в «резерв командующего армией» для того лишь, чтобы через два-три дня опять быть брошенной на чью-либо выручку в самое пекло боя, в прорыв или в хаос отступающих частей. Мы несли часто большие потери и переменили таким порядком четырнадцать корпусов. И я с гордостью отмечаю, что Железная дивизия заслужила почетное звание «пожарной команды» 8-й армии.

Об одном из таких эпизодов во время февральского наступления врагов 1915 г., когда подошедший германский корпус прорвал наш фронт, Брусилов говорит:

«Первое, что мною было сделано, это приказание немедленно перейти в контрнаступление, и я направил туда 4-ю стрелковую дивизию для поддержки отступающих частей. Эта дивизия всегда выручала меня в критические момен-

ты, и я неизменно возлагал на нее самые трудные задачи, которые она каждый раз честно выполняла».

«Каждый раз»... да. Но какою ценой! Мое сердце и сейчас сжимается при воспоминании о тех храбрых, что погибли...

Тогда мы совместными усилиями с 8-м корпусом не только приостановили наступление немцев, но и заставили их перейти к обороне.

Когда однажды за Саном, в Карпатах, дивизия моя атаковала покрытую редким кустарником гору и после упорного, тяжелого боя подошла уже на прямой выстрел к окопам противника, я получил неожиданное приказание о смене нас другой частью, причем немедленно, среди белого дня, и отводе в резерв. Операция эта нам дорого стоила, но мы уже знали, что наше имя обязывает...

Потом оказалось, что штаб нашей 8-й армии получил предупреждение из высшего штаба, что 24-й корпус, в который входила моя дивизия, будет переброшен в 3-ю армию, и командующий поспешил выключить нас заблаговременно из корпуса, дабы такой ценой сохранить в составе своей армии «железных» стрелков.

Еще один эпизод:

В июне 16 г. у Киселина во время жестоких боев выяснилось, что с нами дерется знаменитая «Стальная» германская дивизия. 4 дня немцы засыпали нас тысячами снарядов, много раз переходили в атаки, неизменно отбиваемые. И однажды утром перед их позицией появился плакат «Ваше русское железо не хуже нашей германской стали, а все же мы вас разобьем».

— «А ну, попробуй!» — гласил короткий ответ моих стрелков.

20 июня, после 42-й атаки, «Стальную» дивизию ввиду больших потерь отвели в резерв.

Но и в наших полках, особенно в 14-м и 16-м, оставалось по 300, 400 человек.

«Да, были люди в наше время»...

Продолжение войны

Генерал Брусилов после Львова продолжал наступление. Надо было обеспечить левый фланг армии, и командующий передал в подчинение ген. Каледину *, начальнику 12-й кавалерийской дивизии, мой 14-й полк (полк. Станкевича), который и взял 6 сентября форты города-крепости Миколаева. Вместе с тем 24 корпусу, в состав которого входила Железная бригада и который стоял у Галича, приказано было форсированными маршами вдоль Днестра выйти на фронт армии и составить ее левое крыло.

Между тем ген. Конрад, переоценивая успех, одержанный над нашими 4-й и 5-й армиями, оставил против них только заслон. Вторая капитальная ошибка германского командования, которое, вместо того чтобы использовать свой успех и подошедшие подкрепления для преследования разбитой армии Самсонова и выхода в тыл нашей западной группе, занялось «для престижа» освобождением северной Пруссии, района, не имевшего стратегического значения.

Тремя армиями, из которых одна была подвезена с сербского фронта, ген. Конрад повел наступление на наши 3-ю и 8-ю армии, с охватом их обоих флангов. В течение 6—12 сентября происходило жестокое сражение, известное под именем Городокского, главная тяжесть которого легла на растянутую 8-ю армию и особенно на 24-й корпус (левый фланг).

Моя бригада (три полка) стояла в центре корпуса; правее — 48-я пехотная дивизия, которую только что принял генерал Корнилов **. Наше первое знакомство с ним состоялось при обстоятельствах довольно необычных. Упираясь левым флангом в Миколаев, правым корпус сильно выдвинулся вперед и был охвачен австрийцами. Бешеные атаки их следовали одна за другой. Положение

* Впоследствии командующий 8-й армией и в начале революции — Донской атаман.
** Будущий Верховный Главнокомандующий и вождь Белого движения.

становилось критическим, в этот момент Корнилов, отличавшийся чрезвычайной храбростью, лично повел в контратаку последний свой непотрепанный батальон и на короткое время остановил врагов. Но вскоре вновь обойденная 48-я дивизия должна была отойти в большом расстройстве, оставив неприятелю пленных и орудия. Потом отдельные роты дивизии собирались и приводились в порядок Корниловым за фронтом моей Железной бригады.

Тут произошла встреча моя с человеком, с которым так провиденциально соединилась впоследствии моя судьба...

Получилась эта неудача у Корнилова, очевидно, потому, что дивизия не отличалась устойчивостью, но очень скоро в его руках она стала прекрасной боевой частью.

Одновременно с атаками на корниловскую дивизию австрийцы прорвались с юга на Миколаев, создавая уже угрозу всей 8-й армии. Ген. Каледин лихими конными атаками и стойкостью стрелков сдерживал прорвавшихся, но после отхода с фронта 48-й дивизии положение мое стало еще более тяжелым. Прикрываясь с открытого фланга последним своим резервом, я отбивал атаки австрийцев при крайнем напряжении моих стрелков в течение 3-х суток — 10, 11 и 12 сентября.

Ценою большого усилия 8-я армия устояла.

В это время на севере наши 4-я и 5-я армии, перейдя неожиданно в наступление, опрокинули заслон неприятеля, а ниже, у Равы Русской, части 5-й и 3-й армий разбили и погнали противника. И в ночь на 13 сентября вся австрийская армия начала отступление, принявшее вскоре характер панический. Австрийцы уходили за Сан, преследуемые нами по пятам, бросая оружие, обозы, пушки и массами сдаваясь в плен. Они потеряли 326 тыс. чел. (100 тыс. пленными) и 400 орудий. Нам боевые операции стоили 230 тыс. чел. и 94 орудия.

Так кончилась великая Галицийская битва. И хотя русским не удалось охватить и уничтожить австрийскую армию, но последняя никогда уже не могла оправиться от этого удара. Все дальнейшие активные операции ее могли осуществляться успешно только при солидной поддержке германских дивизий.

За доблесть Железной бригады в этих тяжелых боях я был награжден «Георгиевским оружием», причем в Высочайшей грамоте было сказано: «За то, что вы в боях с 8 по 12 сент. 1914 г. у Городка с выдающимся искусством и мужеством отбивали отчаянные атаки превосходного в силах противника, особенно настойчивые 11 сент., при стремлении австрийцев прорвать центр корпуса; а утром 12 сент. сами перешли с бригадой в решительное наступление». <...>

Почти вся русская Польша была освобождена, почти вся Восточная Галиция — искони русские земли — воссоединена с Россией. Наступала русская зима. Необходимо было дать возможность нашим армиям пополниться, привести себя в порядок и наладить всегда хромающую материальную и техническую часть. Но этого не удалось сделать благодаря опять-таки требованиям союзников. <...>

Под влиянием тяжелых боев во Фландрии Китченер, Жофр и их представители в России обратились к русской Ставке с горячими просьбами и даже настойчивыми требованиями — продолжать наступление в глубь Германии для отвлечения немецких сил. Ставка уступила этим настояниям. Четырем армиям Северо-западного фронта была поставлена задача вторгнуться в Силезию и Познань, тогда как одна армия (10-я) должна была теснить немецкий заслон в Восточной Пруссии.

Эта операция, известная под названием Лодзинской, была для нас явно непосильна, несвоевременна и не вызывалась положением англо-французского фронта.

Выполняя директиву, наши армии, оторвавшись от своих баз, не успели еще наладить транспорт, как немцы необыкновенно быстрым контрманевром перебросили свои главные силы севернее Калиша и охватили две армии. В про-

исшедшем сражении оба противника проявили необыкновенную активность и бывали моменты, когда судьба битвы висела на волоске. Обе стороны дрались с великим ожесточением: под Лодзью наша вторая армия, окруженная со всех сторон, отчаянными атаками успела пробиться к своим; у Брезин германская дивизия ген. Шеффера попала в кольцо русских войск и только после тяжелых боев ей удалось прорваться.

Битва эта кончилась вничью. <...>

На фоне этих трудных боев произошел эпизод, оставивший славное воспоминание «железным» стрелкам.

24 октября я заметил некоторое ослабление в боевой линии противника, отстоявшей от наших окопов всего на 500—600 шагов. Поднял бригаду и без всякой артиллерийской подготовки бросил полки на вражеские окопы. Налет был так неожидан, что вызвал у австрийцев панику. Наскоро набросав краткую телеграмму в штаб корпуса («Бьем и гоним австрийцев»), я пошел со стрелками полным ходом в глубокий тыл противника, преодолевая его беспорядочное сопротивление. Взяли с. Горный Лужек, где, как оказалось, находился штаб группы эрцгерцога Иосифа. Когда я ворвался с передовыми частями в село и донес об этом в штаб корпуса, там не поверили, потребовали повторить — «не произошло ли ошибки в названии».

Не поверил сразу и эрцгерцог. Он был так уверен в своей безопасности, что спешно бежал со своим штабом только тогда, когда услышал на улицах села русские пулеметы. Заняв бывшее помещение его, мы нашли нетронутым накрытый стол с кофейным прибором (на котором были вензеля эрцгерцога) и выпили еще горячий австрийский кофе...

Судьба иногда шутит шутки с людьми. Семь лет спустя, когда я со своей семьей очутился, уже в качестве эмигранта, в Будапеште, к больной моей дочери позвали доктора. Услышав мою фамилию, доктор осведомился, не я ли тот генерал, который командовал «железными» стрелками. И когда я подтвердил, он радостно жал мои руки, говоря: «Мы с вами чуть не познакомились в Горном Лужке, я был врачом в штабе эрцгерцога Иосифа».

И не раз в Венгрии мне пришлось встречаться с бывшими врагами, участниками войны, офицерами и солдатами, моими «крестниками» (военнопленными, взятыми в плен моими частями), и всегда эти встречи были искренно радостны. Особенно дружелюбное отношение проявили к нам офицеры прекрасной в боевом отношении 38-й гонведной дивизии, с которой судьба несколько раз столкнула на полях сражений Железную дивизию.

В первой мировой войне сохранялись еще традиции старого боевого рыцарства... <...>

С конца 1914 г. у Главнокомандующего Юго-западным фронтом возник план большого наступления через Карпаты на Будапешт с целью добить австрийцев. Но Ставка не соглашалась, считая по-прежнему главным направлением Берлин. Ген. Иванов самостоятельно приступил к подготовке намеченной им операции, поэтому в течение ноября и декабря на фронте 8-й армии, стоявшей в предгорьях Карпат, шли непрерывные и тяжелые бои. С нашей стороны они имели целью захват горных перевалов, с австрийской — деблокаду Перемышля. Железная бригада почти не выходила из боя.

Во второй половине ноября 8-я армия, отразив очередное наступление австрийцев, сама двинулась вперед к перевалам. Брусилов возложил на 8-й и 24-й корпуса овладение всем главным хребтом Карпатских Бескид от Лупковского до Ростокского перевалов, причем, четыре раза меняя задачу... <...> Исполнить эту директиву можно было, только перейдя Карпатский хребет и спустившись в Венгрию. Я считаю нужным подчеркнуть это обстоятельство потому, что оно в дальнейшем послужит для характеристики ген. Брусилова и как полководца, и как человека *.

* Ген. Брусилов остался в советской России и сотрудничал с сов. властью.

Ген. Брусилов питал враждебные чувства к ген. Корнилову, усилившиеся после того, как Корнилов сменил его впоследствии на посту Верховного главнокомандующего и столь резко разошелся с ним — попутчиком советской власти — в дальнейшем жизненном пути. В своих воспоминаниях, написанных при большевиках, Брусилов возвел на 24-й корпус и в особенности на Корнилова несправедливые обвинения. 24-му корпусу якобы приказано было им «не спускаться с перевалов». Корнилов же «из-за жажды отличиться и горячего темперамента... по своему обыкновению не исполнил приказа своего корпусного командира и, увлекшись преследованием, попал в Гуменное, где был окружен и с большим трудом пробился обратно, потеряв 2 тысячи пленными, свою артиллерию и часть обоза»... Брусилов, по его словам, хотел предать Корнилова военному суду, но по просьбе командира корпуса (ген. Цурикова) ограничился выговором в приказе... им обоим.

Вот как пишется история при большевиках.

А вот как дело происходило на самом деле.

Виновником неудачи был исключительно сам ген. Брусилов, но, заботясь о своей славе и пользуясь тем одиумом, который вызывало у большевиков имя Корнилова, свалил вину на него и других.

20 ноября дивизии согласно приказу перешли в наступление. Моя бригада шла восточнее Лупковского перевала, 48-я дивизия (Корнилова) — на перевал Ростокский, 49-я — между нами. Все мы получили совершенно определенный приказ командира корпуса — овладеть Бескидским хребтом и вторгнуться в Венгрию. Дивизия Корнилова после горячего и тяжелого боя овладела Ростокским перевалом, встречая затем слабое сопротивление отступающего противника, двигалась на юг, спускаясь в Венгерскую равнину, и 23 ноября заняла г. Гуменное, важный железнодорожный узел.

49-я дивизия, сбив охраняющие части австрийцев, овладела предписанным ей участком Карпатского хребта и к 23-му, спустившись с гор, вышла на шоссе Гуменное — Мезоляборч и перерезала железную дорогу, захватив станцию Кошкац.

Наиболее упорное сопротивление оказали австрийцы на фронте Железной бригады и соседнего справа 8-го корпуса. На левом фланге корпуса наступление совсем захлебнулось. Чтобы помочь ему и пробить себе путь, я в течение трех дней вел тяжелый бой у Лупкова, главная тяжесть которого легла на правое крыло мое — 14-й и 15-й полки доблестного ген. Станкевича. К концу третьего дня город и станция Лупков с прилегающими высотами были нами взяты, противник разбит, некоторые его части почти уничтожены, остатки — до 2 тысяч — попали в плен.

Погода в эти дни стояла ужасная. Мороз достигал внизу 15 гр. по Реомюру, в горах же было гораздо холоднее, снежная метель заволакивала всю лощину и слепила глаза. Дорог через горы на моем участке не было, одни козьи тропы, крутые, скользкие, обледенелые. Австрийцы занимали все еще Лупковский перевал и положение 8-го корпуса оставалось тяжелым. Было ясно, что только внезапным выходом в тыл войск, стоявших на Лупковском перевале, можно облегчить 8-му корпусу продвижение и открыть нам в то же время хорошую шоссейную дорогу на Мезолярборч. Я решился на рискованную меру: оставил у Лупкова под прикрытием одного батальона свою артиллерию и обоз; часть лошадей выпрягли и взяли с собой, навьючив их мешками с сухарями и патронами. Преодолевая огромные трудности, двигаясь по обледенелым, заросшим мелким кустарником склонам гор без всяких дорог, полки мои опрокидывали австрийцев, беря пленных, заняли ряд деревень и опорных пунктов, потом узел шоссейных дорог и ворвались в город и станцию Мезолярборч. <...>

Войска 24-го корпуса проникли глубоко в расположение противника, захватили главную питательную артерию его фронта — железнодорожную линию Мезолярборч — Гуменное. Таким образом, задача, нам поставленная, была выполнена и операция сулила большой стратегический успех. Но... над ней уже нависала катастрофа.

Движение дивизии Корнилова почему-то ничем не было обеспечено с восто-

ка, с этой стороны чем дальше он уходил на юг, тем более угрожал ему удар во фланг и тыл. Для обеспечения за собой Ростокского шоссе он оставил один полк с батареей у с. Такошаны — все, что он мог сделать. Опасность положения 48-й дивизии сознавал и Цуриков и снесся с Брусиловым по телефону в ночь 23 ноября. Брусилов в этом разговоре неожиданно заявил, что движение на Гуменное вовсе не входит в его расчеты, и приказал было отозвать дивизию обратно на перевал, но после взволнованного доклада Цурикова решение свое отменил. И Корнилову приказано было занять Гуменное. Но Брусилов и теперь ничего не предпринял для обеспечения этого движения с фланга. Между тем у него были свободные части за Ростокским перевалом и на соседнем Ужокском перевале (восточнее), которые можно было вовремя использовать. Наконец за 48-й дивизией шла конная дивизия (2 казачьих полка), которая почти не принимала участия в операции и, несмотря на многократные просьбы Цурикова, не была ему подчинена.

И австрийцы обрушились с востока, сначала на заслон у Такошан. Полк отразил первые атаки, но 24-го австрийцы силами более дивизии смяли его и он отошел к перевалу. Дивизия Корнилова была отрезана от Росток... 25 ноября Гуменное было атаковано с запада. По приказу армии, передав Гуменное подошедшим на помощь частям 49-й див., Корнилов тремя полками вступил в бой с $1^1/_2$ див. противника у Такошан. 26-го и 27-го шли тяжелые бои. Командир корпуса, считая положение безнадежным, просил Брусилова об отводе дивизии по свободной еще горной дороге на северо-запад. Но получил отказ. Телеграмма Брусилова гласила:

«Движение наше к северу (т. е. отступление.— **А. Д.**) есть маневр, который может быть исполнен только после нанесения поражения, и нельзя допустить чтобы вследствие этого маневра могла родиться мысль, что мы отходим вследствие неудачи. Поэтому ген. Корнилов не должен оставлять направления на Ростоки».

А 48-я дивизия уже почти в полном окружении изнемогала в неравном и беспрерывном бою...

27-го вечером пришел наконец приказ корпусного командира — 48-й дивизии отходить на северо-запад. Отходить пришлось по ужасной, крутой горной дороге, занесенной снегом, но единственной свободной. Во время этого трудного отступления австрийцы вышли наперерез у местечка Сины, надо было принять бой на улицах его, и, чтобы выиграть время для пропуска через селение своей артиллерии, Корнилов, собрав все, что было под рукой, какие-то случайные команды и роту саперов, лично повел их в контратаку. На другой день дивизия выбилась, наконец, из кольца, не оставив противнику ни одного орудия (потеряны были только 2 зарядных ящика) и приведя с собой более 2000 пленных.

Вот как разнится правда от «правды» Брусилова...

Операция, столь блестяще начатая, окончилась неудачей. И 49-я дивизия с тяжелыми боями должна была вернуться на перевал. Железная бригада до 30 ноября медленно, с боями, подвигалась еще вперед, пока не была сменена сибирскими стрелками и, по обыкновению, отведена «в резерв командующего армией».

Виновником неудачи был объявлен Корнилов.

Железная бригада получила телеграммы: «с горячей благодарностью» — от Верховного главнокомандующего, «с полным восхищением несравненной доблестью» — от корпусного командира. Генерал же Брусилов, утверждавший и написавший об этом в своих воспоминаниях, что части корпуса «самовольно» сошли с перевалов в Венгрию, телеграфировал мне:

«Молодецкой бригаде за лихие действия, за блестящее выполнение поставленной ей задачи шлю свой низкий поклон и от всего сердца благодарю вас, командиров и героев-стрелков. Перенесенные бригадой труды и лишения и славные дела свидетельствуют, что традиции старой Железной бригады живут в геройских полках и впредь поведут их к победе и славе».

8-я армия стала на перевалах, два корпуса пододвинуты на северо-запад в

помощь 3-й армии, и снова наша армия растянулась тонкой завесой на 250 километров. Австрийцы, имея 6 корпусов и усиленные германским корпусом и частями, переброшенными с сербского фронта, перешли опять в наступление в направлении на Перемышль. На одном участке им удалось прорваться, и фронт здесь поддался глубоко назад. Неудача эта вызвала какую-то временную депрессию в настроении обычно энергичного и решительного ген. Брусилова, который отдал всей армии приказ отступать.

7 дней мы отступали, не понимая, в чем дело, так как нажим противника на нас не был силен, а частные переходы в контратаку по собственной инициативе отдельных частей, в том числе и моей бригады, неизменно сопровождались успехом — взятием пленных и трофеев.

10 декабря мы наконец остановились. Брусилов, видимо, овладел собой и решил перейти в контрнаступление, поддержанное 3-й армией. Австро-германцы стали быстро отходить, и к концу года армии Юго-западного фронта вновь заняли линию Карпат.

1915 год на фронтах войны

Несогласие на верхах русского командования по поводу направления главного удара продолжалось. Ставка оставалась при прежнем благоразумном решении — удержания Карпат и наступления на Берлин. Ген. Иванов при энергичной поддержке Брусилова и несочувствии своего начальника штаба, ген. Алексеева, не оказавшего, однако, достаточно решительного противодействия, настаивал на сосредоточии главных сил и средств для форсирования Карпат и наступления на Будапешт. <...>

Ген. Иванову удалось наконец переубедить Верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича, и 19 марта последним дана была директива — Северо-западному фронту перейти к обороне, а Юго-западному — наступать через Карпаты на Будапешт. Государь одобрил это решение, выразив, что «это именно то, что сделал бы я сам»...

Новая директива хотя и открывала нашему фронту большие возможности, но по существу фиксировала только создавшееся уже положение.

С декабря месяца армии Юго-западного фронта употребляли нечеловеческие усилия, чтобы форсировать Карпаты. В жестокие морозы, в снежные вьюги о крутые, обледенелые скаты гор буквально разбивались наши силы, наш порыв и таяли наши ряды. Мобилизация не проявила бережного отношения к кадрам, а учета унтер-офицеров запаса, этого нужнейшего остова армии, совсем не вела. Потому в начале войны роты выступали в поход, имея 5, 6 офицеров и до 50% унтер-офицеров на должностях простых рядовых. Этот драгоценный элемент и погиб в большинстве в первых боях. Кадры почти растаяли, и пополнения приходили недоученными и... безоружными.

Собственно, уже в конце 14 года обнаружился острый недостаток снарядов и патронов, но беспечный и невежественный военный министр Сухомлинов умел убеждать Государя, думу и общество, что «все обстоит благополучно». И к весне 1915 г. окончательно назрел страшный кризис вооружения и особенно боевых припасов. Напряжение огневого боя в эту войну достигло небывалых и неожиданных размеров, опрокинув все теоретические расчеты и нашей, и западноевропейской военной науки. Но если промышленность западных стран путем чрезвычайных усилий справилась с этой острой задачей, создав огромные арсеналы и запасы, то мы этого не смогли...

И только к весне 1916 г. путем крайнего напряжения, привлечения к заготовкам общественных сил и иностранных заказов мы обзавелись тяжелой артиллерией и пополнили свои запасы патронов и снарядов. Конечно, далеко не в таких размерах, как наши союзники, но в достаточных для продолжения войны с надеждой на победу *.

* В самый критический момент, в феврале, у нас было всего 12—14 артиллерийских парков, к весне 16 г. — 30—40 парк., к осени же — 90—100.

С какими затруднениями, однако, был сопряжен наш заграничный путь снабжения, хорошо описывает в своих воспоминаниях Ллойд Джордж:

«Когда летом 15 г. русские армии были потрясены и сокрушены артиллерийским превосходством Германии... военные руководители обеих стран (Англия и Франция) так и не восприняли руководящей идеи, что они участвуют в этом предприятии вместе с Россией и что для успеха этого предприятия нужно объединить все ресурсы так, чтобы каждый из участников был поставлен в наиболее благоприятные условия для достижения общей цели. На каждое предложение относительно вооружения России французские и британские генералы отвечали и в 1914—15 г. г., и в 1916 — что им нечего дать и что, если они дают что-либо России, то лишь за счет своих собственных насущных нужд. Мы предоставили Россию ее собственной судьбе и тем самым ускорили балканскую трагедию, которая сыграла такую роль в затяжке войны»...

И в то время, как на всем Юго-западном фронте было у нас 155 тяжелых орудий, французы, накопив огромные средства вооружения, в осеннем сражении в Шампани (1915) имели на узком, 25-километровом, фронте прорыва в 12 раз больше, причем могли себе позволить фантастическую роскошь выпустить 3 миллиона снарядов!

Я помню, как у нас в 8-й армии перед летом оставалось по 200 выстрелов на орудие, причем раньше осени артиллерийское ведомство не обещало пополнения запасов. Батареи из 8 орудий были пересоставлены в 6 орудий, а пустые артиллерийские парки отправлены в тыл за ненадобностью...

Эта весна 1915 г. останется у меня навсегда в памяти. Тяжелые, кровопролитные бои, ни патронов, ни снарядов. Сражение под Перемышлем в середине мая. Одиннадцать дней жесточайшего боя Железной дивизии. Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их... И молчание моих батарей... Мы не могли отвечать; нечем было. Даже патронов на ружья было выдано самое ограниченное количество. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой... штыками или в крайнем случае стрельбой в упор. Я видел, как редели ряды моих стрелков, и испытывал отчаяние и сознание нелепой беспомощности. Два полка были почти уничтожены одним огнем...

И когда после трехдневного молчания нашей шестидюймовой батареи ей подвезли пятьдесят снарядов, об этом сообщено было по телефону всем полкам, всем ротам, и все стрелки вздохнули с облегчением.

При таких условиях никакие стратегические планы — ни на Берлин, ни на Будапешт — не могли и не должны были более осуществляться.

В дни Карпатского сражения Железная бригада, как обычно, исполняла свою роль «пожарной команды». Из целого ряда боевых эпизодов мне хочется отметить два.

В начале февраля бригада брошена была на помощь сводному отряду ген. Каледина под Лутовиско, в ужгородском направлении. Это был один из самых тяжелых наших боев. Сильный мороз; снег — по грудь; уже введен в дело последний резерв Каледина — спешенная кавалерийская бригада.

Не забыть никогда этого жуткого поля сражения... Весь путь, пройденный моими стрелками, обозначался торчащими из снега неподвижными человеческими фигурами с зажатыми в руках ружьями. Они — мертвые — застыли в тех позах, в каких их застала вражеская пуля во время перебежки. А между ними, утопая в снегу, смешиваясь с мертвыми, прикрываясь их телами, пробирались живые навстречу смерти. Бригада таяла... Рядом с «железными» стрелками, под жестоким огнем, однорукий герой, полковник Носков, лично вел свой полк в атаку прямо на отвесные ледяные скалы высоты 804...

Тогда смерть пощадила его. Но в 1917 г. две роты, именовавшие себя «революционными», явились в полковой штаб и тут же убили его. Убили совершенно беспричинно и безнаказанно, ибо у военных начальников власть уже была отнята, а Временное правительство — бессильно...

Во время этих же февральских боев к нам неожиданно подъехал Каледин. Генерал взобрался на утес и сел рядом со мной, это место было под жестоким обстрелом. Каледин спокойно беседовал с офицерами и стрелками, интересуясь нашими действиями и потерями. И это простое появление командира ободрило всех и возбудило наше доверие и уважение к нему.

Операция Каледина увенчалась успехом. В частности, Железная бригада овладела рядом командных высот и центром вражеской позиции, деревней Лутовиско, захватив свыше 2 тыс. пленных и отбросив австрийцев за Сан.

За эти бои я был награжден орденом Георгия 3-й степени. <...>

В начале марта Железная бригада двинута была к горе Одринь, чтобы заткнуть очередной прорыв, и оказалась в западне: полукольцом нашу позицию окружали командные высоты противника, с которых он вел огонь даже по одиночным людям. Положение было невыносимо, потери тяжелы. Каждый день удлинялся список убитых и раненых офицеров и стрелков. Убит командир 16-го полка, полк барон Боде. Я не вижу выгоды в оставлении нас на этих позициях, где нам грозит уничтожение, но наш уход вызвал бы необходимость отвода и соседней 14-й пех. дивизии, начальник которой доносил в штаб: «Кровь стынет в жилах, когда подумаешь, что впоследствии придется брать вновь те высоты, которые стоили нам потока крови». И я остаюсь. Обстановка, однако, настолько серьезна, что требует полной близости к войскам, и я переношу свой полевой штаб на позицию, в дер. Творильню. Положение наше таково: за обедом пуля пробила окно и размозжила чью-то тарелку, другая застряла в спинке стула, а если кому нужно днем выйти из хаты, тот брал с собой пулеметный щит. Австрийцы несколько раз пытались отрезать нас от Сана, но с большим уроном отбрасывались. Там действовал доблестный и бесстрашный подполковник 13-го полка Тимановский, прозванный солдатами «Железный Степаныч».

Бригада тает, а в тылу — один плохонький мост через Сан; понтонов нет; весна уже чувствуется. Вздуется бурный Сан или нет? Если вздуется, снесет мостик и выхода нет...

В такой трудный момент командир 13-го полка полк. Гамбурцев, входя на крыльцо нашей штабной хаты, тяжело ранен ружейной пулей. Все штаб-офицеры полка уже выбиты, и заменить его некем. Положение отчаянное, и я мрачно хожу из угла в угол. Поднимается мой начальник штаба полковник Марков:

— Ваше Превосходительство, дайте мне 13-й полк.

— Голубчик, пожалуйста, но... вы видите, что делается?

— Вот именно, Ваше Превосходительство.

Так началась боевая карьера знаменитого впоследствии генерала Маркова, имя которого не раз будет упоминаться на этих страницах. Чувство, соединившее нас на кровавых полях сражений, свяжет наши судьбы до самой его смерти.

Молодой, храбрый, талантливый, с удивительным увлечением и любовью относившийся к военному делу, Марков предпочитал строевую службу штабной. С этой поры он поведет славный полк от одной победы к другой, разделит со мной тяжкое бремя управления революционной армией в 1917 году и приобретет легендарную славу в гражданскую войну. Один из основных полков Добровольческой армии назван его именем.

Потратив полдня на дорогу по непролазной грязи и, взобравшись по горным тропам, приехал в Творильню начальник нашего отряда ген. граф Келлер. Ознакомившись с невероятной обстановкой, в которой погибала бригада, он уехал с твердым намерением убрать нас из западни. Действительно, через несколько дней нас увели за Сан.

В начале апреля я получил предупреждение из штаба армии, что меня ждет повышение — назначение начальником Н-ской дивизии. Я очень попросил не «повышать» меня, убеждая, что с Железной бригадой я сделаю больше, чем с любой дивизией. Вопрос затих. В конце апреля принята была общая мера — переформирование стрелковых бригад в дивизии, и я автоматически стал начальником Железной дивизии.

В конце апреля Государь решил посетить Галицию.

Тогда уже Ставке известно было о готовившемся со стороны Кракова ударе германской армии Макензена, который предвиделся очень серьезным, и царский визит мог явиться преждевременным. Если смотры царем войск были вполне естественны, то посещение Львова, столицы присоединяемой к России австрийской провинции Галиции, носило демонстративный характер и несвоевременность его грозила престижу монарха. Но, очевидно, предотвращение визита для Ставки оказалось делом слишком деликатным...

Итак, Государь посетил Львов 22 апреля и на другой день прибыл в Самбор, где находился штаб 8-й армии. На долю Железной дивизии выпала честь встретить Государя почетным караулом. 1-я рота 16-го стр. полка была для этого вызвана с Карпат. В воспоминаниях ген. Брусилова сказано: «Я доложил Государю, что 16-й стр. полк, так же, как и вся стрелковая дивизия, именуемая Железной, за все время кампании выделялась своей особенной доблестью и что, в частности, 1-я рота имела на этих днях блестящее дело, уничтожив две роты противника».

Государь, как я уже упоминал, отличался застенчивостью и не умел говорить с войсками. Может быть, этим обстоятельством объясняется небольшая его популярность в широких массах. По докладу вел. кн. Николая Николаевича, он наградил всю роту солдатскими георгиевскими крестами. Рота вернулась награжденной, но мало что могла рассказать товарищам. Слова живого не было...

Уже 11 апреля ввиду явно непосильной задачи форсирования Карпат и кризиса в снабжении войск главнокомандующий фронтом отдал приказ 3-й и 8-й армиям перейти к обороне.

К началу мая Железная дивизия занимала фронт юго-восточнее Перемышля против австро-германцев ген. Линзингена. Дивизия не выходила из трудных боев, отражая атаки противника, переходя сама в контратаки. Противник нажимал сильно.

Ввиду важности этого направления ген. Брусилов постепенно присылал подкрепления, и в мае под моей командой состоял сводный отряд из 8 полков. На крайнем левом фланге моей позиции стоял второочередный полк, сформированный из кадров Архангелогородского полка, которым я командовал перед войной. Я не был в состоянии противостоять соблазну повидать родной полк и с трудом пробрался к нему на позицию. Все доступы к нему уже так сильно обстреливались, что кухни и снабжение можно было подвозить только по ночам. Я провел часа два-три со своими старыми офицерами, вспоминая прошлое и знакомясь с их боевой обстановкой.

Я не подозревал, что это была последняя встреча...

Об общем положении на фронте нас, начальников дивизий по крайней мере, не ориентировали, и в войсках моего отряда положение нашего фронта считалось прочным.

2-я армия Макензена в составе 10 германских дивизий, при 700 орудиях ударила на нашу 3-ю армию, имевшую $5^1/_2$ дивизий и 160 орудий. Вскоре фронт ее был прорван у Горлицы. Только после этого ген. Иванов, стягивавший доселе все свободные войска к Карпатам, послал корпус на подкрепление 3-й армии. Но было поздно...

Обстановка сложилась так, что требовала быстрого отвода армий. Таково было мнение и начальника штаба Юго-западного фронта и командующего армией ген. Радко-Дмитриева *. Но ген. Иванов и Ставка требовали: «Не отдавать ни пяди земли».

Произошел неравный бой. 3-я армия была разбита и покатилась назад. В особенно тяжелое положение попал 24-й корпус, дивизия Корнилова (48-я) была совершенно окружена и после геройского сопротивления почти уничтожена, остатки ее попали в плен. Сам ген. Корнилов со штабом, буквально вырвавшись из рук врагов, несколько дней скрывался в лесу, пытаясь пробраться к своим, но был обнаружен и взят в плен. Более года он просидел в австрийском плену, из которого в июле 1916 г. с редкой смелостью и ловкостью бежал, переодевшись в форму австрийского солдата. С большими трудностями и приключениями перебрался в Россию через румынскую границу. За это был награжден Государем орденом Георгия 3-й степени и назначен командиром 25-го корпуса.

* Болгарин, герой Балканской войны 11—13 гг., перешел на русскую службу ввиду германофильства Болгарии.

Отступление 3-й армии обнажило фланг 8-й, и 10 мая Юго-западному фронту отдан был приказ отходить к Сану и Днестру.

За год войны в связи с положением фронта мне приходилось и наступать, и отступать. Но последнее имело характер маневра временного и преходящего. Теперь же вся обстановка и даже тон отдаваемых свыше распоряжений свидетельствовали о катастрофе. И впервые я почувствовал нечто, похожее на отчаяние... Тяжесть моего положения усугублялась еще тем, что по каким-то соображениям * отход частей, расположенных восточнее меня, был задержан и фронт армии ломался почти под прямым углом в пределах моего отряда, именно на позиции бывшего Архангелогородского полка. Другими словами, полк охватывался и простреливался с двух сторон наседавшими германцами.

Штаб армии снялся с такой поспешностью, что порвал телефонную связь и оспорить распоряжение не было возможности. Я понял, что полк обречен...

Под покровом ночи я отводил свои войска, испытывая тяжелое чувство за участь полка. На другое утро он был разгромлен и погибло большинство моих старых соратников...

Началось великое отступление русских армий.

1915 год. Продолжение войны

Армии Юго-западного фронта удержались некоторое время на линии Перемышль—Николаев и дальше по Днестру. Выдержали сильнейший натиск австро-германцев, имели даже крупный успех, разбив и отбросив австрийцев, пытавшихся через Днестр выйти в тыл Львову. Но 24 мая ген. Макензен возобновил наступление и к 3 июня занял Перемышль и утвердился на среднем Сане.

Эти бои южнее Перемышля были для нас наиболее кровопролитными. В частности, сильно пострадала Железная дивизия. 13-й и 14-й полки были буквально сметены невероятной силы артиллерийским огнем немцев. В первый и единственный раз я видел храбрейшего из храбрых полковника Маркова в состоянии, близком к отчаянию, когда он выводил из боя остатки своих рот, весь залитый кровью, хлынувшей из тела шедшего рядом с ним командира 14-го полка, которому осколком снаряда снесло голову. Вид туловища полковника без головы, простоявшего еще несколько мгновений в позе живого — забыть нельзя..

Отступая шаг за шагом, наши армии отходили от Сана и 22 июня оставили Львов. Русские контратаки и необходимость подтянуть тылы заставили Макензена в первой половине июля приостановить наступление; затем оно возобновилось и к августу мы ушли за Буг.

Большими силами германцы еще до прорыва у Горлицы перешли в наступление против Северо-западного фронта ген. Алексеева, потеснили наши войска в Курляндии и захватили Либаву. В каких трудных условиях происходили бои и на этом фронте, видно из следующих двух эпизодов.

У Прасныша 1-я русская армия в течение 6 дней задерживала сильнейший напор 12-й германской армии, имевшей полуторное превосходство сил и 1264 орудия против наших 317...

В конце мая южнее Варшавы, на фронте нашей 2-й армии, немцы произвели первую газовую атаку, и, несмотря на неожиданность этого незаконного средства и отсутствие у нас противогазов, в результате чего оказалось 9 тысяч отравленных, германские атаки были отбиты...

* Только впоследствии я узнал, что Брусилов задержал наш левый фланг по просьбе командующего армией (Щербачева), войска которого не могли своевременно отступить.

Вначале июля в связи с отступлением Юго-западного фронта Ставка сочла невозможным удержание Польши и ген. Алексееву дан был приказ отводить войска за Вислу. Началось и там великое отступление, длившееся три месяца, отмеченное тяжкими боями и большими для нас потерями. Наиболее грозное положение создалось под Вильной (конец августа и начало сентября), когда фронтальной атакой и прорывом 6 конных дивизий в наш тыл (у Свенцян) немцы сделали чрезвычайное усилие окружить и уничтожить нашу 10-ю армию. Но упорством русских войск и искусным маневром ген. Алексеева прорыв был ликвидирован и армия вырвалась из окружения.

К концу сентября откатившийся русский фронт проходил по линии Рига — Двинск — Черновицы. Придавая более важное значение направлениям на столицы (Петроград, Москва), Ставка сосредоточила в руках Алексеева 7 армий, оставив Иванову южнее Полесья 3 армии.

Великое отступление стоило нам дорого. Потери наши составляли более миллиона человек. Огромные территории — часть Прибалтики, Польша, Литва, часть Белоруссии, почти вся Галиция — были нами потеряны. Кадры выбиты. Дух армий подорван. И, несмотря на это, отступление наше отнюдь не имело панического характера. Мы наносили немцам тяжелые потери, а австрийцы благодаря нашим непрестанным контратакам потеряли при наступлении одними пленными сотни тысяч... Наш фронт, лишенный снарядов, под сильным напором противника медленно отходил шаг за шагом, не допуская окружения и пленения корпусов и армий, как это имело место в 1941 г. в первый период второй мировой войны, при советском режиме.

И к осени 1915 г. австро-германское наступление выдохлось. <...>

В 15 году центр тяжести мировой войны перешел в Россию. Это был наиболее тяжелый год войны. В начале его англо-французы произвели ряд частных атак в Шампани и у Арраса, не имевших стратегического значения. 9 мая Фош и Френч атаковали немцев в Артуа, бои длились полтора месяца, привели к большим потерям и имели результатом исправление фронта и занятие союзниками 40 килом. территории.

В конце июня состоялась междусоюзная конференция в Шантильи, на которой ввиду тяжелого положения русского фронта решено было англо-французам вновь перейти в наступление в Шампани и Артуа. Подготовка началась с 12 июля, но по причинам, которые я разбирать здесь не буду, затянулась до 25 сентября, когда наше великое отступление уже кончилось.

Наступление в Шампани велось французами в большом превосходстве сил и с применением огромного количества артиллерии. После 7-дневной артиллерийской подготовки оно увенчалось захватом первой линии германских укреплений, взято было 25 тыс. пленных и 150 орудий. Но на второй линии наступление захлебнулось. Ввиду больших потерь ген. Жофр прекратил атаку.

Отдавая должное доблести наших союзников, я должен отметить их общее воздержание от широких задач и желание взять врага измором, ибо это обстоятельство влияло на положение нашего фронта и объясняет отчасти наши неудачи.

1915 год был вообще неудачным для Антанты. Галлиполийская операция, веденная англо-французами по инициативе Черчилля с 20 марта по 20 декабря, невзирая на огромное превосходство английского флота, окончилась катастрофой: потерей — 146 тыс. человек (турко-германцы потеряли 186 тыс.) и эвакуацией западной прибрежной части Галлиполи с потерей всей материальной части. Англичане в конце 1915 г. понесли серьезное поражение от турок и в Месопотамии, вблизи Багдада. <...>

В конце августа я получил от ген. Брусилова приказание идти спешно в местечко Клевань, между Луцком и Ровно, в 20 верст. от нас, где находился штаб 8-й армии. Приведя дивизию форсированным маршем в Клевань к ночи, я застал там полный хаос. Со стороны Луцка наступали австрийцы, тесня какие-то наши ополченские дружины и спешенную кавалерию, никакого фронта по существу уже не было, и путь на Ровно был открыт. <...>

Положение дивизии было необыкновенно трудным. Австрийцы, вводя в бой все новые силы, распространялись влево, в охват правого фланга армии. Сообразно с этим удлинялся и мой фронт, дойдя в конце концов до 15 километров. Силы противника значительно превосходили нас, почти втрое, и обороняться при таких условиях было невозможно. Я решил атаковать. С 21 августа я трижды переходил в наступление и тремя атаками Железная дивизия приковала к своему фронту около трех австрийских дивизий и задерживала обходное движение противника. Но 8—11 сентября после тяжких боев австрийцам удалось оттеснить нас за р. Горынь.

Между тем ген. Брусилов, получив в свое распоряжение 30-й корпус ген. Заиончковского и направив его к р. Горыни, решил выйти из создавшегося трудного положения переходом в наступление правым крылом армии (3 корпуса) с целью выхода и утверждения на р. Стыри. После долгих споров с главнокомандующим ген. Ивановым, не желавшим допускать наступление крупными силами, Брусилов поставил на своем и наступление началось.

Железная дивизия шла в центре фронта. Блестящими атаками колонн ген. Станкевича и полк. Маркова противник был разбит 16 и 17 сентября, причем частью уничтожен, частью взят в плен. И 18 сентября дивизия по собственной инициативе, преследуя быстро отступавших австрийцев, форсированными маршами пошла на Луцк, и 19 числа я атаковал уже сильные передовые укрепления его. Бой шел беспрерывно весь день и всю ночь. Против нас было $2^1/_2$ австрийских дивизии, прочно засевших в хорошо подготовленных окопах. Стрелки дрались уже на самой позиции, были взяты пулеметы и пленные, захвачены два первых ряда окопов. Но дальнейшее продвижение казалось для нас непосильным, мы понесли большие потери, и войска устали. Ген. Стельницкий даже не предлагал мне помощи своих ополченских частей, понимая ее бесполезность.

Чтобы помочь моей захлебнувшейся фронтальной атаке, ген. Брусилов приказал ген. Заиончковскому атаковать Луцк с севера. Тут необходимо сделать отступление совсем не боевого свойства, дабы пояснить дальнейший ход событий.

По особенностям своего характера Заиончковский внес элемент прямо анекдотический в суровую и эпическую боевую атмосферу. Получив распоряжение Брусилова, он отдал по своему корпусу многоречивый приказ, в котором говорилось, что Железная дивизия не смогла взять Луцк, и эта почетная и трудная задача возлагается на него... Припоминал праздник Рождества Богородицы, приходящийся на 21 сентября. Приглашал войска «порадовать матушку царицу» и в заключение восклицал: «Бутылка откупорена! Что придется нам пить из нее — вино или яд,— покажет завтрашний день».

Подобная «беллетристика» совсем не свойственна нашему воинскому обиходу, впрочем, я узнал об этом приказе только по окончании операции.

Но «пить вино» на «завтрашний день» Заиончковскому не пришлось. Наступление его не подвинулось вперед, и он потребовал у штаба армии передать ему на усиление один из моих полков, что и было сделано. Я остался с тремя. Кроме того, в ночь на 23 сентября получаю приказ из армии: ввиду того, что Заиончковскому доставляет большие затруднения сильный артиллерийский огонь противника, мне по его просьбе приказано вести стрельбу всеми моими батареями в течение ночи, «чтобы отвлечь на себя неприятельский огонь».

Стрелять в течение всей ночи, когда у нас каждый снаряд на учете! Но приказ я исполнил. Вероятно, понять мои чувства может только тот, кто был на войне и попадал в такое положение... Австрийцы мне не отвечали. С их стороны раздалось только три выстрела, причем одна граната попала в камин штабной хаты. По воле судьбы она не разорвалась.

Эта нелепая стрельба обнаружила врагу расположение наших скрытых батарей, и к утру положение моей дивизии должно было стать трагичным. Я вызвал к телефону своих трех командиров полков и, очертив им обстановку, сказал:

— Наше положение пиковое. Ничего нам не остается, как атаковать.

Все три командира согласились со мной. Я тут же отдал приказ дивизии: атаковать Луцк с рассветом.

Брусилов потом писал об этом эпизоде так: «Деникин, не отговариваясь никакими трудностями, бросился на Луцк одним махом, взял его, во время боя

въехал сам на автомобиле в город и оттуда прислал мне телеграмму, что 4-я стрелковая дивизия взяла Луцк».

Вслед за сим Заиончковский донес о взятии им Луцка. Но на его телеграмме Брусилов сделал шутливую пометку: «...и взял там в плен генерала Деникина»...

За первое взятие Луцка * я был произведен в генерал-лейтенанты. Требование Заиончковского о награждении его Георгиевским крестом не прошло.

Ниже увидим, что я нажил себе жестокого врага...

За всю Луцкую операцию Железная дивизия взяла в плен 158 офицеров и 9773 солдата, т. е. количество, равное ее составу. Но и мы были изрядно потрепаны и через два дня были сменены и по обыкновению выведены в резерв командующего армией.

Соседние 8-й и 30-й корпуса, опрокидывая австрийцев, вышли к Стыри. Ген. Конрад, сильно обеспокоенный разгромом своего левого крыла, обратился за помощью к германскому командованию, и вскоре мы обнаружили к северу от Луцка движение немецкого корпуса в охват нашего правого фланга.

В дальнейшем произошло нечто совершенно несуразное, и я до сих пор не мог установить обстоятельств этого дела по первоисточникам, ибо они находятся в руках у большевиков. Но если верить ген. Брусилову, то он получил от главнокомандующего фронтом приказ: «Бросить Луцк и отвести войска в первоначальное положение» (к Клевани), а корпусу ген. Заиончковского, с приданной ему Железной дивизией, «спрятаться в лесах восточнее Колки и, когда немцы втянутся по дороге Колки — Клевань, неожиданно ударить им во фланг, а остальному фронту перейти тогда в наступление»...

Эта «стратегия», больше похожая на детскую игру в прятки, свидетельствовала о весьма слабой военной квалификации как ген. Иванова, так и его нового начальника штаба ген. Савича.

Линия Стыри и Луцк, доставшиеся нам ценою таких героических усилий, были брошены без давления противника. Вся Луцкая операция, стоившая нам столько крови и таких потерь **, пошла прахом...

Корпуса скрыть в лесу, конечно, не удалось, и в результате оба противника, русский корпус и немецкий, развернулись друг против друга в дремучем, заболоченном Полесье, понастроили из поваленных деревьев, перевитых колючей проволокой, крепления, и оба перешли к обороне.

Под предлогом лесистой местности штаб отнял мою артиллерию, передав ее другой дивизии. Когда я явился к генералу Заиончковскому, он сухо и наставительно прочел мне свою директиву, по которой три моих полка были распределены по его дивизиям, а четвертый взят в корпусный резерв. Железная дивизия расформирована, и я оставлен не у дел.

Я не возражал, только внутренне улыбнулся, ибо знал, что *такое* распоряжение исполнено быть не может. Действительно, получив директиву Заиончковского, Брусилов немедленно приказал ему «вернуть дивизию в распоряжение ее начальника и дать дивизии самостоятельную задачу».

Командир корпуса поставил нас вдоль лесной речки Кармин, и начались наши злоключения.

Заиончковский приказал дивизии атаковать противостоящих германцев. Я попробовал перейти в атаку раз, потом еще раз, понеся потери, был отбит и убедился в невозможности одержать успех по болоту против уже укрепившихся немцев, не имея артиллерии. Командир корпуса, в течение нескольких дней присылал резкие и категорические приказания перейти в атаку, угрожая отрешить меня от командования за неисполнение. Не находя возможным вести людей на верную гибель и считая операцию явно обреченной, я отмалчивался. Заиончковский пожаловался в штаб армии, последний потребовал прямого соединения со мной телеграфной линией, и ген. Брусилов телеграфировал мне: «Что у вас происходит, объясните».

* Мне довелось брать его вторично, в 1916 г.
** Железная дивизия потеряла 40% своего состава.

Я отвечал, что принял личное участие в последней атаке 14-го полка и очертил всю обстановку, доложив, что для меня и моих командиров ясно, что дивизию посылают на убой.

Через час ген. Заиончковский получил приказание Брусилова этой же ночью сменить своими частями Железную дивизию, которая возвращается в резерв командующего.

Первый и единственный раз я встретил такое жестокое и оскорбительное отношение к дивизии и к себе. Ибо всюду, где бы ни появлялась наша «пожарная команда», ее встречали с чувством облегчения и признания.

На этом эпизоде кончилась «скитальческая жизнь» Железной дивизии по разным корпусам. В составе 8-й армии сформирован был новый 40-й корпус, в который вошла моя дивизия и отличная 2-я стр. дивизия во главе с достойным начальником ген. Белозором. Про этот корпус ген. Брусилов выразился так: «По составу своих войск этот корпус был одним из лучших во всей русской армии».
<...>

5 сентября Государь назначил вел. кн. Николая Николаевича главнокомандующим на Кавказ и сам вступил в верховное командование российскими вооруженными силами. Этому предшествовали безрезультатные попытки целого ряда политических деятелей, в том числе и письменное обращение восьми министров, предостеречь Царя от опасного шага. Мотивами выставлялась прежде всего трудность совмещения управления государством и военного командования. Оппозиционные министры докладывали, что при таком решении Государя, особенно принимая во внимание отсутствие какой-либо правительственной программы по общей политике и коренное расхождение их во взглядах с председателем совета министров Горемыкиным *, они «теряют веру и возможность служить с пользой ему (царю) и родине». Другим официальным мотивом был риск брать на себя полную ответственность за армию в тяжкий период ее неудач.

А мотивы, волновавшие очень многих, но не высказываемые официально, были: страх, что отсутствие военных знаний и опыта у нового Верховного главнокомандующего осложнит и без того трудное положение армии, и опасение, что на ней отразится влияние Распутина **.

Знаменательному акту предшествовали следующие обстоятельства.

Императрица Александра Феодоровна совершенно без всяких оснований заподозрила вел. кн. Николая Николаевича, человека не только абсолютно лояльного к Государю, но и с некоторым мистицизмом относившегося к легитимной монархии, в желании вредить Николаю II и даже узурпировать его власть. Ныне стали достоянием гласности ее письма, в которых Государыня десятки раз с настойчивостью и страстностью, поистине болезненными, предупреждает мужа о грозящей ему со стороны Николая Николаевича опасности.

Она пишет 20 сентября 1914 г.: «Распутин боится, что «галки» *** хотят, чтобы он (Ник. Ник.— **А. Д.**) достал им трон польский или галицкий. Это их цель... Но я сказала Ане ****, чтобы она его успокоила, что даже из чувства благодарности ты бы этого никогда не рискнул. Григорий любит тебя ревниво и не выносит, чтобы Н. играл какую-либо роль».

12 июня 15 г.: «Николаша далеко не умен, упрям, и его ведут другие».

16 июня 15 г.: «...у меня абсолютно нет доверия к Н... Он пошел против человека, посланного Богом, и его дела не могут быть угодны Богу, и его мнение не может быть правильно».

17 июня: «У Николаши нет права вмешиваться в чужие дела... Это вина Н. и Витте, что существует дума».

25 июня 15 г.: «Все делается не так, как следовало бы, и потому Н. держит тебя поблизости, чтобы заставить тебя подчиняться всем его идеям и дурным советам».

* Горемыкин находился в самых дружественных отношениях с Распутиным, как увидим ниже, и по всем делам советовался с императрицей.
** О личности и роли Распутина я пишу в главе 36-й.
*** «Галками» Александра Феодоровна называла вел. княгинь — сестер Анастасию Николаевну (жену Николая Николаевича) и Милицу Николаевну (жену вел. кн. Петра Николаевича). Обе они — дочери Черногорского короля Николая.
**** Вырубова.

21 сентября 16 г.: «Никто не имеет права узурпировать твои права. Меня это очень огорчает». (Дело идет о Николае Николаевиче.)

5 ноября 16 г. Государыня сообщает, что «Ник., Орлов и Янушкевич хотят выгнать тебя (это не сплетня, у Орлова уже все бумаги были готовы), а меня в монастырь».

В этом убеждении поддерживал и вдохновлял Александру Феодоровну Распутин. Дело в том, что, к несчастью, именно семья Николая Николаевича впервые ввела в царскую близость Распутина как «богоугодного старца» и «провидца», но потом, когда истинный лик его обнаружился, Николай Николаевич и его близкие стали во враждебные отношения к «старцу». Распутин это знал и платил злобной ненавистью. Тем не менее он несколько раз пытался проникнуть в Ставку. Но, когда его поклонники нащупывали для этого почву, они неизменно получали ответ великого князя:

— Если приедет, прикажу повесить!

Что Распутин сыграл роль в решении Государя принять верховное командование — несомненно. Подтверждается это и письмами императрицы:

3 августа 16 г.: «Не бойся называть имя Григория, говоря с ним (ген. Алексеевым) — благодаря Ему ты остался тверд и год тому назад принял командование, когда все были против тебя. Скажи ему это, и он поймет тогда Его (Распутина) мудрость».

9 декабря 16 г.: «Наш друг говорит, что пришла смута и если он (Император.— А. Д.) не взял бы места Н. Н., то бы летел с престола теперь».

Нет никакого основания считать, что навязчивую идею Александры Феодоровны относительно великого князя разделял и Государь. По крайней мере ни в отношениях его к Николаю Николаевичу, ни в действиях, ни в суждениях это никогда не проявлялось. И если влияние императрицы и Распутина в этом направлении было все же велико, то оно, по всей вероятности, находило свое объяснение в мистически-религиозном понимании Государем своего предназначения и своей «богоустановленной» власти.

После выхода высочайшего указа о принятии Государем верховного командования Александра Феодоровна писала ему:

«Это — начало торжества твоего царствования. Он так сказал, и я, безусловно, верю этому».

Несомненно, она верила. Несомненно также, что Государь, спокойный и уравновешенный, не заходил так далеко, как она в своей мистике. Во всяком случае, он был вполне искренен, когда говорил противившимся его намерению министрам:

— В такой критический момент верховный вождь армии должен стать во главе ее.

В армии перемена Верховного не вызвала большого впечатления. Командный состав волновался за судьбы войны, но назначение начальником штаба Верховного генерала Алексеева всех успокоило. Что же касается солдат, то в деталях иерархии они не отдавали себе отчета, а Государь в их глазах всегда был главой армии. Одно обстоятельство, впрочем, вызывало толки в народе, оно широко отражалось в перлюстрированных военной цензурой письмах. Все считали, что «царь был несчастлив», что «ему не везло». Ходынка, японская война, первая революция, неизлечимая болезнь единственного сына...

Фактическим распорядителем всех вооруженных сил Российского государства стал ген. Михаил Васильевич Алексеев.

В сущности, такая комбинация, когда военные операции задумываются, разрабатываются и проводятся признанным стратегом, а «повеления» исходят от верховной и притом самодержавной власти, могла быть удачной. Но... Государь не имел достаточно властности, твердости и силы характера, и ген. Алексеев по тем же причинам не умел «повелевать именем царя».

В результате во второй период войны больше еще, чем в первый, проявляется несогласованность и стремление главнокомандующих фронтами преследовать свои местные цели. Ставка же налаживает соглашения, прибегает к уговорам и компромиссам, доходящим до абсурда, когда, например, весною 1916 г.

два главнокомандующих сорвали подготовленную большую операцию и притом совершенно безнаказанно.

Об этом говорю в следующей главе.

1916 год на фронтах войны

Пополненная, снабженная до известной степени оружием, патронами и снарядами русская армия в 1916 г. привлекала на себя преимущественное внимание противника и полуторные его силы по сравнению с западными фронтами.

Россия уже была главным театром мировой войны.

И русское командование, предоставленное своей судьбе во время великого отступления 15 года, никогда не отказывало в помощи своим союзникам, даже когда это было в явный ущерб нашим интересам. Я подчеркиваю этот факт, потому что в этой верности своему слову, которая тогда ни в ком в российской армии не вызывала сомнений, есть тот, ныне уходящий элемент чести и рыцарства, без которого не может быть человеческого общества.

1915 год был неудачен в борьбе англо-французов с турками — в проливах, на Балканах, в Малой Азии. Для отвлечения турецких сил Кавказская армия перешла в широкое наступление среди суровой горной зимы и азиатского бездорожья (126 русских батальонов против 132 турецких) и 16 февраля, разбив турок, ген. Юденич взял ключевую крепость Эрзерум. Эта победа вызвала переброску не только турецких дивизий со всех фронтов, но и бо́льшую часть общего резерва, против русской армии. В результате намечавшиеся турками операции в Египте и против Суэцкого канала были сорваны и положение англичан в Месопотамии улучшилось. Кавказская армия, продолжая наступление, к концу лета овладела Трапезундом, Эрзинджаном и продвинулась глубоко в пределы Турции.

Союзники должны были перейти в наступление весною, но германцы предупредили их, начав 21 февраля сражение для прорыва фронта у Вердена. По усиленным просьбам ген. Жофра для отвлечения немецких резервов Ставка предприняла большое наступление войсками Северного и Западного фронтов в марте — в самое неблагоприятное для нас время весенней распутицы. Операция эта, наспех организованная и плохо проведенная, среди бездорожья тающих снегов буквально захлебнулась в грязи и окончилась полной неудачей.

Плохая прелюдия к предстоящему июньскому наступлению, отразившаяся печально на духе войск и в особенности на психике главнокомандующих...

За это время в командовании нашем произошли перемены. В неудачах, постигших Юго-западный фронт, был обвинен совершенно напрасно начальник штаба фронта ген. Владимир Драгомиров и смещен (он получил 8-й корпус). Главнокомандующий ген. Иванов обрушился с целым обвинительным актом против Брусилова, но последнего поддержала Ставка. Обиженный несправедливыми нападками на свой штаб начальник штаба ген. Брусилова ген. Ломновский ушел в строй, получив 15-ю дивизию. В конце концов неудачное руководство Иванова, которое продолжалось и в начале 16 г. (операции 7-й и 9-й армий), заставило сменить и его. Главнокомандующим Юго-западным фронтом 5 апреля был назначен ген. Брусилов.

Детали предстоящего июньского наступления установлены были на военном совете в Ставке 14 апреля. Впоследствии, будучи начальником штаба Верховного главнокомандующего, я ознакомился с протоколом этого исторического заседания, представляющего большой интерес и в стратегическом, и особенно в психологическом отношении.

Присутствовали — Государь, главнокомандующие Куропаткин, Эверт, Брусилов со своими начальниками штабов, генералы Иванов, Шувалов, вел. кн. Сергей Михайлович и Алексеев.

Ген. Алексеев доложил план наступления: главный удар на Вильну (дальше — Берлин) наносит Западный фронт ген. Эверта, к которому направляются бо́льшая часть резервной тяжелой артиллерии и все корпуса из резерва Верховного главнокомандующего — силы и средства получались доселе небывалые на

русских фронтах. Впервые они более чем в полтора раза превышали противостоявшие германские.

Северный фронт ген. Куропаткина, усиленный в свою очередь частью общего резерва и тяжелой артиллерией, должен был наносить удар также в Виленском направлении. В общем севернее Полесья было собрано 70% российских сил (С. и З. фронты), а южнее (Юго-зап. фр.) оставалось 30%. Юго-западному фронту предлагалось держаться пассивно и выступить только в случае успеха на главном направлении.

Генералы Эверт и Куропаткин, ссылаясь на силу неприятельских позиций и насыщенность их артиллерией, в особенности тяжелой, отнеслись совершенно безнадежно к намеченной атаке.

Ген. Брусилов в горячих словах уверял, что его войска вполне сохранили боевой дух, что наступление возможно и при нынешнем соотношении вооружения он не сомневается в успехе его. Но что не может себе представить, чтобы во время генерального наступления его фронт бездействовал.

Ген. Алексеев возражал против пессимизма Эверта и Куропаткина, которые несколько смягчили свое заключение: наступать они могут, но не ручаются за успех. Ген. Алексеев согласился на активное участие в наступлении Юго-западного фронта, но подчеркнул, что ни войсками, ни артиллерией он усилить его не может и Брусилов должен довольствоваться собственными силами.

Итак, главный удар на Вильну, вспомогательный (Юго-запад. фр.) — на Луцк. Государь не высказывал собственного мнения, утверждая лишь предложения Алексеева. Интересно, что ген. Иванов после окончания совета пошел к Государю и со слезами на глазах умолял его не допускать наступления Брусилова, так как войска переутомлены и все кончится катастрофой. Царь отказался менять планы.

В таких условиях принимались решения о генеральном наступлении. Два главнокомандующих обоих активных фронтов явно потеряли дух, не верили в успех предприятия, не имели дерзания и могли своим пессимизмом заразить и начальников и войска. Казалось бы, самым естественным было убрать их немедленно и заменить другими, которые могли бы и хотели атаковать...

Собрал Брусилов своих маршалов: Каледин (8-я арм.), Сахаров (11-я), Щербачев (7-я), Крымов (9-я).

Один Щербачев высказывал сомнения и находил наступление нежелательным. Все остальные поддержали главнокомандующего.

Наступление предположено было в начале июня.

Но 24 мая пришла телеграмма от ген. Алексеева:

«Итальянцы потерпели сильное поражение и просят экстренно нашей помощи. Можете ли наступать?»

На этих строках последняя работа на земле генерала Деникина прервалась. Он умер от разрыва сердца.

Из плеяды первых борцов против большевизма генерал Деникин силою исторических обстоятельств был вынужден прекратить вооруженную борьбу и оставить свою Родину. С тех пор он неустанно продолжал бороться, разоблачая коммунизм словом и пером. Пять томов его фундаментального труда «Очерки русской смуты» (вышедшие в 1921—1926 годах) охватывают революцию 1917 г., захват России большевиками и гражданскую войну.

Его последняя неоконченная рукопись носит характер автобиографический, хотя весь центр тяжести он переносит на общероссийские обстоятельства и события, рассматривая их с точки зрения русского офицера и военного писателя. Закончить эту свою работу он предполагал так, чтобы «Очерки русской смуты» являлись ее естественным продолжением, осветив, таким образом, эпоху жизни России от 1870-х до 1920-х годов.

Господь не судил ему довести ее до конца.

Но эти книги явятся подспорьем для всякого историка этого периода.

Ксения ДЕНИКИНА

Публикация В. Козаченко.

●

Сергей ЛЁЗОВ

Миф о правовом государстве*

Философия — это усилие, связанное с постоянной проверкой всех очевидностей.

Лешек КОЛАКОВСКИЙ

Ой, не надо «Скорой помощи»!
Дайте медленную помощь.

Александр ГАЛИЧ

Словосочетание «правовое государство» оказалось ключевым термином при обсуждении нынешней реформы политико-правовой системы. В газетах появились рубрики «На пути к правовому государству», этот термин постоянно мелькает в радио- и телепередачах.

Буквально на наших глазах «правовое государство» стало метафорой с произвольным смыслом. Так, этнолог Л. Н. Гумилев в интервью по поводу выхода в свет своего труда «Этногенез и биосфера Земли» сказал: «Живая природа, частью коей мы являемся,— это «правовое государство», и человек не может по своей прихоти отменить в ней ни одно из вековечных предписаний» («Известия» от 23 июня 1989 г.). У читателя, стремящегося к точности словоупотребления, возникают в этой связи два вопроса: 1. Что значит «правовое государство» в той традиции, где это понятие возникло? 2. Для чего оно понадобилось советским реформаторам и что оно значит в контексте реформ?

Я попытаюсь наметить подходы к ответу на оба эти вопроса.

I

Само собой разумеется, что п р а в о как абсолютная ценность составляет необходимый и очень важный компонент учения о правовом государстве. Однако знакомство с философско-правовой традицией о правовом государстве заставляет думать, что содержательное ядро этого понятия — в о в с е н е ю р и д и ч е с к о е. Правда, в западной теоретической литературе можно встретить рассуждения о том, какими признаками «правовые» государства современности отличаются от «неправовых», но и здесь обычно предлагаются критерии различения, которые не назовешь чисто юридическими. Направление социальной мысли, известное в Европе под названием «критика идеологии», показало, что понятие «правовое государство» не имеет строго научного содержания. Во всяком случае, без него вполне можно обойтись при классификации типов государственности.

В связи с «критикой идеологии» имеет смысл вспомнить «чистое учение о праве» Ганса Кельзена (1881—1973), самого известного из теоретиков права нашего века и творца нормативизма — едва ли не самой спорной правовой концепции современности. Ведь именно Кельзен, вместе с Карлом Мангеймом и Юргеном Хабермасом, создал «критику идеологии» как самостоятельную научную дисциплину.

Свою систему философии права Кельзен завершил еще в первой половине тридцатых годов, в эпоху жестокого испытания и кризиса либерализма, когда многим казалось, что пора либеральной цивилизации миновала и наступает «новое средневековье» (Н. Бердяев). Естественно, что «свободное от идеологии познание права» (так Кельзен определял сущность «чистого учения») враждебно воспринималось и коммунистами, и национал-социалистами, то есть творцами политических утопий XX века, отказавшимися от права как самодовлеющей ценности.

В свое время мне пришлось провести около двух лет над переводом главного труда Кельзена, и, как кажется, я постепенно нашел путь в мир идей этого философа Кантовой складки, у которого за внешней сухостью вдруг обнаруживаешь страстную последовательность, с которой он разоблачал, выражаясь его собственными словами, «интересы, отличные от стремления к истине», стоя-

* Первый вариант этой статьи под названием «Правовое государство в интеллектуальной традиции» был опубликован в журнале «Страна и мир», 1989 г. № 5.

щие за различными политико-правовыми учениями.

Вот что Кельзен писал о концепции правового государства: «Традиционная доктрина государства и права не может отказаться от теории самообязывания государства и от обнаруживающегося в ней дуализма государства и права. Ведь этот дуализм выполняет чрезвычайно важную идеологическую функцию, значение которой невозможно переоценить. Государство должно быть представлено как *сущность, отличная от права*, для того чтобы право могло оправдывать создавшее его и «подчиняющееся» ему государство. А право может оправдывать государство лишь в том случае, если оно мыслится как некий порядок, *противоположный* исходной природе государства, то есть власти, и потому в каком-то смысле *правильный и справедливый*. Таким образом, государство из простого инструмента власти-насилия превращается в *правовое государство*, которое оправдывается тем, что создает право. По мере того как религиозно-метафизическая легитимация государства оказывается неубедительной, эта теория правового государства должна стать единственно возможным его оправданием».

И в самом деле, в центре любого размышления на интересующую нас тему оказывается вопрос о соотношении права и государства. Точнее, в теории правового государства предлагаются различные способы противопоставить их, позволяющие обосновать самообязывание (или самоограничение) государства.

Кельзен определял государство как «относительно централизованный правопорядок», и это отождествление государства и права позволяло ему заключить: «Всякое государство есть правовое государство, а сам этот термин представляет собой плеоназм» *. Правопорядок Кельзен определял как социальный порядок принуждения, то есть нормативный порядок, который стремится вызвать определенное человеческое поведение, связывая с противоположным поведением социально организованный акт принуждения (санкцию).

Иконоборческий радикализм Кельзена радует своей последовательностью. Но если рассматривать идеи Кельзена в *свете нашего опыта*, то можно заметить скорее черты сходства «чистого учения» с уличаемой им в идеологической предвзятости «традиционной теорией». К последней Кельзен относит чуть ли не все немецкие правовые учения конца XVIII — начала XX века, от «Метафизики нравов» Канта до исторической школы и правового позитивизма XIX в., недостаточно «очищенного» от реликтов естественноправовой мысли.

Кельзеново определение государства как централизованного нормативного порядка все же напоминает нам знаменитую формулу Канта: «Государство — это объединение множества людей, подчиненных правовым законам». Кельзен считал свое определение безоценочным и универсальным. И он был прав. Оно безоценочно и универсально *внутри* традиции западной социальной мысли, исходящей из определенного типа политической культуры. Но для нашей темы важнее то, что Кельзен, теоретическое мышление которого сформировалось в Австро-Венгрии перед первой мировой войной, смог выделить в качестве главного и даже абсолютизировать *правовой* аспект государства. Для сравнения: советский политолог Федор Бурлацкий вообще не употребил слово «право» в своем исходном определении государства, зато включил в это определение слова Ленина: «Государство есть машина для угнетения одного класса другим» (см. «Философский энциклопедический словарь». М., 1983, статья «Государство»).

Я сомневаюсь, что Ф. Бурлацкий стремился развить социологическое понятие государства в противовес юридическому. Скорее здесь сказывается некий тип мысли и культуры, радикально отличный от европейской традиции, внутри которой возникла идея правового государства вместе со своими критиками.

И все же с Кельзеном можно согласиться: при достаточно широком определении права всякое государство окажется *правовым* государством.

Скажем, право как передачу централизованному органу полномочия на свободное осуществление власти можно противопоставить Кельзеновой концепции права как нормативного порядка. В такой системе единственной общей нормой будет та, которая уполномочивает произвольные действия власти. Именно так можно понять исходный постулат теории «тотального государства», разработанной Карлом Шмиттом (1889—1985), другим крупнейшим философом права современности и антиподом Кельзена в области теоретического мышления.

Тем самым мы возвращаемся к представлению, согласно которому в понятии «правовое государство» подразумевается не только *право*, но и *моральная правильность и справедливость* (как мы видели, так считает и Кельзен). А это и указывает на неюридическую природу понятия правового государства.

Кстати, К. Шмитт со свойственной ему, беспощадному критику либерализма, проницательностью увидел — в своей перспективе — то же самое: понятие либеральной *правовой* государственности, которое призвано обосновать защиту гражданина *от государства*, — это понятие уже предполагает существование *властного* государства — аппарата *политической* вла-

* Т. е. в самом термине «правовое государство» имеется смысловая избыточность.

сти, в экстремальной ситуации берущего на себя бремя важнейших решений, затрагивающих всех граждан. По К. Шмитту, задача «буржуазного (то есть либерального) правового государства» сводится к ограничению «властного государства».

К. Шмитт как раз относился к числу философов, возвещавших конец либеральной цивилизации. В ту же эпоху великого кризиса западной демократии, в конце двадцатых — начале тридцатых годов, он называл теорию правового государства продуктом «устаревшей буржуазной идеологии».

Г. Кельзен критиковал доставшуюся нам от Канта и XIX века идею правового государства во имя интеллектуальной честности. К. Шмитт делал это же ради решения конкретных политических задач. По его мнению, в 20-е годы политический плюрализм и ценностный нейтралитет Веймарской республики привели к расколу немецкого общества на враждующие группировки, превратившие парламент в свое представительство — в учреждение, более не способное выражать интересы всего народа. Так плюрализм разрушил единство государства и нации. По Шмитту, единственный путь к подлинному равенству и демократии — воссоздание «субстанциального единства» государства и «национальной однородности» — создание того, что он называл «тотальным государством». Формой этого государства должна быть плебисцитарная (непосредственная) демократия. В ней «воля народа может выразиться возгласом, просто само собой разумеющимся, неоспоримым бытием — гораздо лучше, чем с помощью статистического аппарата (парламентарной демократии.— **С. Л.**), устройство которого за полвека было продумано до мелочей»,— писал К. Шмитт. Поэтому в приходе к власти Гитлера он смог увидеть освобождение немецкого народа «от столетней смуты буржуазного конституционализма».

Видимо, нет нужды специально показывать, насколько смысл этих старых споров актуален для сегодняшней России. Но я вспомнил здесь о них не ради злободневных ассоциаций, а лишь для обоснования моего исходного тезиса: понятие «правовое государство» не умещается в юридические рамки.

Русский юрист С. А. Котляревский аргументированно обосновал этот метаюридический подход к нашей теме в своей книге о правовом государстве, опубликованной в 1915 г. Вот одно из его резюмирующих замечаний: «Правовое государство выражает только известный уклон, устремление, запечатлевшееся в государственном строении и деятельности. Правовое государство относится к миру идей, но идей, неизменно осуществляющихся и преобразующих факты. Смысл его совершенно метаюридический, и юрист-догматик чистой воды имеет право им не интересоваться. Он справедливо чувствует, что, начиная размышлять о правовом государстве, он принужден оказаться в подозрительной для него близости к моралисту, философу, историку — во всяком случае, за пределами строгой юриспруденции».

Повсюду в истории политических идей мы видим поиски принципа, который должен ограничить власть-насилие. Своеобразие Запада лишь в том, что здесь политическая культура возложила функции такого принципа-ограничителя *на право*. Приведу для сравнения один пример: «Древнекитайская мысль исходила из логично обоснованного тезиса о том, что... тирании узурпатора или власти силы может быть противопоставлено только отеческое отношение мудрого правителя к народу» *.

Мы замечаем, что К. Шмитт был по-своему прав: в исторически сложившемся понятии «правовое государство» уже содержится отношение к государству как к злу (пусть и неизбежному) и вытекающее отсюда нравственное задание уменьшить это зло, смягчить его.

У С. А. Котляревского мы находим соответствующее стержневой европейской традиции трезвое отношение к государству, ясное понимание того, что его возможность творить добро гораздо меньше, чем свойственный ему потенциал зла: «Власть должна быть ограничена правом во имя справедливости; справедливость должна быть восполнена деятельной благожелательностью, которая в известном смысле есть высшая справедливость, вытекающая из достоинства человеческой личности... Высшая ступень дает смысл низшей, объемлет ее. Но для общества невозможно непосредственно подняться на высшую, и в этом основное оправдание государства правового... Правовое государство — это *преддверие*, так сказать, общежития, гармонирующего с духовными запросами человека... Государство глубокими корнями связано со стихией насилия и эгоизма; лишь в известных пределах может в нем воплотиться верховенство права, в меньших — господство справедливости, а в еще меньших — справедливости высшей, расширенной до милосердия... Но если государство не есть земное божество Гегеля, то оно и не холодное чудовище, каким его увидел Ницше; оно — отражение всей человеческой природы — и в ее темных низах, и в обращенных к вечному свету ее вершинах».

Итак, мы убедились в том, что европейская традиция, неотделимая от естественноправового учения, понимает под «правовым государством» в первую очередь не «верховенство права» (которое в массовом сознании превращается в «соблюдение законности»), а приближе-

* Васильев Л. С. Политическая и правовая мысль Китая./История политических и правовых учений. Древний мир. — М., 1985, с. 198.

ние сообщества к некоему идеалу, содержание которого может меняться. Мы увидели, что слово «*правовое*» в этом термине соотносится не только с позитивным правом, но также — и даже в большей степени — с неформализованным представлением о справедливости и защищенности. Теперь, чтобы продолжить разбор понятия правового государства, надо ответить на вопрос: что означает «*государство*» внутри традиции о правовом государстве?

Прежде всего надо заметить, что рассматриваемая нами традиция ориентируется на тот тип властной организации человеческого общежития, который возник в Европе Нового времени. Ни древневосточные империи, ни греческий полис, ни позднеантичный Рим, ни средневековые королевства не считаются государствами в том смысле, в каком это слово употребляется в составе термина «правовое государство».

Представление о государстве как о явлении, специфичном для Нового времени, опирается не на какую-то определенную историософию, а скорее представляет собой широко распространенное в современной европейской науке положение, разделяемое сторонниками различных школ, в том числе и некоторыми марксистами (и оспаривается это положение тоже с разных позиций). Так, испанский правовед и политический деятель Г. Песес-Барба Мартинес в своей написанной с неомарксистских позиций работе о происхождении теории прав человека замечает: «Государство — явление современной эпохи, хотя оно и усвоило идеи и институты античности и средневековья... Термин «государство» означает не всякую форму политической организации, а лишь ту, которая возникает в Новое время. К ее отличительным чертам относятся, в частности, суверенная власть, рациональность администрации, государственная собственность, постоянная армия, религиозный нейтралитет». Итальянский историк римского права Рикардо Орестано показывает, что применение термина «государство» к условиям Древнего Рима мешает понять специфику изучаемых правовых отношений. Помехой становятся современные обертоны этого термина: «История не знает государства античного и государства современного, а только современное, потому что только к нему может относиться в техническом смысле наименование «государство» и то, что оно должно обозначать».

Отечественный читатель привык иметь дело с тем понятием государства, которое используется в советской учебной литературе по общественным наукам и основано на теории Ф. Энгельса, изложенной им в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Согласно общепринятой в этой литературе точке зрения, государство появляется в результате возникновения антагонистических общественных классов и борьбы между ними. Грубо говоря, государством считается всякая централизованная организация власти в сообществе, разделенном на враждующие между собой социальные группы.

Поэтому используемое в моей работе «узкое» понятие государства нуждается в истолковании. Говоря о государстве как о явлении, специфичном для Нового времени, западные ученые имеют в виду главным образом **совокупность** следующих характеристик.

1. Разделение светской и духовной власти. Эта идея всегда присутствовала в западном христианстве, но при возникновении современного понятия государства (с XVI в., то есть в эпоху Реформации) католическая доктрина «двух мечей» * была интерпретирована в том смысле, что монархи получают свою власть не от папы как посредника между Богом и людьми, а непосредственно от Бога. Здесь очевидно решающее влияние Реформации на политическую мысль.

2. Понятие суверенитета. В политической мысли Нового времени оно имеет два аспекта: внешний и внутренний. Это значит, что никакая внешняя инстанция не может принимать решения на данной территории, а внутри этой территории господствует единая властная инстанция (например, суверенный монарх).

3. Прямое правление. Благодаря прямому правлению подданные получили возможность стать гражданами. Институт гражданства существовал еще в Древней Греции, в республиканском Риме и в Римской империи. Однако лишь в Новое время прямая («вертикальная») связь между правительством и гражданами возобладала над «горизонтальными» связями в локальном сообществе.

4. Разделение публичной и частной сфер. Оно возникло как результат разрастания собственно «государственного». До Нового времени даже отправление власти воспринималось как «личное» дело монарха. Но уже у Гоббса Левиафану (абсолютному в публичной сфере государству) противостоит отдельная от него частная сфера. Естественно, эта ранняя модель современного государства отражала усложнившуюся реальность.

5. Изменилось значение права. Право стало выражением государственной власти суверена. При этом сама королевская власть стала объектом права. Поэтому средневековая английская юридическая максима «The king can do no wrong» (король не может преступить закон, ибо закон тождествен его воле) приобрела новый смысл: «Король не вправе нарушить закон». Вместе с верховенством английского парламента над королем возникает идея верховенства права.

6. Возникновение государственного бюрократического аппарата как инструмента управления.

* Доктрина разделения духовной и светской власти.

7. Растущее вмешательство государства в экономику. Интервенционистская политика государства вела к централизации хозяйственной жизни.

8. Различение сфер «государства» и «общества», почти не имеющее аналогий в прежней истории и во внеевропейских культурах. (Это положение будет подробнее раскрыто ниже.)

9. Создание регулярной армии на основе новой военной технологии (прежде всего следует отметить появление артиллерии, способствовавшей усилению монополии государства в военном деле).

Помня об этом историческом аспекте проблемы, перейдем к содержательному определению понятия «государства», как оно используется в теоретической традиции о правовом государстве.

Самая общая формулировка будет звучать примерно так: государство — это политическая организация общества. Наличие выделенных общей теорией государства и права XIX в. признаков — территории и населения — здесь подразумевается. Понятие «политическая организация» будем считать (в соответствии с исследуемой традицией) тождественным понятию «публичная власть». Ю. Хабермас даже назвал государство «публичным пространством». В свою очередь, «публичная власть» означает систему публичного (прежде всего государственного, или конституционного) права. Таким образом, понятие права включено в понятие государства. Теперь мы можем дополнить наше определение: «Государство — это политическая организация общества *посредством права*». Далее, из этого определения следует, что государство в новоевропейском смысле *предполагает* существование общества, которое предстоит политически организовать. Другими словами, общество — *предпосылка* государства. Например, абсолютистские государства Западной Европы XVII—XVIII вв. политически организовывали сословное общество, в котором уже было «третье сословие». Понятно, что общество обладает сложной и подвижной структурой. Кроме того, всякое общество в контексте изучаемой традиции — это «массовое общество».

Как раз эти признаки — собственная структура и массовый характер — подразумеваются в выражении «гражданское общество». Если принять, что государство — феномен Нового времени, то термин «гражданское общество» практически означает «буржуазное общество». Таким образом, определения «массовое» и «гражданское» («буржуазное») уже входят в содержание понятия «общество», как оно употребляется в теоретической традиции о правовом государстве.

Выражение «гражданское общество» (или просто «общество») стало одним из ключевых в российской публицистике последних лет. Здесь оно обладает несколькими связанными между собой значениями. Прежде всего «общество» как синоним «общественного мнения», то есть некоей силы, от имени которой публицисты (как они считают) уполномочены что-то говорить, в особенности предъявлять те или иные требования «властям». Далее, «общество» воспринимается как более или менее организованная политическая сила, противостоящая государству. Вот одно из характерных высказываний сегодняшней публицистики на эту тему: «В обществе, еще не успевшем осознать и воссоздать себя как гражданское — через систему демократических институтов, обусловленности обязанностей государства правами человека, независимости печати и т. д.,— в нашем обществе все еще силен недуг отказа от самопознания» *. Осенью 1988 г. в большом собрании московских социологов говорилось о том, что «события в Армении надо интерпретировать как конфликт между гражданским обществом и государством».

Для понимания специфики разбираемой темы важно не упускать из виду одно обстоятельство, никем вроде бы не оспариваемое, но почему-то иногда забываемое: демократические институты, признанные государственным законодательством права человека, свободная пресса и многое другое — это лишь поздние плоды «гражданского общества», но вовсе не его определяющие признаки. Гражданское общество может существовать — и существует — без всех этих признаков. Оно не может существовать лишь без пространства свободы — не духовной свободы, не мифической «тайной свободы», воспетой Пушкиным и Блоком, а свободы в самом элементарном смысле. Герой книги В. Гроссмана «Все течет» говорит о ней: «Я раньше думал, что свобода — это свобода слова, печати, совести. Но свобода — она вся жизнь всех людей, она вот: имеешь право сеять, что хочешь, шить ботинки, пальто, печь хлеб, который посеял, хочешь, продавай его и не продавай...»

«Пространство свободы» — это прежде всего свобода собственности. Правовой институт частной собственности — единственный демократический институт, без которого не может существовать общество как самостоятельная величина, отличная от государства.

Право частной собственности — не одно из «социально-экономических» прав, а *основа* классического каталога гражданских и политических прав человека, то есть основополагающее *политическое* право. Вспомним, что важнейшие декларации прав человека XVIII в. — американская и французская — стали частью правовой системы именно в результате буржуазных революций.

Этот тезис относится к основополагающим постулатам политического либерализма. Современный американский либе-

* Г. Ч. Гусейнов, Д. В. Драгунский. Национальный вопрос: попытка ответа. М., «Вопросы философии», 1989, № 6, с. 44.

ральный экономист Милтон Фридмэн пишет: «Мне не известно ни одно общество, которое отличалось бы большой степенью политической свободы и в то же время не пользовалось бы для организации значительной части экономической деятельности неким подобием свободного рынка... История подсказывает лишь одно: капитализм есть необходимое условие политической свободы». Разумеется, история показывает и то, что это условие недостаточное. Опираясь на общеизвестные примеры, М. Фридмэн констатирует: «Можно иметь капиталистическое по сути своей экономическое устройство и в то же время несвободный политический строй».

Надо отметить, что в последнее время эта простая мысль о соотношении экономической и политической свободы преодолевает наши идеологические препоны и все больше становится достоянием широкой публики.

Итак, понятие гражданского общества подразумевает не «гражданственность», а буржуазность, то есть некоторую степень экономической независимости человека от государства, возможность получать свой хлеб не из рук государства; возможность писателю — пописывать, читателю — почитывать, возможность жить в мире, где все продается и покупается, а не распределяется государством по заслугам. Именно здесь начинается «пространство свободы», конститутивное для гражданского общества.

Тут уместно привести мысль Канта о том, что активным гражданином «истинной республики» (или членом societas civilis) может быть лишь человек, обладающий, в частности, «атрибутом гражданской самостоятельности — быть обязанным своим существованием и содержанием не произволу кого-то другого в составе народа, а своим собственным правам и силам». Как известно, именно Кантова философия права лежит в основе традиции о правовом государстве. Локк, Монтескье и Руссо были ее предтечами, в их творчестве разработаны необходимые компоненты будущего учения о правовом государстве, но как целостное интеллектуальное построение это учение оформилось у Канта, получив свое нынешнее имя еще позже — в трудах немецких правоведов первой половины XIX в.

Конечно, и Кантову философию права надо интерпретировать в свете нашего опыта. Так, Кант считал «активными гражданами» людей, состоящих на государственной службе,— рядом с «европейским столяром или кузнецом, которые могут публично выставлять на продажу изготовленные ими изделия». Естественно, это применимо лишь к описанному выше понятию государства.

Кантов критерий гражданской самостоятельности (по Канту, лишь активные, то есть экономически самостоятельные граждане должны обладать избирательным правом) уже предполагает существование экономики свободного рынка, основы гражданского общества. Государственные служащие (в частности, бюрократический аппарат, составляющий, согласно известному тезису Макса Вебера, один из важнейших признаков государства Нового времени) лишь приравниваются у Канта к изначально самостоятельным гражданам. И это приравнивание вполне оправданно, если исходить из определения государства как формы политической организации гражданского общества. Но рассуждения Канта обессмысливаются, если допустить, что государство само становится единственным работодателем.

Как известно, Кант был противником того, что теперь называют социальным государством, и, следовательно, предшественником таких радикальных защитников экономического либерализма, как Фридрих Хайек и Милтон Фридмэн. По мнению Канта, забота о благосостоянии граждан не должна входить в число юридических обязанностей государства, так как «счастье», результат такой заботы, не может стать правовым (то есть всеобщим) принципом, поддающимся одинаковому применению. Ведь вся этика Канта (философия права составляет ее часть) — это поиск всеобщих и общеобязательных оснований для действия. Понятно, что такой подход к нравственности и праву соответствует всему стилю мышления Канта. Кроме того, Кант полагал, что возведенная в закон (то есть принудительная) благотворительность подразумевает деспотическое, патерналистское отношение государства к человеку.

Вероятно, было бы опрометчиво полностью сводить эти мысли Канта к их социальному контексту — к абсолютистскому государству эпохи «неразвитого капитализма» в Пруссии конца XVIII в.— и отрицать их актуальность для сегодняшней либеральной демократии, для «демократического и социального правового государства» (Основной закон ФРГ, ст. 28). Современное социальное государство с его механизмами перераспределения благ и защиты аутсайдеров было бы немыслимо без предварительного ничем не ограниченного развития рыночной экономики, то есть того самого «пространства свободы», которое составляет специфику гражданского общества. Моральная оправданность современного западноевропейского социального государства как проявления «институциализированной любви к ближнему» не вызывает сомнений. Однако ясно, что принцип «социальности» по природе своей гораздо ограниченнее принципа основанной на праве свободы. Идея социального государства — это корректива, пусть и принципиально важная.

Подведем итоги нашим рассуждениям, касающимся первого из предложенных вначале вопросов: каково традиционное значение понятия «правовое государство»? Разумеется, я стараюсь учитывать лишь общие черты различных вариантов этой теоретической традиции и не углубляться в темы, составляющие и сейчас предмет споров.

Традиция о правовом государстве представляет собой череду непрекращающихся попыток совместить взаимоисключающие начала: автономию личности и внешний по отношению к человеку порядок принуждения (устанавливаемое государством право); «пространство свободы» и создаваемое властью «публичное пространство» (проблематика «государство и общество»); демократические ценности (законодательствующая воля большинства) и либеральные ценности, выразившиеся в классической концепции прав человека.

Конституционализм, теория и практика разделения властей, сочетание сложных систем представительной демократии с элементами непосредственной демократии, система политических партий — все это возникло на путях поиска синтеза, или, точнее, подвижного равновесия этих начал.

Следовательно, институты современного западного государства и общества можно понять как обусловленные местом и временем рамки, внутри которых снова и снова ставится вопрос о *способе сосуществования личности и власти* и даются (всякий раз предварительные) ответы на этот вопрос — основной вопрос традиции о правовом государстве.

II

Теперь я перехожу ко второму вопросу: как можно истолковать тот факт, что наш Президент выдвинул в центр программы реформ политико-правовой системы именно словосочетание «правовое государство» — словосочетание, обладающее именно таким смысловым полем, которое я попытался описать в первой части этой работы?

Летом 1986 г. в Москве над Тверской (тогда еще ул. Горького) висел огромный плакат:

«ПЕРЕМЕНЫ НЕИЗБЕЖНЫ.
ОНИ КОСНУТСЯ КАЖДОГО»
М. ГОРБАЧЕВ

Время показало, что автор процитированных на плакате слов был прав. Понятно, что в наших условиях для проведения тотальной («коснуться каждого») политической кампании необходимы удовлетворяющие определенным требованиям лозунги. Вдумываясь в значение лозунга «Формирование *социалистического* правового государства», можно понять и характер этих требований, продвинувшись тем самым в попытке осмысления всей нашей проблематики.

Здесь поможет сравнение с эпохой Хрущева. Мне кажется, что «социалистическое правовое государство» Горбачева — функциональный аналог «коммунизма» Хрущева.

Рассмотрим черты сходства этих идеологических конструкций.

Если Программу КПСС 1961 г. и другие тексты того времени, упоминающие о «построении коммунизма», рассматривать в их историческом контексте, то обнаруживается, что вопреки ожиданиям они не производят впечатления самодостаточной идеологемы, не имеющей никакого отношения к реальности. В самом деле, между 1953-м и 1961 годами уровень жизни в нашей стране повышался. После «сельскохозяйственного» Пленума ЦК КПСС в сентябре 1953 г. прекратилось более чем тридцатилетнее вымаривание деревни голодом: крестьянам разрешили заводить приусадебные хозяйства и скот, отменив «завышенные нормы поставок продуктов с приусадебного хозяйства» (потом сам же Хрущев все это порушил). Появились у нас и начатки социального обеспечения: в пятидесятые годы пенсии по старости для некоторых категорий работающих стали соизмеримы с прожиточным минимумом и благодаря этому впервые возникла сама возможность «уйти на пенсию» (раньше и слов таких не было). В сталинской Москве отдельные (некоммунальные) квартиры были главным образом у семей начальства, а Хрущев начал массовое жилищное строительство. Рабочий день был сокращен до семи часов. Цены на предметы первой необходимости в пятидесятые годы почти не повышались, а минимальная зарплата росла. Словом, «оттепель» (то есть прекращение массовых репрессий и частичная десталинизация в идеологии) шла на фоне экономического подъема, который правительство использовало в целях социальной политики.

Противоположные экономические тенденции, сказавшиеся, в частности, в денежной реформе и в повышении цен на продовольствие, стали явными лишь в последние годы правления Хрущева.

На этом фоне нехитрый коммунизм Хрущева вовсе не казался чем-то ирреальным. Ведь подлинной точкой отсчета служил не «1913 год» коммунистической пропаганды, а наши нищие тридцатые — сороковые. «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям». Но «нынешнее поколение советских людей», которому предстояло жить при коммунизме, выросло в бараках, и не так уж велики были его потребности. «Хрущоба» вполне заменяла хрустальный дворец утопии.

В самом деле, в начале шестидесятых годов молодые люди с техническим образованием строили графики экономического развития, беря за основу статистику нескольких предыдущих лет (было такое увлечение). И получалось, что, исходя из наличного уровня и заданных темпов роста, можно в указанные сроки достичь показателей, близких к тем, ко-

торые предполагались программой построения «материально-технической базы коммунизма». Показатели эти не были фантастически высокими. Коммунизм мыслился как гигантский, распространенный на все население *спецраспределитель*. Все материальные блага окончательно изымаются из свободного оборота и распределяются «по потребностям», то есть в соответствии с некоторыми нормами. (Конечно, социально-психологическая основа этой идеи — богатый опыт распределения по карточкам.) Денег в такой ситуации действительно не нужно, и поэтому все станет бесплатным. Стилистически программа построения коммунизма полностью соответствовала ленинско-сталинскому волевому подходу к истории: «Нет таких крепостей, которых не могут взять большевики!» И в чисто экономическом плане эта программа была не более безнадежной, чем первый пятилетний план. В общем, нелепого и неосуществимого в ней было не больше и не меньше, чем во всех предыдущих хозяйственных начинаниях коммунистов. В конце концов нет ничего удивительного в том, что в окружении Хрущева не было специалистов по нашей «политической экономике», которые показали бы, что уменьшение темпов экономического роста, а затем и стагнация неизбежны.

Лишь одна черта *сразу же* выдавала безумный характер всего замысла. Конечно, я имею в виду лозунг «догнать и перегнать Америку». (Это «догнать и перегнать» мыслилось как условие или необходимый признак построения коммунизма.) Встретившись в 1960 г. «лицом к лицу с Америкой», Н. С. Хрущев не понял, что основа ее экономического могущества не в

«производстве стали
на душу населения в стране»

и не в кукурузных полях, на которых он беседовал с американскими фермерами. Он не знал, что эту основу следует искать совсем на другом уровне.

Хрущев — пусть неверный, но сталинец — мог бы взять и эту крепость и объявить свой малогабаритный коммунизм построенным. Но он, вероятно, не понимал, что наша Родина живет в историческом времени, отличном от того, в котором существует современное индустриальное общество. Что лозунг «догнать и перегнать» бессмыслен даже на грамматическом уровне.

В чем *сходство* между программами «построения коммунизма» и «формирования социалистического правового государства»?

Во-первых, в том, что начальство пыталось использовать оба эти понятия для политической мобилизации масс в периоды реформ. Оба лозунга, функционируя внутри известной идеологии, обозначают некое идеальное состояние социума, оказываются светскими аналогами представления о царстве Божьем.

И, во-вторых, в том, что содержание обоих этих понятий было выхолощено, когда они стали ключевыми терминами реальной политики. Мы уже знаем, как это случилось с «коммунизмом».

Конечно, понятия «коммунизм» и «правовое государство» относятся к разным традициям социальной мысли Запада. Поэтому достойно внимания то обстоятельство, что наш Президент и Генеральный секретарь ЦК КПСС позаимствовал в отличие от Хрущева ключевое слово своей программы из чужого («буржуазного») словаря. Вот как воспринял это один отечественный правовед из поколения «ровесников Октября»: «Без тени смущения сознаюсь, что первое печатное упоминание «социалистического правового государства» вызвало во мне чувство, близкое тому, которое испытал Робинзон Крузо, узрев на своем богоспасаемом острове след чужестранной человечьей ступни. И было отчего. Разве мы не писали о правовом государстве как об идеалистической концепции, бесцеремонно подменяющей...» и т. п.

Но определенные навыки мышления устойчивее, чем его содержание. Соответственно в Идеологии форма важнее и долговечнее смысла. Поэтому, включившись в ее строго организованное пространство, идея правового государства была ассимилирована, то есть формально уподоблена основному составу Идеологии. Понятно, что это ведет и к содержательному обеднению.

Обратимся к документу, в котором дается наиболее полная официальная трактовка «социалистического правового государства»,— к резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС «О правовой реформе», принятой в июне 1988 г., когда компартия де-юре (по Конституции СССР) еще была «ядром политической системы» нашего общества, то есть его главной властной структурой. Обстоятельства создания этой резолюции сейчас представляют уже чисто исторический интерес, однако тексты нормативных актов, изданных в 1989—1990 гг. союзными законодательными органами — Съездами народных депутатов и Верховным Советом СССР,— не содержат содержательно новых по сравнению с этой резолюцией трактовок понятия «правовое государство». Можно предположить, что законодательные собрания Союза ССР не испытывали потребности в новой интерпретации этого понятия.

Резолюция конференции КПСС использует гуманистический смысл понятия «правовое государство», не давая, однако, его определения. Поиски элементов определения в тексте приводят к следующему результату: социалистическое правовое государство характеризуется тем, что в нем обеспечено «верховенство закона» и усилены «механизмы поддержания социалистического правопорядка на основе развития народовластия». Далее перечисляются направления правовой реформы: пересмотр законодательства, создание Комитета конституционного надзора и т. д. Тут же встречаются фразы, не имеющие юридического смысла: «Следует *повысить ответственность* каждого гражданина перед своим трудовым коллективом, государством и обществом в целом».

В праве вопрос об ответственности — это вопрос об установлении адресата санкции. Следовательно, *ответственность* нельзя ни повысить, ни понизить. (Субъект правоотношения может быть только привлечен к ответственности или освобожден от нее.) Такие фразы свидетельствуют о том, что резолюция была составлена людьми, не владеющими ни русским языком, ни основами права.

Наконец, вызывает сомнения осмысленность самого словосочетания «*социалистическое* правовое государство». Прилагательное «социалистическое» указывает здесь одновременно на господствующую в нашей стране форму собственности и на определенную идеологию. Но, как мы видели, идея правового государства неотделима от мировоззрения, исключающего эту идеологию. Более того, идея правового государства уже подразумевает частную собственность в качестве первичной и исходной. *Социальное* правовое государство остается с экономической точки зрения *буржуазным* государством.

Но гораздо важнее то, что сама формулировка цели — «создание правового государства» (пусть даже без прилагательного «социалистическое») — возникла в полном отрыве от социальной реальности, «данной нам в ощущении». Это целеполагание основано на ложных предпосылках — точно так же, как поставленная Хрущевым цель «догнать и перегнать Америку».

Остановлюсь на главной из этих предпосылок. Юридическая публицистика исходит, как правило, из того, что *у нас уже есть государство* и теперь посредством *юридических* реформ надо сделать его *правовым*. А ведь на свете существует лишь одна — западная — традиция о правовом государстве. Как я пытался показать, эта традиция оперирует понятием о государстве как о политической организации гражданского общества, о публичной власти. Мы видели, что идея права уже содержится в таком понятии государства.

Между тем фундаментальная особенность организации власти, созданной в нашей стране коммунистами,— ее подпольный, нелегальный характер. Отсутствует составляющее специфику современной государственности «публичное пространство». Все важнейшие решения (в первую очередь решения относительно того, кому, когда и как предстоит решать тот или иной вопрос) принимаются неформальной элитой, которую нельзя отождествить с каким-либо «видимым» органом власти.

Сейчас у нас широко обсуждаются несколько авторитетных политологических теорий, объясняющих происхождение, структуру и функционирование созданного коммунистами аппарата власти. Наиболее известные из этих теорий принадлежат Фридриху Хайеку, Ханне Арендт, Миловану Джиласу, Абдурахману Авторханову, Михаилу Восленскому. Здесь не место говорить об их сильных и слабых сторонах. Замечу лишь, что я не могу до конца согласиться с известной концепцией «партократии», если эта концепция подразумевает, что верховная власть принадлежит (или до недавних пор принадлежала) Политбюро ЦК КПСС, где решения по важнейшим вопросам принимаются большинством голосов. Неприемлемо для последних десятилетий и представление о единоличной диктатуре Генерального секретаря. В обоих этих случаях наличествовал бы некоторый минимум если не публичности, то «прозрачности», рациональности власти. Некоторые авторы считают, что важнейшие решения в этой системе власти принимаются в результате выработки консенсуса между «внутренней партией», КГБ и руководством «военно-промышленного комплекса».

Разумеется, эти разногласия интересны для нашей темы лишь потому, что они тоже свидетельствуют о подпольном, внерациональном и непредсказуемом характере власти. Надо добавить, что в период нынешних реформ этот непредсказуемый, неформальный характер власти только усилился. Вспомним обстоятельства учреждения президентства, подумаем о том, сколько новых органов власти (отчасти с одинаковыми функциями) было создано за последние годы, сколько изменений вводилось в Конституцию СССР ad hoc!*

Стоит задуматься и о том, почему законодатель взял на себя несвойственные ему функции политического публициста. Ведь о многих принятых в последнее время законах можно с уверенностью утверждать, что они никогда не будут применяться и, видимо, не рассчитаны на применение. Это относится, например, к принятому в марте 1990 г. Закону СССР о порядке выхода республик из Союза. Реальная ситуация в нашей стране такова, что неприменимость предусмотренной этим законом процедуры очевидна. Стало быть, перед нами не юридическая норма, а просто декларация, смысл которой можно выразить в одной фразе: «Республики смогут покинуть Союз в том случае, если с этим согласится Центр, и на условиях, предложенных Центром». А это и значит, что нормотворчество подменяется публицистикой.

Возникает вопрос: можно ли достичь

* Применительно к конкретной ситуации

правового состояния на неправовых путях?

Таким образом, неверна предпосылка, согласно которой у нас е с т ь г о с у д а р с т в о, да еще и сильное (или всепроникающее, вездесущее и т. п.). Как справедливо заметил В. С. Нерсесянц, не следует путать этатизм с тоталитаризмом *.

Что же касается «гражданского общества» (в предложенной выше, да и в любой из существующих интерпретаций этого термина), то специальных доказательств его небытия в нашей стране, видимо, уже не требуется. Сейчас, в 1991 году, можно говорить лишь о подготовке условий для его возникновения.

Стало быть, есть серьезные основания предполагать, что нынешний лозунг о «с о з д а н и и правового государства» стоит в одном смысловом ряду с «человеческим фактором», «социалистическим плюрализмом» и «социалистическим выбором», «белыми пятнами» и «приматом общечеловеческих ценностей». Само неуклюжее строение этих политических неологизмов указывает на то, что перед нами попытка вместить в готовые идеологические формы новое содержание, заимствованное из западной гуманистической традиции. Но еще палестинские крестьяне эпохи римского принципата знали: «Никто не ставит на старую одежду заплату из новой ткани: иначе новая заплата оторвется от старой одежды и прореха станет еще хуже. И никто не вливает молодое вино в старые мехи: иначе вино прорвет мехи — и вино вытечет, и мехи пропадут».

В конечном счете нет смысла доискиваться, когда рассуждения в этих терминах ведутся добросовестно, а когда — из пропагандистских соображений. Ведь дело идет о судьбе нашей страны, оказавшейся в историческом тупике, быть может — на пороге новой катастрофы, которая «коснется каждого». И если в этой ситуации вообще оправдан анализ лозунгов, то можно сказать так: не надо красивых слов насчет «социалистического правового государства». Нужно п р о с т о г о с у д а р с т в о, то есть следует «просто» вывести власть из подполья, придать ей публичный характер. Движение в этом направлении («создание государства») привело бы к последовательному упразднению всех нелегальных структур нынешней политической организации. В частности, «создание государства» подразумевает освобождение власти от идеологии, то есть отказ от всякой высшей легитимности (вроде «социалистического выбора») в пользу простой легальности.

Читатель, вероятно, спросит: можно ли в политическом развитии последних лет увидеть шаги в эту сторону? Разве эти годы не дали нам то, что можно расценить как первые попытки открытой политической борьбы (вместо подпольной аппаратной грызни) и начатки публичного формирования государственной воли? Можно ли видеть во всем этом возникновение «публичного пространства»?

Не знаю. Динамика политической жизни свидетельствует о том, что возможности для «создания государства» (в указанном смысле) уже в значительной мере упущены.

А если мы по-прежнему будем стремиться к точности, то надо сказать, что дело даже не в сиюминутных упущенных возможностях и не в коварстве «номенклатуры», срывающей прогрессивные начинания и норовящей установить «диктатуру». Гораздо важнее то, что в России не выполнены условия, необходимые для «создания государства». Древо **законной**, т. е. основанной на праве, **свободы** никогда не произрастало на нашей земле.

В самом деле, мы хотели бы надеяться, что в обозримом будущем жизнь в нашей стране станет, по слову И. В. Сталина, лучше и веселее, что наше существование будет более свободным, более сытым и безопасным. Видимо, именно поэтому в своих политических суждениях мы склонны исходить из предпосылки, согласно которой смысл сегодняшних социальных сдвигов заключается в попытке перехода от «тоталитаризма» к открытому обществу, в конечном итоге — в попытке создания общества, основанного на принципах и ценностях либеральной демократии.

Читатель мог убедиться в том, что сама идея правового государства укоренена как раз в традиции европейского либерализма. Вне этой традиции «правовое государство» становится бессодержательным словом, которое можно использовать для любых целей — даже для оправдания репрессивных мер.

И тут возникает вопрос: а верна ли предпосылка, согласно которой наше общество пытается усвоить ценности либерализма? Верно ли мы понимаем сам вектор развития российской политической культуры?

Кронид Любарский доказывал в очень ярком и остроумном эссе *, что социалистическая цивилизация в нашей стране умерла скоропостижной смертью, не оставив плодов: «Корни сгнили. Распался самый фундамент здания, которое казалось столь величественным, и, лишенное опоры, оно рухнуло».

Но я боюсь, что весть о смерти нашей цивилизации преждевременна: она еще сумеет постоять за себя. Используя метафору корней и плодов, можно сказать, что как раз **корни**, питающие нелиберальный тип политической культуры, остались целы. Конкретная идеология

* Нерсесянц В. С. Правовое государство: история и современность. М., «Вопросы философии». 1989. № 2. с. 11.

* См. «Новое время». 1990. № 41. с. 32—35.

рухнула, ибо она уже давно была мертва, но ее «корни», т. е. глубочайшие основы самопонимания, дадут — и уже дают — свежие побеги.

Я не вижу в нашей жизни ростков нового самопонимания, не вижу признаков того, что мы приближаемся к тем нормам, которые составляют «фундамент» либеральной демократии. Мы замечаем, что смерть коммунистической идеологии обессмыслила и идеологию антикоммунизма, но новые ценности из этой взаимной аннигиляции не возникли.

Как я пытался показать в другой работе **, даже политическая оппозиция времен «реального социализма», действовавшая под **правозащитными** лозунгами, не смогла выработать подлинно либеральную социальную культуру. Если же мы задумаемся о природе сегодняшней оппозиции, ставшей реальной политической силой и вроде бы готовой взять на себя ответственность за судьбы страны, то придется вспомнить старую истину: отрицание живет за счет того содержания, которое оно отрицает.

Печальнее всего то, что политическая этика сегодняшних демократов во многом производна от того нравственного уровня, который задали в нашем обществе коммунисты. Наши демократы недемократичны, наши либералы нелиберальны в своем общественно значимом поведении, если под «либерализмом» понимать не набор лозунгов, а целостный образ мышления и действий, сформированный идеалом свободы и достоинства личности.

Значит ли все сказанное, что надежды нет? Не выходит ли так, что последнее слово остается за историческим фатализмом, за зловещим «общественным бытием», которое, как говаривали встарь, определяет «общественное сознание»? Следует ли из сказанного, что мы целиком во власти безликих «объективных закономерностей»? Ведь читатель может понять мои рассуждения в том смысле, что «правовое государство» не имеет к нашей жизни никакого отношения, что для нас оно остается элементом мифа о прекрасном и гуманном Западе — мифа, который в последние годы навязывают нам отечественные средства массовой информации.

Такой вывод был бы неверен. Здесь я снова вспоминаю Канта. Его четвертая антиномия *** чистого разума гласит: «Человеку присуща свобода — у него нет никакой свободы, но все в нем природная необходимость». А моральная философия Канта исходит из **веры** в свободу человека, который сам дает себе нравственный закон.

Для нашей темы это значит, что путь к свободе, конечно же, не закрыт. Мысль Канта подразумевает, что «красиво жить не запретишь»: даже самый репрессивный режим и самая неблагоприятная культурная традиция не в состоянии «запретить» человеку распрямиться и стать свободным, если он действительно хочет этого. Примеры у нас у всех перед глазами. И тогда надеяться остается только на возникновение **сообщества** свободных людей, которые не позволят исключить себя из ответственности за судьбы страны. Такое сообщество стало бы формообразующим кристаллом открытого общества, способного ставить и решать **свои** задачи независимо от прогнозов политической погоды на сегодня-завтра, то есть от проводимых властью политико-идеологических кампаний.

У русского историка Т. Н. Грановского есть слова, которые воспринимаются как ответ на наш вопрос о возможности надежды: «Массы коснеют под тяжестью исторических и естественных определений, от которых освобождается мыслью только отдельная личность. В разложении масс мыслью заключается процесс истории. Ее задача — нравственная, независимая от роковых **** определений личность и **сообразное требованиям такой личности общество».**

Это значит, что даже в плане реальной политики нам остается надеяться только на самих себя, пусть унаследованный нами тип культуры и не способствует свободному самостоянию человека. Личное освобождение каждого из нас ведет и к социальным последствиям. И если мы все же сумеем вывести власть из подполья и заставим ее работать «при свете дня», то можно будет сказать, что еще не все потеряно.

Август 1989 — февраль 1991.

** С. Лёзов. Освобождение или выживание? Искусство кино. 1991. № 1. с. 71—80.

*** Сочетание взаимоисключающих положений, признаваемых истинными одновременно.

**** Т. е. обусловленных внешними социокультурными обстоятельствами.

А. АВТОРХАНОВ

Происхождение партократии

ЦК после июльского восстания

После июльского восстания начинается новый этап, или, как выражается Ленин, «новый цикл» в подготовке большевистской революции. Ленин характеризует новый этап как качественно отличный от старого этапа в том отношении, что ставка Ленина на «мирное» взятие власти через Советы («Вся власть Советам!») бита, она оказалась нереальной ввиду антибольшевистской политики большинства Советов, ввиду участия Советов в подавлении июльского восстания. Поэтому Ленин констатирует, что «двоевластие» кончилось, новое правительство Керенского (8 июля Керенский стал вместо Львова председателем правительства) есть не что иное, как орудие победившей контрреволюции, а Советы превратились в «фиговый листок» этой контрреволюции. Ленин снимает лозунг «Вся власть Советам!» и заявляет: отныне путь к власти лежит не через Советы, а через вооруженное восстание.

Ленин делает серьезное предупреждение своей партии: партия, «не бросая легальности, но и ни на минуту не преувеличивая её, должна *соединить* легальную работу с нелегальной, как в 1912—1914 годах» (там же). Другими словами, из Советов не уходим, но на них при данном их составе больше не полагаемся как на орудие захвата власти. Дорога к власти лежит через полную изоляцию меньшевиков и эсеров...

Выдвинув новые задачи и новые лозунги, Ленин вместе с Зиновьевым укрылся от властей. Сначала они жили в шалаше у озера Разлив, потом в августе — сентябре пробрались в Финляндию, где, по существу, были на полулегальном положении.

ЦИК Советов по предложению меньшевиков и эсеров (резолюция Дана) осудил поведение Ленина и Зиновьева. ЦИК признавал себя «заинтересованным в суде над большевиками, обвиняемыми в мятеже и в получении немецких денег», и, пока такой суд состоится, ЦИК устранял их из своего состава...

Каменев, Луначарский, Крыленко, Мехоношин, Коллонтай, Раскольников были арестованы. Троцкий опубликовал в газетах открытое письмо-вызов на имя Временного правительства, заявляя, что если Ленин — немецкий шпион, то он, Троцкий,— тоже немецкий шпион. Поэтому он требовал от правительства распространить и на него приказ об аресте. Дан заметил (устами депутата Булата), что Троцкий все-таки благоразумно умолчал свой адрес в письме к правительству. Однако правительство скоро нашло адрес Троцкого и удовлетворило его просьбу: Троцкого тоже арестовали...

Хотя Временное правительство закрыло издания большевиков, заняло дом Кшесинской, издало приказ об аресте Ленина и Зиновьева, арестовало Каменева и Троцкого, оно тем не менее не объявило ни партию большевиков, ни ее ЦК преступными, мятежными организациями. Оно винило отдельных лиц, а не организацию. В силу этого ЦК большевиков, большевистские фракции в Советах, большевистские партийные комитеты Петрограда, Москвы, провинций, большевистские фабрично-заводские комитеты, наконец, Военная организация ЦК партии («военка») остались не только в полнейшем контакте, но и политически и организационно боеспособными. Ленин отсутствовал только физически, но политически своими бесконечными записками и письмами, а также через постоянного связного Шотмана он присутствовал на заседаниях ЦК. Собственно, его даже не искало правительство, может быть, довольное тем, что он сам исчез с легальной арены.

Поэтому руководящие органы партии беспрепятственно продолжают работу по подготовке нового восстания. 13—14 июля в Петрограде происходит расширенное совещание ЦК. Хотя советские историки и указывают на то, что это совещание происходило нелегально, но сам широкий круг участников говорит об обратном. Кроме членов ЦК, на нем участвовали: представители Петроградского комитета, Военной организации, Московского областного бюро, Московского городского комитета, Московского окружного комитета плюс обслуживающий персонал.

Совещание ЦК обсудило положение, создавшееся для партии после июльского восстания, но не согласилось с Лениным как в отношении общей оценки политического положения, так и снятия лозунга «Вся власть Советам!».

Резолюция совещания ЦК призывала создать такую власть, которая даст мир, землю, рабочий контроль. Резолюция указывала, что такую власть по-прежнему можно получить только через Советы, а именно данные Советы. Вопреки Ленину в ней говорилось: «Добиваясь сосредоточения всей власти в руках революционных пролетарских и крестьянских Советов, мы полагаем, что только при выполнении вышеуказанной программы эта власть может осуществить задачи революции» (КПСС в рез., ч. 1, стр. 369—370).

После марта — апреля (до возвращения Ленина) уже второй раз Сталин открыто предъявлял свои претензии на роль вождя партии. В мартовско-апрельские дни он эти претензии делил с Каменевым, но теперь и Каменев отпал ввиду его ареста. Среди оставшихся на воле членов ЦК (Ногин, Милютин, Свердлов, Смилга, Федоров) у Сталина конкурентов не было. Поэтому вся работа ЦК происходила под непосредственным водительством Сталина.

Хотя на руках делегатов были тезисы Ленина «Политическое положение», совещание ЦК приняло свою явно антиленинскую резолюцию, предложенную Сталиным. Советский партийный историк склонен преуменьшить значение этого факта, хотя и вынужден его отметить:

«Резолюция совещания не давала ясного ответа на такие вопросы текущего момента: в чьих руках находится власть и как относиться к лозунгу «Вся власть Советам!» («История КПСС», т. 3, кн. 1, стр. 167).

Это неверно. Резолюция давала такие ответы, но только прямо противоположные тем ответам, которые давал Ленин, а именно — власть находится не в руках военной диктатуры контрреволюции, как писал Ленин, а в руках диктаторов — эсера Керенского, меньшевика Церетели и прогрессиста Ефремова, что же касается лозунга «Вся власть Советам!», то ЦК и актив партии не считают нужным снять его. Отсюда на протяжении всего июля и до начала августа Ленин упорно и систематически борется со своим ЦК за выправление линии ЦК в духе тезисов «Политическое положение» и за отмену резолюции июльского расширенного заседания ЦК.

В статье «К лозунгам» Ленин косвенно критикует резолюцию расширенного совещания ЦК и объясняет, почему ЦК должен снять лозунг «Вся власть Советам!». Он пишет:

«Слишком часто бывало, что, когда история делает крутой поворот, даже передовые партии более или менее долгое время не могут освоиться с новым положением, повторяют лозунги, бывшие правильными вчера, но потерявшие всякий смысл сегодня, потерявшие смысл «внезапно» настолько же, насколько «внезапен» был крутой поворот истории.

Нечто подобное может повториться, по-видимому, с лозунгом перехода всей государственной власти к Советам» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 10).

Ленин открыто борется против ЦК, который считает ошибочным снятие лозунга «Вся власть Советам!». Он говорит, возражая ЦК: «Лозунг перехода власти к Советам звучал бы теперь как донкихотство или как насмешка» (там же, стр. 12).

Ленин требует от ЦК оперировать не старыми, доиюльскими категориями, а новыми: данные Советы, мелкая буржуазия в лице меньшевиков и эсеров нас предали, а поэтому надо готовить вооруженное восстание не только против Временного правительства, но и против данных Советов в лице Чхеидзе, Церетели, Дана, Чернова. Ленин враг всякого «морализирования» в политике. Он не при всех условиях против мелкобуржуазных партий. Если, например, они осудят своих лидеров и станут на точку зрения «пролетарской партии», он готов их поддержать. В той же статье он так и говорит: «...Для пользы *дела* пролетариат поддержит всегда не только колеблющуюся мелкую буржуазию, но и крупную буржуазию» (стр. 13). Но сейчас положение другое. Один цикл партийно-политической борьбы с 27 февраля по 4 июля закончился, «начинается новый цикл, в который входят не старые классы, не старые партии, не старые Советы, а обновленные...» (стр. 17). Отсюда Ленин делает главный вывод: дорога к власти лежит только через дискредитацию и изоляцию партий меньшевиков и эсеров, но Советы, очищенные от них, будут новой формой государства диктатуры пролетариата. На протяжении всего июля Ленин вел борьбу с легальной частью ЦК во главе со Сталиным, Свердловым и Ногиным, чтобы заставить ЦК провести предстоящий VI съезд партии под новыми лозунгами и установками, выдвинутыми им в тезисах «Политическое положение». Хотя и не во всем, но в значительной мере это ему удалось. Легальное руководство ЦК должно было пойти на ревизию собственных решений, принятых на июльском расширенном совещании ЦК.

Окончание. Начало см. «Октябрь» № 2 г. г.

Через десять лет после последнего объединенного большевистско-меньшевистского V съезда (1907) открылся VI съезд как съезд большевиков совместно с группой «межрайонцев» — с группой Л. Троцкого (она состояла, как указывалось, из «внефракционных» меньшевиков-интернационалистов, большевиков-«впередовцев» и «примиренцев»). Съезд был легальным, хотя все официальные историки говорят о его нелегальном или «полулегальном» характере (Ем. Ярославский, «Краткая история ВКП(б)», 1930, стр. 276; «История ВКП(б). Краткий курс», 1953, стр. 187; «История гражданской войны в СССР», т. 1, 1935, стр. 179; «История КПСС», т. 3, кн. 1, стр. 174). Однако из протоколов VI съезда видно, что почти все делегаты участвуют на съезде под своими именами или уже общеизвестными псевдонимами, а главное — в большевистской газете «Рабочий и солдат» ежедневно появляются отчеты о ходе работы съезда. Даже кадетская газета «Речь» от 28 июля 1917 года напечатала заметку о работе съезда. Делегат съезда Скрыпник, возмущаясь этим фактом, говорил: «Я не знаю, кто осведомляет «Речь». Мы работаем о т к р ы т о, но не допустимы искажения и клевета», и по его предложению было записано: «Съезд заявляет, что единственные проверенные и соответствующие действительности отчеты о работах съезда помещаются в газете «Рабочий и солдат» («Шестой съезд РСДРП(б). Протоколы». Москва, 1958, стр. 67—68).

Да и не мог быть нелегальным съезд, в котором участвовало вместе с техническим персоналом более 300 человек. Временное правительство было точно о нем осведомлено, но не запретило его...

Съезд заседал с 26 июля по 3 августа...

Ленин и Зиновьев обратились к съезду с письмом, в котором сообщали, что они уклонились от ареста потому, что дело против них создано «контрреволюцией» и что только «Учредительное собрание будет правомочно сказать свое слово по поводу приказа Временного правительства о нашем аресте» (там же, стр. 316).

Надо сказать, что вопрос о явке или неявке Ленина и Зиновьева на суд занял в работе съезда с самого начала очень видное место, хотя формально он и не был включен в повестку дня. В большевистских учебниках по истории революции из одной книги в другую кочует легенда, совершенно искажающая весь характер обсуждения данного вопроса на съезде. Во-первых, умалчивается сам факт, что ЦК и Ленин были против обсуждения этого вопроса на съезде, во-вторых, скрывается и тот факт, что Сталин и Орджоникидзе при определенных условиях были за то, чтобы Ленин явился на суд, а многие делегаты при любых условиях были против явки Ленина. В то время как Ленин и Зиновьев твердо решили не явиться на суд, Сталин говорил на съезде: «Если суд будет демократически организован и будет дана гарантия, что их не растерзают... Если во главе будет стоять власть, которая будет иметь хоть некоторую честь, они явятся» (там же, стр. 27—28).

Делегаты съезда, знавшие мнение Ленина, решительно возразили Сталину.

Бухарин внес резолюцию, которая при всех условиях отвергла явку на суд Ленина и Зиновьева. Съезд отверг резолюцию Сталина об условной явке Ленина. Съезд отверг также резолюцию Володарского, Лашевича и Мануильского, в которой говорилось, что Ленин и Зиновьев должны явиться в суд, если будут удовлетворены следующие условия: 1) гарантия личной безопасности, 2) гласное ведение следствия, 3) участие в следствии представителей Советов, 4) возможно более скорый разбор дела гласным народным судом — судом присяжных (там же, стр. 32).

Съезд принял резолюцию Бухарина, в которой принципиально отвергалась явка на суд. В ней говорилось, что «нет абсолютно никаких гарантий не только беспристрастного судопроизводства, но и элементарной безопасности привлекаемых к суду» (там же, стр. 270)...

Съезд в целом отнесся к Советам более осторожно, чем Ленин. В то время как Ленин одновременно объявлял войну и Временному правительству и Советам, VI съезд принял эластичную, скорее просоветскую формулу, чем проленинскую (определенно антисоветскую). Ленин еще до съезда писал, что «данные Советы провалились, потерпели полный крах из-за господства в них партий эсеров и меньшевиков. В данную минуту эти Советы похожи на баранов, которые приведены на бойню, поставлены под топор и жалобно мычат» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 17). Отсюда требование Ленина снять лозунг «Вся власть Советам!». Съезд не выдвигает этого лозунга, но и не снимает его. Съезд молчаливо допускает пригодность этого лозунга даже сейчас, но взять власть Советы уже не могут мирным путем. Соответствующий пункт резолюции гласит:

«Советы переживают мучительную агонию... Лозунг передачи власти Советам... был лозунгом мирного развития революции, безболезненного перехода власти... В настоящее время мирное развитие и безболезненный переход власти к Советам стали невозможны... Правильным лозунгом в настоящее время может быть лишь полная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии»... («Шестой съезд»..., стр. 256)

Такая постановка вопроса допускает, что Советы могут оказаться теперь (иначе, чем раньше) органами немирного и «болезненного» перехода власти. Поэтому надо беречь Советы даже такие, какими их рисует Ленин.

Никаких документов от Ленина на съезде не фигурировало, кроме уже упомянутого заявления Ленина и Зиновьева, почему они уклонились от ареста. Поэтому совершенно бездоказательно следующее утверждение официальных историков: «Наиболее важные документы съезда готовились Лениным... Делегат Шумяцкий отмечал: «Тезисы, проекты, резолюции, директивы — все это исходило от Ильича» («История КПСС», т. 3, кн. 1, стр. 174). В протоколах VI съезда нет каких-либо следов таких документов, поэтому официальные историки ссылаются для подтверждения своего тезиса на третьестепенного свидетеля-мемуариста.

Тем не менее дух Ленина витал над съездом. Самостоятельность съезда как раз говорит в пользу Ленина. Ленин создал такую великолепную партийную машину, что она была способна действовать даже в отсутствие ее конструктора и главного водителя...

Съезд принял новый Устав партии. Знаменитый ленинский § 1 был теперь изложен так: «Членом партии признается всякий, признающий программу партии, входящий в одну из ее организаций, *подчиняющийся всем постановлениям партии* и уплачивающий членские взносы» («КПСС в рез.», ч. 1, стр. 384). Выделенные слова были введены впервые в § 1, и они означали лишь одно: партийные организации на всех уровнях подчиняются постановлениям своих комитетов, а партия в целом — постановлениям ЦК. В Уставе значительно уточнялись и расширялись права ЦК, а в самом ЦК создавался, так сказать, «ЦК в ЦК» под названием «Узкого состава ЦК» для руководства текущей работой. Впервые была создана и ревизионная комиссия по проверке финансов партии и ее предприятий. Верховным органом партии объявлялся ежегодный съезд партии, нормы представительств на съезде устанавливались ЦК. Съезд: 1) заслушивает и утверждает отчеты ЦК, ревизионной комиссии и прочих центральных учреждений; 2) пересматривает и изменяет программу партии; 3) определяет тактическую линию партии; 4) избирает ЦК и ревизионную комиссию.

Создание ревизионной комиссии, политически не затрагивающей моноцентризм партии, по-видимому, было вызвано желанием партии узнать поближе о происхождении партийных денег. До сих пор узкая руководящая головка ЦК во главе с Лениным не давала отчета о своих финансах ни партии, ни даже ее ЦК в полном составе. Именно разоблачения «немецких денег» сделали вопрос создания центральной ревизионной комиссии, выборной и подотчетной только съезду партии, актуальным.

Подводя общий итог VI съезда, надо зафиксировать один исторической важности факт: тон вождя партии на съезде задавал Сталин. Конечно, внешне это стало возможным из-за отсутствия Ленина, Зиновьева, Каменева и Троцкого (формально еще не члена партии). Однако именно VI съезд партии доказал, что из всех вождей большевизма вождем класса и масштаба Ленина является только один Сталин. Между тем Ленин его недооценил. Несмотря на то, что Сталин был в партии с 1898 г. Несмотря на то, что Сталин участвовал вместе с Лениным в Гельсингфорсской конференции в 1905 г., в работе IV и V съездов в 1906 и 1907 гг., Поронинского совещания в 1913 г., был кооптирован в члены ЦК в 1912 г., не говоря уже о письменной связи между ними, Ленин даже не знал почти до 1917 г. настоящей фамилии Сталина. В письме Зиновьеву в июле 1915 г. Ленин спрашивает: «Не помните ли фамилию **Кобы?»** (Ленин. ПСС, т. 49, стр. 101). В ноябре 1915 г. в письме к В. А. Карпинскому Ленин повторяет этот вопрос: «Большая просьба: узнайте... фамилию «Кобы» (Иосиф Дж...? мы забыли). Очень важно!!» (там же, стр. 161). Увы, потом не только Ленин, но и история страны навеки запомнит это имя...

Как уже отмечалось, репрессии Временного правительства после июльского восстания были направлены не против партии, даже не против ЦК партии большевиков, а против отдельных вождей, главным образом против Ленина. Но не был объявлен общий розыск Ленина. Его оставили в покое, лишь бы он не показывался на собраниях. Большевики же, в свою очередь, использовали бегство Ленина от суда как акт мученичества и преследования старого революционера и «демократа» революционным демократическим правительством...

VI съезд воочию убедил всех, кроме, кажется, Временного правительства и эсеро-меньшевистских вождей Советов, что большевики всерьез держат курс на вооруженное восстание в самом близком будущем. Это была не риторика, когда изданный ЦК от имени VI съезда «Манифест» (он был написан Бухариным) кончался словами: «...Грядет новое движение, и настает смертный час старого мира. Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи!»

Трагедия свободной России заключалась в том, что в это предупреждение она решительно не верила. Самый распространенный предрассудок сводился к тому, что большевики если даже и захватят власть, то не справятся с нею и не удержат ее. Против этого предрассудка Ленин даже написал специальную брошюру «Удержат ли большевики государственную власть?». Ленин без всяких обобщений и философских мудрствований отвечал на этот вопрос так: если старой Россией управляли 130 000 помещиков, то новой Россией могут управлять 240 000 большевиков.

ЦК против плана Ленина о восстании

...Корниловский поход не был авантюрой генерала, вызванной честолюбием. Корнилов хотел предупредить второе восстание большевиков, к которому Ленин начал призывать свой ЦК после сдачи Риги. Войска, которые затребовал Керенский для укрепления петроградского гарнизона, генерал Корнилов считал полезным использовать в борьбе с революционным экстремизмом. Поэтому, двигая на Петроград третий конный корпус генерала Крымова, Верховный главнокомандующий Корнилов потребовал себе полноты военной и гражданской власти, пока в тылу не будет наведен полный порядок. Фактором беспорядка в глазах Корнилова, несомненно, был и весь Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В ответ на это требование Керенский снял Корнилова с поста Верховного главнокомандующего и обратился к Совету за помощью, а Совет, в свою очередь, обратился за помощью к ЦК большевиков. То была ошибка, равной которой не знала история России. Ленин мастерски ею воспользовался.

На первый взгляд большевики были поставлены перед сложной дилеммой: либо, воспользовавшись восстанием Корнилова, попытаться свергнуть Керенского, либо поддержать Керенского, как «меньшее зло», против Корнилова? Дилемма не оставляла возможности для третьего решения. Меньше всего допускала дилемма и решение, основанное на чувстве. Не эмоция, не чувство мести к Керенскому, который арестовал Троцкого и Каменева и загнал в подполье Ленина и Зиновьева, а реальный расчет ума — таков должен быть большевистский подход к решению этой проблемы исторической важности не только для судьбы Керенского, но и для судьбы самого же большевизма. Троцкий писал:

«Все понимали, что если Корнилов вступит в город, то первым долгом зарежет арестованных Керенским большевиков» (Л. Троцкий. «Моя жизнь», ч. 2, стр. 39).

Более сложной была дилемма самого Керенского: либо капитуляция перед Корниловым, и тогда торжество военной диктатуры с возможной перспективой реставрации старого порядка, либо открытая борьба против Корнилова с опорой на левый революционный фронт, включая и большевиков, и тогда вероятный разгром Корнилова с возможной перспективой установления большевистской диктатуры.

Как правительство Керенского, так и эсеро-меньшевистские Советы переоценили опасность первой перспективы и недооценили опасности второй. В этом помог им и сам генерал Корнилов. Направляя Крымова на Петроград, Корнилов говорил, что Крымов «не задумается в случае, если это понадобится, перевешать весь состав Совета рабочих и солдатских депутатов» («Воспоминания генерала А. С. Лукомского», т. 1. Берлин, 1922, стр. 228). «Перевешать весь состав Совета» означало вешать не только Ленина и Троцкого, но и самого Керенского вместе с Церетели и Черновым. Такая перспектива лидерам Советов менее улыбалась, чем все еще проблематичная победа большевиков. Ленин, как всегда, вопрос связывал с перспективой захвата власти: допустимо ли выступление большевиков против Корнилова и тем самым косвенная поддержка Керенского с точки зрения завоевания власти? Приближает или удаляет подобное действие большевиков от власти? В письме в ЦК РСДРП(б) от 30 августа Ленин дает следующую тактическую установку:

«Мы будем воевать, мы воюем с Корниловым, как и войска Керенского, но мы не поддерживаем Керенского, а разоблачаем его слабость. Это разница. Это разница довольно тонкая, но архисущественная, и забывать ее нельзя... Мы видоизменяем форму нашей борьбы с Керенским... Не отказываясь от задачи свержения Керенского, мы говорим: надо учесть момент, сейчас свергать Керенского мы не станем, мы иначе подойдем к задаче борьбы с ним... теперь главным стало: усиление агитации за своего рода частичные требования к Керенскому: арестуй Милюкова, вооружи питерских рабочих... узаконь передачу помещичьих земель крестьянам, введи рабочий контроль... Неверно было бы думать, что мы дальше отошли от задачи завоевания власти пролетариатом. Нет. Мы чрезвычайно приблизились к ней, но не прямо, а со стороны. И агитировать надо сию минуту не столько прямо против Керенского, сколько косвенно против него же, именно: требуй активной и активнейшей истинно революционной войны против Корнилова. Развитие этой войны одно только может привести нас к власти, и говорить в агитации об этом поменьше надо» (Ленин. ПСС, т. 34, стр. 120—121).

Надо заметить, что ЦК независимо от Ленина наметил и вел приблизительно ту же самую политику «условной поддержки» Керенского, начиная с первого же дня кризиса — 25 августа. Поэтому в приписке к своему письму Ленин констатирует полное совпадение своих взглядов с политическими статьями последних шести номеров (с начала кризиса) центрального органа ЦК, газеты «Рабочий» (там же, стр. 121). Правда, в ЦК была небольшая группа, которая выступала за поддержку Временного правительства без всяких оговорок, даже за блок с эсерами (там же, стр. 119), но после письма Ленина о ней уже больше ничего не было слышно.

Когда эсеро-меньшевистский ЦИК Советов образовал «Комитет народной борьбы с контрреволюцией» и обратился к ЦК большевиков с предложением о вступлении в этот Комитет, то ЦК РСДРП(б) послал туда своих представителей. Чтобы объяснить такой резкий поворот в отношениях к меньшевикам и эсерам, ЦК 29 августа разослал местным партийным организациям телеграмму, в которой говорилось:

«Во имя отражения контрреволюции работаем в техническом и информационном сотрудничестве с Советом при полной самостоятельности политической линии» («КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской Социалистической революции». 5 июля — 5 ноября 1917, стр. 44).

ЦК большевиков энергично взялся за организацию рабочих дружин и Красной гвардии в рабочих районах Петрограда. Оружие они получали из правительственных складов и даже непосредственно от заводов (так, Путиловский завод дал Красной гвардии 100 артиллерийских орудий) («История КПСС», т. 3, кн. 1, стр. 220). На военно-политическое обучение Красной гвардии большевики выделили свыше 700 инструкторов (там же). Вовсю развернула в эти дни свою работу Военная организация ЦК, на этот раз при официальной поддержке правительства и Советов. Более того, корниловские дни и свой временный контакт с правительством и Советом ЦК большевиков использовал для вооружения своих сторонников во всех узловых пунктах страны: в Москве, Центральной промышленной области, на Урале, Дону, Украине, в Поволжье, Закавказье, Сибири, Туркестане, Прибалтике — всюду создавались рабочие дружины и Красная гвардия.

Л. Троцкий был совершенно прав, когда писал: «Армия, восставшая против Корнилова, была будущей армией Октябрьской революции» (Л. Троцкий. «Моя жизнь», ч. 2, стр. 39). Разумеется, Временное правительство освободило всех арестованных большевиков во главе с Троцким, Каменевым, Луначарским. Распоряжение Временного правительства о привлечении к судебной ответственности Ленина и Зиновьева формально отменено не было, хотя их по-прежнему никто не искал. Зиновьев даже участвовал в заседаниях ЦК, которые происходили легально.

30 августа поход Корнилова почти без единого выстрела провалился, а генерал Крымов, приехавший на аудиенцию к Керенскому, через час после этого застрелился. Корнилова арестовали, но остались вооруженные отряды рабочих и Красная гвардия большевиков. Тот, кто их вооружил, не был теперь в силах их разоружить. Свою двуединую задачу — разгром Корнилова, чтобы разгромить Керенского,— большевики выполнили только в отношении первой части. Теперь на карту была поставлена судьба самого Керенского. Вполне естественно, что ЦК большевиков постарался извлечь из своего участия в подавлении похода Корнилова на Петроград максимальный политический капитал. В решающем пункте — в вопросе об изменении партийного состава столичных Советов — этот капитал был уже извлечен: на перевыборах Советов в Петрограде и Москве большевики вместе с сочувствующими им левыми эсерами получили большинство. Председателем Петроградского Совета решением ЦК от 24 сентября 1917 года был выдвинут Троцкий («Протоколы ЦК РСДРП(б)», стр. 69), которого Совет и утвердил 25 сентября (председателем Московского Совета был утвержден другой член ЦК — В. Ногин). Этой своей победой большевики были обязаны поражению Корнилова.

Однако, как ни была важна такая победа сама по себе, воспользоваться ею для захвата власти было трудно, пока во главе ЦИК Советов сидели меньшевики и эсеры. Поэтому ЦК большевиков ищет методы и пути оторвать ЦИК Советов от Временного правительства и заставить его образовать чисто советское правительство, хотя бы и без большевиков. Даже представился и случай для такого оборота дела. Так, когда после подавления «корниловского восстания» встал вопрос о реорганизации Временного правительства, в которое должны были войти три партии — кадеты, меньшевики и эсеры,— то меньшевики и эсеры заявили, что они не войдут в правительство вместе с кадетами. ЦК большевиков решил воспользоваться создавшимся положением, чтобы предложить меньшевикам и эсерам компромисс: меньшевики и эсеры согласны образовать свое, чисто советское, правительство, а большевики согласны отказаться от требования немедленного перехода власти в руки «пролетариата и беднейшего крестьянства» (диктатуры пролетариата).

1—3 сентября Ленин написал специальную статью об этом компромиссном предложении ЦК большевиков. Эта статья так и называлась: «О компромиссах». Ленин пишет, что обычное представление о большевиках сводится к тому, что большевики не признают никаких компромиссов. Ленин говорит, что как бы лестно ни было для революционеров такое представление о них, но все же оно неверно. В истории большевизма бывали вынужденные и добровольные компромиссы, но при этом большевики оставались верными своим принципам. Ленин писал:

«Компромиссом является, с нашей стороны, наш возврат к доиюльскому требованию: вся власть Советам, ответственное перед Советами правительст-

во из эсеров и меньшевиков... Компромисс состоял бы в том, что большевики, не претендуя на участие в правительстве... отказались бы от выставления немедленно требования перехода власти к пролетариату и беднейшим крестьянам, от революционных методов борьбы за это требование» (Ленин. ПСС. т. 34, стр. 134—135).

Резолюция ЦК «О власти» была принята на заседании Петроградского и Московского Советов. Однако на предшествовавшем заседании ЦИК Советов 31 августа 1917 года эта резолюция была отвергнута меньшевистско-эсеровским блоком как чисто пропагандный маневр большевиков (Протоколы ЦК РСДРП(б), стр. 257).

Когда же была создана Директория (Совет пяти) во главе с Керенским, большинство ЦИК Советов поддержало ее. После этого Ленин писал:

«Меньшевики и эсеры не приняли, даже после корниловщины, нашего компромисса, мирной передачи власти Советам (в коих у нас тогда еще не было большинства), они скатились опять в болото грязных и подлых сделок с кадетами. Долой меньшевиков и эсеров. Беспощадная борьба с ними» (Ленин, там же, стр. 262).

Лозунг «Вся власть Советам!» оставался, но этот лозунг теперь рассматривался как лозунг восстания. ЦК большевиков и Ленин решили, что уже наступает время, когда в порядок дня становится вопрос о восстании.

Суханов ярко рисует общую ситуацию, которая сложилась в России после корниловского выступления: «Никакого управления, никакой органической работы центрального правительства не было, а местного — тем более. Развал правительственного аппарата был полный и безнадежный. А страна жила. И требовала власти, требовала работы государственной машины... О земельной политике теперь не было и речи. Даже разговоры о земле застопорились на верхах, в то время, как волнение низов достигло крайних пределов. В Зимнем дворце даже не было и ответственного человека, не было министра (земледелия), а по России катилась волна варварских погромов, чинимых жадными и голодными мужиками. С продовольственными делами было не лучше. В Петербурге мы перешли пределы, за которыми начался голод со всеми его последствиями. Но никакого выхода не виделось в перспективе. Органическая работа была нулем, но политический курс давал отрицательную величину. Не ныче — завтра армия должна была начать поголовное бегство с фронта, ибо голод — прежде всего. Во всех промышленных центрах не прекращались забастовки, в которых по очереди участвовал, кажется, весь российский пролетариат. Положение на железных дорогах становилось угрожающим. Движение сокращалось от недостатка угля... Вся пресса, сверху донизу, в разных аспектах, с разными тенденциями и выводами, но одинаково громко и упорно, вопила о близкой экономической катастрофе. Чисто административная разруха также была свыше меры. Там, где в корниловщину возникли бойкие военно-революционные комитеты, уже не было речи о законной власти, действующей согласно общегосударственным нормам и директивам из столицы» (Н. Суханов, «Записки о революции», кн. VI, стр. 73—75).

Как тут не вспомнить то, что Ленин назвал «основным законом революции»? Сравните ситуацию России накануне октября 1917 года с тем, что Ленин говорит об этом законе. В работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» Ленин писал:

«Основной закон революции, подтвержденный всеми революциями и, в частности, всеми тремя русскими революциями в XX в., состоит вот в чем: для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда «низы» не хотят старого и когда «верхи» не могут по-старому, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса» (Ленин. ПСС, 3-е изд., т. 25, стр. 223).

Таковы именно и были условия в стране, когда Ленин поставил перед ЦК в четырех письмах от 12—14 сентября, 13—14 сентября, 29 сентября и 24 октября настойчиво и категорически вопрос о немедленном захвате власти. Эти письма Ленина, кроме принципиального значения, имеют еще и большую историческую ценность, так как вскрывают всю остроту борьбы Ленина против ЦК именно по вопросу о своевременности или несвоевременности захвата власти. В связи с вопросом захвата власти в ЦК образовались три группы:

1. группа Троцкого — власть захватить, но самый захват приурочить к открытию II съезда Советов, назначенного на 20-е, а потом перенесенного на 25 октября (съезд назначал старый меньшевистско-эсеровский ЦИК Советов);

2. группа Ленина — власть захватить немедленно и не дожидаясь открытия съезда;

3. группа Зиновьева — Каменева — захват власти в данных условиях авантюра, а потому гибелен для революции.

Как реагировал ЦК на письма Ленина? На этот вопрос отвечает протокол заседания ЦК от 15 сентября 1917 г. Из протокола явствует, что ЦК фактически отклонил предложение Ленина о восстании. Письма Ленина дали Центральному Комитету лишь повод «в ближайшее время назначить собрание ЦК, посвященное обсуждению тактических вопросов» («Протоколы ЦК РСДРП(б)». Москва, 1958, стр. 55). Не было принято и предложение Сталина «разослать письма в наиболее важные организации и обсудить их» (это был предлог, чтобы вообще уклониться от прямого ответа Ленину). Не было принято также и предложение Каменева, который очень резко требовал отклонить письма Ленина. В его предложении говорилось: «ЦК, обсудив письма Ленина, отвергает заключающиеся в них практические предложения, призывает все организации следовать только указаниям ЦК и вновь подтверждает, что ЦК находит в текущий момент совершенно недопустимым какие-либо выступления на улицу» (там же, стр. 55).

ЦК, однако, принимает резолюцию, которая отклоняет установки Ленина и в своей заключительной части совпадает с резолюцией Каменева. В резолюции ЦК сказано:

«Членам ЦК, ведущим работу в Военной организации и в ПК, поручается принять меры к тому, чтобы не возникло каких-либо выступлений в казармах и на заводах» (там же, стр. 55)...

Ленин считал ошибкой ЦК и участие во Всероссийском Демократическом совещании, которое было созвано меньшевиками и эсерами от имени ЦИК Советов (с 14 по 22 сентября 1917 г.). На этом совещании были представлены, кроме советских партий, городские самоуправления, земства, кооперативы, профсоюзы, представители деловых кругов, а также сами Советы, всего около 1500 человек. Вопрос об участии в этом Демократическом совещании, а также в работе органа, который оно создало,— в предпарламенте (Временный Совет республики) обсуждался на многих заседаниях ЦК в сентябре 1917 г. Принципиальное решение об участии в Демократическом совещании ЦК принял 3 сентября. В циркулярном письме к местным организациям он потребовал «приложить все усилия к созданию возможно более значительной и сплоченной группы из участников совещания, членов нашей партии» («Переписка секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями», март — октябрь 1917 г., 1957, стр. 35).

Это решение было принято без согласия Ленина, который вынужден был его признать, хотя очень условно. Но поскольку случилось так, что ЦК решил участвовать в совещании, то Ленин предлагал Центральному Комитету огласить на Совещании от имени большевистской фракции краткую декларацию: «Мы должны всю нашу фракцию двинуть на заводы и казармы: там ее место, там нерв жизни. Там мы должны разъяснить нашу программу и ставить вопрос так: либо полное принятие ее Совещанием, либо восстание. Середины нет. Ждать нельзя» (Ленин, там же, стр. 247).

Ленин был, конечно, категорически против вхождения большевиков и в предпарламент. Эти требования Ленина обсуждались на заседании ЦК 21 сентября, на котором присутствовало 17 человек, в том числе Троцкий, Каменев, Сталин, Свердлов, Рыков, Бухарин и др. В протоколе этого заседания ЦК сказано: «По вопросу о Демократическом совещании решено с него не уходить» («Протоколы ЦК РСДРП(б)», стр. 65). В отношении предпарламента было решено девятью голосами против восьми туда не входить, но поскольку такое разделение голосов не создавало устойчивого большинства, то ЦК решил передать окончательное решение данного вопроса самой фракции большевиков на Демократическом совещании, выделив двух докладчиков: за бойкот — Троцкий и против бойкота — Рыков. Далее в протоколе ЦК говорится: «На совещании (фракции) 77 голосами против 50 принято участие в предпарламенте, какое решение и утверждено ЦК» (там же, стр. 65). Только Троцкий и троцкисты за ленинскую тактику бойкота: «Троцкий был за бойкот. Браво, товарищ Троцкий!» — пишет Ленин (Ленин. ПСС, т. 34, стр. 262).

Однако Ленин не успокаивается. Он продолжает бомбардировать ЦК, ПК, МК и отдельных лидеров партии письмами, записками, статьями о необходимости выправить линию ЦК и отказаться от участия в Демократическом совещании. В статье «...Ошибки нашей партии» (которая, впрочем, не была принята Центральным органом партии и впервые опубликована только в 1924 г.) Ленин пишет: «Надо было бойкотировать Демократическое совещание, мы все ошиблись, не сделав этого... Надо бойкотировать предпарламент. Надо уйти в Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» (Ленин, там же, стр. 262). Ленин резко критикует большевистскую фракцию за ее решение участвовать в предпарламенте. Ленин критикует также и колебания ЦК вокруг этого вопроса. Он говорит: «Невозможны никакие сомнения насчет того, что в «верхах» нашей партии заметны колебания, которые могут стать **гибельными...»** (там же, стр. 263).

Ленин категорически ставит вопрос о восстании почти во всех письмах, начиная с 12 сентября.

Однако все это не производит на ЦК должного впечатления. Тогда Ленин обращается в ЦК с новым письмом от 29 сентября, которое, по существу, является ультиматумом: или ЦК примет предложение Ленина о немедленном назначении восстания, или Ленин выходит из ЦК.

Какая была реакция ЦК на этот ультиматум Ленина? В протоколах ЦК нет упоминания ни об этом письме, ни о при-

нятии или отклонении ЦК отставки Ленина. Официальная история партии тоже обходит молчанием этот эпизод. Единственно, что имеется на этот счет в партийной литературе,— воспоминания Бухарина, члена ЦК. Еще при жизни Ленина, на вечере воспоминаний к четвертой годовщине Октября, Бухарин сообщил:

«Письмо (Ленина.— А. А.) было составлено чрезвычайно решительно и угрожало нам всякого рода штрафами. Мы все были ошарашены. Никто до этого вопрос так круто не ставил. Может быть, это был единственный раз в истории нашей партии, когда ЦК единогласно постановил сжечь письмо Ленина... Хотя мы верили, что нам безусловно удастся захватить власть в Петрограде и Москве, но мы думали, что в провинции мы все еще не в силах добиться этого (цитирую по: L. Trotzki, Geschichte der russischen Revolution, стр. 601). Комментируя это высказывание Бухарина, Троцкий говорит, что решение ЦК о сожжении письма Ленина не было единогласным, но тут Троцкий допускает ошибку, так как ссылается на протокол ЦК от 15 сентября («Протоколы ЦК РСДРП(б)», стр. 55), где обсуждались первые два письма Ленина, приводит результаты голосования по этим письмам (там было решено сохранить только один экземпляр: за — 6, против — 4, воздержалось — 6). У Бухарина же речь идет о третьем письме Ленина от 29 сентября (как приписка к статье «Кризис назрел», приписка предназначалась только для членов ЦК, ПК, МК и Советов.— Ленин, ПСС, т. 34, стр. 280—283).

Письмо от 29 сентября все-таки возымело свое действие.

ЦК — организатор революции

Ленин, опираясь на Троцкого, добился первого и очень серьезного тактического успеха: заседание ЦК от 5 октября 1917 года выносит постановление всеми голосами против одного (вероятно, Каменев) уйти из предпарламента в первый же день открытия его сессии, огласив там соответствующую декларацию («Протоколы ЦК РСДРП(б)», стр. 76). 7 октября 1917 года большевистская фракция в соответствии с этим требованием ЦК покинула предпарламент, огласив мотивированную декларацию. Декларация содержит общеизвестные требования большевиков о власти (Советов), земле, мире и т. д.

Подтекст декларации яснее ее текста — это бойкот демократии и ставка на диктатуру через вооруженное восстание.

Того же 7 октября Ленин по специальному решению ЦК возвращается из своего финляндского подполья в Петроград, чтобы, как сказано в протоколе, «была возможной постоянная и тесная связь» (там же, стр. 74). Отныне Ленин берет на себя непосредственное руководство ЦК. Теперь он имеет возможность встречаться с каждым из членов ЦК и ПК. Ленин на всякий случай сиял бороду и усы, надел грим, сделав себе через ЦК и через большевика Смилгу (председатель областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии) удостоверение на имя рабочего Константина Петровича Иванова (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 268). На имя Иванова был выписан Ленину пропуск и в Смольный институт, где находился легальный большевистский центр. Хотя Ленин и говорил, что ему нужно фальшивое удостоверение «на всякий случай, ибо возможен и конфликт и встреча» (там же, стр. 268), но надобность в этом едва ли была. Временное правительство давно не ищет Ленина, а ЦК партии еще 6 сентября предложил Ленину и Зиновьеву («Протоколы ЦК...», стр. 74) в случае их согласия поставить перед ЦИК Советов вопрос об освобождении их от преследования под залог (под залог был освобожден и Троцкий 4 сентября 1917 г). Однако Ленин предпочел оставаться «нелегальным».

Через три дня после возвращения Ленина — 10 октября 1917 года — происходит с его участием то историческое заседание ЦК, на котором был, наконец, поставлен вопрос о восстании. Это заседание происходило на квартире редактора газеты «Новая жизнь» меньшевика-интернационалиста Н. Суханова. Как случилось, что квартира врага октябрьского переворота Суханова оказалась местом исторического заседания ЦК большевиков, сам Суханов объясняет так:

«Собрался полностью большевистский партийный ЦК... О, новые шутки веселой музы истории! Это верховное и решительное заседание состоялось у меня на квартире, на Карповке (д. 32, кв. 31). Но все это было без моего ведома. Я по-прежнему очень часто заночевывал где-нибудь вблизи редакции или Смольного, то есть верст восемь от Карповки. На этот раз к моей ночевке вне дома были приняты особые меры: по крайней мере, жена моя точно осведомилась о моих намерениях и дала мне дружеский, бескорыстный совет — не утруждать себя после трудов дальнейшим путешествием. Во всяком случае, высокое собрание было совершенно гарантировано от моего нашествия...» (Н. Суханов, «Записки о революции», кн. VII, 1923, стр. 33).

Ленин явился на собрание в парике с упомянутым удостоверением на имя Иванова, а Зиновьев — с бородой, но без шевелюры, тоже с фальшивым удостоверением. Суханов допускает одну ошибку и одно упущение в своем изложении. Он не говорит, что его жена Г. К. Суханова-Флаксерман была членом большевистской партии и сотрудником Секретариата ЦК партии большевиков («История КПСС», т. 3, кн. 1, стр. 301). Официальный историк замечает, что именно то обстоятельство, что Флаксерман была женой Суханова, делало квартиру Суханова «весьма удобной с точки зрения конспирации» (там же, стр. 301).

Ошибка же Суханова заключается в том, что он думал, что собрался весь состав ЦК. Между тем протоколы ЦК, опубликованные позднее мемуаров Суханова, показывают следующую картину: на решающем заседании ЦК от 10 октября 1917 года присутствовала только половина всех членов ЦК. Как обычно, председательствует Свердлов, которого Троцкий называет «Генеральным секретарем Октябрьской революции» (Свердлов был фактическим первым секретарем ЦК и руководителем всей партийной иерархии).

Повестка дня заседания вовсе не выглядит «исторически». Вот она: 1. Румынский фронт. 2. Литовцы. 3. Минский и Северный фронт. 4. Текущий момент. 5. Областной съезд. 6. Вывод войск.

Все эти практические и тактические вопросы сформулированы нарочито так, чтобы вернее завуалировать главный и решающий вопрос о судьбе всей революции — четвертый вопрос о текущем моменте. По этому-то вопросу с докладом выступил Ленин. Он теперь имел возможность лично изложить свои аргументы за восстание. Его основная мысль: политически восстание давно назрело, но в партии «с начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании... Это недопустимо... Вопрос стоит очень остро, и решительный момент близок... Абсентеизм и равнодушие масс можно объяснить тем, что массы утомились от слов и резолюций... Политически дело совершенно созрело для перехода власти... Надо говорить о технической стороне. В этом все дело. Между тем мы, вслед за оборонцами, склонны систематическую подготовку восстания считать чем-то вроде политического греха. Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с нами, бессмысленно» («Протоколы ЦК...», стр. 84—85).

В прениях выступило только три человека и то не по принципиальному вопросу о восстании, а с информацией о состоянии дел на местах (Ломов, Урицкий, Свердлов). Голосуется предложенная Лениным резолюция о том, что вся внешняя и внутренняя обстановка «ставит на очередь дня вооруженное восстание. Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководствоваться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы» (там же, стр. 85—86). За резолюцию голосуют 10 человек, против — два (Каменев и Зиновьев).

Таким образом, решение о большевистском восстании было принято меньшинством ЦК (10 — за, 2 — против, 12 отсутствовало). Из отсутствующих важных членов ЦК два — Рыков и Ногин (председатель Московского Совета) определенно были на стороне голосовавших против, к ним примыкал и другой видный член ЦК, Милютин (см. Л. Троцкий, стр. 612). На этом же заседании Дзержинский предложил «создать для политического руководства на ближайшее время Политическое бюро из членов ЦК». В протоколе сказано, что такое Бюро создано из семи человек: Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Сокольников и Бубнов («Протоколы ЦК...», стр. 86)...

Один очень характерный и существенный момент в резолюции: почему надо спешить с восстанием, резолюция ЦК перечисляет благоприятные предпосылки, называет и одну отрицательную предпосылку, могущую сорвать восстание. В резолюции об этом сказано так: «угроза мира империалистов с целью удушения революции в России» (там же, стр. 86). Эта «угроза мира» дополнялась другой угрозой — предполагаемым предоставлением земли крестьянам, над проектом которого работали и ЦИК Советов и Временное правительство. А мир и земля как раз и были те два кита, на которых строилась вся стратегия захвата власти большевиками.

На второй день после решения ЦК о восстании Зиновьев и Каменев обратились к «Петроградскому, Московскому областному, Финляндскому областному комитетам РСДРП, большевистской фракции, Петроградскому Исполкому Советов, большевистской фракции съезда Советов Северной области» с заявлением против восстания. Они писали: «Говорят: 1) за нас уже большинство народа в России и 2) за нас большинство международного пролетариата. Увы! — ни то, ни другое неверно, и в этом все дело» (там же, стр. 88).

Заявление Зиновьева и Каменева не имело практических последствий. Машина восстания начала работать методически и систематически. Меньшевики и эсеры, не желая того, сами способствовали созданию весьма важного, быть может, решающего легального органа этой машины — Военно-революционного комитета. Еще за день до заседания ЦК — 9 октября проходило заседание Петроградского Совета, в котором сейчас большевики были в большинстве. На этом заседании говорилось о необходимости создания, во-первых, контроля над действиями Петроградского военного штаба (который обвиняли, что он хочет вывести революционный гарнизон из Петрограда), во-вторых, организации такого органа, который мобилизовал бы население для обороны Петрограда — Комитета революционной обороны. Меньшевики и эсеры сначала были против этого, но потом сами внесли предложения, которые гласили:

1. Создать при командующем войсками Петроградского округа «коллегию» из представителей Совета, и всякий вы-

вод той или иной части войск может быть произведен только с согласия этой «коллегии». 2. Очистить командный состав от правых. 3. Создать комитет революционной обороны Петрограда.

Большевистский Исполком Советов весьма охотно принял эти предложения (за — 13, против — 12) (Н. Суханов, стр. 38). В тот же день состоялся пленум Совета, на котором нашли, что предложения меньшевиков и эсеров недостаточно радикальны. Пленум Совета записал, что власть должна перейти в руки Советов, что же касается «революционного комитета обороны» Петрограда, который «сосредоточил бы в своих руках все данные, относящиеся к защите Петрограда и подступов к нему», то он должен быть создан (из резолюции).

Так была подготовлена при участии меньшевиков и эсеров почва по созданию легального органа восстания — Военно-революционного Совета. Он был официально создан 12 октября. Что речь идет об органе восстания, знали только большевистские члены Совета, его меньшевистские и эсеровские члены полагали, что создается, по существу, тот орган, который они сами же предложили. Большевики и Троцкий в особенности делали все возможное и невозможное, чтобы укрепить их в этом заблуждении. Даже в постановлении о задачах комитета большевики сумели ловко замаскировать его истинную цель. Однако надо было бы быть очень наивным, чтобы не видеть этой истинной цели создаваемого органа. В самом деле, вот что говорилось в постановлении Исполкома:

«Ближайшими задачами Военно-революционного комитета являются: определение боевой силы и вспомогательных средств, необходимых для обороны столицы; затем учет и регистрация личного состава гарнизона Петрограда и его окрестностей, а равно и учет предметов снаряжения и продовольствия, разработка плана работ по обороне города, меры по охране его от погромов и дезертирства, поддержание в рабочих массах и солдатах революционной дисциплины. При Военно-революционном комитете организуется гарнизонное совещание, куда входят представители частей всех родов оружия. Гарнизонное совещание будет органом, содействующим Военно-революционному комитету в проведении его мероприятий, информирующим его о положении дел на местах и поддерживающим тесную связь между комитетом и частями» (Н. Суханов, там же, стр. 40—41).

Во главе Военно-революционного комитета был поставлен левый эсер П. Е. Лазимир, который, разумеется, не знал, что он возглавляет легальный штаб восстания ЦК партии большевиков! Зато он был окружен большевиками, которые знали, в чем дело: это — сам Троцкий, потом товарищ председателя Подвойский (накануне переворота он и юридически заменил Лазимира), секретарь комитета Антонов-Овсеенко, члены — Невский, Юренев, Мехоношин (меньшевики и правые эсеры отказались войти в этот комитет). Большевистские конспираторы так хорошо организовали свой комитет, что создали при нем отличные вспомогательные службы. Таковыми были отделы комитета: 1) обороны, 2) снабжения, 3) связи, 4) информации, 5) рабочей милиции, 6) донесений, 7) комендатуры (Суханов, там же, стр. 41). Комитет прочно опирался на гарнизон в 150 тысяч солдат («История КПСС», стр. 314).

Словом, Ленин, став теперь «оборонцем», больше, чем сам Керенский, создал легально-нелегальную власть над Петроградом почти за две недели до того, как он захватил власть над всей страной. В этих условиях поражала бездеятельность Временного правительства.

Второе заседание ЦК, посвященное вооруженному восстанию, состоялось 16 октября (29 октября) 1917 г. На этот раз заседание было расширенное — ЦК заседал совместно с ответственными руководителями Исполнительной комиссии (бюро) Петроградского комитета, Военной организации, Петроградского Совета, профессиональных союзов, железнодорожников, Петроградского окружного комитета. Протокол не перечисляет фамилий присутствовавших, но из голосования видно, что присутствовало 25 человек. Заседание происходило на окраине Петрограда, в помещении Лесновско-Удельнинской районной думы, которая находилась в руках большевиков (председателем ее был М. И. Калинин) («История КПСС», стр. 306).

На этом заседании Ленин обосновал решение 10 октября о восстании, а представители ЦК и названных выше организаций докладывали о том, как и насколько успешно идет техническая подготовка восстания. Тут, в генеральном штабе партии, трезво, деловито и без всякого ложного пафоса взвешивались все плюсы и минусы происходящей подготовки. Уже из сухого протокольного изложения видно, что Ленин и его ученики подходили к восстанию как к искусству, которым они владели в совершенстве...

На голосование были внесены две резолюции:

1. Резолюция Ленина: «Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК, призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания, к поддержке создаваемого для этого Центральным Комитетом центра и выражает полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления»;

2. Резолюция Зиновьева: «Не откладывая разведочных, подготовительных шагов, считать, что никакие выступления впредь до совещания с большевистской частью съезда Советов — недопустимы».

За резолюцию Ленина голосовало: за — 19, против — 2, воздержалось — 4. За резолюцию Зиновьева голосовало: за — 6, против — 15, воздержалось — 3 («Протоколы ЦК...», стр. 97—104).

Самым чудовищным преступлением в большевистской партии считается нарушение дисциплины партии безотносительно к тому, какие бы веские аргументы ее нарушитель ни приводил. При этом, чем выше стоит в иерархии партии нарушитель дисциплины, тем больше ответственности. Поэтому даже Ленин, когда он оказывался в высшем органе партии в меньшинстве, вел закрытую полемику, но никогда открыто не выступал против решения большевистского ЦК. Если случалось, что Ленин намеревался нарушить этот принцип дисциплины, то он угрожал выходом из ЦК, чтобы как рядовой член партии получить свободу действия против ЦК и его неугодных ему решений.

Каменев и Зиновьев, проголосовав 10 и 16 октября против восстания, выступив в непартийной газете «Новая жизнь» (орган Горького и Суханова) против решения ЦК, будучи его членами, нарушили этот железный закон большевистской дисциплины. Каменев 18 октября писал: «Не только я и т. Зиновьев, но и ряд товарищей-практиков находят, что взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент при данном соотношении общественных сил, независимо и за несколько дней до созыва съезда Советов было бы недопустимым, гибельным для пролетариата и революции шагом» («Протоколы ЦК...», стр. 116).

Это выступление вызвало у Ленина взрыв возмущения. До глубины души, видимо, возмутили Ленина и выступления Каменева и Зиновьева в ЦК. Ленин писал в ЦК: «Зиновьев имеет бесстыдство утверждать, что партия не опрошена и что такие вопросы (восстание) не решаются десятью человеками» или: «Каменев бесстыдно кричал: ЦК провалился, ибо за неделю ничего не сделано (опровергнуть я не мог, ибо сказать, что именно сделано, нельзя)», и Ленин категорически потребовал от ЦК: «Каменев и Зиновьев *выдали* Родзянке и Керенскому решение ЦК своей партии о вооруженном восстании... Ответ на это может и должен быть один: немедленное решение ЦК ...ЦК исключает обоих из партии». Ленин добавляет: «Мне нелегко писать это про бывших близких товарищей, но колебания я считал бы *здесь* преступлением... Изменником может стать лишь *свой* человек» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 424—426).

Это письмо Ленина в ЦК, датированное 19 октября, не произвело особого впечатления не только на Зиновьева и Каменева, но даже и на ЦК в целом. Правда, Каменев еще 16 октября (за три дня до письма Ленина) в ответ на новое решение ЦК о восстании подал заявление о выходе из ЦК, но оно еще не рассматривалось ЦК.

20 октября происходит новое заседание ЦК. Присутствуют — Троцкий, Сталин, Сокольников, Дзержинский, Урицкий, Иоффе, Свердлов, Милютин, Коллонтай. Отсутствуют Ленин, Каменев и Зиновьев. Но обсуждается как раз заявление Ленина о Каменеве и Зиновьеве.

В результате прений предложение Ленина об исключении Каменева и Зиновьева из партии отклоняется, но отставка Каменева как члена ЦК принимается («Протоколы ЦК...», стр. 106—107).

Однако и это решение об отставке Каменева было потом пересмотрено. В последнем заседании ЦК перед переворотом — 24 октября 1917 года — Каменев принимает руководящее участие (там же, стр. 119).

Газеты Петрограда полны сведений о предстоящем восстании большевиков. Не только из выступления Каменева и Зиновьева — из самих статей Ленина в «Рабочем пути» совершенно ясно видно, что восстание — дело решенное, гадают только о сроке — когда же оно назначено. Максим Горький, который был близок к Ленину, 18 октября выступил в «Новой жизни» со статьей «Нельзя молчать». Он писал: «Все настойчивее распространяются слухи о том, что 20-го октября предстоит выступление большевиков». Он предупреждал против повторения «отвратительных сцен 3—5 июля» и писал: «Вспыхнут... все темные инстинкты толпы, раздраженной разрухою жизни, ложью и грязью политики,— люди будут убивать друг друга, не умея уничтожить своей звериной глупости». Он предлагал ЦК большевиков опровергнуть слухи о восстании, если этот ЦК не стал «орудием в руках бесстыднейших авантюристов или обезумевших фанатиков» (Н. Суханов, «Записки о революции», кн. VII, стр. 46—47). «Обезумевшим фанатиком» Горький считал Ленина.

Между тем политическая и особенно техническая подготовка восстания шла на всех парах. 21 октября большевики созвали собрание полковых и ротных комитетов всех частей армии и флота столицы. На собрании доклад о «текущем моменте» сделал Троцкий. Результат: «21 октября Петербургский гарнизон окончательно признал единственной властью Совет, а непосредственным начальствующим органом Военно-революционный комитет» (Суханов, там же, стр. 86). Свидетель Суханов утверждает: «Уже 21 октября Временное правительство было низвергнуто, и его не существовало на территории столицы...» (там же, стр. 95). 22 октября Петроградский Совет документально подтвердил, что властью в столице является не Керенский, а Троцкий. В этот день Совет разослал по всем частям гарнизона телефонограмму, в которой говорилось: «Никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные Военно-революционным комитетом, не действительны» (там же, стр. 101). Одновременно Военно-революционный комитет выпускает прокламацию к населению Петрограда:

«В интересах защиты революции... нами назначены комиссары при воинских частях и особо важных пунктах столицы и ее окрестностей. Приказы и распоряжения, распространяющиеся на эти пункты, подлежат исполнению лишь по утверждению их уполномоченными нами комиссарами. Комиссары, как представители Совета, неприкосновенны» (там же, стр. 109).

Это уже было начало открытого восстания, руководимого из комнаты 18 Смольного института (там помещалась большевистская фракция Совета).

Почему же в этих условиях бездействовало правительство? Может быть, надо было много сил, чтобы изолировать обитателей комнаты 18? Суханов уверенно свидетельствует: «Хороший отряд в пятьсот человек был совершенно достаточен, чтобы ликвидировать Смольный со всем его содержанием» (там же, стр. 109). У Временного правительства, однако, не только не было воли к власти, но даже воли к жизни. Даже его вернейшая опора — Петропавловская крепость — перешла на сторону большевиков.

Заседание ЦК, которое дало последние директивы по проведению переворота, состоялось 24 октября 1917 г. На нем отсутствуют Ленин, Зиновьев, Сталин, но присутствуют Каменев, Дзержинский, Ногин, Ломов, Милютин, Иоффе, Урицкий, Бубнов, Свердлов, Троцкий, Берзин — всего 11 членов из 24.

Протокол этого заседания начинается с указания: «т. Каменев предлагает, чтобы сегодня без особого постановления ЦК ни один член ЦК не мог уйти из Смольного. Принято» («Протоколы ЦК...», стр. 119). Таким образом, Каменев, голосовавший против восстания, теперь, когда решается его судьба, стал вместе с Троцким и Свердловым во главе восстания. Причины неприсутствия Сталина (вероятно, в редакции ЦО) и Зиновьева неизвестны. Ленин свое неприсутствие объяснил в письме к Свердлову от 23 октября так: «На пленуме мне, видно, не удастся быть, ибо меня «ловят» («Октябрьское вооруженное восстание», Москва, 1957, стр. 66). На заседании происходит распределение членов ЦК по главным пунктам и объектам восстания...

Как прошло само восстание, рассказывает свидетель Суханов:

«Сопротивление не было оказано. Начиная с двух часов ночи, небольшими силами, выведенными из казарм, были постепенно заняты вокзалы, мосты, осветительные учреждения, телеграф, телеграфное агентство. Группки юнкеров не могли и не думали сопротивляться. В общем, военные операции были похожи скорее на смену караулов в политически важных центрах города... начавшиеся решительные операции были совершенно бескровны: не было зарегистрировано ни одной жертвы... Город был совершенно спокоен» (Суханов, там же, стр. 160).

Ленин и Троцкий на экстренном заседании Петроградского Совета в Смольном торжественно объявляют о переходе власти в руки Советов в лице Военно-революционного комитета. Некоторые министры арестованы, другие во главе с новым «диктатором», заместителем Керенского Н. М. Кишкиным засели в Зимнем дворце и сопротивляются. Их защищают юнкера и женский ударный батальон. Военно-революционный комитет предлагает им сдаться без боя, но они не сдаются. Тогда знаменитый крейсер «Аврора» в 9 часов 40 минут вечера делает свой символический холостой выстрел. Это приказ Красной гвардии штурмовать Зимний дворец. Завязался короткий бой, в результате которого Зимний дворец капитулировал. Большевистский октябрьский переворот совершился. Жертвы переворота: 6 убитых и 50 раненых.

В ЦК обсуждается вопрос о составе первого советского правительства. Троцкий вспоминает: «Надо формировать правительство. Нас несколько членов ЦК.

Летучее заседание в углу комнаты.

— Как назвать? — рассуждает вслух Ленин.— Только не министрами: гнусное, истрепанное название.

Троцкий предлагает министров назвать «народными комиссарами», а правительство «Советом народных комиссаров»:

«Совет народных комиссаров? — подхватывает Ленин — Это превосходно: ужасно пахнет революцией».

Троцкий продолжает: «На другой день на заседании ЦК партии Ленин предложил назначить меня председателем Совета народных комиссаров. Я привскочил с места с протестом — до такой степени это предложение показалось мне неожиданным и неуместным.

— Почему же?—настаивал Ленин.— Вы стояли во главе Петроградского Совета, который взял власть».

Я предложил отвергнуть предложение без прений. Так и сделали» (Л. Троцкий. «Моя жизнь». ч. II, Берлин, 1930, стр. 60—61).

Соответствующий протокол ЦК Сталин не разрешал опубликовывать, но ЦК никогда и не опровергал вышеприведенное утверждение Троцкого. Что Троцкий был из всех членов ЦК наиболее последовательным сторонником Ленина в Октябрьской революции, подтверждают решительно все документы эпохи. Даже Сталин писал в первую годовщину Октябрьской революции:

«Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы Военно-революционного комитета партия обязана прежде всего и, главным образом, т. Троцкому» (Л. Троцкий, там же, стр. 233).

25 октября (7 ноября) в 10 часов 45 минут вечера открылся Второй Всероссийский съезд Советов. Открыл его член Исполкома Петроградского Совета и Президиума ЦИК Советов меньшевик Ф. Дан.

Большевики потребовали от съезда санкции происшедшего переворота (Ленин в первый день съезда отсутствовал). В ответ на это меньшевики и эсеры (кроме левых), огласив декларацию протеста «против военного заговора и захвата власти» большевиками, ушли со съезда. Это сразу превратило большевиков из меньшинства (300 из 670 делегатов) в подавляющее большинство (300 из 578). Суханов был совершенно прав, когда писал: «Уход со съезда меньшевиков и эсеров сильно упростил и облегчил положение Ленина и Троцкого. Теперь никакая оппозиция не путалась в ногах при создании пролетарского правительства» (Суханов, там же, стр. 239).

Был принят «декрет о мире», согласно которому новое правительство обязывалось обратиться ко всем воюющим народам с призывом о заключении «немедленного мира без аннексий и контрибуций», для чего предлагалось объявить трехмесячное перемирие. По вопросу о земле был принят декрет, целиком переписанный из программы эсеров (переход земли без выкупа к крестьянам через местные крестьянские комитеты) (Ленин, ПСС, 3-е изд., т. 22, стр. 13—23).

Суханов иронизировал: «И досталось же Ленину за этот дневной грабеж. Эсеры кричали: хорош марксист, травивший нас 15 лет за нашу мелкобуржуазность и ненаучность с высоты своего величия и осуществивший нашу программу, едва захватив власть! А Ленин огрызался: хороша партия, которую надо было прогнать от власти, чтобы осуществить ее программу» (Суханов, там же, стр. 257).

Принимая эсеровскую программу по земельному вопросу, Ленин знал, что он делал. Россия была крестьянской страной (80% населения составляло крестьянство). Только та политическая партия имела шансы удержаться у власти, которая провозгласит именно эсеровскую программу законом (большевистская аграрная программа требовала национализации земли, что и было осуществлено потом, когда власть укрепилась)...

Съезд постановил также «Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного собрания, временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом Народных комиссаров» (Ленин, там же, стр. 24). Слово «временное» и ссылка на Учредительное собрание были тактической данью времени — только так могли большевики рассчитывать на утверждение своего однопартийного правительства даже II съездом Советов, где они были в большинстве. (Уже в январе 1918 г. на III съезде Советов ссылки на «временное» и Учредительное собрание были исключены (Ленин, там же, стр. 575).

Подводя итоги революции, надо поставить следующий главный вопрос. Советские историки утверждают, что Октябрьская революция была совершена как социалистическая революция, в отличие от Февральской буржуазной революции. Так ли это? Иными словами, являлась ли Октябрьская революция социалистической? На этот вопрос приходится ответить категорически: нет! Возьмите «Апрельские тезисы» Ленина, являющиеся программой большевистской революции. Что там сказано о «социалистической революции»? Ни слова. Там сказано, что своеобразие текущего момента в России заключается в переходе от первого этапа революции, давшей власть буржуазии, ко второму этапу, который даст власть пролетариату и беднейшему крестьянству. Там не сказано, что новая власть будет ставить перед собою социалистические задачи. Цели и задачи новой «пролетарской», «советской» власти в «Апрельских тезисах» сведены к следующему: мир, конфискация помещичьих земель в пользу крестьянства; контроль советского государства над производством; слияние всех банков в один национальный банк и контроль над ними.

Все эти требования вполне укладываются в рамки любой радикальной буржуазной революции. Они могли быть с успехом проведены и Временным правительством, опирающимся на Советы (даже контроль над производством — вполне нормальная вещь во время большой войны). Да и сам Ленин в тех же «Апрельских тезисах» писал: «Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны С. Р. Д. за общественным производством и распределением продуктов» (Ленин, ПСС, т. 31, стр. 116).

Правда, в «Тезисах» есть и два «социалистических» пункта, которые, однако, остались невыполненными и через многие годы после революции. Эти пункты гласят: «устранение полиции, армии, чиновничества»; «плата всем чиновникам при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего» (там же, стр. 115).

Может быть, если не Ленин, то ЦК проповедовал «социалистическую революцию» и «социализм»? Вот свидетельство Суханова: «Большевики говорили: «У богачей всего много, у бедных ничего нет. Все будет принадлежать беднякам. все будет поделено между ними. Это говорит ваша собственная рабочая партия, единственная партия, которая борется с богачами и их правительством за землю, мир и хлеб... Но возникает деликатный вопрос: был ли социализм в этой платформе? Не пропустил ли я социализма? Приметил ли я слона? Нет, я кон-

статирую, что о социализме как цели и задаче советской власти большевики в прямой форме тогда не твердили массам, а массы, поддерживая большевиков, и не думали о социализме» (Суханов, там же, стр. 24).

Все документы той эпохи свидетельствуют: утверждение Ленина и свидетельство Суханова о том, что социализм как ближайшая цель начисто отсутствует в программе и пропаганде большевиков в Октябрьской революции. Октябрьский переворот был организован и проведен под лозунгом радикальной буржуазно-демократической революции. У Октябрьской революции оказались два лица — одно, направленное к народу,— демократическое, а другое, завуалированное и обращенное к партии,— антидемократическое. Советы же были внешним фасадом, за которым очень удачно скрывалась монопартийная диктатура...

Почему большевикам так легко удалось захватить государственную власть? Если бы Временное правительство вышло из войны и объявило радикальную земельную реформу в пользу крестьян, то в России не произошла бы большевистская революция. Она не произошла бы и при отсутствии этих мер, если бы Временное правительство объявило ответственным за июльское восстание и за получение немецких денег не отдельных вождей (Ленин, Зиновьев), а всю партию во главе с ее ЦК со всеми вытекающими отсюда выводами. Ни того, ни другого оно не сделало. В этих условиях «воля к власти» большевиков оказалась сильнее «воли к жизни» существующей власти. Конечно, был еще один чисто субъективный фактор, способствовавший победе большевиков,— это их классический конспиративный аппарат — ЦК и его ячейки.

В «Апрельских тезисах» Ленин писал: «Россия *сейчас* самая свободная страна в мире из всех воюющих стран» (Ленин, ПСС, т. 31, стр. 114). Вот в этом и заключается общая причина исторической катастрофы — демократическая Россия погибла из-за изобилия свободы, приведшей к безнаказанности ее врагов.

Кризис в ЦК по Брестскому миру

...Два требования большевистской платформы — немедленный мир и вся земля крестьянам — предопределили относительно легкую победу большевиков в революции. Нетрудно было объявить землю крестьянской, трудным оказалось заключение мира. Надежда большевиков, что стоит им объявить о немедленном выходе России из войны, как немцы тут же согласятся на «мир без аннексий и контрибуций», оказалась иллюзорной. Иллюзорной оказалась и надежда, что если кайзер откажется принять мир, то немедленно поднимется пролетариат Германии. Предстоял долгий, чреватый тяжелыми последствиями торг об условиях мира.

Соглашение о перемирии было советским правительством и державами Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция) заключено еще 2 (15) декабря 1917 г. В Брест-Литовске 9 (22) января начались переговоры о мире. Советскую делегацию возглавил нарком иностранных дел Троцкий. Он сделал от имени советского правительства заявление, что Советская Россия стоит за мир без аннексий и контрибуций, но признает право народов на самоопределение. Глава немецкой делегации Кюльман, легко разгадав пропагандную подоплеку позиции советского правительства, заявил, что эти условия могли бы лечь в основу обсуждения, если бы союзники России — державы Антанты — участвовали в мирных переговорах. Исходя из требования о праве народов на самоопределение, Германия выдвинула главным условием мира: независимость Украины (делегация украинской Центральной Рады, признанная советским правительством, участвовала в конференции как равноправная сторона), отход от России Польши, Литвы, части Латвии, Эстонии и Белоруссии. В ответ на это Троцкий заявил, что Советская Россия мир не подписывает, войну прекращает, армию демобилизует. Немцы, приняв это к сведению, 18 февраля 1918 года возобновили войну и перешли в наступление по всему фронту.

В январе — феврале на почти беспрерывных заседаниях ЦК происходят весьма бурные прения и споры о заключении мира или о продолжении войны. С самого начала Комитет раскололся на три группы: 1) группа Ленина за немедленное заключение мира любой ценой; 2) группа Бухарина за продолжение «революционной войны»; 3) группа Троцкого за дальнейшее маневрирование под лозунгом «ни войны, ни мира».

Ленин еще 7 (20) января 1918 года обосновывал необходимость заключения мира следующим рассуждением: «Нет сомнения, что наша армия в данный момент абсолютно не в состоянии успешно отразить немецкое наступление... Сильнейшие поражения заставят Россию заключить еще более невыгодный сепаратный мир, причем мир этот будет заключен не социалистическим правительством, а каким-либо другим» (Ленин, ПСС, т. 35, стр. 248—249). Другими словами, продолжение войны при всех условиях приведет к гибели большевизма в России, и тогда к власти придут другие партии (Ленин назвал эсеровскую партию Чернова).

Самым решительным образом вопрос о мире Ленин поставил на заседании ЦК от 11 (24) января 1918 г. На нем присутствовали 17 членов ЦК. Ленин вновь повторил свои тезисы о мире и добавил, что он в будущем готов вести революционную войну, но не сейчас. Он указал в заключение, что «конечно, мы делаем поворот направо, который ведет через весьма грязный хлев, но мы должны его сделать» («Протоколы ЦК...», стр. 169).

Большинство выступивших в прениях разошлись с оценкой Ленина, некоторые даже в развитие обвинения «Ленин делает в скрытом виде то, что в октябре делали Зиновьев и Каменев» (там же, стр. 172, речь главы Чека Дзержинского). Косиор от имени Петроградской организации заявил: «Петроградская организация протестует и будет протестовать, пока может, против точки зрения т. Ленина и считает возможной только позицию революционной войны» (там же, стр. 172). Московская организация с самого начала стояла на такой же точке зрения. Троцкий и Бухарин повторили свои доводы против мира. Сталин и Зиновьев поддержали Ленина. Однако мотивы их поддержки были явно антиленинские. Сталин оправдывал заключение мира тем, что провалилась стратегия, рассчитанная на мировую революцию. Он сказал: «В октябре (1917) мы говорили о священной войне, потому что нам сообщали, что одно слово «мир» поднимет революцию на Западе. Но это не оправдалось» (там же, стр. 171). Зиновьев, хотя и был за мир, но предупреждал, что «миром мы усилим шовинизм в Германии и ослабляем революционное движение на Западе... А дальше виднеется другая перспектива — это гибель социалистической республики» (там же, стр. 171).

Эти мотивы Ленин решительно отвел. В протоколе ЦК сказано, Ленин не согласился с утверждением Сталина и Зиновьева, что на Западе нет революционного движения или оно ослабится от заключения мира. Ленин добавил, что хотя на Западе нет революции, но там есть революционное движение и что «если в силу этого мы изменили бы свою тактику, то мы явились бы изменниками международному социализму» (там же, стр. 172). На этом же заседании Ленин впервые в условиях Советской России высказал пораженческую мысль — при каких условиях он согласился на «перерыв» в мирных переговорах, вот почему: «Если мы верим в то, что германское движение может развиться немедленно в случае перерыва мирных переговоров, то мы должны пожертвовать собою, ибо германская революция по силе будет гораздо выше нашей» (там же, стр. 172). Но так как в данных условиях такое ускорение германской революции проблематично, то Ленин приходит к выводу: «Если мы в настоящий момент не скажем ясно, что мы согласны на мир, то мы погибнем» (там же, стр. 172).

К концу заседания ЦК Ленин изменил свою точку зрения. Он отказался от требования немедленного заключения аннексионистского мира и предложил проголосовать его новое предложение: «Мы всячески затягиваем подписание мира». За это голосовали 12, против —1.

Вслед за этим Троцкий ставит на голосование формулу: «Мы войну прекращаем, мира не заключаем, армию демобилизуем». «За» голосовали 9 человек, против — 7 человек (там же, стр. 173).

Таким образом, на этом заседании ЦК Ленин потерпел поражение. Была принята формула Троцкого, к которой присоединился и Бухарин. Поэтому сталинская легенда, которая гуляет и до сих пор в советской литературе, о том, что Троцкий действовал в Брест-Литовске самочинно, предательски, вопреки ЦК,— явная историческая фальсификация.

Через два дня после заседания ЦК большевиков — 13 января 1918 года — состоялось объединенное заседание членов ЦК большевиков и ЦК левых эсеров (которые входили в советское правительство) Обсуждался тот же вопрос о войне и мире Это объединенное заседание большинством голосов высказалось в том смысле, чтобы предложить предстоящему III съезду Советов формулу: «Войны не вести, мира не подписывать» (там же, стр. 283). И здесь победила точка зрения Троцкого, а не Ленина.

Однако Ленин не сдается. На III съезде Советов 10—13 января Ленин, уклонившись обсудить вопрос о мире по существу, добился, чтобы съезд предоставил Совнаркому (правительству) неограниченные полномочия при ведении мирных переговоров и заключении самого мира.

В самой партии точка зрения Ленина не находит поддержки. Совершенно вышли из-под контроля Ленина две ведущие столичные партийные организации, которые задавали всем тон,— Петроградская и Московская. Обе они высказались против линии Ленина на сепаратный мир с Германией. В заявлении Петроградского комитета партии от 15 января, поданном на имя ЦК партии, говорилось: принятие немецких условий мира «могло бы привести к одному из худших видов оппортунизма» (там же, стр. 185). Это было сказано прямо в адрес Ленина.

Троцкий пишет к этому следующее разъяснение: «Борьба в партии разгоралась со дня на день. Вопреки позднейшей легенде она шла не между мною и Лениным, а между Лениным и подавляющим большинством руководящих организаций партии. В основных вопросах этой борьбы: можем ли мы ныне вести революционную войну? и допустимо ли вообще для революционной власти заключать соглашения с империалистами? — я был полностью и целиком на стороне Ленина, отвечая вместе с ним на первый вопрос отрицательно, на второй — положительно. Первое более широкое обсуждение разногласий происходило 21 января (по старому стилю 8 ян-

варя) на собрании активных работников партии. Выявились три точки зрения. Ленин стоял за то, чтобы попытаться еще затянуть переговоры, но в случае ультиматума немедленно капитулировать. Я считал необходимым довести переговоры до разрыва, даже с опасностью нового наступления Германии, чтобы капитулировать пришлось — если вообще придется — уже перед очевидным применением силы. Бухарин требовал войны для расширения арены революции. 32 голоса получили сторонники войны. Ленин — 15 голосов, я — 16 голосов... Во всех руководящих учреждениях партии и государства Ленин был в меньшинстве... На решающем заседании ЦК 22 января прошло мое предложение: затягивать переговоры» (Л. Троцкий. «Моя жизнь», ч. II. Берлин, 1930, стр. 110—111).

Вот эта тактика «затягивания» переговоров вполне устраивала и Ленина, но в случае ультиматума немцев Ленин был готов капитулировать, а Троцкий колебался. Тем не менее Свердлов в полном согласии с Лениным внес 14 февраля от имени большевистской фракции ВЦИКа резолюцию, в которой сказано, что, заслушав доклад Троцкого, «ВЦИК вполне одобряет образ (Троцкий, как известно, возглавлял мирную делегацию в Брест-Литовске) действий своих представителей в Бресте» (там же, стр. 114)...

Не только «левые коммунисты», но и другие советские социалистические партии, представленные во ВЦИКе (меньшевики и эсеры) и в советском правительстве (левые эсеры), категорически были против сепаратного мира с Германией. Это тоже укрепляло позиции противников Ленина.

21 января (3 февраля) главы немецкой (Кюльман) и австро-венгерской (Чернин) мирных делегаций ввиду упорства Троцкого попросили сделать перерыв и выехали в Берлин и Вену за новыми инструкциями. Вернувшись, 27 января (9 февраля) они заключили мирный договор с представителями признанной их державами Украинской народной республики. В тот же день немцы предъявили советской делегации ультиматум. В ответ на это Троцкий заявил, что Советская Россия мира не подписывает, войну прекращает, армию демобилизует. 16 февраля генерал Гофман уведомил советскую делегацию, что 18 февраля в 12 часов дня кончается перемирие и возобновляется война («История гражданской войны в СССР», т. 3. Москва, 1957, стр. 111). Вечером 17 февраля собрался ЦК, чтобы обсудить ультиматум немцев. Фундаментальная «История гражданской войны в СССР» искаженно передает решение этого заседания ЦК: «Вечером 17 февраля ЦК партии обсудил вопрос о немецком ультиматуме. Большинство членов ЦК признало, что в случае немецкого наступления необходимо заключить мир» (там же, стр. 112).

Имело место как раз обратное: большинством (шесть против пяти) было принято решение, отклоняющее ведение новых переговоров с немцами. За отклонение переговоров голосовал Бухарин, за открытие новых переговоров голосовали Ленин, Сталин, Свердлов, Сокольников, Смилга («Протоколы ЦК...», стр. 194—195).

Ленин на этом не успокоился... Он так умело и так ультимативно рисует капитуляцию перед Германией как единственную гарантию сохранения большевистской власти, одновременно продолжая свои обычные интриги против противников, что в лагере антиленинского большинства в ЦК уже обозначился раскол.

Все аргументы Ленина в пользу мира бьют в одну точку: «Игра зашла в тупик... крах революции неизбежен... Теперь нет возможности ждать... Нужно предложить немцам мир», и добавляет: «Если бы немцы сказали, что требуют свержения большевистской власти, тогда, конечно, надо воевать» (там же, стр. 201).

Ленин согласен отдать немцам Польшу, Прибалтику, Финляндию, даже часть Белоруссии и признать независимость Украины, но не согласен отказаться от власти... Ленин поддержал Сталина, добавив тот аргумент, что стоит немцам «на пять минут открыть ураганный огонь, и у нас не останется ни одного солдата на фронте» (там же, стр. 202). Бухарин повторяет свои доводы в пользу «революционной войны» и «мировой революции», заодно обвиняя Ленина и его сторонников в «панике и растерянности» (там же, стр. 202—203). Ленин ему отвечает: «На революционную войну мужик не пойдет — и сбросит всякого, кто открыто это скажет» (там же, стр. 203). Поскольку Троцкий уже публично заявил в Брест-Литовске, что советское правительство демобилизует армию, то Ленин считает, что взять теперь обратно это заявление означало бы гибель Советской власти. Он так и говорит: «Сказать, что демобилизация прекращена,— это значит слететь» (там же, стр. 203).

В ЦК ставится на голосование вопрос, который призван решить судьбу режима. В протоколе сказано:

«Ставится вопрос: следует ли немедленно обратиться к немецкому правительству с предложением немедленного заключения мира? За — 7: Ленин, Смилга, Сталин, Свердлов, Сокольников, Троцкий, Зиновьев. Против — 5: Урицкий, Иоффе, Ломов, Бухарин, Крестинский (присоединяется Дзержинский). Воздерживается — 1: Стасова» (там же, стр. 204). Это решение уточняется указанием на то, что советское правительство готово подписать старые условия мира немцев, «но что нет отказа от принятия худших предложений» (там же, стр. 205). Составление текста предложения поручается Ленину и Троцкому. Ре-

шено сейчас же по радио передать немцам советское предложение. Ленин, памятуя о своем очень слабом большинстве, хочет отрезать ЦК все пути отступления.

Для окончательного решения вопроса требовалось еще согласие ЦК партии левых эсеров, которые вместе с большевиками составляли советское коалиционное правительство. Поэтому в ночь на 19 февраля было назначено совместное заседание ЦК большевиков и ЦК левых эсеров. На этом заседании «левые коммунисты» из ЦК большевиков вместе с левыми эсерами вновь одержали победу над Лениным. В информационном сообщении о результатах этого заседания говорилось, что на нем выявились два течения: одно — за подписание мира, другое — за продолжение революционной войны. Последнее течение получило большинство. «Большинство стояло на той точке зрения, что революция русская выдержит испытание; решено сопротивляться до последней возможности» (газ. «Социал-Демократ», 20 февраля 1918 г.).

Хотя в постановлении ЦК большевиков было сказано, что решение двух ЦК — большевиков и левых эсеров — будет принято за решение правительства, Ленин пошел на прямое и открытое нарушение постановления своего ЦК.

Не дожидаясь встречи с левыми эсерами, а значит не дожидаясь и вышецитированного решения обоих ЦК, утром 19 февраля Ленин по радио передал немцам предложение о принятии их условий мира. Известные своим педантизмом немцы нашли, что радиограмма Ленина не официальный документ. Генерал Гофман поучал Ленина: надо обратиться к немцам не через эфир, а письменно. Письмо должно носить официальную форму, оно должно быть лично подписано Лениным, закреплено соответствующей печатью и передано по дистанции в руки германскому коменданту Двинска! Ленин поспешил ответить, что советский курьер с официальным текстом советского предложения о капитуляции находится в пути.

Немцы не сразу ответили на советскую капитуляцию. Тем временем поступило предложение от Франции и Англии, союзников России, об оказании военно-материальной помощи Советской России при условии продолжения войны с немцами.

Заседание ЦК 22 февраля было целиком посвящено этому вопросу. На заседании присутствовало 11 человек. Ленин и Сталин отсутствовали. Обсуждение вопроса вызвало бурные прения. Левое крыло во главе с Бухариным считало, что большевики принципиально не могут пользоваться помощью «англо-французского империализма» в деле защиты своей «пролетарской» власти. Троцкий считал такую позицию по меньшей мере наивной. Он говорил, что «государство принуждено делать то, чего не сделала бы партия». Поэтому, если не удастся мир, то советское правительство должно воспользоваться любой помощью капиталистических стран. Предложение Троцкого было принято большинством только в один голос: за — 6, против — 5 (там же, стр. 208). Отсутствовавший Ленин прислал «Заявление в ЦК»: «Прошу присоединить мой голос за взятие картошки и оружия у разбойников англо-французского империализма» (там же, стр. 208).

На том же заседании Троцкий заявил о сложении с себя должности наркома иностранных дел: — Моя отставка будет для немцев означать радикальный поворот политики и усилит их доверие к нашей готовности подписать на этот раз мирный договор.

— Пожалуй,— сказал Ленин, размышляя.— Это серьезный политический довод» (Троцкий. «Моя жизнь», ч. II, стр. 117—118).

Группа членов ЦК подала заявление о выходе из ЦК, чтобы иметь свободу действия против политики «самоубийства» «ничтожного большинства» ЦК, которое капитулирует перед германским империализмом. Его подписали четыре члена ЦК — Бухарин, Урицкий, Ломов, Бубнов. Другая группа членов ЦК — Иоффе, Крестинский, Дзержинский — подписала данное заявление с той оговоркой, что они тоже осуждают решение ЦК о капитуляции, но чтобы не было раскола в партии, не выходят сейчас из ЦК («Протоколы ЦК...», стр. 209—210). Таким образом, по вопросу о капитуляции ЦК вновь раскололся фактически на две равные части — 7 человек за капитуляцию, 7 человек против.

23 февраля был получен немецкий ответ. Немцы, видимо, убедились, что Ленин решил капитулировать любой ценой, кроме потери власти. Ответ немцев содержал новые условия, куда худшие, чем те, которые отвергла делегация Троцкого 28 января (10 февраля). По новым условиям Россия теряла всю территорию Прибалтики, часть Белоруссии; города Карс, Батум и Ардаган Россия должна была уступить Турции; она должна немедленно вывести войска из Финляндии и с Украины, заключить мир с Украинской народной республикой (радой), сейчас же приступить к полной демобилизации армии да еще уплатить Германии шесть миллиардов марок контрибуции («Документы внешней политики СССР», т. 1. Москва, 1957, стр. 119—124, 446). Советская Россия должна была принять эти условия в течение 48 часов, немедленно направить в Брест-Литовск делегацию для подписания мира в трехдневный срок.

Таков был новый ультиматум Берлина. Ленин, признавая, что он заключает «похабнейший и унизительный мир», сравнивал его с условиями Тильзитского мира для пруссаков (1807), но историческая аналогия не выдерживала никакой критики: в Тильзите Россия спас-

ла трон прусского короля и отстояла сохранение Пруссии как государства, сама же не потеряла ни одного клочка собственной территории, наоборот, приобрела Белостокскую область, разделила сферы влияния в Европе между Францией и Россией. А теперь? Прусский король и германский кайзер ставили перед Россией условия, которые отбрасывали Россию на 250 лет назад в отношении ее западных территориальных приобретений. Для мало-мальски политически мыслящего человека было ясно, что такие неслыханно жестокие для России требования стали возможными из-за полного разложения русской армии большевиками... под лозунгом мира любой ценой.

Начался второй этап борьбы Ленина в ЦК за принятие нового немецкого ультиматума. Заседание ЦК от 28 февраля. Атмосфера исключительно напряженная. Групповая борьба зашла настолько далеко, что иногда создается впечатление, что здесь представлена не одна, а две партии не только с разной тактикой, но и с разными программами: одна партия — «мира в одной стране», «партия социализма в одной стране» (Ленин) и «партия войны», «партия мировой революции» (Бухарин). Между ними еще одна буферная группа, которая умом с Лениным, а душой с Бухариным. Это группа Троцкого. Сталин идет с Лениным, резервируя за собой право для отступления. Поэтому он часто маневрирует и никогда не сжигает мостов ни к Троцкому, ни к Бухарину. Троцкий спрашивал: «Какова была позиция Сталина? У него, как всегда, не было никакой позиции. Он выжидал и комбинировал. Старик все еще надеется на мир,— кивал он мне в сторону Ленина,— не выйдет у него мира. Потом он уходил к Ленину и делал, вероятно, такие же замечания по моему адресу» (Троцкий. «Моя жизнь», ч. II стр. 122). Это более чем вероятно. Никто ведь не играл в политике так виртуозно и одновременно на двух разных инструментах разные ноты, как это делал Сталин.

Исчерпав за последние две-три недели все свои аргументы за немедленное заключение мира, Ленин прибегает к самому последнему и решающему средству — ультиматуму, к которому он прибегал и накануне Октябрьского переворота, требуя от ЦК начать восстание. В протоколе ЦК этот ультиматум изложен так: «Тов. Ленин считает, что политика революционной фразы окончена. Если эта политика будет теперь продолжаться, то он выходит и из правительства и из ЦК» («Протоколы ЦК...», стр. 211).

Создалась реальная угроза раскола партии, поскольку Ленин сделал свое заявление в форме, не допускающей сомнения в его решимости стать на путь создания второй большевистской партии. Это произвело впечатление на группу Троцкого. Он сказал, что «вести революционную войну при расколе в партии мы не можем... Нужно было бы максимальное единодушие: раз его нет, я на себя не возьму ответственности голосовать за войну» (там же, стр. 211—212).

Это выступление Троцкого предрешило победу Ленина, так как воздержание членов группы Троцкого автоматически превращало группу Ленина в ЦК в большинство при решении вопроса о мире. На группу Бухарина ни ультиматум Ленина, ни заявление Троцкого не произвели никакого впечатления. Бухарин сказал, что предъявленные немцами условия нисколько не оправдывают старого прогноза Ленина, а единомышленник Бухарина — Ломов — прямо заявил: «Если Ленин грозит отставкой, то напрасно пугаются. Надо брать власть без В. И. (Ленина.— А. А.). Надо идти на фронт и делать все возможное» (там же, стр. 213—214). Но как раз тогда, когда начало выясняться общее положение в пользу Ленина, один из его же группы изменил Ленину — это был Сталин. Он прямо и недвусмысленно заявил: «Можно не подписывать, но начать мирные переговоры» (там же, стр. 212).

Этот рецидив «троцкизма» Сталина, когда уже сам Троцкий открывал Ленину дорогу к миру, страшно возмутил Ленина. Ленин видел, что победа позиции Сталина означала бы гибель советской власти. Вот почему Ленин во втором своем выступлении основной удар нанес Сталину. Ленин сказал:

«Сталин не прав, когда он говорит, что можно не подписать. Эти условия надо подписать. Если вы их не подпишете, то вы подпишете смертный приговор Советской власти через три недели... Я ставлю ультиматум не для того, чтобы его снимать» (там же, стр. 213).

Сталин вернулся в лагерь Ленина, хотя и не без оговорок. Выступая второй раз, он заметил: «Мы полагаем, что немец все делать не может» (там же, стр. 213). После долгих и продолжительных прений (было 21 выступление, некоторые выступали по два-три раза) Ленин сформулировал вопросы голосования:

1) Принять ли немедленно германские предложения?

«За» голосовали 7 членов ЦК (Ленин, Стасова, Зиновьев, Свердлов, Сталин, Сокольников, Смилга); против — 4 члена ЦК (Бухарин, Ломов, Урицкий, Бубнов); воздержались — 4 члена ЦК (Троцкий, Крестинский, Дзержинский, Иоффе).

2) Готовить ли немедленно революционную войну?

«За» голосовали единогласно все члены ЦК («Протоколы ЦК...», стр. 215).

Таким образом, прошло предложение Ленина о безусловном принятии нового немецкого ультиматума. Оно было принято меньшинством наличных членов ЦК, так как воздержавшиеся члены ЦК (4 чел.) фактически стояли на позициях противников мира — на позициях группы Бухарина. Группа Бухарина из своего поражения сделала соответствующие выводы — ее члены подали заявление о выходе из ЦК и из правительства.

Члены ЦК Крестинский, Иоффе и Дзержинский тоже подали заявление в ЦК, в котором писали, что одновременно бороться на три фронта — против германского империализма, против русской буржуазии и «части пролетариата во главе с Лениным» более опасно, чем заключить мир; поэтому они, не будучи все-таки в состоянии голосовать за мир, предпочли воздержаться (там же, стр. 216). Троцкий мотивировал свое воздержание тем, что он хотел помочь найти выход из создавшегося тупика и не препятствовать Ленину в получении большинства голосов для установления единой линии (там же, стр. 216).

В дальнейшем борьба в ЦК идет уже вокруг вопроса — принять или отклонить отставку членов ЦК из группы Бухарина. Ленин ясно видел, что уход из ЦК бухаринцев, играющих такую видную роль в партии, по логике вещей может привести к расколу партии, что в данных условиях приведет к катастрофическим последствиям. Ленин в глубине души даже был с ними, но в отличие от них он не видел никаких возможностей продолжать войну сейчас. Однако вместе с ними он хотел готовиться к ней и разорвать заключаемый сейчас мирный договор в тот самый момент, когда Советская Россия будет готова к ведению революционной войны. Потому он и его сторонники голосовали в ЦК с Бухариным за подготовку такой войны.

Ленин никак не мог вдолбить в догматические мозги «революционеров фразы» (как он называл «левых коммунистов»» из группы Бухарина) ту элементарную истину большевистской философии права и морали, что договоры заключаются не для их соблюдения, а для выигрыша времени, для «передышки», чтобы перестроить свои ряды, накопить новые силы и опять начать новую войну. Эта новая война тогда будет происходить в условиях максимальной деморализованности врага, уверенного, что большевики будут держаться заключенного договора в условиях реорганизации старых и накопления новых сил для нанесения смертельного удара врагу. Только заведомые догматики или безнадежные тупицы в политике не могли понять, думал Ленин, когда он на VII съезде партии, обосновывая необходимость заключить сейчас мир, говорил:

«Никогда в войне формальными соображениями связывать себя нельзя. Смешно не знать того, что... договор есть средство собирать силы... Некоторые, определенно, как дети, думают: подписал договор, значит, продался сатане, пошел в ад. Это просто смешно... Подписание договора при поражении есть средство собирания сил... Стиснув зубы, не хорохорься, а готовь силы. Революционная война придет, в этом у нас разногласий нет... Надо в интересах революционной войны отступать физически, отдавая страну, чтобы выиграть время. Стратегия и политика предписывают самый что ни на есть гнусный мирный договор» (Ленин, ПСС, 3-е изд., т. 22, стр. 334, 335, 336).

На заседании ЦК от 24 февраля, на котором присутствовали 12 членов ЦК и трое приглашенных, было решено отправить на подписание мира делегацию в новом составе — Сокольников (председатель), Петровский, Карахан, Чичерин. Председатель предыдущей (после Троцкого) делегации — Иоффе — был против его воли, но по настоянию Ленина назначен консультантом делегации, так как из всех членов ЦК его считали наиболее компетентным в вопросах, связанных с заключением мира. На том же заседании обсуждали заявления противников мира и Троцкого об их уходе из правительства. Обосновывая свое заявление об отставке, Троцкий говорил, что «в партии сейчас два очень резко отмежеванных друг от друга крыла. Если смотреть с точки зрения парламентской, то у нас есть две партии, и в смысле парламентском надо было бы меньшинству уступить, но у нас этого нет, так как у нас идет борьба групп» (там же, стр. 224). Троцкий оценивал создавшееся положение как «кризис власти». Сталин присоединился к этой оценке с той оговоркой, чтобы Троцкий все же остался в правительстве. В протоколе сказано:

«Тов. Сталин говорит, что он не делает ни тени упрека Троцкому, он также оценивает момент как кризис власти, но все же просит его выждать пару дней» (там же, стр. 224).

Ленин оценил утверждение Троцкого и Сталина о «кризисе власти» как ошибочное. Ленин указал, что есть смена политики в отношении заключения мира (безусловное принятие немецкого ультиматума), но нет кризиса власти. Он по-прежнему настаивает на том, чтобы члены правительства, подавшие заявление об отставке (Троцкий, Ломов, Смирнов, Урицкий, Пятаков, Боголепов, Спундэ), так же как и те, которые ранее подали заявление о выходе из ЦК, остались на своих постах по крайней мере до предстоящего экстренного съезда партии. Ленин тут же вносит и второе предложение, гарантирующее право за противниками мира опубликовать их соответствующие заявления о несогласии с политикой ЦК на страницах газеты «Правда».

Эти предложения Ленина, как недостаточно гарантирующие права меньшинства, были отвергнуты (за них голосовало только 5 членов ЦК). Было принято более определенное предложение Крестинского и Троцкого: ЦК предлагает товарищам, подавшим заявление, остаться на своих постах, не неся политической ответственности, при полной свободе отстаивания своей точки зрения в партии, в печати, на собраниях (там же, стр. 223,

226, 227). За это предложение голосовали все члены ЦК, в том числе и подавшие заявления об отставке. Ленин избег раскола ценой признания свободы групп и свободы слова за оппозицией, что противоречило всей его доктрине о партии.

24 февраля ночью большевистская фракция срочно внесла во ВЦИК резолюцию о принятии немецких условий мира и отправке мирной делегации в Брест-Литовск. Эта резолюция была принята большинством в 116 голосов против 85, воздержалось 26 человек. «Против» голосовали меньшевики, правые и левые эсеры и ряд беспартийных членов ВЦИК.

Ленин и Троцкий тотчас телеграфируют в Берлин, что советское правительство принимает условия мира и направляет делегацию в Брест-Литовск. Ленин спешил с принятием немецкого ультиматума, словно опасаясь, что если медлить и дальше, как этого требовал Сталин, то немцы могут предъявить дополнительно то единственное условие, которого он действительно не мог принять: уход большевиков от власти. Дальнейшее развитие событий показало, что это опасение Ленина было напрасным. Никакая другая политическая партия России, кроме большевиков, не была готова капитулировать перед немцами. Точно осведомленные на этот счет немцы больше самого Ленина были заинтересованы в сохранении власти большевиков. Поразительно, почему Ленин не использовал этого своего козыря против Вильгельма. А может быть, использовал. Мы только этого не знаем.

Ленин от имени Организационного бюро ЦК партии написал обращение к партии, в котором объяснял, почему было необходимо принять немецкий ультиматум. Оно было опубликовано в «Правде» 28 февраля. В этом обращении Ленин и ЦК во всеуслышание заявляют не только друзьям, но и врагам, что военный триумф немцев при всех условиях неизбежен. Ленин и ЦК как бы подсказывают немцам, какова кратчайшая дорога к их победе. Это было чудовищно и неслыханно, ибо история не знает примера, чтобы обороняющаяся в смертельной схватке с врагом страна так опрометчиво сообщала врагу о своем бессилии, как это делали Ленин и ЦК. Вот соответствующие места из этого обращения ЦК:

«Безусловная необходимость подписания мира вызывается прежде всего тем, что у нас нет армии, что мы обороняться не можем... Россия сейчас беззащитна и будет разгромлена даже ничтожными силами германцев, которым достаточно перерезать главные железнодорожные линии, чтобы голодом взять Питер и Москву» (Ленин, Соч., т. 22, стр. 294—295). Трудно объяснить такую предательскую откровенность.

После этого публичного официального заявления Ленина и ЦК немцы знают, что России можно предъявлять любые условия, вплоть до требования выступления русских войск против русских союзников на Западном фронте, как это в свое время делал Наполеон с русскими союзниками против русских (поддержка Австрией и Пруссией Наполеона против России в войне 1812 г.). Однако немцы этого не делают. На новой встрече, которая продолжалась в том же Брест-Литовске с 1-го по 3 марта, немцы просто повторяют свой ультиматум, а советская делегация во главе с Сокольниковым, не читая, согласно инструкции подписывает текст сепаратного мира. Он подлежал теперь ратификации в двухнедельный срок как партийным съездом, так и съездом Советов...

Говоря о Брестском мире, важно ответить на следующие вопросы:

1. Существовала ли реальная опасность, что немцы дойдут в своей политической программе ведения войны до требования свержения большевистской власти, а в своей военно-захватнической программе до оккупации Центральной России?

2. Была ли правильной оценка Ленина состояния боеспособности немецкой армии, его вера в то, что она бесконечно может наступать («этот зверь прыгает сильно»)?

Теперь мы располагаем огромной исторической документацией — немецкой, англо-саксонской, французской, советской,— чтобы удовлетворительно ответить на эти вопросы. Скрытые факторы и тайные замыслы военно-политической стратегии, как и тайная война разведывательных центров участников первой мировой войны теперь в значительной мере уже раскрыты, изучены, доступны для анализа, сравнения, выводов (особенного внимания заслуживают здесь такие фундаментальные немецкие труды, как многотомная работа «Die Ursachen des deutschen Zusammenbruches im Jahre 1918», изданная после первой войны в Берлине, и «Ursachen und Folgen», изданная в Западном Берлине после второй мировой войны). Чтобы ответить на вышепоставленные вопросы, нет никакой необходимости предпринимать широкую историческую экскурсию в дебри той эпохи. Главный критерий всех критериев — время показало, что Ленин абсолютно ложно оценил материально-военные возможности Германии, переоценил ударную, наступательную силу ее армии, совершенно недооценил не только возможности организации новой (революционной) оборонительной войны со стороны России, но и допустил грубые просчеты в отношении неизбежности победы стран Антанты над Четверным союзом, особенно с тех пор, как Америка вступила в войну.

Между тем сами руководители германской армии, не говоря о германском правительстве, уже в то время, когда Ленин вел переговоры о капитуляции, пришли к убеждению, что вести победоносную войну они не в состоянии. Изданы воспоминания графа Чернина, австро-венгерского представителя в Бресте, который писал, что если бы хватило сил, немцы вели бы не переговоры, а начали бы наступление на Петроград. Цитируя Чернина, Троцкий пишет: «10 февраля делегации Германии и Австро-Венгрии пришли к заключению: «Состояние, предложенное Троцким, должно быть принято»... Кюльман, по словам Чернина, с полной уверенностью говорил в Бресте о необходимости принять мир де факто. Один генерал Гофман выступил против этого» (Л. Троцкий. «Моя жизнь», ч. II, стр. 114).

Такой авторитетный свидетель, как генерал Людендорф, еще по свежим следам войны (его книга вышла в 1919 г.) писал, что в начале 1918 года задача германского командования сводилась лишь к тому, чтобы не дать большевикам организовать новый восточный фронт и поэтому нанести им короткий, сильный удар, но, добавляет он, «о широкой операции не могло быть и речи» (Erich Ludendorff, «Meine Kriegserinnerungen», Berlin,, 1919, S. 447). Тот же Людендорф, обер-квартирмейстер главной квартиры, глава крайне правой военной клики, пишет, что он был против уничтожения России как государства. После последнего наступления 18 февраля Германия ставила только такие условия мира, которые «избегали всякого вмешательства во внутриполитическую и хозяйственную жизнь России, и не навязывали ей ничего, что не было бы совместимо с честью независимого государства и что поработило бы его жителей». Поучительно сравнить мир, который тогда получила Россия, с тем миром, который она могла бы получить» (там же, стр. 450). Генерал делает два очень важных сообщения по поводу того, почему большевики так спешили заключить с немцами мир. Во-первых, говорит он, там, куда наша армия приходила, «население чувствовало себя освобожденным от большевизма» (стр. 452), во-вторых, сперва большевики были не прочь при упорствовании немцев вместе со странами Антанты продолжать войну (это мы уже видели выше), но «как только советское правительство увидело, что Антанта хочет его свергнуть и поставить у руля другое правительство, от которого она ждет проявления больших усилий для ведения войны, то оно (советское правительство) отвернулось от Антанты и повернулось к Германии, чтобы укрепить власть внутри страны» (стр. 459).

Как уже указывалось, немцам как раз нужна была партия капитуляции на Восточном фронте, чтобы сосредоточить потом все свои главные силы на опасном Западном фронте. Сохранился чрезвычайно интересный документ германского министерства иностранных дел по вопросу о том, как Германия относилась к возможности образования в России другого, демократического правительства вместо большевистского. Это письмо заместителя государственного секретаря из Берлина 9 января 1918 года государственному секретарю Кюльману, который находился на переговорах с Троцким в Брест-Литовске. В письме сообщается, что к германскому послу в Стокгольме обратился социалист-революционер, который передал послу содержание письма лидера с.-р. Чернова. В этом письме представитель партии Чернова рисует массовый красный террор, при помощи которого большевики держатся у власти, но недалеко время, когда вся страна отвернется от Ленина, и тогда спасение России — Учредительное собрание. Партия Чернова предлагает немцам отказаться от своей ставки на вероломных большевиков и заключить честный и продолжительный мир с демократической Россией. Информируя обо всем этом, заместитель государственного секретаря заключает свое письмо: «Если ваше превосходительство одобрит, я намереваюсь сообщить ему (представителю партии социалистов-революционеров.— А. А.), что в данное время мы, к сожалению, не в состоянии связаться с другими русскими партиями, так как мы ангажированы для переговоров с большевиками. Пожалуйста, телеграфируйте вашу точку зрения». Кюльман ответил: «Я согласен» (Germany and the Revolution in Russe. 1915—1918. By Z. A. B. Zeman, p. 113—115). И это было в те дни, когда Троцкий, грубо прервав переговоры, крикнул: «Ни войны, ни мира!», «Да здравствует пролетарская революция в Германии!»

Общеизвестна немецкая националистическая легенда об «ударе в спину», согласно которой немцы выигранную на поле битвы войну проиграли из-за революции в тылу. Когда национал-социалисты приходили к власти, эта легенда сыграла роль великой взрывной силы для мобилизации ярости нации, которая беззаботными отцами Версаля из-за ошибок правителей была унижена, оскорблена и выключена из европейской семьи равноправных. Собственно, там, в Версале, и были посеяны зерна того ужасного урожая людских черепов (50 миллионов!), который человечество собрало в конце второй мировой войны. Ставка большевиков—и правых во главе с Лениным, и левых во главе с Бухариным — была в ту же точку: выиграть войну, организовав революцию в Германии. Однако Ленин был нетерпелив и подвержен колебаниям. Он как бы сомневался в собственной вере в неизбежность германской революции. Эта вера казалась иной раз настолько невероятной, что он был готов договориться с генералами кайзера на условиях в «сто раз хуже» (Ленину никто не задавал вопроса: что значит мир, который был бы в «сто раз хуже» Брестского мира?).

В то время, когда Ленин до невероятности преувеличивал общую мощь Германии и непобедимость ее армии, сами руководители германской армии счита-

ли, что они войну фактически проиграли. Мы уже цитировали свидетельство Людендорфа о вынужденной ограниченности масштаба операций немецкого Восточного фронта, а также его свидетельство, что Германия и не ставила перед собою цели оккупировать этнографическую Россию, да она и не могла ее ставить из-за внутреннего катастрофического положения. Многочисленные исследования, монографии, книги написаны немецкими историками и публицистами на эту тему. Здесь сошлемся на самое последнее немецкое свидетельство — на мемуары небезызвестного рейхсканцлера Веймарской республики Брюнинга. Брюнинг вспоминает: когда он говорил генералу Шлейхеру, что в начале первой мировой войны построение боевого порядка (Autmarsh) немецкой армии было чудесным, хотя война была проиграна из-за способа самого построения, генерал Шлейхер сказал: «Я говорил еще 26 марта 1918 года, что наше дело давно уже потеряно» (Воспоминания Брюнинга. Der Spiegel, г. 45, 2. XI. 1970, S. 196). Заметьте, что генерал так думал через три недели после капитуляции Ленина и выигрыша войны против России, в результате которого к немцам переходили так нужные им резервы стратегического сырья и снабжения (хлеб, мясо, уголь, металл Украины), а их дивизии на Востоке освобождались для переброски на Западный фронт.

Еще более значительно, а как исторический документ исключительно важно, свидетельство начальника Генерального штаба германской армии фельдмаршала Гинденбурга в изложении того же Брюнинга. Брюнинг говорит, что, когда он в 1932 году, будучи рейхсканцлером, начал доказывать Гинденбургу, тогда президенту Германии, что при правильном обращении можно было бы удержать солдат в 1918 году от бунта против кайзера, то старик отрицательно покачал головой и заявил: «Нет... Я знал еще в феврале 1918 года, что война уже проиграна. Однако я хотел дать Людендорфу еще раз шансы» (там же, стр. 178). Как эти свидетельства, так и особенно подтверждающие их последующие события, приведшие к революции в ноябре 1918 года и капитуляции Германии на Западе, показали, что только одному Ленину Германия была обязана возможностью сопротивляться на Западе еще восемь месяцев после Бреста.

Ученики Ленина приписывают ему задним числом политическую мудрость и прозорливость в деле предвидения ноябрьской революции 1918 года в Германии, между тем именно из-за капитуляции Ленина она произошла с запозданием на несколько месяцев. История с абсолютной очевидностью доказала, что в прогнозе событий, как и крушения Германской империи, правы оказались не Ленин, даже не Троцкий, а Бухарин и Гинденбург. По иронии судьбы Ленина избавили от Брестского сепаратного мира, а России вернули потерянные ею территории как раз бывшие союзники русских: Франция, Англия и Америка.

Хотя Милюков писал, что одно время у немцев было намерение свергнуть большевистское правительство, опираясь на русских офицеров («Россия на переломе», т. II, Париж, 1927), советский официальный историк в этом сомневается. Наоборот, он констатирует: «Даже 6 июля, когда левые эсеры убили германского посла Мирбаха, немцы не ввели своих солдат в Москву, как первое время грозили, и ограничились увеличением штата посольства до 300 человек» (БСЭ, 1-е изд., т. 7, стр. 461).

Кайзеру нужны были не Милюков с Черновым, тем более не Деникин с Колчаком, а любой ценой ему нужен был капитулировавший перед ним Ленин.

В конце шестидесятых годов в СССР начали издавать серию книг-документов «Советско-германские отношения...». Документы подобраны, конечно, однобоко, тенденциозно, чтобы доказать величие и прозорливость Ленина и близорукость и ничтожество его противников в спорах о заключении Брест-Литовского сепаратного мира. Несмотря на такой однобокий «классовый подход», все же в первый том названной серии попали и некоторые документы из немецкой публикации, которые как раз опровергают то, что советские историки считают доказанным. Эти немецкие документы 1918 года довольно красноречиво рисуют, с одной стороны, внутреннее положение самой Германии в начале 1918 года, с другой — отношение правительства и Верховного главнокомандования к вопросу о судьбе новой власти в России.

На совещании 5 февраля 1918 года в имперской канцелярии в Берлине, в присутствии рейхсканцлера Гертлинга, статс-секретаря Кюльмана, австрийского министра Чернина, фельдмаршала Гинденбурга, генерала Гофмана и др., глава военной партии Людендорф, настаивая на наступлении, все же признавал, что если начались бы новые военные операции, то «последние, правда, осуществлялись бы медленно, учитывая снег, плохие дороги и недостаточную обеспеченность тягловой силой» («Советско-германские отношения», т. 1, Москва, 1968, стр. 289). Кюльман на том же совещании предпочитал заключить с Троцким мир, ибо: «Заключение мира даже с Троцким было бы все же выигрышем как по отношению к Антанте, так и ввиду положения у нас самих» (там же, стр. 290).

В тот день, 10 февраля 1918 года, когда Троцкий демонстративно отверг немецкие условия, рейхсканцлер писал в телеграмме к кайзеру, что «народ считает, что интересы Германии требуют заключения мира», указывая одновременно, что затягивание заключения мира может вызвать новые демонстрации, забастовки и все это приведет к тому, что «мы не будем иметь на нашей стороне

большинство народа и парламента, так что я не хотел бы взять на себя ответственность за возможный исход такого положения» (там же, стр. 315).

На совещании под председательством кайзера от 13 февраля, созванном для обсуждения положения после заявления Троцкого «ни войны, ни мира», в ответ на требование Людендорфа «закончить войну по-военному» начальник Главного военно-морского штаба Гольцендорф с той же определенностью военного языка ответил своему коллеге: «Нет никаких шансов, что скоро будет одержана победа и что высвободившиеся войска могут быть использованы на Западе» (там же, стр. 325—326).

Решение, принятое на этом совещании, говорит о возобновлении военных действий после истечения срока перемирия (согласно условиям перемирия он истекал через семь дней после его расторжения одной из сторон — поскольку заявление Троцкого от 10 февраля немцы квалифицировали как такое расторжение, то военные действия могли начаться только после 17 февраля). Но очень важно констатировать, что и в этом случае немцы ставят перед собою только ограниченные военные цели, скорее тактические, чем стратегические. Сообщая о решениях совещания директору отдела печати ведомства иностранных дел, заместитель статс-секретаря фон Радовиц писал: «По истечении срока перемирия должны быть предприняты военные операции, преследующие цель восстановить порядок и спокойствие в районах, примыкающих к оккупированным нами областям... Операции должны служить обеспечению наших границ таким образом, чтобы их можно было охранять с помощью небольших контингентов войск, высвободив тем самым войска для Запада» (там же, стр. 329).

То же самое можно констатировать и в отношении политических целей Германии — немцы были не только за сохранение у власти большевиков, но и против того, чтобы поддерживать какое-либо антибольшевистское движение в России...

В ответ на принятие сепаратного мира левые эсеры вышли из состава советского правительства. Старый офицерский корпус на юго-востоке и в Сибири поднял знамя борьбы за освобождение России от немцев и большевиков. Началась гражданская война. Создалась Белая добровольческая армия, во главе которой встали сначала Алексеев, Корнилов, а потом Деникин, Колчак, Юденич, Врангель...

Все политические партии России от эсеров, меньшевиков, кадетов и до монархистов выступили против беспримерно позорной капитуляции России.

Какое же было отношение кайзеровской Германии к начавшейся гражданской войне? Разумеется, она была на стороне большевиков.

Через четыре месяца после заключения Брестского мира, в разгар гражданской войны — 2 июля 1918 года, под председательством Вильгельма II происходит совещание высших политических и военных руководителей Германии, посвященное тактике и политике Германии в русской гражданской войне. Докладчиком по данному вопросу выступает тот же Людендорф. Он говорит, что «позиция большевиков сильно ослаблена, а влияние монархических элементов значительно выросло. Следует считаться с возможностью переворота в любой момент». К этой оценке присоединяется рейхсканцлер, подчеркивая, что он сомневается, чтобы монархисты признали Брестский договор. Грозная дилемма для Германии становилась все явственнее — кого поддерживать в этой исторической схватке: большевиков или «монархистов» (монархистами немцы тогда считали всех русских антибольшевиков). Монарх Вильгельм и монархист Людендорф при всей своей глубокой ненависти к большевизму все-таки сделали выбор против монархистов в пользу большевиков. Совещание приняло точку зрения Людендорфа, которая гласила: «Если даже монархисты и представляют собою сторонников порядка (Ordnungselemente), мы все-таки не должны предпринимать попыток свергнуть в настоящее время большевиков» («Советско-германские отношения», там же, стр. 567).

Даже после убийства германского посла Мирбаха 6 июля 1918 года Берлин ограничился требованием о введении в Москву батальона немецких солдат для охраны германского посольства. Советский посол в Берлине Иоффе по поручению Ленина легко убедил имперское правительство, что такая мера привела бы к свержению большевиков, тем более что в Москве эсеры уже подняли восстание против них, а главнокомандующий Восточным фронтом эсер Муравьев отдал приказ о движении войск на Москву.

Здесь надо немного остановиться на судьбе левых эсеров. Более грозным врагом для Ленина после захвата власти были не меньшевики, а эсеры — идеологи русского крестьянства. В «Коммунистическом манифесте» Маркс и Энгельс рассматривали крестьянство как реакционную силу. Такое же было отношение к крестьянству и у раннего Ленина. Но революция 1905 года убедила его, что крестьянство представляет собою весьма взрывчатый класс, умелое использование которого может привести его к власти. Никто так не боялся успехов «аграрных реформ» П. А. Столыпина, как Ленин. Ленин хорошо понимал, что крестьянство перестанет быть взрывчатой силой революции, если Столыпину удастся превратить его из малоземельного бунтаря-общинника в обеспеченного собственника на собственной земле. Ленин не без злорадства от-

мечал скромность успехов Столыпина, (из-за оппозиции как реакционеров, так и революционеров). Использование частнособственнического, мелкобуржуазного инстинкта крестьян для революции против всякой частной собственности — такова цель Ленина.

Исходя из этого Ленин и разработал доктрину рабоче-крестьянской революции «при гегемонии пролетариата». В интересах такой революции надо поддерживать самые антикоммунистические требования крестьянства, но Ленин не забывает, как и Маркс, что он имеет дело с реакционной силой. Вот почему Ленин писал еще в разгар первой русской революции:

«Мы сначала поддерживаем до конца, всеми мерами, до конфискации,— (земли помещиков.— А. А.) крестьянина вообще против помещика, а потом... мы поддерживаем пролетариат против крестьянина вообще» (Ленин. ПСС, 4-е изд., т. 9, стр. 213).

Идеал аграрной программы Ленина — это «национализация земли», в то время как эсеры проповедовали «социализацию земли», то есть передачу земли в руки местных крестьянских комитетов для раздела среди крестьян (меньшевики требовали «муниципализации земли»).

Февральская революция убедила большевиков в бесперспективности их лозунга «национализации земли». На I Всероссийском съезде крестьянских депутатов в июне 1917 года не присутствовал ни один выборный большевистский депутат. Весь съезд прошел под знаменем и руководством партии эсеров. Быстро сориентировавшись в обстановке, Ленин на этом съезде, по существу, держал проэсеровскую речь, а через 4 месяца — на II съезде Советов в дни Октябрьского переворота совершил, как мы уже видели, беспримерный в истории политической партии плагиат: он предложил II съезду от имени ЦК партии большевиков аграрную программу ЦК партии эсеров. Поэтому II съезд Советов голосами большевиков и эсеров санкционировал и переворот большевистской партии.

Принятие Лениным эсеровской аграрной программы лучше всего характеризует тактическую гибкость ленинизма, граничащую с беспринципностью, когда этого требуют интересы захвата власти. Еще до Февральской революции Ленин писал, что «программа (эсеров.— А. А.) есть нечто абсолютно безжизненное, внутренне противоречивое» (Ленин. ПСС, 3-е изд., т. 8, стр. 257). «Партия социалистов-революционеров лишена всякого социального базиса. Она не опирается ни на один общественный класс» (там же, т. 5, стр. 132), «партия эсеров есть в сущности не что иное, как фракция буржуазной демократии... эклектически соединяющая новейший оппортунизм и стародедовское народничество» (там же, стр. 362).

В дополнение к Ленину Большая Советская Энциклопедия лапидарно засвидетельствовала: «Еще перед Великой Октябрьской социалистической революцией социалисты-революционеры стали контрреволюционной буржуазной партией» (БСЭ, 1-е изд., т. 52, стр. 289).

Вот у этой «контрреволюционной буржуазной партии» Ленин берет всю аграрную «контрреволюционную» программу без единой поправки.

Выступая с докладом «Декрет о земле» 26 октября 1917 года, Ленин сказал: «Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Но не все ли равно, кем он составлен... В духе ли нашем, в духе ли эсеровской программы,— не в этом суть» (Ленин. ПСС, 3-е изд., т. 22, стр. 23).

Суть в том, что Ленин убедился — дорога к власти лежит через принятие программы «контрреволюционной буржуазной партии» эсеров.

Поражает беспомощность и примитивизм партийных историков, когда надо объяснить, почему же Ленин не только принял аграрную программу этой эсеровской «контрреволюционной буржуазной партии», но еще составил с нею коалиционное советское правительство (ноябрь 1917-го — март 1918-го). (По вопросу об отношении к большевистскому перевороту партия эсеров раскололась в ноябре 1917 года на две партии — на партию эсеров во главе с Виктором Черновым и партию левых эсеров во главе с Марией Спиридоновой.) Конечно, со стороны Ленина это не было браком по любви и даже браком по расчету. Он был навязан ему правым крылом ЦК во главе с Каменевым, Зиновьевым, Рыковым, Ногиным. Ленин с самого начала стоял на точке зрения создания однопартийной власти. Вынужденный пойти на компромисс, он ждал удобного момента, чтобы выбросить левых эсеров из своего правительства. Этого ему не пришлось делать. Левые эсеры сами вышли из правительства, когда Ленин заключил Брестский сепаратный мир. Но они остались в Советах — как во ВЦИК, так и на местах. Не только остались, но и начали значительно укреплять свои позиции в местных Советах. В выборах на V Всероссийский съезд Советов (июль 1918 г.), несмотря на монополию единопартийной диктатуры большевиков в местных исполкомах, несмотря на их высокое искусство политической демагогии, из 1164 делегатов V съезда большевиков или им сочувствующих оказалось 773 человека, остальные делегаты распределились так: левых эсеров — 353 человека; меньшевиков-интернационалистов — четверо; анархистов — четверо, других беспартийных или партийных антибольшевиков — 13. На таком съезде Ленин не мог все же чувствовать себя полным хозяином. Когда фракция левых эсеров внесла резолюцию, осуждающую внешнюю (сепаратный мир, коллоборация с немцами) и внутреннюю

политику (террор, введение смертной казни), большевики устроили обструкцию ораторов-эсеров, чтобы спровоцировать уход левых эсеров из зала съезда, чего они и добились. Воспользовавшись этим, как откровенно пишет советский комментатор Ленина, съезд принял «единогласное решение по всем вопросам в духе большевиков» (Ленин. ПСС, т. 36, стр. 628—629).

Дальше происходят события, которые многие историки на Западе считают «таинственными»... Но как всегда в таких случаях, надо задать вопрос: кому на пользу были эти события? В условиях начавшейся гражданской войны с белыми Ленину нужна была консолидация своей власти, а для этого надо избавиться от последнего конкурента и самого опасного врага внутри Советов — от партии левых эсеров. Но ввиду все еще исключительного влияния левых эсеров среди крестьян и отчасти среди городского населения надо было найти такой предлог, который сразу и резко упростил бы Ленину его игру. И такой предлог нашелся. Оперативный уполномоченный ЧК, на котором лежали функции обеспечения безопасности дипломатического корпуса в Москве, Блюмкин 6 июля 1918 года убил германского посла в Москве графа Мирбаха. В кармане убийцы лежало личное удостоверение, подписанное Дзержинским, но советское правительство, не отрицая официального положения Блюмкина, объявило, однако, что он действовал по поручению левых эсеров, чтобы спровоцировать войну между Германией и Россией. Еще никакого следствия не было, кроме факта установления личности Блюмкина как сотрудника Чека, но Ленин уже на следующий день, 7 июля, «знает», что убийство совершено по поручению партии эсеров. Сохранились два документа Ленина от июля: интервью газете «Известия» (зачем такая спешка?) и телеграмма Сталину в Царицын. Из обоих документов хорошо видно, что убийство графа Мирбаха нужно не эсерам, а Ленину. В интервью Ленин сообщает, что «серая, безграмотная старушка, негодуя, говорила по поводу убийства Мирбаха: «Ишь проклятые, толкнули-таки нас в войну!». Кто эти «проклятые», старушка еще не знает, но вот Ленин точно, даже без следствия: «Все и сразу до очевидности ясно поняли и оценили, что после эсеровского террористического акта Россия оказалась на волосок от войны. Именно так оценивали народные массы выступление левых эсеров» (Ленин. ПСС, т. 36, стр. 519). После подавления восстания левых эсеров Я. Г. Блюмкин перешел к большевикам, в том же 1918 году был послан на фронт, где вступил в партию большевиков.

Во втором документе — телеграмме Сталину, находившемуся в Царицыне,— уже дается приказ открыть массовый террор против левых эсеров: «Повсюду необходимо подавить беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов... Итак, будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаще» («Правда», 21 января 1936 г.).

Сталин ответил по-сталински: «Будьте уверены, что у нас не дрогнет рука...» (Сталин. Сочинения, т. 4, стр. 118) *.

Блюмкин убил Мирбаха 6 июля, а Ленин уже 7 июля знает, что его убили левые эсеры. Николаев убил Кирова 1 декабря 1934 года, а Сталин того же 1 декабря знает, что его убили зиновьевцы, троцкисты, бухаринцы... На XX съезде мы узнали, что Киров был убит чекистами Ягоды по заданию Сталина. По чьему же заданию чекисты Дзержинского убили Мирбаха? На этот вопрос дадут исчерпывающий ответ только позднейшие историки, но сейчас важно отметить следующее: независимо от факта, кто организатор убийства Мирбаха и каковы могли быть его мотивы, убийство в сложившихся условиях нужно было не ЦК левых эсеров, а ЦК большевиков. К тому же в политике важны не мотивы, а последствия. Последствия не заставили себя ждать — того же года, 6 июля, большевики арестовывают всю фракцию левых эсеров на съезде во главе со Спиридоновой. В ответ на это оставшиеся на воле левые эсеры захватили телеграф, телефонную станцию, а один из отрядов войск Чека во главе с заместителем Дзержинского, левым эсером Д. И. Поповым (хотя левые эсеры вышли из правительства, но некоторые из них все еще оставались в командном составе армии и Чека), захватил резиденцию Чека и арестовал Дзержинского и другого его заместителя, Лациса. Ленин пригрозил расстрелом всей фракции эсеров на съезде, если Дзержинский не будет освобожден. Его освободили, но левые эсеры остались в тюрьме.

От Брестского «похабного» мира Ленина избавили те, как уже говорилось, кому он своим сепаратным миром нанес удар в спину: западные союзники России — Франция, Англия и Америка — принудили Германию к капитуляции (произошла революция, кайзер отрекся). 13 ноября 1918 года Москва аннулировала Брестский мир.

---

* У Сталина не только не дрогнула рука, но, пользуясь полномочиями Ленина, он развернул такую вакханалию террора в Царицыне, что похоронная команда чекистов не успевала закапывать жертвы расстрельной команды. Узнав это, Ленин предложил Сталину «умерить» огонь. Вот признание, опубликованное впервые в 1970 г.: «Когда Сталин расстреливал в Царицыне, я думал, что это ошибка, думал, что расстреливают неправильно. Моя ошибка раскрылась, я ведь телеграфировал: «Будьте осторожны» («Ленинский сборник», XXXVII. Москва, 1970, стр. 136).

X съезд и осадное положение в партии

В 1921 год Советская Россия вступила уже в условиях полного внутреннего и внешнего мира. Последние силы Белого движения в Крыму, силы генерала Врангеля, были разгромлены в середине ноября 1920 года...

X съезд партии происходил 8—16 марта 1921 года. Советский историк замечает: «Коренным вопросом съезда был вопрос о переходе к новой экономической политике» (X съезд РКП(б). Стенографический отчет, 1963, стр. 8).

Так трактуется главное значение X съезда не только в советской, но и в западной литературе. Выражение «новая экономическая политика», или «нэп», вообще не присутствует ни в докладах Ленина, ни в решениях съезда. Говорили и приняли решение об одном, хотя и важном, но все же частном вопросе экономической политики: о переходе от продовольственной разверстки, при которой у крестьян реквизировали все продовольственные, сырьевые и фуражные излишки, к продовольственному налогу, при котором они обязаны сдавать государству только определенную заранее долю хлеба. Остатки они могут менять на изделия промышленности. Но в решении особо подчеркнуто: «Обмен допускается в пределах местного хозяйственного оборота» (там же, стр. 609).

Это первоначально частное, налоговое мероприятие X съезда было после съезда расширено до рамок «нэпа» — до поворота во всей экономической политике как в деревне, так и в городе. Случилось это опять-таки не добровольно, а вынужденно и не по экономическим соображениям, а по политическим, чтобы спасти существующий режим от гибели под ударами новой рабоче-крестьянской революции, в данном случае уже против большевиков («За Советы, но без коммунистов» — таков был лозунг новой революции).

Ленин только констатировал этот факт, когда на IV Конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 года говорил: «После того как мы преодолели важнейший этап гражданской войны... мы наткнулись на большой,— я полагаю, на самый большой внутренний политический кризис Советской России... Кризис обнажил недовольство не только значительной части крестьянства, но и рабочих» (Ленин. ПСС, т. 45, с. 282). Ленин признал, по существу, что режим «военного коммунизма» был попыткой непосредственного перехода к социализму. Но «большие массы крестьянства были против нас», некоторые открыто восставали, другие уходили в банды, третьи просто ворчали, как сибирские крестьяне, которые, по словам делегата X съезда Пахомова, говорили: «Поменяли Колчака на губчека — получай придачу» («X съезд РКП(б)», стр. 430). Ленин говорил, как он только теперь понял, что «если мы окажемся не в состоянии произвести отступление... то нам угрожает гибель» (Ленин. Сочинения, т. 45, стр. 282).

Поэтому-то Ленин «новую экономическую политику» рассматривал как временное отступление, как «передышку», как тактический маневр. Он был предельно откровенен, когда говорил: «Мы думали, что по коммунистическому велению будет выполняться производство и распределение... Если мы эту задачу пробовали решить прямиком, так сказать лобовой атакой, то потерпели неудачу... Не удалась лобовая атака, перейдем в обход, будем действовать осадой и сапой» (там же, стр. 47).

Обо всем этом на X съезде Ленин говорил, потому что не собирался делать поворот в экономической политике, ограничившись введением нормального налога и «обмена в пределах местного оборота». Крестьянское восстание в Тамбове, матросское восстание в Кронштадте, волнения рабочих в Петрограде и Петроградской губернии, объявленных на осадном положении, массовое недовольство и забастовки рабочих Москвы, угрожающая реакция на эти события в самых отдаленных губерниях России убедили Ленина, что лавирование с «налогом» не достигнет цели, а потому он должен был объявить во всеуслышание: «Мы ввели нэп всерьез и надолго».

Ко всему этому добавлялась и исключительная напряженность внутрипартийной жизни. Отражая настроение и недовольство народа, партийная масса выдвигала из своей среды бесчисленные оппозиции против официальной линии. Недаром среди восставших кронштадтских матросов были и активные коммунисты: по данным X съезда 30 процентов всех членов партии флота участвовали в восстании, а 40 процентов объявили себя «нейтральными» («X съезд РКП(б)», стр. 253).

Если бы решалась судьба режима во всероссийском масштабе, то, вероятно, соотношение сил внутри всей партии было бы такое же. Поэтому-то коренным вопросом X съезда был не нэп, которого тогда Ленин и не думал объявлять, а вопрос, который вообще не стоял на официальной повестке дня: введение в партии осадного положения в провозглашение всеобщей чистки.

X съезд партии был первым съездом в истории большевизма, на котором Ленин резко порвал со старой традицией, с «неписаным правом» членов партии иметь свое мнение — составлять группы со своими платформами, расходящимися с официальной линией ЦК. Ленин заявил: «...Мы должны на съезде прямо сказать: споров об уклонах мы не допустим, мы должны поставить точку... превратить это в обязательство для партии, в закон» (там же, стр. 28).

Восстание в Кронштадте, поскольку ему сочувствовало не только крестьянство, но и значительная часть рабочего класса, Ленин оценил как движение, куда более опасное, «чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые». Программа Кронштадтского восстания — свобода торговли, свобода слова, печати, партий, свобода выборов, даже Советская власть, но без коммунистов по Ленину могла стать программой общенародного восстания, если партия не примет драконовских мер против повстанцев, сочетая эти меры с уступками крестьянству, дав ему «возможность известной свободы в местном обороте». Ленин предупредил съезд, что кронштадтское «настроение сказалось на пролетариате очень широко. Оно сказалось на предприятиях Москвы, оно сказалось на предприятиях в целом ряде пунктов провинции...» Ведь накануне Кронштадта забастовки были и в Петрограде, и в Москве.

Кончая свой доклад, Ленин впервые после прихода к власти признал, что пролетариат отныне не может считаться опорной базой диктатуры партии. Его аргумент: «Когда в Москве были беспартийные собрания (рабочих.— **А. А.**), ясно было, что из демократии, свободы они делают лозунг, ведущий к свержению Советской власти» (там же, стр. 39). Поэтому-то Ленин еще в профсоюзной дискуссии, до Кронштадта, понял, что «диктатура пролетариата»—слишком серьезная вещь, чтобы ее можно было доверить самому пролетариату, ее может осуществить только партия. Для этого партия должна быть единой и проводить в жизнь официальную единую линию своего руководящего центра. Уже во вступительном слове Ленин объяснил, почему вредны дискуссии и споры. Он указал, что враги большевиков думают так: «...если дискуссия — значит споры, если споры — значит раздоры, если раздоры — значит коммунисты ослабели: напирай, лови момент, пользуйся их ослаблением!» (там же, стр. 2). Отсюда Ленин делал вывод, что всякая оппозиция против ЦК — это объективная помощь мелкобуржуазной контрреволюции.

Доводы Ленина не убеждали ни «Рабочую оппозицию», ни оппозицию «Демократического централизма». Лидеры обеих оппозиций выступили с резкой критикой официальной политики ЦК. Правда, Ленин одной своей цели добился: он не только предупредил образование объединенного блока двух оппозиций на съезде, но и натравил их друг на друга. Лидер «Рабочей оппозиции» Шляпников констатировал, что «в партии нет органической связи между членами партии и руководящими органами» и что методы работы партии, унаследованные от гражданской войны, отталкивают от нее «широкие слои пролетариата». «Рабочая оппозиция», стоящая очень близко к широким кругам пролетариата, предупреждает ЦК «об опасности отрыва от масс». Обращаясь к существу доклада Ленина, Шляпников сказал: «И те ярлыки, экивоки, инсинуации, которые раздаются здесь по нашему адресу, нас не смущают. Мы знаем себя и хорошо знаем, с кем имеем дело... Путь, на который встал т. Ленин, не приведет нас к желанному всеми единству». Шляпников укорял Ленина, что он опрометчиво обвиняет пролетариат в мелкобуржуазной контрреволюции: «По мнению докладчика (Ленина.— **А. А.**) выходит, что мелкобуржуазная стихия оказывается в красе и гордости революции, в Кронштадте. Влиянию же поддается не кто иной, как питерский пролетариат... который еще недавно служил рекламой как раз для т. Зиновьева и других, заявлявших, что питерский пролетариат свободен от всякой оппозиции, особенно от «Рабочей оппозиции».

Шляпников сказал, что «органическая болезнь партии — это оторванность партцентров от партийных масс и всего партаппарата — от рабочих масс. В результате всего этого — недовольство рабочих и восстание «красы и гордости революции» — матросов, рабочих и коммунистов Кронштадта. Поэтому, сказал Шляпников, «клеймить нас бездоказательно синдикалистами, анархистами — недостойно! Связать же нас с теми или иными восстаниями или недовольством, которое сейчас журчит в рабочих кварталах, не только бессмысленно, но недобросовестно и демагогично» (там же, стр. 71—73). Шляпников добавил, что «причины недовольства рабочих масс ведут не к «Рабочей оппозиции», а к Кремлю» (там же, стр. 73).

Касаясь внутрипартийного режима Ленина, Шляпников сказал: «Методы партийной работы также нуждаются в коренном изменении. Необходимо немедленно покончить с единоличием в партийной работе, прекратить ставку на уполномоченных. Центральный Комитет все время ведет борьбу с местами при помощи назначенства и уполномоченных» (там же, стр. 75).

...Коллонтай, автор брошюры «Рабочая оппозиция», сказала на съезде, что «былой тип идейного работника у нас исчез, появились управляющие и управляемые, стоящие одни — наверху, другие — внизу». Она обвинила ЦК в продолжении политики репрессий против инакомыслящих коммунистов.

В решениях IX сентябрьской конференции 1920 года сказано: «Какие бы то ни было репрессии против товарищей за то, что они являются инакомыслящими по тем или иным вопросам, решенным партией, недопустимы» («КПСС в резолюциях». ч. 1, стр. 509).

Напомнив это решение, Коллонтай спрашивала: «Почему постановление конференции, чтобы перестали отсылать в отдаленные места наших инакомыслящих, с точки зрения ЦК, товарищей, почему на деле оно не проводится в жизнь? Мы знаем, что закулисно ведется определенная оценка товарищей, рас-

ценка их, кого оставить, а кого убрать подальше...» (там же, стр. 101).

...Заключительное слово Ленина было весьма агрессивно. Настолько агрессивно, что он угрожал «Рабочей оппозиции» не только исключением из партии, но и винтовкой. Объяснить это можно было только одним: для Ленина был страшен не Кронштадт вне партии, а «Рабочая оппозиция» внутри партии. Рабочий класс, именем которого управлял Ленин, открыто аплодировал своей оппозиции. Если не раздавить эту оппозицию сейчас же, на этом же съезде, угроза потери власти ЦК в пользу «Рабочей оппозиции» становилась реальной.

«Рабочую оппозицию» Ленин связал с Кронштадтом: «Я утверждаю, что между идеями и лозунгами этой мелкобуржуазной, анархической контрреволюции и лозунгами «Рабочей оппозиции» есть связь».

В чем же эта связь? «Рабочая оппозиция требует, чтобы «управление народным хозяйством принадлежало всероссийскому съезду производителей, объединенных в профсоюзы», а Ленин говорит, что «диктатура пролетариата иначе невозможна, как через Коммунистическую партию» (там же, стр. 112—118). Ленин считает, что «теперь» дискуссировать винтовками гораздо лучше, чем тезисами... «Либо — тут, либо — там, с винтовкой, а не с оппозицией... Для оппозиции теперь конец, крышка... Если они будут продолжать игру в оппозицию, тогда партия должна их из партии исключить» (там же, стр. 118, 119).

Касаясь критики Шляпникова по адресу своего заместителя Цюрупы, которого Шляпников требовал отдать под суд за то, что его наркомат гноит картошку в то время, когда рабочие голодают, Ленин сказал: «Почему не предают суду Шляпникова за такие выступления?.. Что мы, на собрании кронштадтского типа? А это — кронштадтская фраза анархического духа, на которую отвечают винтовкой» (там же, стр. 123).

Это выступление убедило всех, что отныне Ленин намерен разговаривать со всяким инакомыслящим в партии «винтовкой».

После заключительного слова Ленина по отчету ЦК были внесены три резолюции: одну от имени сторонников ЦК внес Ярославский. В ней было сказано, что «съезд признает внутреннюю и внешнюю политику ЦК в общем и в целом правильной», отмечался недостаток единства в самом ЦК, предлагалось для «полной устойчивости» партийного центра ввести в ЦК «организаторов, выдвинувшихся в массовой партийной работе». В общем, резолюция была составлена в менее решительных тонах, чем доклады Ленина, чтобы дать возможность оппозиционным группам голосовать за нее. Но оппозиции внесли собственные резолюции по отчету ЦК. От имени группы «децистов» Бубнов предложил резолюцию, в которой отмечалось, что ошибки ЦК «были усилены благодаря бюрократизации аппарата пролетарской диктатуры и в особенности ее верхушек», проводился курс на «чрезмерную централизацию», сам ЦК «распался на группы и стал ареной фракционной борьбы», резолюция требовала «проведения во внутрипартийном строительстве принципа демократического централизма и пролетарской демократии». От имени группы «Рабочей оппозиции» Медведев предложил резолюцию, в которой отмечалось, что ЦК проводил в жизнь решение VIII съезда о чистке партии от чуждых элементов, «ЦК не проводил принципов рабочей демократии, ответственности и отчетности руководящих органов перед низами партии и широкой гласности суждений... ЦК не провел орабочивания руководящих органов как в центре, так и на местах», «политика ЦК имела ряд уклонов в сторону недоверия к творческим силам рабочего класса». «Рабочая оппозиция» считала, что только ликвидацией этих недостатков, а также созданием контакта партии через Советы и профсоюзы с «широкими пролетарскими и полупролетарскими массами» можно восстановить доверие между ЦК и партией и восстановить «действительное единство партии».

Результаты голосования: резолюция Ярославского собрала 514 голосов, резолюция «децистов» — 47, резолюция «Рабочей оппозиции» — 45 (там же, стр. 137).

Доклад о партийном строительстве от имени ЦК сделал Бухарин. Его тезисы, одобренные комиссией ЦК в составе Бухарина, Сталина, Серебрякова, а также его доклад охватывали почти весь круг вопросов внутрипартийной жизни. Бухарин констатировал, что марксизм не признает незыблемых организационных форм, формы меняются в зависимости от условий и времени. В военное время партия была милитаризована, что выразилось «в крайнем организационном централизме и в свертывании коллективных органов партийной организации». Сейчас, после гражданской войны, условия изменились, и поэтому партия переходит к осуществлению «рабочей демократии». Что надо понимать под этим термином, Бухарин объяснял так:

«Под рабочей внутренней демократией разумеется такая организационная форма, которая обеспечивает всем членам партии активное участие в жизни партии, в обсуждении всех вопросов, в решении этих вопросов... Форма рабочей демократии исключает всякое назначенство как систему, а находит свое выражение в широкой выборности всех учреждений снизу доверху, в их подотчетности и подконтрольности». Объявлялась «полная свобода внутрипартийной критики». Подтверждался «курс на уравнительность в области материального положения членов партии». ЦК должен был ежемесячно давать отчет партии в своей работе. Число членов ЦК увеличилось до 25 человек. ЦК должен был собираться на пленарное заседание не менее одного раза в два месяца. Для текущей организационной и политической работы сохранились Оргбюро и Политбюро ЦК (там же, стр. 645—650).

После угроз «винтовкой» Ленина доклад Бухарина звучал как призыв к примирению. Был ли его окончательный текст (и тон!) согласован с Лениным, трудно сказать, хотя как раз Ленин любил комбинацию кнута и пряника. К тому же Бухарин был наиболее подходящим членом ЦК, чтобы выпустить его на арену в момент острейшего партийного кризиса как примирителя. Ведь это Ленин говорил о Бухарине: «Мы знаем всю мягкость Бухарина, одно из свойств, за которое его так любят и не могут не любить. Мы знаем, что его не раз звали в шутку: мягкий воск» (Ленин. Собр. соч., т. 26, стр. 93).

Как бы миролюбиво ни звучал доклад Бухарина, все-таки обе оппозиции выставили своих содокладчиков (чтобы выставить на съезде содокладчиков, надо было собрать среди делегатов 40 подписей; хотя оппозиции не успели их собрать, съезд все же решил разрешить им делать содоклады — это был уже явно примирительный жест). Содокладчиком от «Рабочей оппозиции» выступил Игнатов. Его выступление было более чем умеренным. Он потребовал очистить партию от чиновников и карьеристов, от «непролетарских и некрестьянских элементов». Чтобы «партия сама по себе не перерождалась благодаря тому, что она находится у власти», он предложил, чтобы «все члены партии регулярно отбывали определенный срок на заводах и фабриках». Он добавил: «Мы знаем хорошо, что и в армии обстановка неравенства сказывается еще более ярко и выпукло». (Голос: «Это демагогия». Шум.) Игнатов ответил на реплику: «Тут никакой демагогии нет, это можно фактами доказать, сколько угодно. Всякий, кто был в армии, знает, в отношении равенства коммунизм не соблюдается ни в армии, ни здесь в тылу» (Игнатов был членом партии с 1912 года и одним из руководителей большевистского переворота в Москве). Только в проведении «рабочей демократии» не на словах, как до сих пор, а на деле Игнатов видел выход из нынешнего кризиса партии.

Содокладчик от группы «демократического централизма» Максимовский (член партии с 1903 года, секретарь Московского обкома, заведующий распредотделом ЦК партии) считал, что кризис партийного центра является одновременно и кризисом советского центра. Руководители партии и правительства механически переносят в гражданское общество и партию приемы руководства, которые были хороши на войне. Он сказал: «На фронте хорошо, вместо обсуждения какого-нибудь вопроса на партийном собрании просто произнести боевую горячую речь, затем проголосовать резолюцию, пропеть «Интернационал» и броситься в бой... А у нас эти военные формы переносили в самой резкой формулировке в область гражданской работы... Вот как стоял вопрос и как стоит он сейчас по отношению к формам демократизма». Максимовский видел все зло партийного и государственного самоуправства в том, что весь аппарат власти «строится на принципе бюрократической централизации». Наблюдая разложение в центрах, разочарованные коммунисты «кричат о том, что надо бросить все, партия есть труп... Они не находят нужной Коммунистическую партию, ее нужно распустить». Максимовский доказывал, что для существующей «бюрократической системы нужен не сознательный коммунист, а послушный исполнитель, нужен чиновник, который слушает приказы сверху». Оратор указал, что Бухарин не достигнет своей цели, сформулированной в тезисе «съезд целиком подтверждает курс на уравнительность в области материального положения членов партии», пока процветает бюрократия. Оратор спрашивал: «Почему существуют привилегии? Потому что существует бюрократия?» Он предложил превратить Оргбюро и Политбюро в «простые исполнительские комиссии».

Максимовский закончил содоклад предложением «создать настоящее сплочение, связанное со свободным обсуждением внутри партии разных вопросов, созданием свободы мнений для отдельных товарищей и групп в нашей партии» («X съезд РКП(б)», стр. 252).

Медведев от «Рабочей оппозиции» указал Бухарину, «что многое, что предлагает т. Бухарин, он списал с наших тезисов. Но когда нас начали обстреливать из тяжелых орудий насчет синдикализма, то тогда он спрятался в кусты». На это Бухарин ответил, что он не считает стыдным считать оппозицию правой в том, в чем она действительно права, и потому взял многое из ее платформы (там же, стр. 329).

Но одного предложения не хотят принять ни Бухарин, ни ЦК, а его «Рабочая оппозиция» считала очень важным. Она доказывала, что если Коммунистическая партия на деле является пролетарской партией и претендует на знание нужд и чаяний рабочего класса, то каждый коммунист от вождей до рядовых чиновников должен ежегодно не менее трех месяцев отбывать трудовую повинность на заводе, фабрике, руднике, на железной дороге. Вот если будет установлен такой порядок, тогда вся партия станет на платформу «Рабочей оппозиции» (там же, стр. 271—272). Один военный делегат потребовал, чтобы каждый коммунист не менее трех месяцев в год провел в казарме как простой солдат. Эти предложения Бухарин назвал «смехотворными», таким же смехотворным он назвал и другое предложение оппозиции — на руководящую должность выбирать толь-

ко таких коммунистов, которые когда-либо занимались физическим трудом (там же, стр. 325). Бухарин разъяснил, что, например, если советский министр (нарком) иностранных дел Чичерин проведет три месяца на заводе, три месяца в казарме, то ему придется еще три месяца провести в санатории и только три месяца заниматься дипломатией.

При голосовании тезисы Бухарина получили 369 голосов, тезисы «Рабочей оппозиции» — 23, тезисы «децистов» — 9. Так как при редактировании тезисов Бухарина в комиссии, куда вошли и представители обеих оппозиций, были учтены и некоторые поправки оппозиций (например, введение субботников для всех коммунистов, откомандирование к станку и плугу чиновников, которые долго были на государственной и партийной работе), то оппозиции не голосовали против.

Дискуссия о профсоюзах на X съезде уже не носила того бурного характера, как накануне съезда. Вероятно, сказалось влияние Кронштадтского восстания, которое одинаково запугало все фракции. Охлаждающе подействовали и угрозы Ленина, что дальше он намерен дискутировать винтовкой. Троцкий писал, что «восстания в Кронштадте и Тамбовской губернии ворвались в дискуссию последним предостережением... Спор о профсоюзах сразу потерял всякое значение. На съезде Ленин не принимал в этом споре никакого участия, предоставив Зиновьеву забавляться гильзой расстрелянного патрона...» (Л. Троцкий. «Моя жизнь», ч. II, стр. 201).

...Зиновьев указал, что вопреки утверждению Троцкого о специфическом профсоюзном кризисе страна переживает общий кризис революции и что этот кризис есть результат нарушений взаимоотношений рабочего класса с крестьянством. Поэтому «съезд единодушно настроен в пользу целого ряда уступок крестьянству». Зиновьев отвел требование «Рабочей оппозиции» о передаче экономической власти «Всероссийскому съезду производителей» — это означало бы, по Зиновьеву (т. е. по Ленину), передать всю власть в руки беспартийных рабочих и крестьян, добрую часть которых на съезде составят меньшевики и черносотенцы.

Содокладчик Троцкий напомнил Зиновьеву (т. е. Ленину), что он этот общий кризис революции предвидел еще год тому назад, когда «внес в ЦК письменное предложение, которое почти буква в букву совпадает с тем предложением о замене разверстки продовольственным налогом, которое вы теперь будете обсуждать и принимать. Я был обвинен во фритредерстве, в стремлении к свободе торговли — и получил 4 голоса в ЦК... Остальные члены ЦК во главе с т. Лениным обвинили меня в фритредерстве... Я доказывал... необходимо создать стимул, стремление к улучшению крестьянского хозяйства, что может быть сделано путем уступок экономического характера». Троцкий вернул Зиновьеву его основное обвинение: «Коренной вопрос об отношении рабочего государства к крестьянству поворачивается острым концом не против меня, а скорее против той группы, в которую входит т. Зиновьев» (X съезд РКП(б), стр. 349).

Самый главный, воистину судьбоносный вопрос партии, а значит, и советского государства — быть или не быть свободе мнений внутри партии — был решен в последний день съезда в самое рекордное время — за час или за два до его закрытия. В протоколе съезда в 618 страниц этот вопрос «О единстве партии» занимает только 27 страниц. Почему же нет времени для обсуждения столь важного вопроса, объяснения не давалось. «Десятка (Ленин) даже хотела закончить съезд еще 15 марта, но так как на этом заседании председательствовал единомышленник Троцкого Раковский, то эта спешка не удалась. Но Каменев (из «десятки»), к которому перешло председательствование вечером 15 марта, заявил: «Мы отклонили решение кончить съезд сегодня, но я думаю... что завтра обязательно нужно кончить наши работы» («X съезд РКП(б)», стр. 491).

Но вот на следующий день, 16 марта, в последние часы работы съезда, ему предложили две резолюции: 1. «О единстве партии», 2. «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии». Они были представлены Лениным. Для обоснования обеих резолюций Ленин сказал только вводное слово. Он считал, что его резолюции настолько бесспорны, что по ним делать доклады нет надобности. Основные пункты этих резолюций были следующие:

1) «О единстве партии» — а) съезд «поручает ЦК провести полное уничтожение всякой фракционности» и недопущение групп по платформам, но бороться и «за расширение демократизма», за чистку партии; б) «немедленно распустить все образовавшиеся на той или иной платформе группы» (за неисполнение — исключение из партии); в) «чтобы осуществить строгую дисциплину, съезд дает полномочия ЦК применять в случае нарушения дисциплины все меры вплоть до исключения из партии» (но чтобы исключить из партии члена ЦК, надо получить ²/₃ голосов всех членов и кандидатов ЦК, ЦКК).

2) «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии» (речь идет о группе «Рабочей оппозиции») — а) съезд считает, что не сам пролетариат с его многими профессиональными узостями и профессиональными предрассудками, то есть не профсоюзы, а только Коммунистическая партия может осуществлять диктатуру пролетариата; б) съезд считает, что, вопреки «Рабочей оппозиции», сами «производители» (рабочие) не могут управлять народным хозяйством, такое требование есть «анархо-синдикализм», ибо это значит отдать экономику страны беспартийной стихии,— управлять должна только партия; в) признать пропаганду идей «Рабочей оппозиции» несовместимой с принадлежностью к Коммунистической партии (там же, стр. 571—576).

Режиссеры съезда ограничили прения по поводу этих резолюций. Было дано слово одному оратору из сторонников «демократического централизма» и трем представителям «Рабочей оппозиции». Никто из сторонников группы «десяти» (Ленина) не выступил в прениях, так как принятие резолюций Ленина уже было предрешено на частном совещании «десяти» и было обеспечено заранее большинство съезда. Наиболее важные аргументы против резолюций Ленина у представителей оппозиций были такие:

Каменский («демократический централизм») сказал, что, конечно, дисциплину надо соблюдать, но у нас ее нарушали не оппозиции, а ЦК. Что касается резолюции Ленина «О единстве партии», то Каменский думает: «Есть два единства: единство по форме и единство по существу, но Ленин как раз предлагает единство по форме. Каменский напомнил, что два съезда — VII и VIII съезды Советов — от имени государства провозгласили, что «демократический централизм» есть основа основ государства. Стенограмма съезда на этом месте отмечает: «смех».

Самый убийственный аргумент Каменского, который заставил Ленина отступить: «Здесь указывается, что признаки фракционности проявлялись как у группы так называемой «Рабочей оппозиции», так и у группы «демократического централизма» Но, товарищи, если вы хотите говорить, то говорите до конца. Гораздо больше шума, гораздо больше литературы, выступлений было у сторонников платформы «Десяти». Одно из двух: либо здесь не нужно перечислять групп, либо извольте перечислять все» (там же, стр 524—525).

Ленин исключил из своего проекта упоминание о группах «децистов» и «Рабочей оппозиции», чтобы не признать фракционности группы «десяти» (сравните пункт второй первоначального проекта Ленина с окончательной резолюцией «О единстве партии» — там же, стр. 571, 632).

Каменский возражал и против четвертого пункта резолюции, где сказано, что всякий выступающий с критикой должен учитывать опасное положение партии среди окружающих ее врагов, но допустимы выступления в «Дискуссионном листке» или в «сборниках», если они не опасны для партии. Каменский спрашивал: «Как же мы будем вести такие дискуссии, если мы не знаем, какие мысли будут признаны совершенно опасными... ибо не надо забывать, что всегда может стать вопрос об изгнании из партии»

Каменский предлагал выкинуть и седьмой пункт резолюции, который давал право ЦК при наличии ²/₃ голосов исключить из партии даже члена ЦК, избранного съездом. Каменский аргументировал, что группа «Десяти», уже обеспечив себе в ЦК и ЦКК ²/₃ голосов, в любое время может расправиться с любым неугодным ей течением партийной мысли в ЦК (там же, стр. 525—526).

Лидер «Рабочей оппозиции» Медведев посвятил свое выступление резолюции «О единстве партии». Он сказал, что намек Ленина на то, что громадное большинство съезда примет обе его резолюции, не вызывает сомнения, ибо классовый состав партии, как и съезда, с преобладанием «мелкобуржуазных слоев», «вполне объясняет, что иначе и быть не может». Резолюция Ленина «О единстве» не разрешает, а усугубляет существующий «жестокий внутренний кризис». Ленин вводит формальное единство, обеспечиваемое «возвещением карательных мер» к инакомыслящим. Ленин не свел даже концы с концами. В то время, как в тезисах ЦК о «партийном строительстве» «признается право за каждым членом партии иметь свое суждение, хотя и не согласное с мнением ЦК», что «критика должна идти через соответствующие руководящие органы», другими словами, чтобы критиковать партаппарат, надо иметь его санкцию! «Такая критика делу не поможет. Резолюция т. Ленина в своих карательных намерениях опасна именно для единства партии».

Чтобы предупредить партию от несчастья в виде еще более глубокого кризиса из-за злоупотребления резолюцией Ленина он предложил свою собственную резолюцию. В этой резолюции констатировалась «политика уклонов руководящих партийных органов в сторону недоверия к творческим силам рабочего класса, породившая недоверие рабочих масс к партии», и предлагалось очистить партию от «карьеристских и чиновничьих групп», «неуклонно от низу до верху и во всех областях» деятельности партии проводить «принципы Рабочей демократии», бороться на деле с партийным и государственным бюрократизмом всем руководящим партийным органам членам партии вменялось в обязанность «со всей решительностью бороться против всяких попыток применять какие бы то ни было прямые или прикрытые репрессии к инакомыслящим членам партии». Вместе с тем резолюция предлагала запрещение фракций и внутри ЦК, с явным намеком на фракцию «Десяти» самого Ленина (там же, стр. 526—230).

Другой лидер «Рабочей оппозиции» Шляпников занялся анализом второй резолюции Ленина — о «синдикализме». Его критика Ленина была убедительна, позиция — мужественна, тон — беспрецедентно резкий на партийном съезде. Уже с первых слов Шляпников заявил:

«Владимир Ильич вам прочел лекцию о том, каким образом не может быть достигнуто единство. Ничего более демагогического и клеветнического, чем эта резолюция, я не видел и не слышал в своей жизни, за 20 лет пребывания в партии».

Шляпников напомнил второй пункт резолюции Ленина о «синдикализме», в котором «Рабочая оппозиция» рисуется как «скопище меньшевиков и всякого рода белогвардейщины». Шляпников призвал съезд посмотреть «на подписи под нашими тезисами, а также список товарищей, которые были на частном совещании» (на нем присутствовали только делегаты X съезда с дореволюционным стажем.— *А. А.*), чтобы убедиться в ложности такой квалификации. Он указал, что из 41 единомышленника «Рабочей оппозиции», участвовавших на этом совещании, 16 человек вступили в партию до 1905 г., а остальные 25 — до войны», «среди них нет ни одного меньшевика, нет ни одного, который отрекался от своей партии» (тех и других было много именно среди сторонников «десяти»). Ленин тут же выбросил весь этот раскритикованный Шляпниковым абзац...

Шляпников сделал от имени «Рабочей оппозиции» заявление по поводу резолюции Ленина «О синдикалистском и анархистском уклоне»: «1) внесенная резолюция носит явно демагогический и недопустимый характер, вводит раскол и натравляет мелкобуржуазные, чиновные элементы партии на рабочую часть; 2) точка зрения «Рабочей оппозиции» диаметрально противоположна анархизму и синдикализму, так как она не противопоставляет экономику политике, не отрицает политической борьбы, не отрицает ни диктатуры пролетариата, ни руководящей роли партии, ни значения Советов как органа власти; 3) «Рабочая оппозиция» предлагает осуществить советскую систему управления через производителей, организованных в профсоюзы, которые избирают центральный орган в противовес всепоглощающему бюрократизму» (там же, стр. 530—532). Шляпников добавил: «Само собой разумеется, что раз вы здесь наклеиваете на меня ярлык «анархист-синдикалист», то я не могу быть авторитетным членом ЦК и заявляю вам о своей отставке» (там же, стр. 532).

Игнатов («Рабочая оппозиция») указал автору резолюций, Ленину, что своими резолюциями он «закрывает возможность обсуждения внутри партии каких бы то ни было вопросов», прекращается проявление «всякой живой мысли внутри партии» резолюция сводится не к созданию единства, а к «натравлению одной части партии на другую» (там же, стр. 535).

Как бы особняком стояла речь Карла Радека, который не примыкал ни к одной из групп в ЦК. Человек с явно авантюристическими наклонностями, начитанный ницшеанец и макиавеллист, ленинец и троцкист, космополит в пяти национальных лицах (смотря по обстоятельствам он признавал себя немцем, австрийцем, поляком, евреем, русским), Радек обладал редким талантом политического конъюнктуризма. Будучи членом партии большевиков только с 1917 года, по числу полученных голосов на выборах в ЦК он стоял на втором месте после Ленина, далеко впереди не только Зиновьева и Каменева, но и Троцкого и Сталина.

Его речь была двусмысленна. Если резолюцию «О синдикализме» Радек безоговорочно одобрял как направленную против определенной группы, то резолюцию «О единстве» он одобрял при оговорках, которые надо признать пророческими. Он сказал: «Когда я слышал на частном совещании, как товарищи говорили о новом праве, которое дается ЦК, Контрольной комиссии и кандидатам,— в известный момент решать вопрос об исключении из ЦК и т. д.,— у меня было чувство, будто здесь устанавливается правило, которое неизвестно еще против кого может обернуться... Голосуя за эту резолюцию, я чувствовал, что она может обратиться и против нас, и, несмотря на это, я стою за резолюцию» (там же, стр. 533—534). Сталин потом докажет, как глубоко прав оказался Радек.

Президиум прекратил прения после четырех ораторов. В заключительном слове Ленин был настроен более миролюбиво. Он сказал, что не все плохо у «Рабочей оппозиции», некоторые ее предложения о чистке, о бюрократизме полезны, и поэтому он их включил в свою резолюцию. Включение представителей «Рабочей оппозиции» и «децистов» в ЦК показывает, что партия выражает им доверие, а сам ЦК подчеркивает свое желание быть «справедливым». Что же касается «седьмого пункта» об исключении членов ЦК из партии, то, говорил Ленин, во-первых, этот пункт не будет опубликован, а во-вторых, он убеждал, что его никогда не придется применять (то и другое не оправдалось: «пункт седьмой» был применен к Шляпникову уже в августе 1921 года, но для его исключения из ЦК не хватило одного голоса; а опубликован был «седьмой пункт» негласным триумвиратом из Политбюро — Зиновьевым, Каменевым и Сталиным против Ленина (скрыто) и Троцкого (открыто) на XIII партконференции в январе 1924 г.). Ленин предложил утвердить его резолюции, отклонив резолюции оппозиции, а также отклонить и отставку Шляпникова. Съезд принял эти предложения.

Ленин предложил по обеим его резолюциям произвести поименное голосование. Большинством голосов они были приняты.

Принятие этих резолюций ознаменовало наступление новой эпохи в истории большевизма. Отныне иерархия парт-

аппарата окончательно выводилась из-под контроля партии, она делалась самодовлеющей и суверенной силой, а партия превращалась в послушную, дисциплинированную, не рассуждающую исполнительницу воли своего аппарата.

Хотя по уставу выборность партийных чиновников партийной организацией формально сохранялась, но фактически законом кадровой политики сделалось назначенство всех ступеней партаппаратной пирамиды: на высшем уровне пирамиды состав пленума ЦК назначал исполнительные органы аппарата ЦК (сначала — Политбюро, а потом, при Сталине,— секретариат ЦК), аппарат ЦК назначал и руководителей партийных комитетов союзных республик, краев и областей, а эти последние, в свою очередь, назначали руководителей городских и районных партийных организаций. Горкомы и райкомы назначали секретарей первичных организаций. Приказы об этих назначениях на партийном языке назывались «рекомендациями» кандидатур вышестоящим органом — нижестоящей организации, но отклонение такой «рекомендации» оценивалось как «антипартийный акт», с последующей чисткой всей организации.

Чистка партии от инакомыслящих превратилась после принятия резолюции Ленина «О единстве партии» в легальное оружие партаппарата по расправе уже с потенциальными «врагами народа».

Все нормы такой «внутрипартийной жизни» были заложены именно Лениным. Разница только та, что при Ленине чистки были периодическими, а при Сталине они стали «перманентными». Так было введено в партии «осадное положение»... Оно и создало новую «партию в партии» — иерархию партаппаратчиков...

1973 г.

Подготовка текста и публикация
С. НИКОЛАЕВА.

Лев ТИМОФЕЕВ

Поэтика лагерной прозы

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ «КОЛЫМСКИХ РАССКАЗОВ» В. ШАЛАМОВА

Говорить о прозе Варлама Шаламова — значит говорить о художественном и философском смысле небытия. О смерти как о композиционной основе произведения. Об эстетике распада, разложения, разъятия... Казалось бы, что нового: и прежде, до Шаламова, смерть, ее угроза, ожидание и приближение часто бывали главной двигательной силой сюжета, а сам факт смерти служил развязкой... Но в «Колымских рассказах» — иначе. Никаких угроз, никакого ожидания! Здесь смерть, небытие и есть тот художественный мир, в котором привычно разворачивается сюжет. Факт же смерти *предшествует* началу сюжета. Грань между жизнью и смертью навсегда пройдена персонажами еще *до* того момента, когда мы раскрыли книгу и, раскрыв, тем самым запустили часы, отсчитывающие художественное время. Самоё художественное время здесь — время небытия, и эта особенность едва ли не главная в писательской манере Шаламова...

Но тут сразу усомнимся: вправе ли мы разбираться именно в художественной манере писателя, чьи сочинения читаются ныне прежде всего как исторический документ? Нет ли в этом кощунственного равнодушия к реальным судьбам реальных людей? А о реальности судеб и ситуаций, о документальной подоплеке «Колымских рассказов» Шаламов говорил неоднократно. Да и не сказал бы — документальная основа и так очевидна. Так не надо ли прежде всего напомнить о страданиях узников сталинских лагерей, о преступлениях палачей, иные из них еще, поди, живы,— и жертвы взывают к отмщенью... Мы же к шаламовским текстам — с анализом, собираемся толковать о творческой манере, о художественных открытиях. И, скажем сразу, не только об открытиях, но и о некоторых эстетических и нравственных проблемах литературы... Именно на этом, шаламовском, лагерном, еще кровоточащем материале — имеем ли право? Можно ли анализировать братскую могилу?

Но ведь Шаламов и сам не склонен был считать свои рассказы документом, безразличным к художественной форме. Гениальный художник, он, видимо, не был удовлетворен тем, как его понимали современники, и написал ряд текстов, разъясняющих именно художественные принципы «Колымских рассказов». «Новой прозой» называл он их. «Для того, чтобы существовала проза или поэзия,— это все равно,— искусство требует постоянной новизны» («Новый мир», 1989, № 12, стр. 60),— писал он, и постигнуть суть этой новизны и есть задача именно литературоведческая.

Скажем больше. Если «Колымские рассказы» — великий документ эпохи, то нам никогда не понять, о чем он сообщает, если мы не постигнем, в чем же его художественная новизна. «Дело художника — именно форма, ибо в остальном читатель, да и сам художник, может обратиться к экономисту, к историку, к философу, а не к другому художнику, чтобы превзойти, победить, перегнать именно мастера, именно учителя» (там же, стр. 61),— писал Шаламов.

Словом, нам необходимо понять не только и не столько Шаламова-зека, но прежде всего Шаламова-художника. Необходимо понять душу художника. Ведь это он сказал: «Я летописец собственной души. Не более» (там же, стр. 64). И, не поняв душу художника, как же понять человеку суть и смысл истории, суть и смысл того, что происходит с ним самим? Где же еще таятся эти значения и смыслы, как не в великих произведениях литературы!

Но анализировать прозу Шаламова потому и трудно, что она действительно и принципиально не похожа на все, что было в мировой литературе до сих пор. Потому и некоторые прежние методы литературоведческого анализа

здесь не годятся. К примеру, пересказ — обычный прием литературной критики при анализе прозы — здесь далеко не всегда оказывается достаточен. Нам предстоит много цитировать, как это бывает, когда речь идет о поэзии...

Итак, вначале поговорим о смерти как об основе художественной композиции.

I

Рассказ «Сентенция» — одно из самых загадочных произведений Варлама Шаламова. Волей самого автора он поставлен последним в корпусе книги «Левый берег», которая, в свою очередь, в целом завершает трилогию «Колымских рассказов». Рассказ этот, по сути дела, *финал*, и, как это бывает в симфонии или романе, где лишь финал окончательно гармонизирует весь предыдущий текст, так и здесь лишь последний рассказ придает окончательный гармонический смысл всему тысячестраничному повествованию...

Читателю, уже знакомому с миром «Колымских рассказов», первые строки «Сентенции» не обещают ничего необычного. Как и во многих других случаях, автор уже в самом начале ставит читателя на край бездонных глубин потустороннего мира, и из этих глубин являются нам и персонажи, и сюжет, и сами законы развития сюжета. Рассказ начинается энергично и парадоксально: «Люди возникали из небытия — один за другим. Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нарах, приваливался ночью к моему костлявому плечу...». Главное, что из небытия. Небытие, смерть — синонимы. Люди возникали из смерти? Но мы уже привыкли к этим шаламовским парадоксам.

Взяв в руки «Колымские рассказы», мы быстро перестаем удивляться нечеткости или даже полному отсутствию границ между жизнью и небытием. Мы привыкаем к тому, что персонажи возникают из смерти и уходят туда, откуда явились. Здесь нет живых. Здесь заключенные. Грань между жизнью и смертью исчезла для них в момент ареста... Да нет, и само слово *арест* — неточное, здесь неуместное. Арест — из живого юридического лексикона, но происходящее не имеет никакого отношения к праву, к гармонии и логике права. Логика распалась. Человека не арестовали, его *взяли*. Взяли вполне произвольно, почти случайно — могли взять не его — соседа... Нет никаких здравых логических обоснований происшедшему. Дикая случайность разрушает логическую гармонию бытия. Взяли, изъяли из жизни, из списка жильцов, из семьи, разъяли семью, и пустоту, оставшуюся после изъятия, после разъятия, оставили уродливо зиять... Все, нет человека. Был или не был — нету. Живой — исчез, сгинул... А в сюжет рассказа входит уже неизвестно откуда взявшийся мертвец. Он все забыл. После того как протащили его сквозь беспамятство и бред всех этих бессмысленных действий, совершаемых над ним в первые недели и называемых допросом, следствием, приговором,— после всего этого он очнулся наконец в ином, неведомом ему, ирреальном мире — и понял, что навечно. Он мог бы подумать, что все кончилось и что отсюда нет возврата, если бы помнил, что́ именно кончилось и куда нет возврата. Но нет, не помнит. Ни имени жены не помнит, ни Божьего слова, ни самого себя. Что было — отошло навсегда. Его дальнейшее кружение по баракам, пересылкам, «больничкам», лагерным «командировкам» — все это уже потустороннее...

Право же, в понимании, что в сюжет рассказа (и, в частности, в сюжет «Сентенции») люди входят *из смерти*, нет ничего, что противоречило бы общему смыслу шаламовских текстов. Люди возникают из небытия и, кажется, проявляют какие-то признаки жизни, но все-таки оказывается, что их состояние будет понятнее читателю, если говорить о них как о мертвецах: «Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая свое тепло — капли тепла, и получая взамен мое. Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня сквозь обрывки бушлата, телогрейки, и поутру я глядел на соседа как на мертвеца, и чуть-чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду». Так, не оставив ни тепла, ни человеческого образа в памяти, они и исчезают из поля зрения рассказчика, из сюжета рассказа: «Человек, возникший из небытия, исчезал днем — на угольной разведке было много участков — и исчезал навсегда».

Сам герой-повествователь — тоже мертвец. По крайней мере рассказ начинается с того, что мы знакомимся с мертвецом. Как же еще понять состояние, при котором тело не содержит тепла, а душа не только не различает, где правда, где ложь, но и само это различие человека не интересует: «Я не знаю людей, которые спали рядом со мной. Я никогда не задавал им вопросов, и не потому, что следовал арабской пословице: «Не спрашивай, и тебе не будут лгать». Мне было все равно — будут мне лгать или не будут, я был вне правды, вне лжи».

На первый взгляд сюжет и тема рассказа просты и довольно традиционны. (Рассказ давно замечен критикой: см. напр.: М. Геллер. Концентрационный мир и современная литература. OPI, London. 1974, стр. 281—299.) Кажется, это рассказ о том, как меняется, как оживает человек, когда несколько улучшаются условия его лагерного быта. Речь вроде бы идет о воскрешении: от нравственного небытия, от распада личности к высокому моральному самосознанию, к способности мыслить — шаг за шагом, событие за событием, поступок

за поступком, мысль за мыслью — от смерти к жизни... Но каковы же крайние точки этого движения? Что в понимании автора есть смерть и что есть жизнь?

О своем существовании герой-повествователь говорит уже не языком этики или психологии, — такой язык здесь ничего не может объяснить, — но используя лексику простейших описаний физиологических процессов: «У меня было мало тепла. Не много мяса осталось на моих костях. Этого мяса достаточно было только для злости — последнего из человеческих чувств...

...И, храня эту злобу, я рассчитывал умереть. Но смерть, такая близкая совсем недавно, стала понемногу отодвигаться. Не жизнью была смерть замещена, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое не может называться жизнью».

Все смещено в художественном мире «Колымских рассказов». Привычные значения слов здесь не годятся: из них не составляются столь хорошо знакомые нам логические *формулы* жизни. Легко читателям Шекспира, они знают, что значит *быть* и что — *не быть*, знают, между чем и чем выбирает герой, и сопереживают ему, и выбирают вместе с ним. Но у Шаламова — что есть жизнь? что есть злоба? что есть смерть? Что происходит, когда сегодня человека меньше истязают, чем вчера, — ну хотя бы перестают ежедневно избивать, и поэтому — только поэтому! — смерть отодвигается и он переходит в иное существование, которому *нет формул*?

Воскресение? Но разве так *воскресают*? Обретение героем способности восприятия окружающей жизни как бы повторяет развитие органического мира: от восприятия плоского червя до простых человеческих эмоций... Появляется страх, что отсрочка смерти вдруг окажется коротка; зависть и к мертвым, которые *уже* погибли в 1938 году, и к живым соседям — жующим, закуривающим. Жалость к животным, но еще не жалость к людям...

И наконец вслед за чувствами пробуждается разум. Пробуждается способность, отличающая человека от окружающего его мира природы: способность вызывать слова из хранилищ памяти и с помощью слов давать имена существам, предметам, событиям, явлениям — первый шаг к тому, чтобы в конце концов найти логические *формулы* жизни:

«Я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу, вот тут — я это ясно помню — под правой теменной костью — родилось слово, вовсе непригодное для тайги, слово, которого я и сам не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности:

— Сентенция! Сентенция!

И захохотал...

— Сентенция! — орал я прямо в северное небо, в двойную зарю, орал, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось, обретено вновь — тем лучше, тем лучше! Великая радость переполняла все мое существо...

...Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция». Я шептал это слово, выкрикивал, пугал и смешил этим словом соседей. Я требовал у мира, у неба разгадки, объяснения, перевода... А через неделю понял — и содрогнулся от страха и радости. Страха — потому что пугался возвращения в тот мир, куда мне не было возврата. Радости — потому что видел, что жизнь возвращается ко мне помимо моей собственной воли.

Прошло много дней, пока я научился вызывать из глубины мозга все новые и новые слова, одно за другим...»

Воскрес? Вернулся из небытия? Обрел свободу? Но возможно ли вернуться, пройти назад весь этот путь — с арестом, допросами, побоями, не один раз пережитой смертью — и воскреснуть? Уйти из потустороннего мира? Освободиться?

Да и что есть освобождение? Обретение вновь способности при помощи слов составлять логические формулы? При помощи логических формул описывать мир? Само возвращение в этот мир, подчиняющийся законам логики?

На сером фоне колымского пейзажа какое огненное слово будет спасено для последующих поколений? Будет ли это всесильное слово, обозначающее порядок мира сего, — ЛОГИКА!

Но нет, «сентенция» не есть понятие из словаря колымской реальности. Здешняя жизнь не знает *логики*. Логическими формулами невозможно объяснить происходящее. Абсурдный случай — название здешней судьбы.

Что толку в логике жизни и смерти, если, скользя по списку, именно на твоей фамилии случайно остановится палец чужого, незнакомого (или, наоборот, знакомого и ненавидящего тебя) нарядчика — и все, нет тебя, попал на гибельную командировку и через несколько дней тело твое, скрюченное морозом, наскоро забросают камнями на лагерном кладбище; или случайно окажется, что местные колымские «органы» сами изобрели и сами раскрыли некий «заговор юристов» (или агрономов, или историков), и вдруг вспомнится, что у тебя юридическое (сельскохозяйственное или историческое) образование — и вот твое имя уже в расстрельном списке; или без всяких списков случайно попал на тебя взгляд проигравшего в карты уголовника — и жизнь твоя становится ставкой чужой игры — и все, нет тебя.

Какое же воскресение, какое освобождение: если этот абсурд у тебя не только позади, но и впереди — всегда, вечно! Однако надо сразу понять: не фатальная случайность интересует писателя. И даже не исследование фантастического мира, целиком состоящего из переплетения диких случайностей, что могло бы увлечь художника с темпераментом Эдгара По или Амбруаза Бирса. Нет, Шаламов — писатель русской психологической школы, воспитанный на великой прозе XIX века, и в диком столкновении случайностей его интересуют как раз некие *закономерности*. Но эти закономерности — вне логического, причинно-следственного ряда. Это не формально-логические, но художественные закономерности.

Смерть и вечность не могут быть описаны логическими формулами. Они просто не поддаются такому описанию. И если читатель воспринимает финальный шаламовский текст как мажорный психологический этюд и в соответствии с привычной для современного советского человека логикой ждет, что вот-вот герой вполне вернется к *нормальной* жизни, и, того гляди, подыщутся у него подходящие *формулы*, и поднимется он до обличения «преступлений сталинизма», если читатель так воспринимает рассказ (а с ним и все «Колымские рассказы» в целом), то его ждет разочарование, поскольку ничего этого не происходит (и не может происходить у Шаламова!). А завершается все дело весьма загадочно... музыкой.

Вовсе не обличительной сентенцией, не призывом к отмщению, не формулировкой исторического смысла пережитого ужаса оканчивается трагедия «Колымских рассказов», но хриплой музыкой, случайным патефоном на огромном лиственничном пне, патефоном, который «...играл, преодолевая шипение иглы, играл какую-то симфоническую музыку.

И все стояли вокруг — убийцы и конокрады, блатные и фраера, десятники и работяги. А начальник стоял рядом. И выражение лица у него было такое, как будто он сам написал эту музыку для нас, для нашей глухой таежной командировки. Шеллачная пластинка кружилась и шипела, кружился сам пень, заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученный на целых триста лет...»

И все! Вот вам и финал. Закономерность и логика — вовсе не синонимы. Здесь само отсутствие логики — закономерно. И одна из главных, важнейших закономерностей проявляется в том, что из потустороннего, иррационального мира нет возврата. В принципе... Шаламов неоднократно заявлял, что воскреснуть невозможно: «...Кто бы тогда разобрался, минута, или сутки, или год, или столетие нужно было нам, чтобы вернуться в прежнее свое тело — в прежнюю свою душу мы и не рассчитывали вернуться назад. И не вернулись, конечно. Никто не вернулся» («Термометр Гришки Логуна»).

Никто не вернулся в мир, который можно было бы объяснить при помощи логических формул... Но о чем же тогда рассказ «Сентенция», занимающий столь важное место в общем корпусе шаламовских текстов? При чем тут музыка? Как и зачем возникает ее божественная гармония в уродливом мире смерти и распада? Какая тайна раскрывается нам этим рассказом? Какой ключ дается для понимания всего многостраничного тома «Колымских рассказов»?

И еще. Насколько близки понятия *логика* жизни и *гармония* мира? Видимо, именно на эти вопросы нам предстоит искать ответа, чтобы понять тексты Шаламова, а с ними, может быть, и многие события и явления как в истории, так и в нашей жизни.

II

«Мир бараков был сдавлен тесным горным ущельем. Ограничен небом и камнем...» — так начинается один из рассказов Шаламова («Храбрые глаза»), но так и мы могли бы начать свои заметки о художественном пространстве в «Колымских рассказах». Низкое небо здесь вроде карцерного потолка — так же ограничивает свободу, так же давит... Каждому — самому выбираться отсюда. Или погибнуть.

Где же расположены все те огороженные пространства и замкнутые территории, которые читатель находит в шаламовской прозе? Где существует или существовал тот безысходный мир, в котором глухая несвобода каждого обусловлена полной несвободой всех?

Конечно, на Колыме происходили те кровавые события, которые заставили писателя Шаламова, пережившего их и чудом выжившего, создать мир своих рассказов. События происходили в известном *географическом* районе и разворачивались в определенном *историческом* времени... Но художник, вопреки распространенному предрассудку, — от которого, впрочем, он и сам не всегда свободен, — не воссоздает ни реальные события, ни тем более «реальное» пространство и время. Если мы хотим понять рассказы Шаламова как художественный факт (а без такого понимания их вообще не постигнуть — не постигнуть ни как документ, ни как психологический феномен или философское обретение мира — вообще никак), так вот если мы хотим хоть что-то понять в шаламовских текстах, то прежде всего необходимо увидеть, каково значение этих «как бы физических» категорий — времени и пространства — в поэтике «Колымских рассказов».

Будем внимательны, здесь ничто нельзя пропустить... Вот, скажем, зачем в самом начале рассказа «На представку» при обозначении «места действия» понадобилась автору всем очевидная аллюзия: «Играли в карты у коногона Наумова»? Ведь не случайно же именно «у коногона Наумова»? Что за этим обращение к Пушкину? Всего лишь только ирония, оттеняющая мрачный колорит одного из последних кругов лагерного ада? Пародийная попытка «снизить» тра-

гедийный пафос «Пиковой дамы», ревниво противопоставив ей... нет, даже не иную трагедию, а нечто за пределами всякой трагедии, за пределами разума человеческого и, может быть, нечто вообще за пределами искусства?..

Начальная фраза пушкинской повести — знак легкой свободы персонажей, свободы в пространстве и во времени: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра...» [1]. Сели ужинать в пятом, а могли — в третьем или в шестом. Зимняя ночь прошла незаметно, но так же незаметно могла пройти и летняя ночь... Да и вообще хозяином мог быть и не конногвардеец Нарумов — в черновых набросках проза вовсе не так строга: «Года 4 тому назад собралось нас в П<етер> Б<урге> несколько молодых людей, связанных между собою обстоятельствами. Мы вели жизнь довольно беспорядочную. Обедали у Андрие без аппетита, пили без веселости, ездили к С<офье> А<стафьевне> побесить бедную старуху притворной разборчивостью. День убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга» [2].

Известно, что Шаламов обладал абсолютной памятью на литературные тексты. Интонационное родство его прозы прозе пушкинской не может быть случайным. Здесь рассчитанный прием. Если в тексте Пушкина — раскрытое пространство, свободное течение времени и вольное движение жизни, то у Шаламова — пространство замкнутое, время как бы останавливается и уже не законы жизни, но смерть определяет поведение персонажей. Смерть не как событие, но *как имя* тому миру, в каком мы оказываемся, раскрыв книгу...

Напоминая о пушкинской прозе, автор как бы предлагает читателю войти в мир, зеркально противоположный пушкинскому, *потусторонний*: «Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определенна и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» — самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытых медных трубки — вот и все приспособление. Для того, чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензинный газ горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели «партнеры» — классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты: это была тюремная самодельная колода, которая изготовляется мастерами сих дел со скоростью необычной...

Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго — книжка была кем-то позабыта вчера в конторе...

...Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова...»

Четкое обозначение пространства есть в каждой из шаламовских новелл, и всегда — всегда без исключения! — это пространство глухо замкнутое. Можно даже сказать, что могильная замкнутость пространства — постоянный и настойчивый мотив творчества писателя.

Вот начальные строки, вводящие читателя в текст только нескольких рассказов:

«Круглыми сутками стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку и не приходилось. Немногие направления — столовая, больница, вахта — угадывались неведомо как приобретенным инстинктом, сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое в подходящих условиях просыпается в человеке» («Плотники»).

«Жара в тюремной камере была такая, что не было видно ни одной мухи. Огромные окна с железными решетками были распахнуты настежь, но это не давало облегчения — раскаленный асфальт двора посылал вверх горячие воздушные волны, и в камере было даже прохладней, чем на улице. Вся одежда была сброшена, и сотни голых тел, пышущих тяжелым влажным жаром, ворочались, истекая потом, на полу — на нарах было слишком жарко» («Татарский мулла и чистый воздух»).

«Двухстворчатая огромная дверь раскрылась, и в пересыльный барак вошел раздатчик. Он встал в широкой полосе утреннего света, отраженного голубым снегом. Две тысячи пар глаз смотрели на него отовсюду: снизу — из-под нар, прямо, сбоку, сверху — с высоты четырехэтажных нар, куда забирались по лесенке те, кто еще сохранил силу» («Хлеб»).

«Малая зона» — это пересылка, «Большая зона» — лагерь Горного управления — бесконечные приземистые бараки, арестантские улицы, тройная ограда из колючей проволоки, караульные вышки, по-зимнему похожие на скворешни.

[1] А. С. Пушкин. ПСС, т. VIII (I), стр. 227.
[2] Там же, т. VIII (II), стр. 834.

В «Малой зоне» еще больше колючей проволоки, еще больше вышек, замков и щеколд...» («Тайга золотая»).

Казалось бы, чего уж там особенного: коли пишет человек о лагере да о тюрьме, то где же взять ему хоть что-нибудь незамкнутое! Все так... Но перед нами не лагерь сам по себе. Перед нами лишь текст о лагере. И здесь не от охраны, а только от автора зависит, как именно будет организовано «художественное пространство». Какова будет философия пространства, как автор заставит читателя воспринимать его высоту и протяженность, сколь часто заставит вспоминать о вышках, запорах и щеколдах и прочем, и прочем.

История литературы знает достаточно примеров, когда по воле автора жизнь, вроде бы совершенно замкнутая, закрытая (хоть бы и в той же самой лагерной зоне), запросто сообщается с жизнью, текущей в иных пределах. Вот ведь есть же некие пути из особого лагеря, где сидит солженицынский Иван Шухов, в родное шуховское Темгенево. Это ничего, что пути эти — даже и для самого Шухова — проходимы лишь мысленно. Так или иначе, пройдя этими путями (скажем, вспомнив вместе с героем полученные письма), узнаем мы и о жизни Ивановой семьи, и о делах в колхозе, и вообще о стране за пределами зоны. И сам Иван Денисович, хоть и старается не думать о будущей жизни,— в сегодняшней бы выжить,— но все же и с той, будущей, хоть и редкими письмами, но связан и не может отрешиться от соблазна подумать мельком о замаячившем деле, которым стоило бы заняться по освобождении,— малевать ковры по трафарету. У Солженицына человек и в лагере не одинок, он живет по соседству с современниками, в той же стране, по соседству с человечеством, по законам человечества,— словом, хоть и в глухой неволе, но в мире людей жив человек.

Иначе у Шаламова. Бездна отделяет человека и от всего, что привычно называть словом «современность». Сюда если и приходит письмо, то лишь для того, чтобы под пьяный хохот надзирателя быть уничтоженным еще до прочтения,— после смерти писем не получают. Глухо! В потустороннем мире все обретает потусторонние значения. И письмо не соединяет, но — неполученное — еще горше разъединяет людей. Да что говорить о письмах, если даже небо (как мы уже вспоминали) не расширяет кругозор, но *ограничивает* его. Даже двери или ворота, хоть и будут открыты, не раскроют пространства, но лишь подчеркнут его безысходную ограниченность. Здесь ты, кажется, навсегда отгорожен от остального мира и безнадежно один. Нет в мире ни материка, ни семьи, ни свободной тайги. Даже на нарах соседствуешь не с человеком — с мертвецом. Даже зверье не останется с тобой надолго, и собаку, к которой успел привязаться, походя застрелит охранник...

Потянись хоть за ягодой, растущей вне этого замкнутого пространства — и тут же падешь убитый, конвоир не промахнется:

«...впереди были кочки с ягодами шиповника, и голубики, и брусники... Мы видели эти кочки давно...

Рыбаков показал на банку, еще не полную, и на спускающееся к горизонту солнце и медленно стал подходить к очарованным ягодам.

Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, размахивая винтовкой, кричал:

— Оставьте на месте, не подходите!

Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два — первый бывает предупредительным.

Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромны, и Бог весть — сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками.

Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды...» («Ягоды»).

Вот только когда открываются и небо, и горы, и река. И только для того, кто упал, уткнувшись лицом между таежными кочками. Освободился! Для другого, выжившего, небо по-прежнему ничем не отличается от иных реалий лагерного быта: колючая проволока, стены барака или камеры, в лучшем случае жесткие койки лагерной больнички, но чаще — нары, нары, нары,— таков реальный космос шаламовских новелл.

И здесь каков космос, таково и светило: «Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко над потолком» («Шерри-бренди»). (Впрочем, солнце — как оно возникает в тексте «Колымских рассказов» — могло бы стать темой отдельного и весьма объемистого исследования, и у нас еще будет возможность коснуться этой темы.)

Все глухо замкнуто, и уйти никому не дано, и бежать некуда. Даже тем отчаянным, кто решается на побег,— и бежит! — удается неимоверными усилиями лишь чуть растянуть границы могильного мира, но никогда и никому не удавалось их вовсе разорвать или разомкнуть.

В «Колымских рассказах» есть целый цикл новелл о побегах из лагеря, объединенных одним заголовком: «Зеленый прокурор». И все это рассказы о неудачных побегах. Удачных — не то чтобы нет: их в принципе не может быть. И те, бежавшие — даже бежавшие далеко, куда-нибудь в Якутск, Иркутск или даже Мариуполь,— все равно, словно это какое-то бесовское наваждение, словно бег во сне, всегда остаются в пределах могильного мира, и бег все длится, длится, длится, и рано или поздно наступает момент, когда границы, далеко было рас-

тянувшиеся, вновь мгновенно стягиваются, затягиваются в петлю, и человек, полагавший себя на свободе, просыпается в тесных стенах лагерного карцера...

Нет, здесь не просто мертвое пространство, огороженное колючей проволокой или стенами барака или вешками в тайге,— пространство, в которое попали некие обреченные, но за пределами которого люди более удачливые живут по другим законам. В том-то и чудовищная правда, что все, что *кажется* существующим *за пределами* этого пространства, на самом-то деле вовлечено, втянуто в ту же бездну.

Похоже, что обречены все — все вообще в стране, а может быть, даже в мире. Здесь какая-то чудовищная воронка, равно затягивающая, засасывающая праведников и воров, целителей и прокаженных, русских, немцев, евреев, мужчин и женщин, жертв и палачей — всех, всех без исключения! Немецких пасторов, голландских коммунистов, венгерских крестьян... Среди персонажей Шаламова даже не упоминается ни один — ни один! — про кого можно было бы сказать, что он-то уж точно вне этих пределов — и в безопасности...

Человек уже не принадлежит эпохе, современности — но одной только смерти. Возраст теряет всякое значение, и автор порой признается, что сам не знает, сколько лет персонажу,— да и какая разница! Всякая временная перспектива утрачивается, и это еще один, важнейший, постоянно повторяющийся мотив рассказов Шаламова:

«Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя — дальше он не загадывал, не находил в себе сил загадывать. Как все» («Ночью»).

Как все... Нет надежды даже на течение времени — оно не спасет! Вообще время здесь особенное: оно есть, но его нельзя определить привычными словами — прошлое, настоящее, будущее: завтра, мол, нам будет лучше, мы будем не там и не те, что были вчера... Нет, здесь день сегодняшний — вовсе не промежуточный пункт между «вчера» и «завтра». «Сегодня» — это весьма неопределенная по величине часть того, что называется словом *всегда*. Или правильнее сказать — *никогда*...

Жестокий писатель Шаламов. Куда завел он читателя? Знает ли, как выбраться отсюда? Впрочем, сам-то, видимо, знает: его собственное творческое воображение познало, а значит, и *преодолело* обусловленную замкнутость пространства. Ведь именно это утверждает он в своих заметках «О прозе»:

«Колымские рассказы — попытка поставить и решить какие-то важные нравственные вопросы времени, вопросы, которые просто не могут быть разрешены на другом материале. Вопрос встречи человека и мира, борьба человека с государственной машиной, правда этой борьбы, борьбы за себя, внутри себя — и вне себя. Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла. Иллюзорность и тяжесть надежды. Возможность опереться на другие силы, чем надежда» («О прозе»).

Возможно... возможность... Да, действительно, существует ли она там, где, скажем, возможность мародерства — вытащить труп из неглубокой могилы, едва забросанной камнями, стащить с него кальсоны и исподнюю рубашку — почитается за большую удачу: белье можно продать, променять на хлеб, может быть, даже достать немного табаку? («Ночью»).

Тот, в могиле,— мертвец. Но разве те, что в ночи *над* его могилой, или те, что в зоне, в бараке, на нарах,— разве они не мертвецы? Разве человек без нравственных принципов, без памяти, без воли — не мертвец?

«Я давно дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом моей жизни. Я ударю начальника, и меня расстреляют. Увы, я был наивным мальчиком. Когда я ослабел, ослабела и моя воля, мой рассудок. Я легко уговорил себя перетерпеть и не нашел в себе силы душевной на ответный удар, на самоубийство, на протест. Я был самым обыкновенным доходягой и жил по законам психики доходяг» («Две встречи»).

Какие «нравственные вопросы» можно решить, описывая это замкнутое могильное пространство, это навсегда остановившееся время; рассказывая о побоях, меняющих походку человека, его пластику; о голоде, о дистрофии, о холоде, лишающем разума; о людях, забывших не то что имя жены, но напрочь утративших собственное прошлое; и снова о побоях, издевательствах, о расстрелах, о которых говорится как об освобождении — чем раньше, тем лучше.

Зачем нам знать все это? Разве не помним мы слов самого Шаламова:

«Андреев был представителем мертвецов. И его знания, знания мертвого человека, не могли им, еще живым, пригодиться» («Тифозный карантин»).

Жестокий художник Варлам Шаламов. Вместо того чтобы сразу указать читателю прямые ответы, прямые, счастливые выходы из бездны зла, Шаламов все глубже и глубже помещает нас в этот замкнутый потусторонний мир, в эту *смерть*, и не только не обещает скорого освобождения, но, кажется, и вообще никакого не стремится дать — по крайней мере в тексте.

Но нам уже нет жизни без разгадки. Мы всерьез втянуты в это безысходное пространство. Тут не отделаешься разговорами о документальной, а значит, и временной, проходящей проблематике рассказов. Пусть нет Сталина и Берии и на Колыме изменились порядки... но рассказы-то, вот они, живут. И мы жи-

вем в них вместе с персонажами. Кто скажет, что теперь снята проблематика «Войны и мира» — за отдаленностью событий 1812 года? Кто отложит в сторону Дантовы терцины из-за того, что, мол, их документальная подоплека давно потеряла свою актуальность?

Человечество не может существовать иначе, как только разгадывая великие загадки великих художников. И нам не понять собственной жизни, как кажется, далекой от колымской реальности,— не понять, не разгадав загадку шаламовских текстов.

Не станем же задерживаться на полдороге.

III

Похоже, нам остался один-единственный шанс вырваться из бездны шаламовского мира — один-единственный, но верный и хорошо освоенный литературной критикой прием: выйти за пределы литературного факта и обратиться к фактам истории, социологии, политики. Та самая возможность, которую полтораста лет назад подсказал русской литературной критике Виссарион Белинский и которая с тех пор кормила не одно поколение литературоведов и критиков: возможность назвать литературное произведение «энциклопедией» какой-нибудь жизни и таким образом обеспечить себе право толковать его так или иначе, в зависимости от того, как мы понимаем саму «жизнь» и тот исторический «фазис» ее развития, в который критик помещает нас вместе с автором.

Возможность эта соблазняет тем более, что вот же и сам Шаламов в одном из своих самокомментариев говорит о государственной машине, в другом поминает в связи с «Колымскими рассказами» исторические события той поры — войны, революции, пожары Хиросимы... Может быть, если мы вплетем колымскую реальность в исторический контекст, нам легче будет найти разгадку шаламовского мира? Мол, было время такое: революции, войны, пожары — лес рубят, щепки летят. Ведь как бы то ни было, мы же анализируем текст, написанный *вслед* за реальными событиями, не вымысел автора, не фантастику, даже не художественное преувеличение. Стоит еще раз вспомнить: в книге нет ничего, что не находило бы документального подтверждения. Где же нашел Шаламов столь замкнутый мир? Ведь вот же другие авторы, писавшие о Колыме, достоверно сообщают нам о нормальной, естественной или, как говорят ученые психологи, «адекватной» реакции заключенных на исторические события, происходившие одновременно со страшными событиями колымской жизни. Никто не перестал быть человеком своего времени. Не оторвана была Колыма от мира и от истории:

«— Немцы! Фашисты! Границу перешли...

— Оступают наши...

— Не может быть! Сколько лет твердили: «Своей земли ни пяди не отдадим!»

До утра не спят эльгенские бараки...

Нет, мы сейчас не пильщики, не возчики с конбазы, не няньки из деткомбината. С необычайной яркостью вдруг вспомнили, «кто есть кто»... Спорим до хрипоты. Стараемся уловить перспективы. Не свои, а общие. Люди, поруганные, истерзанные четырьмя годами страданий, мы вдруг сознаем себя гражданами своей страны. За нее, за нашу Родину, дрожим мы сейчас, ее отвергнутые дети. Кое-кто уже раздобыл бумагу и огрызком карандаша выводит: «Прошу направить меня на самый опасный участок фронта. Являюсь членом Коммунистической партии с шестнадцатилетнего возраста»... (Е. Гинзбург. Крутой маршрут. N.-Y. 1985, кн. 2, стр. 17).

Увы, скажем сразу: Шаламов не оставляет нам и этого последнего шанса. Ну да, он вспоминает об исторических событиях... но как!

«Мне кажется, что человек второй половины двадцатого столетия, человек, переживший войны, революции, пожары Хиросимы, атомную бомбу, предательство и *самое главное, венчающее всё* (разрядка моя.— Л. Т.),— позор Колымы и печей Освенцима, человек...— а ведь у каждого родственник погиб либо на войне, либо в лагере — человек, переживший научную революцию, просто не может не подойти иначе к вопросам искусства, чем раньше» («Новый мир», 1989, № 12, стр. 60).

Конечно, и автор «Колымских рассказов», и его герои не перестали быть людьми своего времени, конечно же, есть в текстах Шаламова и революция, и война, и рассказ о «победном» мае 1945 года... Но во всех случаях все исторические события — и великие, и малые — оказываются лишь незначительным будничным эпизодом в ряду событий иных, *самых главных* — лагерных.

Война?

«— Слушайте,— сказал Ступницкий.— Немцы бомбили Севастополь, Киев, Одессу.

Андреев вежливо слушал. Сообщение звучало так, как известие о войне в Парагвае или Боливии. Какое до этого дело Андрееву? Ступницкий сыт, он десятник — вот его и интересуют такие вещи, как война.

Подошел Гриша Грек, вор.

— А что такое автоматы?

— Не знаю. Вроде пулеметов, наверное.

— Нож страшнее всякой пули,— наставительно сказал Гриша.

— Верно,— сказал Борис Иванович, хирург из заключенных.— Нож в животе — это верная инфекция, всегда опасность перитонита. Огнестрельное ранение лучше, чище...

— Лучше всего гвоздь,— сказал Гриша Грек.

— Станови-и-сь!

Построились в ряды, пошли из шахты в лагерь...» («Июнь»).

Вот и поговорили о войне. Что в ней лагеринку?.. И дело тут не в неких биографических обидах автора, в силу судебной ошибки отстраненного от участия в главном событии современности,— нет, дело в том, что автор убежден: как раз свидетелем главных событий сделала его трагическая судьба. Войны, революции, даже атомная бомба — лишь частные злодейства Истории, венцом которых стала Колыма — доселе невиданный в веках и тысячелетиях грандиозный разлив зла.

Как бы ни была крепка — до предрассудка! — привычка российского общественного сознания оперировать категориями диалектики, здесь они бессильны. Колымские сюжеты не хотят вплетаться в общую ткань «исторического развития». Никакими политическими ошибками и злоупотреблениями, никакими отклонениями от исторического пути невозможно объяснить всеобъемлющую победу смерти над жизнью. В масштабах этого явления всякие сталины, берии и прочие — лишь фигуранты, не более. Покрупнее ленинского здесь замысел...

Нет, реальность шаламовского мира не есть «реальность исторического процесса»,— мол, вчера было так, завтра будет иначе... Здесь ничто не меняется «с течением времени», отсюда ничто не исчезает, ничто не уходит в небытие, потому что мир «Колымских рассказов» и есть само небытие. И именно поэтому он попросту шире всякой мыслимой исторической реальности и не может быть создан «историческим процессом». Из этого небытия некуда возвращаться, не к чему воскресать. Идиллический финал, вроде как в «Войне и мире», здесь немыслим. Надежды, что где-то есть иная жизнь, не осталось. Все здесь, все втянуто в темные глубины. И сам «исторический процесс» со всеми его «фазисами» медленно кружит в воронке лагерного, тюремного мира.

Для того чтобы совершить какой бы то ни было экскурс в новейшую историю, автору и его героям можно и не стремиться за пределы лагерного забора или тюремной решетки. Вся история рядом. И судьбы каждого лагерника или сокамерника — ее венец, ее главное событие.

«Разно себя держат арестанты при аресте. Разломить недоверие одних — очень трудное дело. Исподволь, день ото дня привыкают они к своей судьбе, начинают кое-что понимать.

Алексеев был другого склада. Как будто он молчал много лет — и вот арест, тюремная камера возвратила ему дар речи. Он нашел здесь возможность понять самое важное, угадать ход времени, угадать собственную свою судьбу и понять, почему. Найти ответ на то огромное, нависшее над всей его жизнью и судьбой, и не только над жизнью и судьбой его, но и сотен тысяч других, огромное, исполинское «почему» («Первый чекист»).

Сама возможность найти ответ оттого и появляется, что «ход времени» прекратился, судьба завершается как и должно — смертью. На Страшный суд вплывают в тюремную камеру революции, войны, расстрелы, и лишь сопоставление с небытием, с вечностью проясняет их истинный смысл. С этой точки история имеет обратную перспективу. Вообще не само ли небытие и есть окончательный ответ — тот единственный, страшный ответ, который мы только и можем извлечь из всего хода «исторического процесса»,— ответ, который приводит в отчаяние простодушных, обманутых лукавыми агитаторами, и заставляет глубоко задуматься тех, кто еще не утратил этой способности:

«...Алексеев вдруг вырвался, вспрыгнул на подоконник, вцепился обеими руками в тюремную решетку и тряс ее, тряс, ругаясь и рыча. Черное тело Алексеева висело на решетке, как огромный черный крест. Арестанты отрывали пальцы Алексеева от решетки, разгибали его ладони, спешили, потому что часовой на вышке уже заметил возню у открытого окна.

И тогда Александр Григорьевич Андреев, генеральный секретарь общества политкаторжан, сказал, показывая на черное, сползающее с решетки тело:

— Первый чекист...

Но в голосе Андреева не было злорадства» («Первый чекист»).

Шаламовская реальность — художественный факт, но художественный факт особого рода. Сам писатель не раз заявлял, что стремится к новой прозе, к прозе будущего, которая станет говорить не от имени читателя, а от имени самого материала — «камня, рыбы и облака», на языке материала. (Художник не наблюдатель, изучающий события, но их участник, их свидетель — в том христианском значении этого слова, которое есть синоним слову мученик). Художник — «Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускающийся в ад» («О прозе»). И дело не в том, что до Шаламова не было мастера, способного справиться с такой творческой задачей, но в том, что не было еще на земле «самого главного, венчающего все» зла. И лишь теперь, когда зло поглотило все прежние лукавые надежды на конечную победу человеческого разума в его историческом развитии, художник смог с полным правом заявить: «Разумного основания у жизни нет — вот что доказывает наше время» («Новый мир», 1989. № 12, стр. 61).

Но отсутствие разумного (иначе говоря, логически объяснимого) основания в жизни еще не означает отсутствия того, чего мы, собственно, и доискиваемся — истины в текстах художника. Истина эта, видимо, не там, где мы ее привыкли искать: не в рациональных теориях,

«объясняющих» жизнь, и даже не в нравственных максимах, так привычно трактующих, что есть добро и что есть зло. Насколько все-таки близки одно другому понятия логика жизни и гармония мира? Быть может, не земное слово «логика» воссияет на фоне колымской ночи, а божественное — ЛОГОС?

По свидетельству Михаила Геллера, осуществившего наиболее полное издание «Колымских рассказов», одновременно с шаламовскими текстами в самиздате ходило письмо Фриды Вигдоровой Шаламову: «Я прочитала ваши рассказы. Они самые жестокие из всех, что мне приходилось читать. Самые горькие и беспощадные. Там люди без прошлого, без биографии, без воспоминаний. Там говорится, что беда не объединяет людей. Что там человек думает только о себе, о том, чтобы выжить. Но почему же закрываешь рукопись с верой в честь, добро, человеческое достоинство? Это таинственно, я этого объяснить не могу, я не знаю, как это получается. Но это — так» [1].

Помните загадочное кружение шеллачной пластинки и музыку в финале рассказа «Сентенция»? Откуда что берется? Таинство, к которому приобщает нас Шаламов, и есть искусство. И права была Вигдорова: постигнуть это таинство вполне никому не дано. Но читателю дано иное: приобщаясь к таинству, стремиться понять самого себя. И это возможно, поскольку не только события истории, но и все мы — живые, и мертвые, и еще не родившиеся,— все мы персонажи рассказов Шаламова, обитатели его таинственного мира. Вглядимся же в себя тамошних. Где мы там? Где там наше место? Обретение простым человеком своего Я в сиянии искусства похоже на материализацию солнечного света...

«Пучок красных солнечных лучей делится переплетом тюремной решетки на несколько меньших пучков; где-то посреди камеры пучки света вновь сливались в сплошной поток, красно-золотой. В этой световой струе густо золотились пылинки. Мухи, попавшие в полосу света, сами становились золотыми, как солнце. Лучи заката били прямо в дверь, окованную серым глянцевитым железом.

Звякнул замок — звук, который в тюремной камере слышит любой арестант, бодрствующий и спящий, слышит в любой час. Нет в камере разговора, который мог бы заглушить этот звук, нет в камере сна, который отвлек бы от этого звука. Нет в камере такой мысли, которая могла бы... Никто не может сосредоточиться на чем-либо, чтобы пропустить этот звук, не услышать его. У каждого замирает сердце, когда он слышит звук замка, стук судьбы в двери камеры, в души, в сердца, в умы. Каждого этот звук наполняет тревогой. И спутать его ни с каким другим звуком нельзя.

Звякнул замок, дверь открылась, и поток лучей вырвался из камеры. В открытую дверь стало видно, как лучи пересекли коридор, кинулись в окно коридора, перелетели тюремный двор и разбились на оконных стеклах другого тюремного корпуса. Все это успели разглядеть все шестьдесят жителей камеры в то короткое время, пока дверь была открыта. Дверь захлопнулась с мелодичным звоном, похожим на звон старинных сундуков, когда захлопывают крышку. И сразу все арестанты, жадно следившие за броском светового потока, за движением луча, как будто это было живое существо, их брат и товарищ, поняли, что солнце снова заперто вместе с ними.

И только тогда все увидели, что у двери, принимая на свою широкую черную грудь поток золотых закатных лучей, стоит человек, щурясь от резкого света» («Первый чекист»).

Мы предполагали поговорить о солнце в рассказах Шаламова. Теперь этому пришло время.

IV

Солнце «Колымских рассказов», каким бы ярким и горячим ни являлось оно по временам, всегда солнце мертвых. И рядом с ним всегда иные светила, куда более важные:

«Мало есть зрелищ, столь же выразительных, как поставленные рядом красно-рожие от спирта, раскормленные, грузные, отяжелевшие от жира фигуры лагерного начальства в блестящих, как солнце (здесь и далее разрядка моя.— **Л. Т.**), новеньких, вонючих овчинных полушубках...

Федоров прошелся по забою, что-то спросил, и наш бригадир, почтительно изогнувшись, доложил что-то. Федоров зевнул, и его золотые, хорошо починенные зубы отразили солнечные лучи. Солнце было уже высоко...» («Мой процесс»).

Когда же закатится это услужливое солнце надзирателей, или заволочет его дождевая осенняя муть, или встанет непроницаемый морозовый туман, заключенному останется лишь знакомое нам уже «тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой...»

Можно было бы сказать, что недостаток солнечного света — чисто географическая особенность Колымского края. Но мы уже выяснили, что география ничего не может объяснить нам в рассказах Шаламова. Дело не в сезонных изменениях времени восхода и заката. Дело в том, что в этом мире недостаточно тепла и света,— дело в том, что здесь нет движения от тьмы к свету или обратно. Нет света истины, и негде обрести его. Нет разумных причин, и нет логических следствий. Нет справедливости. В отличие, скажем, от дантова ада заключенные здесь души не несут

[1] В кн. В. Шаламова «Колымские рассказы». Предисловие М. Геллера, 3-е изд., с. 13. YMCA — PRESS, Paris, 1985.

разумных наказаний, они не знают за собой вины, а поэтому не ведают ни раскаяния, ни надежды когда-нибудь, искупив вину, изменить свое положение...

«Покойный Алигьери сотворил бы из этого десятый круг ада»,— сказала как-то Анна Ахматова[1]. И не она единственная склонна была соотносить российскую действительность XX века с картинами дантовых ужасов. Но при таком соотношении всякий раз становилось очевидно, что ужасы последние, лагерные — посильнее тех, что казались *предельно* возможными величайшему художнику века XIV,— и девятью кругами не охватишь. И, видимо, понимая это, Ахматова не ищет ничего похожего в литературных текстах уже созданных, но вызывает гений Данте, приближает его, делает недавно ушедшим современником, называя «покойным Алигьери»,— и кажется, только такому современнику под силу осмыслить все недавно пережитое человечеством.

Дело, конечно же, не в том, чтобы следовать рациональному, даже числовому порядку, в котором являются нам девять кругов ада, потом семь — чистилища, потом девять райских небес... Именно рациональные представления о мире, явленные текстом «Божественной комедии», структурой этого текста, подвергаются сомнению, а то и вовсе опровергаются опытом XX столетия. И в этом смысле мироощущение Варлама Шаламова есть прямое отрицание философских представлений Данте Алигьери.

Вспомним, в упорядоченном мире «Божественной комедии» солнце — важная метафора. И «плотское» солнце, в недрах которого пребывают сияющие, излучающие свет, льющие пламень души философов и богословов (царь Соломон, Фома Аквинский, Франциск Ассизский), и «Солнце ангелов», каким является сам Господь. Так или иначе Солнце, Свет, Разум — поэтические синонимы.

Но если в поэтическом сознании Данте солнце никогда не угасает (даже в аду, когда кругом плотная темень), если путь из ада есть путь к светилам и, выйдя к ним, герой при случае не забывает заметить, как и в каком направлении ложится его тень, то в художественном мире Шаламова вовсе нет ни света, ни тени, нет привычной и общепонятной границы между ними. Здесь по большей части густые мертвенные сумерки — сумерки без надежды и без истины. Вообще без какого бы то ни было источника света — он утрачен навсегда (да и был ли?). И здесь нет тени, потому что нет солнечного света — в привычном понимании этих слов. Тюремное солнце, лагерное солнце «Колымских рассказов» — совсем не одно и то же, что просто *солнце*. Оно присутствует здесь не как естественный источник света и жизни *для всех*, а как некий второстепенный инвентарь, если и не принадлежащий смерти, то уж и к жизни не имеющий никакого отношения.

Нет, все-таки наступает момент — редко, но все же бывает,— когда яркое, а порой и горячее солнце пробивается в мир колымского зэка. Впрочем, оно никогда не светит всем. Из глухих сумерек лагерного мира, словно сильный луч, направленный откуда-то извне, оно всегда выхватывает чью-нибудь одну фигуру (скажем, уже знакомого нам «первого чекиста» Алексеева) или чье-то одно лицо, отражается в глазах одного человека. И всегда — всегда! — это фигура или лицо, или глаза окончательно обреченного:

«...Я был совершенно спокоен. И торопиться мне было некуда. Солнце было слишком горячим — обожгло щеки, отвыкшие от яркого света, от свежего воздуха. Я сел к дереву. Приятно было посидеть на улице, вдохнуть упругий замечательный воздух, запах зацветающего шиповника. Голова моя закружилась...

...Я был уверен в суровости приговора — убивать было традицией тех лет» («Мой процесс»).

Хотя мы дважды цитировали здесь один и тот же рассказ, все же солнце, которое освещает лицо обреченного зэка, вовсе не то же самое, какое несколькими страницами раньше отражалось в полушубках охраны и в золотых зубах надзирателей. Этот далекий, как бы нездешний свет, падающий на лицо человека, готового умереть, хорошо знаком нам по другим рассказам. В нем некое умиротворение, может быть, знак примиренности с Вечностью:

«Беглец прожил в бане поселка целых три дня, и наконец, постриженный, побритый, вымытый, сытый, он был уведен «оперативкой» на следствие, исходом которого мог быть только расстрел. Сам беглец об этом, конечно, знал, но это был арестант бывалый, равнодушный, уже давно перешагнувший ту грань жизни в заключении, когда каждый человек становится фаталистом и живет «по течению». Возле него все время были конвоиры, «бойцы охраны», говорить ему ни с кем не давали. Каждый вечер он сидел на крыльце бани и разглядывал вишневый закат. Огонь вечернего солнца перекатывался в его глаза, и глаза беглеца казались горящими — очень красивое зрелище» («Зеленый прокурор»). Конечно, мы могли бы обратиться к христианской поэтической традиции и сказать, что это направленный свет любви встречает душу, уходящую из мира сего... Но нет, мы прекрасно помним заявление Шаламова: «Бог умер...» И еще: «Веру в Бога я потерял давно, лет в шесть... И я горжусь, что с шести лет и до шестидесяти я не прибегал к его помощи ни в Вологде, ни в Москве, ни на Колыме» («Четвертая Вологда» — Наше наследие, 1988, № 4, стр. 102).

[1] См. Л. Чуковская. Мастерская человечьих воскрешений... «Референдум». Журнал независимых мнений. М., апрель 1990. № 35, стр. 19.

И все же, несмотря на эти заявления, отсутствие Бога в художественной картине *потустороннего* колымского мира совсем не простой и самоочевидный факт. Эта тема своими противоречиями как бы постоянно тревожит автора, вновь и вновь привлекает к себе внимание. Бога нет... но есть верующие в Бога, и оказывается, что это самые достойные люди из тех, с кем приходилось встречаться на Колыме: «Та безрелигиозность, в которой я прожил сознательную жизнь, не сделала меня христианином. Но более достойных людей, чем религиозники, в лагерях я и не видел. Растление охватывало души всех, и только религиозники держались. Так было и пятнадцать, и пять лет назад» («Курсы»).

Но вместе с тем, сказав о душевной стойкости «религиозников», Шаламов как бы проходит мимо, не проявляя особого внимания к природе этой стойкости, словно тут ему (и, надо полагать, читателю) все ясно и этот способ «держаться» его мало интересует. («Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?» — спрашивает герой-повествователь в рассказе «Необращенный»).

Более того, Шаламов как бы даже специально рассчитанным приемом изымает из своей художественной системы традиционные представления о Боге и религии. Именно этой цели служит рассказ «Крест» — рассказ о старом слепом священнике, хоть и живущем не на Колыме и даже не в лагере, но все в тех же советских условиях постоянных лишений, унижений, прямых издевательств. Оставшись с такой же, как и он сам, старой и больной женой совершенно без средств, священник ломает, разрубает на продажу наперсный золотой крест. Но не потому, что утратил веру, а потому что «не в этом Бог». Рассказ ни местом действия, ни сюжетом вроде бы и не принадлежит к «Колымским рассказам»[1], но по тонкому художественному расчету включен автором в общий корпус и оказывается чрезвычайно важен в композиции тома. При входе в потусторонний мир он как знак запрета для любых традиционных гуманистических ценностей, в том числе и христианского толка. Когда говорится, что в этой жизни нет разумного основания, имеется в виду и Божественный Разум тоже — или даже такой Разум в первую очередь!

Но в то же время вот совсем другой поворот темы: один из лирических героев Шаламова, несомненное авторское alter ego, носит имя Крист. Если автор ищет «нерелигиозный выход», то здесь-то что именно влечет его к Сыну Человеческому? Уж нет ли здесь мысли об искупительной жертве? И если есть, то чья жертва — автора, героя, всех погибших на Колыме? И какие грехи искупаются? Не тот ли, еще с дантовских времен (или еще более давний — от времен св. Августина, или даже с платоновских, дохристианских времен?) соблазн построить справедливый мировой порядок — по человеческому разумению справедливый — соблазн, обернувшийся «позором Колымы и печей Освенцима»?

И если речь идет об искуплении, то «чьим именем»? Чьим, если Бога нет в художественной системе Варлама Шаламова?

Мы говорим не о простом человеке, не о религиозных взглядах одного из тысяч колымчан, выясняя, кому легче было выстоять в лагерях — «религиознику» или атеисту. Нет, нас интересует творческий метод художника, автора «Колымских рассказов».

«В «Колымских рассказах» — как кажется автору, нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра»,— писал Шаламов, как бы возражая сомневающимся или тем, кто не сумел это торжество разглядеть. Но если добро торжествует, то что оно есть, это самое добро? Не наука же застегивать ширинку на колымском морозе!..

Шаламов сознательно отвергает литературную традицию со всеми основополагающими ценностями. Если в центре художественного мира Данте Алигьери — Свет Божественного Разума, и мир этот устроен разумно, логично, по справедливости, и Разум торжествует, то в центре художественной системы Шаламова... да, впрочем, есть ли здесь вообще хоть что-нибудь, что можно было бы назвать *центром*, системообразующим началом? Шаламов как бы отбрасывает все, что предлагает ему в качестве таких *начал* литературная традиция: понятие о Боге, представление о разумном устройстве мира, мечты о социальной справедливости, логику юридического закона... Что же остается человеку, когда ему не остается ничего? Что остается *художнику*, когда трагический опыт прожитого века навсегда похоронил мировоззренческие основы традиционного искусства? Какую *новую прозу* предложит он читателю — обязан предложить?!

«Почему я, профессионал, пишущий с детства, печатающийся с начала тридцатых годов, десять лет думавший над прозой, не могу внести ничего нового в рассказ Чехова, Платонова, Бабеля и Зощенко? — писал Шаламов, задаваясь теми же вопросами, что и нас теперь мучают.— Русская проза не остановилась на Толстом и на Бунине. Последний великий русский роман — это «Петербург» Белого. Но и «Петербург», какое бы колоссальное влияние он ни оказал на русскую прозу двадцатых годов, на прозу Пильняка, Замятина, Веселого, это тоже только этап, только глава истории литературы. А в наше время читатель разочарован в русской классической литературе. Крах ее гуманистических идей, историческое преступление, приведшее к сталинским лагерям, к печам

[1] В основе сюжета рассказа — события жизни отца писателя Т. Н. Шаламова.

Освенцима, доказали, что искусство и литература — нуль. При столкновении с реальной жизнью это главный мотив, главный вопрос времени. Научно-техническая революция не отвечает на этот вопрос. Она и не может отвечать. Вероятностный аспект и мотивация дают многосторонние, многозначные ответы, тогда как читатель-человек нуждается в ответе «да» или «нет», пользуясь той же двузначной системой, которую кибернетика хочет применить для изучения всего человечества в его прошлом, настоящем и будущем.

Разумного основания у жизни нет — вот что доказывает наше время. То, что «Избранное» Чернышевского продают за пять копеек, спасая от освенцима макулатуры,— это символично в высшей степени. Чернышевский кончился, когда столетняя эпоха дискредитировала себя начисто. Мы не знаем, что стоит за Богом — за верой, но за безверием мы ясно видим — каждый в мире,— что стоит. Поэтому такая тяга к религии, удивительная для меня, наследника совсем других начал» («Новый мир», 1989, № 2, стр. 61).

Есть глубокий смысл в упреке, который бросает Шаламов литературе гуманистических идей. И упрек этот заслужила не только русская литература XIX века, но и вся европейская — порой христианская по внешним признакам (как же, ведь сказано: возлюби ближнего своего, как самого себя), но соблазнительная по сути своей традиция мечтаний, которые всегда сводились к одному: отнять у Бога и передать в руки человеческие сотворения Истории. Все для человека, все для блага человека! Именно эти мечтания — через утопические идеи Данте, Кампанеллы, Фурье и Оуэна, через «Коммунистический Манифест», через сны Веры Павловны, «перепахавшие» душу Ленина,— и привели к Колыме и Освенциму... Эту греховную традицию — со всеми возможными последствиями греха — разглядел еще Достоевский. Недаром в самом начале притчи о Великом Инквизиторе как бы невзначай упоминается имя Данте...

Но искусство не школа философии и политики. Или по крайней мере не только или даже не столько школа. И «покойный Алигьери» все же скорей создал бы десятый круг ада, чем программу политической партии. «Поэзии Данте свойственны все виды энергии, известные современной науке,— писал Осип Мандельштам, чуткий исследователь «Божественной комедии».— Единство света, звука и материи составляет ее внутреннюю природу. Чтение Данта есть прежде всего бесконечный труд, по мере успехов отдаляющий нас от цели. Если первое чтение вызывает лишь одышку и здоровую усталость, то запасайся для последующих парой неизносимых швейцарских башмаков с гвоздями. Мне не на шутку приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии» [1].

Логические формулы и политические, религиозные и т. д. доктрины есть результат лишь «первого чтения» литературных произведений, лишь первого знакомства с искусством. Дальше начинается собственно искусство — не формулы, но музыка... Потрясенный зависимостью колымской реальности от текстов, с нею вроде бы никак не связанных, поняв, что «позор Колымы» — производное этих текстов, Шаламов создает «новую прозу», которая с самого начала не содержит никаких доктрин и формул — ничего, что можно было бы легко ухватить при «первом чтении». Он как бы снимает саму возможность «первого чтения» — нет ни здоровой одышки, ни удовлетворения. Напротив, первое чтение оставляет лишь недоумение: о чем это он? При чем тут музыка? Неужели шеллачная пластинка в рассказе «Сентенция» и есть системообразующая метафора «Колымских рассказов»? Не Солнце, не Разум, не Справедливость ставит он в центр своего художественного мира, а всего лишь хриплую шеллачную пластинку с какой-то симфонической музыкой?

Мастера «первых чтений», мы не сразу умеем разглядеть родство «покойного Алигьери» и покойного Шаламова. Услышать родство и единство их музыки. «Если бы мы научились слышать Данта,— писал Мандельштам,— мы бы слышали созревание кларнета и тромбона, мы бы слышали превращение виолы в скрипку и удлинение вентиля валторны. И мы были бы слушателями того, как вокруг лютни и теорбы образуется туманное ядро будущего гомофонного трехчастного оркестра» [2].

Если бы мы научились читать Шаламова, мы бы поняли в конце концов смысл его «музыки в прозе», приняли бы труд и жизнь художника как искупительную жертву и, возможно, повторили бы вслед за ним: «На свете есть тысячи правд (и правд-истин, и правд-справедливостей) и есть только одна правда таланта. Точно так же, как есть один род бессмертия — искусство» («Новый мир», 1989, № 12, стр. 80).

V

Закончив анализ, мы теперь сами должны подвергнуть свою работу серьезному сомнению или даже вовсе всю перечеркнуть... Дело в том, что сомнение вызывает уже сам текст «Колымских рассказов» — текст тех публикаций, к которым мы обращались в своей работе. Не то чтобы кто-то не был уверен, написал ли Варлам Шаламов те или иные рассказы,— это, слава Богу, несомненно. Но какого жанра все собрание его «колымских» произведений, сколь велик его текст, где его начало и где конец, какова композиция — это не только не проясняется с течением времени, но и как бы даже становится все более и более непонятно.

[1] В кн. О. Мандельштам. Слово и культура.— М. Советский писатель 1987, стр. 112.
[2] Там же, стр. 114.

Мы уже ссылались на девятисотстраничный том парижского издания «Колымских рассказов». Том открывается собственно циклом «Колымские рассказы», здесь названным «Первая смерть». Этот цикл — суровое знакомство с художественным миром Шаламова. Именно здесь мы впервые находим и глухо замкнутое пространство, и остановившееся время — *небытие* — колымской лагерной «реальности». (Именно здесь впервые говорится о предсмертном равнодушии, о душевном отупении, которое приходит вслед за пыткой голодом, холодом, побоями.) Этот цикл — путеводитель по тому колымскому *небытию*, где будут разворачиваться события следующих книг.

Путеводитель и по душам обитателей этого ада — заключенных. Именно здесь понимаешь, что выжить (остаться в живых, сохранить жизнь — и научить читателя, как выжить) — вовсе не есть задача автора, которую он решает вместе со своим «лирическим героем»... Хотя бы потому, что никто из персонажей *уже* не выжил — все (и читатель вместе со всеми) погружены в колымское небытие.

Этот цикл — как бы «экспозиция» художественных принципов автора, ну как вроде «Ад» в «Божественной комедии». И если мы говорим о шести известных ныне циклах рассказов как о едином произведении — а именно к этому склоняются все, кто трактовал о композиционных принципах Шаламова,— то невозможно представить себе иное начало всей грандиозной эпопеи, как только цикл, озаглавленный в парижском томе (что, кстати, подлежит дополнительному обсуждению) «Первая смерть».

Но вот в Москве выходит наконец том рассказов Шаламова «Левый берег» (Современник, 1989)... и без первого цикла! Хуже не придумаешь. Почему, чем руководствуются публикаторы? Никаких объяснений...

В том же году, но в другом издательстве выходит еще одна книга шаламовских рассказов — «Воскрешение лиственницы». Слава Богу, начинается она с первого цикла, с собственно «Колымских рассказов», но дальше (опять хуже некуда!) сильно и совершенно произвольно урезанные, наполовину и больше, «Артист лопаты» и «Левый берег». Причем здесь они поменялись местами и по сравнению с парижским изданием, и по сравнению с только что изданным сборником «Левый берег». Почему, по какому принципу?

Но нет, лишь на первый взгляд кажется непонятно, зачем производятся все эти манипуляции. Тут несложно разобраться: разная последовательность рассказов — разное художественное впечатление. Шаламова усиленно подгоняют под традиционный (и неоднократно с такой силой и определенностью опровергнутый им) принцип русской гуманистической школы: «от тьмы к свету»... Но достаточно оглянуться на несколько десятков строк назад, чтобы увидеть, что этот принцип, по мнению самого Шаламова, есть нечто решительно несовместимое с его «новой прозой».

Сама И. Сиротинская, публикатор обеих книг, вроде бы высказывает верные мысли: «Рассказы В. Т. Шаламова связаны неразрывным единством: это судьба, душа, мысли самого автора. Это ветки единого дерева, ручьи единого творческого потока — эпопеи о Колыме. Сюжет одного рассказа прорастает в другой рассказ, одни герои проявляются и действуют под теми же или разными именами. Андреев, Голубев, Крист — это ипостаси самого автора. В этой трагической эпопее нет вымысла. Автор считал, что рассказ об этом запредельном мире несовместим с вымыслом и должен быть написан иным языком. Но не языком психологической прозы XIX века, уже неадекватным миру века XX, века Хиросимы и концлагерей» [1].

Все так! Но ведь художественный язык — это не только, а часто и не столько слова, сколько ритм, гармония, композиция художественного текста. Как же, понимая, что «сюжет одного рассказа перерастает в другой рассказ», не понять, что и сюжет одного цикла перерастает в другой! Нельзя их произвольно сокращать и переставлять местами. Тем более, что имеется самим писателем набросанный *порядок* расположения рассказов и циклов — им пользовались парижские издатели.

С уважением и любовью думая о Шаламове, мы переносим свое уважение и на тех, кому волей художника завещано быть его душеприказчиками. Их права незыблемы... Но распоряжаться текстом гениального художника — непосильная задача для одного человека. Делом квалифицированных специалистов должна стать подготовка публикации научного издания «Колымских рассказов» — в полном соответствии с творческими принципами В. Шаламова, столь четко изложенными в недавно опубликованных (за что низкий поклон И. П. Сиротинской) письмах и заметках...

Теперь, когда, кажется, нет цензурных помех, не дай Бог нам, современникам, оскорбить память художника соображениями политической или коммерческой конъюнктуры. Жизнь и творчество В. Т. Шаламова — искупительная жертва за наши общие грехи. Его книги — духовное сокровище России. Таково и должно быть к ним отношение.

[1] И. Сиротинская. Об авторе. В кн. В. Шаламов «Левый берег».— М., Современник, 1989, стр. 557.

Е. СТАРИКОВА

Заметки запоздалого читателя

Странный, необычный у каждого из нас сейчас процесс чтения. Злободневным часто оказывается не то, что написано только что и о сегодняшнем, а то, что написано давно и о прошлом. Мы сразу и одновременно проходим через разные, перемешанные в последовательности слои культуры. Историческая перспектива, в которой, казалось, было нам привычно рассматривать явления искусства, вдруг сместилась. Преемственность, влияния, традиции — все искривлено искаженностью исторического времени, отдалявшего одно и приближавшего другое. Иерархия эстетических и прочих фундаментальных ценностей сметена исключительностью сегодняшнего дня. Мы стали похожи на детей, недавно научившихся бегло читать и поглощающих все попавшееся под руку с жадностью неофитов. Поток политических событий по-прежнему бурно выплескивает на кромку прибоя печатной продукции публицистику разного рода. По ней мы и сверяем собственные суждения о происходящем, былом и грядущем. Но и любопытство к недавно еще смертельно запретному или вовсе недоступному усиленно подсказывает нам поспешный выбор книг и публикаций для немедленного прочтения. Смущенные обнаруженным собственным невежеством, мы на ходу пополняем знания по разным областям отечественной культуры.

Однако свежее художественное впечатление все-таки довольно редкое явление в этой бурной встрече со свободным словом. А тут так вот случилось, что злободневность прочитанного оказалась неотделимой не только от политического и культурного, но и от эстетического переживания. Шутка сказать: в течение одного месяца прочесть подряд три давних, но новых для тебя русских романа! Здесь все три слова надо набрать в разрядку: *новых* — значит никогда раньше не читанных, *русских* — значит и прямо тебя касающихся своим содержанием, и донесенных до тебя без языковых посредников, *романа* — значит, как ни говори, сложнейшего из существующих литературных построений.

«Сивцев Вражек» Мих. Осоргина — 1928 год, «Семья» Нины Федоровой — 1940 год, «Мнимые величины» Н. Нарокова — 1952 год... Как давно! Как долго для читателя нашей страны клады эти хранились за семью печатями! Все три романа написаны и в свое время опубликованы русскими писателями за границей, все три автора печатали свои романы под псевдонимами, все три романа изданы в Москве в 1989—1990 годах. Это та самая «эмигрантская» литература, возвращению которой так радуются читатели и так часто гордится наша печать.

Радость запоздалого знакомства со старыми-новыми русскими романами очень скоро сменилась у меня стыдом. Конечно, чаще всего то была не моя вина, а моя беда, что этих авторов я не знала или, как Мих. Осоргина, знала понаслышке, во всяком случае, книг их в руках не держала. Можно, конечно, сказать, что такова уж была участь нашего поколения: прожить большую часть жизни за «железным занавесом» в строгом запрете свободного плавания по океану мировой культуры, в том числе и особенно строго по отечественным потокам, оказавшимся за его заслоном. Но стыдно сегодня за самую свою *привычку не знать*. Жить с привычным ощущением «не дано». Не дано — и все. Не дано пересечь границу, не дано увидеть «Тайную вечерю», не дано прочитать «Несвоевременные мысли» М. Горького. Постоянное искусственное ограничение родит апатию, и это самый страшный результат запретов. Я лично потом, начиная с 60-х годов, кое-что и увидела, и прочитала, но чувство обделенности и стыда за молодое свое примирение с запретами осталось. И родилось чувство зависти к более молодым, смелым, которым дано было вовремя знать, видеть, читать. Вот это чувство стыда и зависти сопровождало у меня и радость открытия новых-старых русских романов в этом году: раньше бы!

Как-то, кажется, в «Огоньке» встретилось сообщение о том, как ярославские рабочие, протестуя против попыток Москвы урегулировать вывоз из города продуктов, стали противиться вообще всяким поискам экономических новшеств и твердить об «особом» нашем пути вслед за известного рода историками и публицистами. Как же я их пожалела, этих рабочих, знавших одну, как теперь говорят, альтернативу: или пустые магазины, или полупустые! Как же я узнала в них, в их болезненной гордости, себя — читателя и себя — литератора. Это не для нас, ну и обойдемся. Нет, конечно, я никогда не противилась знанию. Но я смела рассуждать о русской литературе 20-х годов, не зная ее естественной половины, то есть участвовала в искусственном создании представления об «особом» пути советской литературы, не имея возможности, по существу, понять ее «особенности». Очень больно, очень стыдно...

Надо самому пережить эпоху Большого террора, чтобы знать, что такое тотальный страх. Мистический страх тобою не совершенного греха. Страх, рождающий длительную, убийственную апатию и в отдельном человеке, и в обществе в целом. Страх не дает прощения, но многое в нас объясняет.

«Записки уцелевшего» — так удачно назвал С. Голицын свои воспоминания о судьбе одной обширной и знатной русской семьи в 20-е и 30-е годы (опубликованы в № 3 «Дружбы народов» за 1990 год). Так вот, все «уцелевшие», а к ним можно отнести и авторов названных здесь романов, зафиксировали в слове возникновение и эволюцию подобного рода страха на всех его ступенях. Очень горько и поучительно наблюдать, как в книгах разного стиля, разного времени и места написания, разного житейского содержания в центре оказывается изображение одного и того же состояния человеческой души, типичного для жизни миллионов людей в 20—50-е годы XX века.

Надо заметить, что старые-новые русские романы, только что дошедшие до нас, в литературном смысле — каждый по-своему — достаточно традиционны. Во всяком случае, знакомство с ними не несет читателю особых стилистических открытий. И в то же время они и не старомодны, потому что если и не современны, то своевременны. Тут образуется некий парадокс восприятия книги человеком искусственно усеченной культуры: ощущаешь, что книги эти написаны давно, но написаны они были как бы более взрослыми, чем мы сами, людьми. В чем тут дело? Однако прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, скажу несколько слов о различной традиционности прочитанных романов.

Трудно не увидеть в «Сивцевом Вражке» Мих. Осоргина общности многих мотивов и основных приемов с многочисленными образцами советской прозы 20-х годов. Читая новый для тебя роман, вспоминаешь и Б. Пильняка, и Евг. Замятина, и ранних Б. Лавренева и Л. Леонова, и «Россию, кровью умытую» Артема Веселого. Роман об империалистической войне, о революции, о трагической судьбе поколения, оказавшегося на самом грозном историческом переломе, «Сивцев Вражек» писался за границей, но он весь проникнут воздухом родины. И не только потому, что этот «московский» роман полон любви к русскому городу, вниманием к каждому его закоулку, тоски по нему, но и потому, что сам этот роман выткан по той литературной основе, которая совсем недавно (по тем временам) была выработана соотечественниками Мих. Осоргина вслед за главным первооткрывателем — Андреем Белым. В «Сивцевом Вражке» полностью использованы принципы композиции новаторской русской прозы 10-х — 20-х годов: эпический захват взором автора исторического и географического пространства предельной широты и в то же время живописное воссоздание грандиозной картины войны и мира отдельными красочными мазками, через свободную ассоциацию противоречивых впечатлений, где малое и большое выступают с одинаковыми полномочиями выразительности.

Еще более отчетлива и уже персонально определена литературная традиция «Мнимых величин» Н. Нарокова. Роман, героем которого является глава некоего областного НКВД, вершащий в 1937 году скорую расправу над жителями одного из российских городов, делающий свое дело по разверстке сверху, по указанию самого Ежова, но и с полной душевной отдачей,— вот такой-то новый по теме для нас роман написан в прямой и явной зависимости от Достоевского и по нравственному смыслу, и по художественным приемам. Увлекательнейшая таинственная и кровавая интрига, сосредоточенная в одной точке места и времени; откровенные исповеди героев друг другу по кардинальным, касающимся жизни и смерти проблемам бытия; расстановка героев по отношению к сюжету так, что очевидная сила и очевидная слабость оказываются в открытом противостоянии и слабость опрокидывает силу,— эти и другие внешние приметы романа Н. Нарокова настолько знакомы по романам Достоевского, что невольно при первом чтении начинаешь на ходу выстраивать одну за другой параллели и делать сравнения. Но материал, но непосредственное впечатление... Они таковы, что даже и не приходит в голову мысль о подражании. Приходит в голову совсем другая мысль: о «подходящести» *этого* материала для поэтики, созданной русским гением в XIX веке как бы в предчувствии грядущего. Сама собой приходит читателю Н. Нарокова и уверенность, что авторитет Достоевского в

наше время имеет глубокую органическую почву в истекающей эпохе. Нет в прошлом более «подходящего» писателя, точнее ответившего на трагические вопросы XX века не только прямыми своими проповедями, но и выработанным в романах методом доказательства их истинности. Н. Нароков в начале 50-х годов блестяще это подтвердил «Мнимыми величинами», сознательно построенными из нового, неведомого классику материала, по известной, но не устаревшей, а лишь опробованной горьким массовым опытом конструкции.

В «Семье» Нины Федоровой — тоже 1937 год, но на чужой для нас земле, в китайском городе Тяньцзине. Что мы знаем о жизни Китая тех лет? Мое детство сопровождалось постоянными газетными сообщениями с китайских фронтов, но за причудливыми и уже привычными названиями провинций и городов ничего конкретного не вставало. Мы куда лучше представляли себе фашистскую Германию, гражданскую войну в Испании, а частично оккупированный японской армией Китай был слишком далеко. Роман Нины Федоровой его неожиданно интимно приблизил настолько, насколько он стал близок и понятен героям «Семьи» — русским эмигрантам, людям трижды угнетенным: как чужестранцы, которые потеряли защиту родины, как нищие пришельцы в английской концессии, как белые среди желтых. В 1937 году на собственную драму наложилась трагедия громадной загадочно молчаливой страны, давшей приют, а теперь сопротивлявшейся японской оккупации.

Нина Федорова рассказывает, как противостоял веку русский человек на чужбине. Русский интеллигентный человек. Семья часто находилась на самом краю нищеты. С улыбкой автор романа рассказывает о нищете, но не о несчастье; о бедности, но без надрыва, о постоянной опасности, но не о потере человеческого достоинства. В послесловии к «Семье» Д. Урнов настойчиво проводит мысль о прямом продолжении автором традиции русского семейного романа, берущего начало от Пушкина, от «Капитанской дочки». В статье довольно подробно для ее объема развиваются соответствующие наблюдения над замеченной автором литературной преемственностью. А мне, еще раньше, чем прочитала Д. Урнова, показалось, что в «Семье» Нины Федоровой при ее подчеркнуто русской теме в манере самого рассказа отчетливо чувствуется прежде всего влияние английской беллетристики XIX века с ее непременными внезапными появлениями эксцентрических персонажей, с ее сентиментальностью, уравновешенной юмором. И в самой фразе Нины Федоровой иной раз слышится отзвук иноязычной речи. Впрочем, хорошо известно об отношении самого Пушкина к Вальтеру Скотту, и можно смело говорить и о влиянии английского писателя на «Капитанскую дочку». Но все-таки «Семья» Нины Федоровой в отличие от «Капитанской дочки» никак не исторический роман. Тут есть между жанрами принципиальное различие — соблюдение в историческом романе временной дистанции между автором и героями, опора писателя на документ и предание (помните слова автора «Капитанской дочки» о дворцовых сплетнях жены смотрителя: «разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства»?), а не личные впечатления, присутствие в сюжете хотя бы и на втором плане известных исторических личностей. И хотя в «Семье» по реке Хэй-Хо так же плывут трупы убитых китайцев, как и в «Капитанской дочке» по Волге плыли трупы казненных Пугачевым, все-таки «Семья» — роман иного типа, это беллетризованные и обобщенные авторские мемуары, а не исторический роман. В самом отказе Нины Федоровой от определенной фамилии героев — просто Семья, возглавляемая Бабушкой и Матерью,— есть нечто противоположное стремлению исторического романиста к фактической конкретности, даже к ее имитации (когда вымысел замещает недостающие факты).

Изображение ужаса насилия, изобличение кровавой бессмыслицы насилия, неспособного разрешить какие-либо жизненные проблемы, утверждение самоценности личности в ее противостоянии насилию — вот что объединяет все три названных здесь романа и что действительно делает авторов этих романов прямыми продолжателями высокой гуманистической традиции классической русской литературы XIX века. И у Мих. Осоргина, и у Нины Федоровой, и у Н. Нарокова в совершенно разной форме, но последовательно дано восприятие действительности 20—30-х годов XX века с точки зрения человека, или оставшегося верным заветам старой русской культуры, или вернувшегося к ним после трудных умственных и нравственных блужданий.

Обратите внимание, и в романе Мих. Осоргина, и у Н. Нарокова центральными — в смысле эмоционального впечатления — оказываются сходные сцены: расстрел в 1920 году и расстрел в 1937 году, расстрел подлинный и расстрел для героя романа мнимый, разыгранный и, может быть, еще более ужасный, оставляющий жертву с э т и м жить. Как жил с этим всегда, до самого конца Достоевский. Но Достоевский пережил казнь торжественную, пышную, ритуальную. Мнимое преступление и мнимое наказание в середине XIX века были еще обставлены значительностью, соответствующей исключительности действия, искаженному, но христианскому представлению о великой ценности личности. Человеку предстояло уйти из жизни под бой барабана, с прощальным поцелуем товарищей. Какие излишества! В XX веке в соответствии с иными нормами нравственности иной эпохи расстрел означает просто наиболее распространенный и простой способ устранения человека и устрашения остальных людей. Простота акта нашла отражение и в языке времени. В 1920 году чаще всего говорили «в расход». В 1937 году привычные исполнители этого дела в романе Н. Нарокова говорят «шлепка».

А ведь, признайтесь, нас не страшит уже само жуткое слово «расстрел». Привыкли. Откройте любой литературно-публицистический журнал за последние годы, уверяю, вы найдете непременно это слово или производное от него. И много ли в стране семей, в анналах которых — если сохранились анналы — не было расстрелянных? Есть ли человек, ныне живущий, старшего поколения, который не знал, не видел людей, впоследствии расстрелянных? Я перебираю в памяти впечатления детства и семейные предания. «Сидели» мало ли, много ли, но все мужчины: дед, брат деда, отец, свекор... Дворяне, крестьяне, мещане. . Красные и белые — не по участию в вооруженной борьбе, по настроениям. На расстрел водили только деда, и то случай выручил, не расстреляли. Расстреляли только кого-то двадцатилетнего из дальних родственников во время гражданской войны, но это было до моего рождения. А сама я помню супружескую пару, приходившую в гости к родителям в середине тридцатых годов. Молодые, бедные, тихие, ничем с виду не примечательные. Впрочем, только одним. Взрослые говорили: «Он учился вместе с Тухачевским». Я не знала, кто такой Тухачевский, и считала, что просто так зовут друга Кати и Саши Коваленских, этих молодых супругов. Потом они перестали к нам приходить, и я слышала шепот у себя за спиной: «Расстреляли». Взрослые почему-то считают, что дети плохо слышат. Но я тогда и поняла, что вина расстрелянных в том, что они сохранили детскую дружбу и знаменитый в своей славе не отвернулся от незаметных. Клятва на Воробьевых горах, маркиз Поза — эти волновавшие меня тогда романтические образцы дружбы оказались для нашей жизни неподходящими. У Коваленских не было детей, их некому помнить. Встретив недавно в «Огоньке» обращение Д. Г. Юрасова с просьбой присылать ему данные об известных читателю репрессированных, с горечью поняла, что ни я, ни, вероятно, кто-либо другой не может по отношению даже к известным жертвам ответить на большинство вопросов прилагаемой анкеты: ни отчества, ни года рождения, ни должности... Запишу хоть имена двух безвинно погибших.

В «Сивцевом Вражке» Мих. Осоргина расстрелян приват-доцент Московского университета Астафьев, философ и бывший эсер, давно разочаровавшийся в революционных теориях спасения мира. Астафьев гибнет от руки своего соседа-рабочего, развращенного астафьевским нравственным релятивизмом. Рабочий, ставший палачом в подвалах Лубянки, оказывается Немезидой, мстящей интеллигенции за отвлеченные ее теории, оправдывавшие насилие. Повторяется в новых и жестких условиях идейная схема, связывавшая у Достоевского Ивана Карамазова и Смердякова. Карикатурное воплощение идеи убивает интеллектуального творца этой отвлеченной идеи.

Два десятилетия, отделившие «Сивцев Вражек» Мих. Осоргина от «Мнимых величин» Н. Нарокова, придали определенность и окончательную четкость отношению русского интеллигента к идее насилия. Никаких противоречий здесь не оставил жестокий опыт страны и самого писателя. И сцена мнимого расстрела у Н. Нарокова страшней, чем у Мих. Осоргина сцена свершившегося.

В «Мнимых величинах» ожидает казни ничтожнейший из ничтожных, бывший барин, эгоист, сластолюбец, сексот. Образ воссоздан с такой живой убедительностью, что остается впечатление реального знакомства с подобным человеческим типом. Я-то таких еще видела, хотя, конечно, и не подозревала о возможности их тайной службы. Н. Нароков доказал и такую возможность. Но только для того, чтобы не допустить другой возможности: мерить право на жизнь человека качествами его личности. И тут снова, конечно, возникает пример Достоевского, образец его самого известного романа. Никакой логически подтверждаемой «ценности» нельзя отыскать в Михаиле Григорьевиче Вышинцеве, как не мог найти Раскольников оправдания жизни старухи процентщицы. Нет этих мерок. Но ужас казни, ужас ее ожидания арестантами передан Н. Нароковым в таких достовернейших, не оставляющих сомнения в их подлинности подробностях, что все твое существо вопиет: нет, так нельзя, нельзя допустить, чтобы так было...

Я читала роман Н. Нарокова, только что вернувшись из Смоленска и побывав в Катыни. Апрельский лес с едва распустившейся листвой, с цветущей ветряницей понизу, с предвечерним щебетом птиц был прекрасен. Он предстал нам воплощением радости и прелести жизни. И недавно воздвигнутый высокий деревянный крест над могилой расстрелянных здесь полвека назад польских офицеров свидетельствовал о людской памяти и взывал к покою. Но за оградой, скупо и строго ограждающей могилу и проход к ней, под весенней травкой и первыми цветами извивались какие-то странные, неровные рвы. Они шли в глубь леса и терялись в его прозрачности. И не крест, не венки, не первые фамилии жертв, вписанные рукой помнящих их, а эти едва скрытые рвы и стыдливая решетка, ограждавшая их от живых, вызывали в воображении то, что

не хотелось представить, чему противилось все твое существо: ужас простоты, с которой в наш век делалось страшное дело. Представить размах совершившегося трудно, понять причины невозможно, принять объяснения — никогда. А понимали и принимали... Русские писатели, о которых идет здесь речь, заставив себя и нас представить непредставимое, отказались задолго до наших дней понять это и принять.

Что же противостоит в старых-новых русских книгах ужасу насилия, романтизированного человеком в начале XX века и проклятого к его концу? Нельзя создать романа на проклятии, роман не лирическое стихотворение, он требует равновесия между отрицанием и утверждением, он и пишется тогда, когда такое равновесие автором найдено, он только тогда и получается. Утверждение может и не иметь философского обоснования. Не логикой создается такое равновесие, а всем жизненным опытом и силой непосредственного чувства.

Само название романа Мих. Осоргина «Сивцев Вражек» говорит об интимной малости и исторической укорененности того неотменимого и хрупкого, что лишь одно в глазах писателя духовно устояло перед ужасом и бессмысленностью тотального насилия. Ветхий профессорский особнячок в тихом арбатском переулке, давшем название роману,— это, конечно, не идеал писателя, но это единственное душевное прибежище, реальное для него олицетворение поэзии обыкновенной жизни, противостоящей необыкновенности «нежизни»: убийству на войне, самоубийству «обрубка», ею искалеченного, расстрелу в подвалах Чека, голоду, тифу. «Хотя центром вселенной был, конечно, особнячок на Сивцевом Вражке, но и за пределами его была жизнь, вдаль уходившая по радиусам. Каждый человек цеплялся за жизнь, и каждый считал себя и был центром»,— не без самоиронии говорит автор романа, но строит его именно по этому радиальному принципу. Все варианты «нежизни», предложенные России войнами и революциями XX века, представлены Мих. Осоргиным в житейских историях посетителей уютного особнячка. И он сам, конечно, не обойден испытаниями, временность отсрочки и его конца прекрасно осознается писателем: крысы точат и точат балки старого дома. Но в памяти писателя о нем каким-то чудом все еще хранится верность любви, науке, музыке. Ничего более ценного не находит писатель-эмигрант на своей родине, чем мир старой московской интеллигенции. Любовно выписывает Мих. Осоргин хозяина особняка, старика орнитолога, для которого прилет в Москву ласточек,— событие более фундаментальное, чем свержение царя. Сколько проклятий советских писателей и литературоведов сыпалось на головы подобных «оторванных от жизни» ученых, этих «мелких людей», углубленных в свою науку вместо того, чтобы выступать на митингах и ...приветствовать очередной расстрел? Мих. Осоргин из своего далека смотрит на привычно презираемую русской литературой фигуру ученого с другой точки зрения. Его наука — наука о жизни, о ее органических законах, а они в конце концов выше злобы дня, больше ничтожных эгоистических расчетов отдельной человеческой особи, которая в своих мелких заботах может оказаться только «малой жертвой начавшейся катастрофы живущего».

Догадка о самой возможности такой катастрофы в мире нарастающего насилия еще только посещает писателя 20-х годов. Ему все-таки пока кажется, что простые человеческие чувства, естественные и подлинные,— единственное, что остается гарантией продолжения жизни. Такая обыкновенная, но не мнимая любовь соединяет дедушку и внучку в старом особняке, эту самую внучку с ее мужем, простым, хорошим человеком, только такие отношения постоянны и неотменимы, как прилет ласточек весной. С завистью читатель конца нашего века встречается с такой надеждой писателя на органическое самовозрождение жизни, не скованной отвлеченными идеями и рационалистическими схемами ее насильственного переустройства. И с насмешливой улыбкой над былым нашим максимализмом вспоминаем: и это — любовь, семью, дом, любимый труд — мы когда-то принимали за мещанство и презирали в качестве такового. Вот магия политических формул времени! Любовь, семья, дом, дети — конечно, это и есть мещанство, если все это грубо ограничено эгоизмом. Но если то же самое одушевлено высшим смыслом, выражается ли он в науке, в искусстве, в религии, то уже называется человечностью. Границ между тем и другим нет, все течет и переливается друг в друга, пока есть жизнь. Пока еще она есть. Интеллигентский особнячок в Сивцевом Вражке мил Мих. Осоргину своей непритворной искренней одухотворенностью. И особая тема в романе — искусство как один из путей, соединяющих частную жизнь человека с высоким и вечным. Если, конечно, это подлинное, а не мнимое искусство — оба варианта представлены в романе: изнуряющая душу имитация искусства и все искупляющая подлинность. Как трудно иной раз и здесь провести точную границу!

Название романа Нины Федоровой еще более прямо, без метафорических опосредований говорит об ориентире противостояния автора стихии разрушения и насилия: семья. Но всякая ли семья? Нет, то семья особая, хотя Нина Федорова уверяет в ее типичности: «Как и в каждой хорошей русской семье, ее члены были нежно привязаны друг к другу, всегда готовы пожертвовать собой ради общих интересов. Другой национальной чертой была в них особая полнота духовной жизни, трепетный интерес к людям и миру, в котором они жили. Их интересовали все общечеловеческие проблемы, поэзия, музыка, отвлеченные вопросы духовной жизни. Русский ум отказывается посвятить себя всецело только личным интересам или вопросам одной текущей жизни. Он стремится обосноваться на высоте и оттуда иметь суждение о жизни»,— утверждала полвека назад Нина Федорова. Ну, а мы? Или у нас уже «не русский ум»?

Я убеждена, что если и осталась в нас нравственная сила, дающая надежду на будущее, то сохранили ее для нас не мужчины, а женщины, наши матери, не давшие нам в детстве поверить окончательно в торжество волчьих законов над человеком, а тихо продолжавшие нас учить вопреки всему, что говорилось громко, элементарным истинам добра. Потому-то «китайский вариант» русской судьбы 1937 года читается с ощущением родства и понимания. Кажется, и молиться одинокие, забитые, покорные женщины разучились или отучились. Во всяком случае, в «Мнимых величинах» Н. Нарокова Евлалия Григорьевна, несущая в себе столько родственных черт с Соней Мармеладовой, ни разу при читателях не молится, как и не молились тогда при свидетелях женщины. У Евлалии Григорьевны, жены сгинувшего безвестно арестанта, дочери сексота, испытавшего ужас отмененного расстрела и покончившего с собой, матери маленького сына, оставшейся один на один с судьбой (правда, судьбой миллионов), у нее даже и Евангелия нет своего, как не было его в то время почти ни у кого из наших матерей. Если и молились, то тайком и своими словами. Что же для такой женщины служило опорой в несчастьях? Что дало таким женщинам возможность дорастить сыновей до самой войны и передать их ей — людьми? И если нет у нас ответа на эти общие вопросы, то по крайней мере: какую силу нашел в слабенькой, робкой Евлалии Григорьевне герой Н. Нарокова, начальник Областного управления НКВД Ефрем Игнатьевич Любкин? Как ни всматривайся в строки романа, сила у Евлалии Григорьевны одна — подлинность ее обыкновенной, естественной, не отменяемой ничем человечности. Не больше, но и не меньше.

Автор «Мнимых величин» каждой чертой, каждым словом и поступком своей героини противопоставляет ее простую естественность сложной, фантастической, невероятной выдуманности мира Любкина. Потому-то для него, служителя кровавой лжи, так удивительна встреча с Евлалией Григорьевной: «Он заметил... что она, бесспорно, была сейчас такой, какой бывала всегда. Она... была сама собой...».

Быть самим собой,— казалось бы, такое простое, но почти вытравленное из нас драгоценное свойство. Недоступная роскошь. Десятилетия публичной лжи сделали из всех нас актеров. В лучшем случае мимов. И ведь так трудно играть, если это не твоя профессия и не твоя натура! Но избавиться от этого побочного ремесла оказалось еще труднее. Большую смелость надо иметь, чтобы оставаться собой. Но только через эту смелость может наступить все разрешающая ясность.

О трудности и необходимости обретения самих себя, ясности в самих себе был написан роман «Мнимые величины». В столкновении с кровавым бредом, сочиняемым любкиными всех мастей и рангов, в сопоставлении с самоубийственными фантомами, рано или поздно поглощающими своих создателей, обыкновенная, лишенная пафоса и словесного орнамента нравственность миллионов простых душ побеждает уже одним тем, что она реальна, отвечает природе человека, сформированной тысячелетиями цивилизации, согласуется с правдой внутренних законов, сформулированных этой цивилизацией.

А правдоподобна ли история прозрения палача, рассказанная Н. Нароковым? Почти неправдоподобна, но мы свидетели таких неожиданных превращений, что нам ли не верить чуду? А потом: веришь этой истории как читатель, а это означает художественную правду. Художник нас победил. Он еще в 50-х годах представил читателю модель взаимодействия двух противоположных сил — подлинной нравственности, отвечающей природе человека, и мнимых, ложных построений, по которым люди хотели заставить жить людей, но построения оказались шаткой декорацией, не дающей защиты и прочной опоры, а могущей и уничтожить живое своими рушащимися обломками. Гигантская проекция от парадоксальной художественной модели Н. Нарокова — само наше время. Мы дожили до того, что простые человеческие ценности снова стали называться ценностями. Они понадобились планете для выживания. Вопросы о добре и зле стали не только вопросами философов и художников, но и политиков. Однако кровь на земле льется по-прежнему. Но, кажется, уже никто не отваживается утверждать открыто, что она и должна литься, как утверждалось это громко и нагло во дни моего детства. Мы дожили до такого. Такое должно было произойти, но такого можно было и не дождаться. И как бы трудно ни было сегодня, одно уже то, что дождались,— счастье.

Из сорок первого...

•

Владимир Корнилов. Девочки и дамочки. Повесть. «Дружба народов», 1990, № 5.

•

Свою повесть Владимир Корнилов написал в 1968 году. Непростой это был год. Канула в Лету хрущевская оттепель, наступили заморозки. Брежневское руководство готовилось реабилитировать Сталина. КГБ ужесточил свою деятельность. Вслед за открытым процессом Синявского и Даниэля состоялся закрытый суд над А. Гинзбургом и Ю. Галансковым. Тогда же расцвела Пражская весна свободы, к осени раздавленная советскими танками, к горсточка отважных вышла на Красную площадь протестовать... Поэт И. Бродский отбывал ссылку. Но распространялись в списках его стихи. Как и романы Солженицына. Самиздат проник в провинцию, и в 1968 году многие в стране прочли первую статью академика Андрея Сахарова «Размышления о прогрессе...». Набирала силу инспирированная сверху кампания, направленная против Израиля как воплощения Мирового Зла. Одновременно пробудилось национальное сознание еврейства в России. Повсюду в стране обострился интерес к своим корням, к своему духовному наследию. Вот в такой сложной, противоречивой обстановке Владимир Корнилов обратился к теме Великой Отечественной войны. К теме, как это мы попытаемся показать, единения.

Лето и осень сорок первого года — это грозный рубеж, роковая година в истории России. Время потрясения основ. Название повести обманчивое — будто из нэпмановских времен, игриво-легковесное: «Девочки и дамочки». С первых же страниц, однако, выясняется, что выражение взято из листовок, разбрасываемых немцами с самолетов там, где мобилизованные женщины рыли окопы или противотанковые рвы. Действие происходит в октябре, в течение нескольких дней. Триста женщин мобилизованы и отправлены из столицы на рытье окопов. У шофера единственной полуторки, приданной «бабьей команде», вчерашнего студента, разрывается сердце от известия, что противнику сдан Харьков, его родной город. Выходит, почти вся Украина под пятой оккупантов. И женщины роют окопы не где-нибудь, а под самой Москвой... Что и говорить, на плачевных итогах первых четырех месяцев войны сказались не только внезапность нападения, не только нехватка опытных военачальников, перебитых в пору Великой Чистки, но и, безусловно, апатия, моральная усталость населения. Слишком свежи были раны, нанесенные народу в период коллективизации. Случались и такие, что грозились во дворах военкоматов по адресу Сталина, вспоминая драконовские указы о тюремном заключении за пятиминутное опоздание на работу: «Мы ему навоюем!»

И все же в сорок первом Советская власть выстояла. Благодаря чему? Сработал фактор огромных, с плохими дорогами пространств, изматывавших врага? Было и это. Но и благодаря тому, что в сознании людей, ставших солдатами в возрасте от двадцати до тридцати лет, в июне сорок первого марксизм был эталоном гуманности, а фашизм — чумой века. Бойцы московских дивизий народного ополчения состояли в основном из интеллигентов, из студентов и рабочих, убежденных в том, что они защищают благие «завоевания Октября». С тем и сложили свои головы...

Ныне расплодилось умников, которые свысока, с жалостью отзываются о ветеранах: дескать, своей Победой лишь продлили десятилетия неволи. Но правда в том, что юноши и девушки, молодые мужчины и женщины, взращенные Утопией, в октябре сорок первого своей беззаветной сознательной отвагой замедлили, а потом и остановили продвижение фашистов к столице, тем самым дав возможность стране, армии перевести дыхание. Да, после Сталин, как известно, воззвал к русскому патриотизму. Но сами гитлеровцы, возомнившие себя «расой господ», гораздо быстрее дали почувствовать нашему народу, что над Россией нависла смертельная опасность.

В небольшой, но емкой повести Владимир Корнилов как раз и показал картину тех суровых осенних дней, когда в умах советских людей началась переоценка ценностей. Душа рядового человека еще робко, преодолевая страх, но с явным облегчением начала освобождаться от идеологических пут. Так было положено начало будущему раскрепощению народного духа.

Команда из трехсот москвичек вместе с инструментом — лопатами, ломами и кирками — выехала в заданный квадрат Подмосковья. Перед читателем сразу же возникает как бы срез советского общества, взятый в городском, столичном варианте. Часть женщин знакомы друг с

другом, так как проживают в одном доме, который, по словам Марии Ивановны, старшой команды,— «хороший чистый» (выделено нами.— В. К. и Г. Ш.), ибо обитают в нем номенклатурные работники, люди проверенные. И если такой дом поставил в рабочую команду в основном простонародье: домработницу, детсадовскую нянечку, библиотекаршу, милиционершу,— то объясняется это тем, что тридцать седьмой год сыграл со многими «злую шутку»...

При любом строе есть ловкачи, счастливчики, а есть и недотепы, неудачники. Ганя из числа последних. Только и выпало ей радости — побывать с хахалем, московским извозчиком, на водах в Ессентуках. По дурости взяла с собой сестренку — хахаль и обрюхатил ее. Став папашей, построил в Икше кой-какой домик и милостиво разрешил Гане присматривать за двумя ее племяшами. Сам же, выучившись на шофера, подался за длинным рублем на стройки, лишь изредка навещая семейство. Племяши нынче на фронте, а Ганя еще с начала тридцатых устроилась в Москве прислугой. Правда, нигде не задерживалась: хозяева гнали — за грязь, за воровство. Но вот у «соломенной вдовы» Елены Федотовны Рыжовой (муж-армянин разоблачен как враг народа) целых три предвоенных года прослужила, пока хозяйка с дочкой не уехали в эвакуацию. Осталась Ганя без прописки столичной, без карточек — и подалась на окопы. Любительница посудачить, она вся напичкана предрассудками. «Знаю вашу нацию»,— злобно говорит она Лие, девушке из соседней квартиры, а сейчас товарке по землеройной команде. Видно, не в одну еврейскую семью нанималась, так что насмотрелась на новых привилегированных.

Отец Лии в недавнем прошлом тоже «шишка», красный директор. Умел «браковать, песочить, объявлять выговора, приказывать». Вырос он в местечке, в беднейшей семье. Корнилов не показывает, каким образом отец Лии стал партийцем, директором, но читатель и сам осведомлен, как в годы революции делали карьеру. Однако во второй половине тридцатых годов властно заявило о себе новое поколение кадров: некто, сын буржуя (или, по мнению Лии, сам буржуй), «обманом пробрался в партию» и сумел «выгнать отца с работы», выставить из рядов ВКП(б). Семья тотчас лишилась распределителя. И одной из двух комнат. Экс-директор опустился; жена больна, а он при ней курит... От Марии Ивановны, милиционерши, узнаем, что в этом же доме жили Цуккерманы, но с тех пор, как отца и мать арестовали (враги!), бабку с детьми выселили бог знает куда. Так что Лие еще повезло...

«Как все обо всем знают!» — огорчается Лия осведомленности старшой. Но привычно находит этому оправдание: «Как же иначе? Нужна бдительность. Капиталистическое окружение». Осведомленностью Марии Ивановны восхищен и Гошка, из того же дома мальчишка лет четырнадцати, попросившийся хоть на окопы, раз уж на фронт не берут. «Государственная баба! — восторженно думает он.— Мускулистая рука рабочего класса!»

Социальный фон жизни у Корнилова дан сжато, но точно. Слежка. Доносительство. Обездоленные семьи «врагов». Еврей — красный директор. Еврей-завмаг — тот, что на московской окраине отпустил капитану Гаврилову продукты на всю его «бабью команду»...

Вообще еврейская тема в повести, написанной в конце шестидесятых, сегодня, в годы девяностые, звучит, пожалуй, еще более актуально. Поэтому позволим себе несколько акцентировать ее. Хотя в «многолюдной» повести Корнилова это всего лишь «одна из линий». Нам же кажется важным сказать в связи с ней вот что. Степень участия евреев в революции общеизвестна. Среди новых хозяев жизни было немало выходцев из черты оседлости. А простой люд выскочек, к какой бы они национальности ни принадлежали, не жалует. Зато дети выскочек — зачастую другого поля ягода. Такова Лия. Ее взрастила не только сугубо советская среда, но и Москва, вопреки всему бывшая не только центром Третьего Интернационала, но — русской столицей. Воздух Третьяковки, каменная музыка (пусть и закрытых) православных храмов, русская речь, русские традиции — все это составляло атмосферу Лииного детства, отрочества. И в трудные минуты (мать при смерти, отец — изгой) ее морально поддерживала машинистка Рыжова, соседка по площадке, сама горемычная. Так же и дружба с Санюрой, Санькой, хваткой, удалой, по-своему преданной, помогла Лие одолевать невзгоды. Присутствуя при ссорах Гани и Санюры, Лия думает: «Ведь они хорошие. В каждом что-то настоящее есть. Даже в тете Гане. Как она вчера со всеми пела! Даже в самых плохих есть мужество и самоотверженность. Надо только открыть это, во всех...» Себя-то рыжеволосая девушка явно недооценивает, хотя без ее жертвенности, без ее веры в торжество справедливости отец едва ли дождался бы лучших дней. Ради того, чтобы содержать семью, ухаживать за больной матерью, она оставила учебу в школе, пошла работать библиотекаршей. А началась война — жила одним стремлением: попасть на передовую. Спасибо, хоть на окопы взяли...

Сразу после прибытия в указанное место капитан Гаврилов выяснил, что его с тремястами женщинами «не туда послали» — ситуация весьма типичная для начальных месяцев войны. На следующий день Москва выслала за окопницами несколько железнодорожных платформ, но «юнкерс-87» их разбомбил. Погрузив на единственную полуторку раненых —

товарок и красноармейцев, — команда пешком потопала на восток.

Но осталась Лия. Для нее «сейчас наступил последний и решительный момент, и нельзя было его пропустить». Она во что бы то ни стало должна дать отпор наступающему противнику. Свою смерть она встретила с пулеметом Дегтярева, так и не сделав ни одного выстрела (Корнилов верен правде: пулемет заело); немецкий танк «растер правой гусеницей рыжую Лиину голову по диску ручного пулемета».

В безрассудном порыве Лии, в ее жажде сразиться с фашизмом так же, как и в ее повседневном бескорыстии, угадывается нет-нет да и обнаруживающий себя в российской симфонии еврейский мотив, которому, впрочем, уже не одна сотня лет. И мы, пишущие эти строки, один из которых русский, а другой — еврей, оба в прошлом солдаты Отечественной, с грустью думаем о продолжающемся Исходе восточнославянского еврейства, о том, насколько он — что бы ни говорили! — обеднит и Россию.

Повесть дает основания поразмышлять о собирательном портрете окопниц-москвичек. В команде с сочувственным пониманием относятся к положению Лии: в отличие от других ей «нельзя в плен попадать». После антисемитской выходки Гани женщинам «за столом стало холодно и неловко». Люди в глубине души хранили веру в отцов и матерей. «Креста на тебе нет! — кричат Гане в церкви.— Господь попомнит». И они же, принимая раненых красноармейцев, «крестились сами и крестили бойцов». Не все, правда, а некоторые...

В безотчетной потребности жить в ладу с совестью — залог единения героев повести. У Корнилова даже энкаведист Кожаный, привычно ищущий всюду измену, несколько добреет, попав под влияние фронтовика-капитана и подчиненных ему окопниц, в минуту опасности твердо исполняющих свой долг.

Командир команды Гаврилов, пожалуй, дан покрупнее планом, чем остальные. Кадровый офицер, русак, он в самые страшные, замороченные годы не лишается природного здравого смысла. Как и все мы, он постоянно вел особый, внутренний диалог со Сталиным. Еще в конце двадцатых в должности старшины, «ломая язык, твердо и навсегда запомнил его трудное отчество». А потом — «помалу да потиху — стал трубокур из поставленных впереди, взаправду впереди, и лицо его, поначалу некрасивое и чужое, стало правильным, своим». В сорок первом, однако, уже в чине капитана, уже побывав в боях и повалявшись в госпитале, Гаврилов мысленно обращается к вождю: «Обмазал тебя Гитлер с головы до сапог. Ну и хрен с тобой. Не маленькие. Хватит молиться. Самим расхлебывать надо».

«Девочки и дамочки» — композиционно вещь стройная, ладная, динамичная. Полны скрытого смысла (порой драматического) названия главок. Например, «Сукно и хром» — о столкновении капитана с энкаведешником. Язык корниловской прозы свеж, точен и — не противопоставлен языку героев. И читатель проникается ощущением, что автор — сам из этой среды. Из сорок первого года...

Выдержав проверку временем, эта повесть зовет к единению, к консолидации всех, кто искренне заинтересован в возрождении Отечества.

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ,
Григорий ШУРМАК

Ересь Еременко

•

Александр Еременко. Добавления к сопромату. Стихи. «Правда». (б-ка «Огонек») 1990; Стихи. Сб. «Молодая поэзия-89» М., Советский писатель, 1989.

•

«А Данте печатали?! А Гомера печатали?!» — так, кажется, кричал с лестничной площадки Осип Мандельштам вслед молодому поэту, пожаловавшемуся на то, что его, дескать, не печатают.

Эта притча вспоминается то и дело, когда берешь в руки пробившиеся через плотины эстетической цензуры (она куда прочнее, чем цензура идеологическая) книжечки поэтов «новой волны». Вот наконец вышла первая книжка и у Александра Еременко. А еще до выхода этого сборника «Литературная газета» опубликовала своего рода монографический очерк об Еременко, к тому же написанный таким авторитетным критиком, как Вл. Новиков. Словом, наш литературный истэблишмент, похоже, дает «добро». Давно пора.

Но почему-то кошки скребут на душе от этого запоздалого признания. Самое время задуматься, чего стоили полтора десятилетия не внятного никому, кроме узкого круга, существования в литературе («12 лет в литературе» — так называлась исповедь Еременко в 86-м году), каких усилий требовала верность себе и своему слову! Пресловутый застой не только создавал непрерывное «атмосферное» давление, но и ослаблял душевные мускулы. Вот почему меня, например, весьма тревожит тот факт, что все те стихи Еременко, что публикуются им в последнее время, в большинстве своем написаны давно. Новых нет или почти нет. Что это, усталость? Может быть, и так...

Кроме того, истэблишмент всегда норовит упростить новое явление: упрощение — это, вероятно, главное условие признания. Я, как и многие, с огромным уважением отношусь к суждениям и оценкам Владимира Новикова. Но титул «создателя русской центонной поэзии», которым критик столь величаво наградил Еременко,— по-моему, весьма сомнительной славы. Во-первых, такое определение явно обедняет представление о поэзии Еременко, акцентируя всего одну, и далеко не самую важную, черту его художественного мышления. Во-вторых, с этой точки зрения не ясно, чем же оригинален Еременко: хотя он, быть может, одним из первых осознал цитату и перифраз как действительно новый литературный материал, но чуть раньше или чуть позже к этому пришли и другие авторы, и сегодня это общая черта стиля как поэзии, так и прозы «новой волны». И вряд ли можно объяснить широкую распространенность типичных приемов поставангарда словами: «Все под Ерему работают». Скорее наоборот: в поэзии Еременко можно найти представительные тексты для далеких друг от друга течений «новой» поэзии. Вот почему и интересно понять лирику Еременко как сложный, целостный и притом глубоко личностный литературный факт. Не упрощая для пущей броскости.

По паркам культуры стада статуэток
куда-то бредут, раздвигая кусты.
О, как я люблю этот гипсовый шок
и запрограммированное уродство,
где гладкого глаза пустой лепесток
гвоздем проковырян для пущего сходства.
Люблю этих мыслей железобетон
и эту глобальную архитектуру,
которую можно лишь спьяну иль сдуру
принять за ракету или за трон.
В ней только животный болезненный страх
гнездится в гранитной химере размаха,
где, словно титана распахнутый пах,
дымится ущелье отвесного мрака.

(«Печатными буквами пишут доносы...»)

В поэзии Еременко прежде всего поражает цельность мировосприятия, что парадоксально, ибо центральный мирообраз здесь — хаос. Именно он встает за фантасмагориями и гротесками.

Уродство привычных форм псевдокультуры, напоминание о насилии («гладкого глаза пустой лепесток гвоздем проковырян»), абсурдность придуманной жизни, экзистенциальный, безысходный ужас бытия («животный болезненный страх») — все это сплетено воедино... Перед нами в общем-то уже знакомый символ общественной Системы, программирующей железобетон мыслей, образцовое уродство, «гранитную химеру» под видом культуры. Но за «гипсовым шоком» зияет бездна вековечного хаоса («ущелье отвесного мрака»). Хаос и Система оказываются тождественными друг другу. Хаос и есть Система. Потому что Хаос у Еременко — это разбушевавшаяся стихия неподвижной косной материи, нашествие глобальных конструкций — и в то же время привычный, с детства укоренившийся в сознании образ мира. Тем сложнее ощутить его заново как ужас — ведь это, к несчастью, нормальное состояние жизни, другое просто неведомо.

Само отношение к Хаосу как к горькой норме бытия таит в себе зародыш ереси, во всяком случае, по отношению к классической, да и многим другим, ближайшим литературным традициям, либо исходившим из драмы потерянного рая, либо грезившим о грядущей гармонии, либо прозревавшим внутреннюю, сокровенную гармонию бытия. Конечно же, поэзия Еременко не вовсе чужда традиций. Во-первых, это традиция обэриутов — хотя для Еременко она, на мой взгляд, достаточно внешняя. И во-вторых, куда более значимая для него традиция Мандельштама — Бродского. О притяжении к ней «метафористов» проницательно написал Лев Аннинский: «Мир, рассыпанный на элементы, не увлекает меня как объект эстетического переживания, потому что это для меня источник бытийного ужаса. Иосиф Бродский, «из которого» вышли теперешние «метафористы», этот ужас вместил, и я его принимаю, а его последователи работают в технике ужаса, и я не могу принять игру в обломки как в игрушки» («День поэзии», 1988).

Разумеется, приводя это точное по фактуре наблюдение уважаемого критика, я ни в коей мере не могу согласиться с пафосом этого высказывания. О какой «технике ужаса» можно говорить, скажем, применительно к поэзии Еременко, когда Хаос в его стихах предстает в разных, многоплановых и, что самое важное, последовательно лирических преломлениях. Его лиризм почти всегда сопряжен с гротеском и сарказмом, что в сочетании с резкой и беспощадной иронией отрицает любые попытки придать Хаосу видимость организованности.

Разрушается воздух. Нарушаются длинные связи
между контуром и неудавшимся смыслом цветка,
и сама под себя наугад заползает река
и потом шелестит, и они совпадают по фазе.

Еще более скептичен А. Еременко к символам веры. Для него они тоже означают системы мнимой, самообманной гармонии: все постулаты веры опрокидываются трагической нелепостью бытия. И цинический эпатаж: «Богоматерь, жрущая младенца, мне твоя политика ясна. Принесите бабе полотенце, чтобы губы вытерла она. Бог такие выдает коленца, что в него и верить не хотят...» — сменяется жесткой формулировкой закона: «На Бога, погруженного в материю, действует выталкивающая сила, равная крику зарезанных младенцев».

Да, этот нонконформизм — из 70-х, когда вера и ложь однозначно представали синонимами. Да, здесь есть романтический экстремизм, но он не придуман, не взят напрокат, он естествен в систе-

ме мировидения Еременко, в том образе бытия, который он создает.

А. Еременко оказался именно тем поэтом, который попытался создать — и создал, вылепил — многогранный образ *современного тотального насилия*. Это всегда безличное насилие — «одна большая няня отсекала все то, что в детях лезло наугад». Оно будничио и даже комфортно, оно систематично и умиротворенно. Но это именно *насилие*, потому что отсекается живое, по лекалам уничтожается возможность гения.

Догмы, стереотипы, идеологические микросхемы, отпечатавшиеся в мозгу, обызвестковавшиеся в языке,— вот элементарные частицы тотального насилия. Еременко умеет блестяще «раздеть» общее место, выплескивая иа поверхиость ту кровь, на которой замешан этот тверрдокаменный материал. Цепочка речевых сращенний в «Филологических стихах» непременно приведет к барьеру, острым лезвием отсекающему запретиую зоиу сознания: «И если Брет, то Гарт. Мария — то Ремарк. И кум, то королю, а лыжная, то база. Коленчатый, то — вал, архипелаг, здесь — шаг чуть в сторону... пардон, мой ум зашел за разум!..» Или же другой пример материализованиого стереотипа — нсторическая достопримечательность:

Вот камень. Здесь Варятннсний сидел.
Нормальный камень. Вынрашенный мелом.
История желает здесь пробела?
Тан надо красным: нрасным был пробел.

И так у Еременко постоянно: общее место — всегда плод безличного тотального насилия, и под белилами обязательно проступает красное — кровь, боль.

Прямое порождение духа насилия — прнмитив, который не антитеза Хаосу, но наивысшее его проявление. Это победа абсурда над жизненным законом, «идиотнзм, доведенный до автоматизма». Абсурдность примитива, может быть, наиболее зримо выразилась в тех едких пародиях на массовое, оказененное сознание, которым Еременко отдал щедрую дань в недавнем прошлом. Весело стыкуя речевые и идеологические шаблоны, выстраивая стих по логике полуграмотного офнциоза, он опять-таки искал форму материализации того дикого Хаоса, что окаменел в этих скрижалях: «Горит восток зарею новой. У Александрийского столпа я встал и закурил по новой... Мы снова рннулись вперед, кричали мыслеино «ура», и, представляя весь народ, болталась сзади кобура».

Более сложная и более значимая эстетическая позиция наметилась в полнтических стихах Еремеико, появившихся в пернодике в 1989 г. (я имею в виду «Самиздат», «Стихи о «сухом законе», посвященные свердловскому рок-клубу, «Привет тебе, блистательный Козлов», «О чем базарите, квасные патриоты?» и некоторые другие). Этн стихи все о том же Хаосе, проступающем в сегодняшних политических и идеологических коллизиях, об инерции абсурда и о генераторах абсурда. С нескрываемой иронией возводит Еременко в степень гротеска народный миф о бунте Б. Ельцина, где не только оппоненты героя, но в определенной мере и он сам выглядят как участники некоей единой абсурдистской буффонады. Увы, в хаосе примитивов нет и не может быть героев, но зато здесь всегда хватает жертв, и чем абсурдней система бытия, тем беспощадней расправа с теми, кто чуть меньше одурманен атмосферой хаоса-насилия. Именно расправа над жертвой и вызывает у поэта самые горькие строки в стихотворении о Ельцине: «Потом его прогнали все сквозь строй, сквозь длинный строй в Георгиевском зале, один не бил, не знаю, кто такой. Он крикнул иапоследок, чтоб все знали: «Я вольный каменщнк, я ухожу в Госстрой».

Правда, не удержусь от упрека: та познция, которую Еременко в стихах этого цикла противопоставляет замкиутому абсурду реальности, отдает подчас откровениой риторнкой и даже (вообще-то не свойственной Еременко) красивостью, да и просто иной раз очень приблизительиа и словесно невнятна...

Самый запоминающийся символ свободы, зарождающийся в недрах хаоса-насилия,— ласточка, что «в чулане вечности противном над безобразною планетой», в тесноте и стиснутости летает себе «как попало», «по возмутнтельной кривой». И эта вольная ласточка — как раз и становится той силой, что придает хрупкую цельность расползающемуся Хаосу. Мне кажется, Еременко удалось увидеть сам социально-философский механизм зарождения свободиого самоосуществления человека. Хаос, хоть и чреват новым иасилием, кровью, смерчем, все же выходит за рамки тотального контроля — на то ои и хаос. И чем тяжелее пресс сверхнасилия, тем мощнее стихия Хаоса. Еременко последовательно выстранвает образ свободного духовного мира из «материалов» тотального Хаоса. Так возннкает в его поэтическом мире вечный нонконформист Питер Брейгель, весь плоть от плоти этого страшного мира, сумевший найти в нем свою меру гармонни; так появляется смятенный грузинскнй город, вызывающнй мысль о том, что «Богу мыслилась на небе земля как пересыльная тюрьма» — и тем не менее весь этот город пронизан атмосферой счастливой духовной раскованиости...

Однако иеизбежно возникает вопрос о смысле свободы, обретаемой в глубине тотального Хаоса — это во-первых; и о плате за свободу, о цене свободы — во-вторых. Эти вопросы логически приводят нас к... поэзии. Поэзии как художественному образу лирики А. Еременко.

Я смотрю на тебя кз настолько глубоких
могнл,
что мой взгляд, прежде чем до тебя
добежать, раздвоится.
Мы сейчас, кан всегда, разыграем комедию
в лнцах.

Тебя не было вовсе, н, значкт, я тоже
не был...

...В этом мнре косом существует
прямой пнстолетный удар,
но, однано, н он не прямей,
чем прямая кишка.
И в пустых небесах небоснреб
только небо снребет,
тан же, кан волнодав ниногда
не задавнт пустынного волка,
н когда в это мясо н рубну (я слово забыл)
попадет твой хребет —
пропоет твоя глотка.

(«Иеронниму Босху,
нзобретателю прожектора»).

Это, быть может, самое темное и одно из самых многозначительных стиховорений А. Еременко. Но даже иепонятное, оно поражает своей мрачной мощью, действнтельно напоминающей о гротесках Босха. Мне кажется, зто стихотворение о творчестве — вернее, о том *философском* процессе, который предшествует рождению Слова и который включает Слово в ритм мироздания. По Еременко, слово рождается из Хаоса, как результат взаимодействия человека с хаосом бытия. Так что эстетически «темнота» стихотворения оправданна: она передает осязаемый образ Хаоса как закона реальности.

Но осуществление экзистенциальной свободы непременно наталкивается на стену хаоса-насилия. Отсюда разномасштабные метафоры и образы этого концептуального ряда. От конкретных знаков: конвоя, людей с иомерами на спине, бегущих из нарисованного рая по направлению к прогрессирующему аду, удара в затылок сапогом, прямого пистолетного удара — до философских метафор, вроде застывшего, оледеневшего времеии, мешающего свободиому поиску «соударений», стискивающего живое движение — и более того, подавляющего человека: «Выплывая со дна, подо льдом, годовое кольцо растолкни — он сойдется опять. И поставит тебя на колени». Смыкаются два этих смысловых ряда в образе волкодава — предельно зримом символе тотального насилия, напрямую и нацеленно подключающего стихотворение к силовому полю знаменнтого шедевра Мандельштама.

А. Еременко не обольщается: волкодав все равно переломит хребет тому, кто поднимается вровень со своим ростом. Но трагическое сопряжение трудного осуществления бытийной свободы человека и железных челюстей хаоса-насилия — и есть состояние, рождающее *поэзию*:

и когда в это мясо н рубку (я слово забыл)
попадет твой хребет —
пропоет твоя глотка.

По логике этого стихотворения — да и целого ряда других — свободное творческое самоосуществление личности — вернее, попытка такого последовательного поиска духовной свободы — и есть та единственная устойчивая грань между бытием и небытием, которая только и возможна в мире тотального хаоса.

Кстати, не случайно Еременко так любит математические и кибернетические (а не просто технократические) термины; не зря ткань его стиха так рельефна: подчеркнутая верность устойчивым силлаботоиическим структурам, точная, а часто и тавтологическая рифма, жесткий ритм, характериое пристрастие к четкой форме — сонету, явное предпочтение чекаике гротеска перед акварельностью и психологической тонкостью образов. Все это попытки сознательно культивировать *строгость* поэтической мысли — в поединке с разъедающим хаосом реальности, в преодолении его изнутри, начиная с механизмов собственного эстетического сознания...

Однако философия поэтического творчества как процесса осуществления высших законов бытия ощутимо вступает в противоречие с другой концепцией, органическн присущей таланту Еременко,— концепцией поэзии как игры; в первую очередь игры, реализующей иерегламеитированиую свободу внутреннего мира человека («*мой хаос*»). Это противоречие не было заметно, когда сама игра, сама попытка *такой* свободы казались покушением иа устои, и те, кто исповедовал «игровое» искусство автоматически оказывались вне закона (от обэриутов до Н. Глазкова, от В. Набокова до авторов «Метрополя», от живописного авангарда до рок-музыки).

Но общественная ситуация все-таки измеиилась, н «игровая» свобода оказалась слишком *легкой*, несоразмерной осознанному философскому предназиачению. Более того, в атмосфере застоя окруженный бунтарским ореолом лирический облик центрального персонажа поэзии Еременко — молодежного нонконформиста со стаканом одеколона в руке, «подвального поэта» — сегодия явно оказывается мелким: подлинный философский нонконформизм требует в новой ситуацин иного типа лирического поведения и, главное, иного масштаба лирического образа.

Трагическое ощущение миссии поэта *давит*, все время мучнт вопросом: а смогу лн? а достанет ли снл? Это чувство прорывается во многих стихах Еременко: «О, Господи, я твой случайный зритель. Зачем же мне такое наказанье? Ты азял меня из схемы мнрозданья и снова аставнл, как предохранитель. Рука и рок. Ракета н носитель. Куда же по закону отрицанья ты отшвырнешь меня в момент сгоранья, как сокращенный заживо числитель?» Мучительное ощущенне незначительной функциональностн (ракетоноситель, предохранитель) собственной поэтической судьбы в раскладе неких абстрактных снл остро противоречит тому пафосу духовиой свободы, самоценного пoнcкa внутренней раскованности, который пронизывает поэзию Еременко.

У «метафористов», и у Еременко в их числе, иемало оппонентов. Но, пожалуй, наиболее веские упреки этой поэзин были произнесены в статье И. Роднянской «Назад—к Орфею!» («Новый мир», 1988,

№ 3). Суть их в том, что «смещаются и оползают самые основания поэтического творчества», утрачивается представление о служении поэта, зарастает дорога к подлинной новизне, и, главное, предается забвению извечное предназначение поэтической гармонии — быть «одолением звуком, словом и смыслом заданных жизнью обстоятельств». Когда читаешь мастерски написанную статью И. Роднянской, находишься целиком во власти ее аргументов. Но стоит приложить выводы критика к конкретному поэтическому миру — того же Еременко — и убедительные аргументы уже не кажутся такими убедительными.

Ведь у Еременко в драматичных и даже внутренне противоречивых формах, в резких и еретичных очертаниях выступает именно то самое, о чем печалится критик: «обстоятельства» оборачиваются гротескным образом хаоса-насилия, поиск гармонии погружен в недра самого хаоса; глубокая и самостоятельная мысль о предназначении поэта, органически вырастающая из всей логики творчества, становится одновременно источником драматичного внутреннего разлада; а дорога к подлинной эстетической новизне ведет к исканиям некоего поэтического языка, сопрягающего самые противоречивые тенденции в строгой и даже жесткой раме единого гротескного стиля...

Да, для многих Еременко навсегда останется певцом «металлургических лесов» и «черным» юмористом, эпигоном обэриутов. (Примерно такие же мифологемы сопровождают и других поэтов «новой волны». Кстати, и в пресловутом термине «метаметафора», на мой взгляд, тоже есть нечто мифологическое.) Но я убежден: пока мы будем, читая новых авторов, помнить не о парадоксальных законах развития литературы, а о жестких и узких стереотипах литературной ситуации, до тех пор мы будем называть молодыми сорока- и пятидесятилетних писателей, обнаруживать новизну в прошлогоднем снеге и, главное, до тех пор у нас, даже при самой либеральной издательской политике, будет по-прежнему существовать задержанная, пропущенная, «бесприютная» литература.

М. ЛИПОВЕЦКИЙ

г. Свердловск

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи редакция не возвращает.

Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на ее пересылку.